

История римской классической литературы

Р. В. Браун

*A HISTORY
OF
ROMAN CLASSICAL
LITERATURE.*

*BY
R. W. BROWNE*

*The cover image was created by the transcriber and is placed in the public domain.
<https://www.pgdp.net>*

The Project Gutenberg eBook of A History of Roman Classical Literature.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: История римской классической литературы.

Автор: Р. В. Браун

Дата выхода: 7 мая 2019 [eBook #59455].

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Ричардом Тонсингом, Тедом Гарвином и командой Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net> (This файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных Архивом Интернета)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK A HISTORY OF ROMAN CLASSICAL LITERATURE. ***

Примечание транскриптора:

Изображение обложки было создано транскриптором и помещено в общественное достояние.

ИСТОРИЯ РИМСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

BY R. W. BROWNE, M.A., Ph.D.,

ПРЕБЕНДАРИЙ СВ. ПАВЛА И ПРОФЕССОР КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КОРОЛЕВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ В ЛОНДОНЕ.

Meum semper iudicium fuit, omnia nostros aut invenisse per se sapientius quam Græcos; aut accepta ab illis fecisse meliora, quæ quidem digne statuissent in quibus elaborarent.

Cic. Tusc. Disp. I.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ:

BLANCHARD AND LEA.

1853.

ВМ. С. ЯНГ, ПЕЧАТНИК.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

История римской классической литературы, хотя и включает в себя имена многих прославленных писателей и множество объемных произведений, хронологически заключена в узкие рамки. Начиная с самого раннего младенчества и до эпохи, когда она перестала заслуживать звания классической, ее существование занимает период менее четырех столетий.

Имперский город существовал более пятисот лет, не проявляя более чем грубых зачатков литературного вкуса, свойственных самым нецивилизованным народам, не породив ни одного автора ни в поэзии, ни в прозе.

Римский ум, от природы энергичный и деятельный, был еще не окультурен, когда примерно за два с половиной века до христианской эры^[1] завоевания впервые познакомили жителей столицы с греческой наукой, искусством и литературой; и последние лучи классического вкуса и образованности перестали освещать римский мир до воцарения Антонинов.^[2]

Такая история, однако, должна быть представлена ссылкой на времена гораздо большей древности. Сам язык должен быть рассмотрен исторически, то есть его прогресс и формирование из примитивных элементов должны быть прослежены с учетом влияния, оказанного на него извне туземцами, говорившими на диалектах, из которых он состоял; и самые ранние признаки вкуса к поэзии и желания культивировать интеллектуальные способности должны быть отмечены и прослежены на последовательных этапах их развития. В ходе этого исследования станет ясно, насколько велики были трудности, с которыми литераторам приходилось бороться во времена Республики - трудности, в основном возникавшие из-за физической активности людей и практического характера римского ума, который заставлял большинство недооценивать и презирать преданность сидячим и созерцательным занятиям.

В прежние времена римлянин обладал высоким и самоотверженным чувством долга, он был честолобив, но его честолобие было направлено на славу не его самого, а его страны; он жил ради завоеваний: его мотивом, однако, было не самовозвеличивание, а расширение господства Рима. Когда государство стало сливаться с личностью, полководцы и государственные деятели стремились к накоплению богатства и приобретению власти; но в республиканские времена все было иначе. Благодаря этим характерным чертам римский гражданин считал своим долгом посвятить все свои силы государственной службе: он сосредоточивал все свои силы, душевные и телесные, на войне и политике; он презирал все другие занятия и источники славы, ибо сознавал, что его страна обязана своим положением среди народов своей военной доблести, а своими свободами внутри страны - мудрому управлению своей конституцией.

Отсюда видно, что никогда не было периода, когда литература не нуждалась бы в поддержке и защите со стороны богатых и влиятельных людей. Даже трагедия никогда не захватывала чувства и не оказывала влияния на умы широких слоев населения, как это было в Греции; она выродилась в простые декламации в драматической форме, адресованные, как и любая другая поэзия, узкому кругу лиц. Комедия стала единственным исключением из этого правила. Это был единственный вид литературы, которым с удовольствием пользовались массы. Учебка была болезненным растением: покровительство - это искусственный подогрев,

который доводил ее до зрелости. Аксию покровительствовал Д. Брут, Эннию - Луцилий и Сципионы, Теренцию - Африкан и Лелий, Лукрецию - Меммии, Тибуллу - Мессала, Проперцию - Илиус Галл, Вергилию и его друзьям - Август, Мекен и Поллий, Марциалу и Квинтилиану - Домициан.

Поскольку завоевание Магна-Греции, Сицилии и, наконец, самой Греции впервые направило на интеллектуальное развитие народ, чья национальная литература, даже если она и заслуживала такого названия, была самой грубой и скудной, римская литература, как и следовало ожидать, была потомством греческой, а ее красоты - отражением греческого ума; И хотя некоторые части были более оригинальны, чем другие, так как больше соответствовали национальному характеру - например, сатира, ораторское искусство и история, - в целом она никогда не была чем-то большим, чем подражание. Поэтому ей были присущи все недостатки подражания. Как в живописи те, кто изучает старых мастеров и пренебрегает природой, являются не более чем копировщиками, какой бы высокой ни была отделка и тщательная полировка их работ; так и в литературе Рима мы восхищаемся исполнением, очарованы гением, остроумием и изобретательностью, но тщетно ищем энтузиазм и вдохновение, которыми дышит каждая часть оригинала.

Одна способность, имеющая огромное значение для литературного мастерства, была у римлян в высшей степени совершенной, потому что она может быть как приобретенной, так и врожденной, и всегда улучшается и шлифуется образованием: эта способность - вкус, способность, по определению Аддисона, различать красоты автора с удовольствием, а его недостатки - с неприязнью.

Из трех периодов, на которые делится эта история, первый можно считать *драматическим*. Красноречие, действительно, быстро прогрессировало, и К. Гракх может считаться отцом латинской прозы; но язык не был достаточно сглажен и отполирован; чувства оратора намного превосходили дикцию, которой они были переданы. Юриспруденция также изучалась вдумчиво и точно; история, однако, была не более чем анналами, а эпическая поэзия - грубой и однообразной. Но актерская трагедия римлян относится почти исключительно к этому периоду; тогда же были написаны комедии Плавта и Теренция, которые дошли до наших дней и вызывают восхищение современников. Хотя в эту эпоху язык был тщательно отшлифован и украшен величайшим разнообразием изящных форм и выражений, он был прост и несдержан: он течет легко и естественно, а потому полон и обилен; краткость и эпиграмматическая терпкость - приобретенные качества, результат искусства, хотя это искусство может быть искусно скрыто.

Второй период состоит из двух подразделений, из которых первое - эпоха *прозы*, и, следовательно, период, в который язык достиг своего наибольшего совершенства; ибо о структуре, силе и гениальности языка следует судить по его прозе, а не по его поэзии. Цицерон является представителем этой эпохи как оратор и философ, а Сезар и Саллюстий - как историки. Второе подразделение, или эпоха Августа, - это эпоха поэзии, потому что в ней поэзия достигла того же превосходства, которого проза достигла в предыдущем поколении. Но эпоху Цицерона и эпоху Августа можно считать лишь подразделениями одного большого периода; они не отделены друг от друга четкой линией разграничения; они смешаны и постепенно перетекают одно в другое. В первом периоде Лукреций и Катулл были предвестниками Вергилия, Горация и Овидия, а во втором солнце Цицерона, Цезаря и Саллюстия, кажется, восходит в сладостном повествовании Ливия.

Последний период - *риторический*: его называют "серебряным веком". Он породил единственного в Риме баснописца Федра, величайшего сатирика Ювенала, самого

остроумного эпиграмматиста Марциала, самого философского историка Тацита, самого рассудительного критика Квинтилиана и писателя, едва ли уступавшего самому Цицерону, младшего Плиния; и все же, несмотря на эти прославленные имена, это период упадка. Эти великие имена пролили блеск на свое поколение, но они не повлияли на их вкус и не остановили приближающийся упадок национального гения: действовали причины, которые быстро привели к этому эффекту, и они были им неподвластны. Теперь был установлен новый и ложный стандарт вкуса, несовместимый с оригинальным гением и независимой мыслью. Рим убедили принять декламационную риторику как замену пылкому красноречию, которым она восхищалась, но которое теперь было лишено применения и перенесено с Форума в лекционный зал. Этот вкус заразил все виды сочинений. Сенека злоупотреблял своими прекрасными талантами, чтобы научить людей не восхищаться ничем, кроме блеска, новизны и жеманства; и в конце концов все стало скованным, полым и искусственным. Вместе с национальной свободой национальный интеллект погрузился в состояние бездействия: наступил период интеллектуальной тьмы, влияние, утраченное столицей, перешло к провинциям, и таким образом был проложен путь для проникновения варварства.

Таков план этой работы; и если читатель обнаружит, что некоторые особенности, которые он считает очень важными, были затронуты вскользь, то объем темы и желание сжать ее до умеренного объема должны служить извинением автора. В заключение автор признает свои глубокие обязательства перед теми историками и биографами, к чьим трудам он обращался во время написания этой истории. Он считает, что было бы самонадеянно предлагать публике подобный труд, не воспользовавшись кропотливыми исследованиями Вольфа, Бейля, Германа, Гротефенда, Бернгарди, Бера, Шлегеля, Лахмана, Данлопа, Маттиэ, Шелла, Краузе, Риттера, Нисарда, Пьеррона, Нибура, Мильмана, Арнольда, Меривейла, Дональдсона, Смита и авторов "Универсальной биографии".

СОДЕРЖАНИЕ.

КНИГА I.

ПЕРВАЯ ЭРА.

ГЛАВА I.

ПЕЙДЖ.

Сравнение латинского языка с греческим - Эры латинства - Происхождение римлян - Элементы латинского языка - Этрусское влияние

33

ГЛАВА II.

Таблицы Эвгубина - Существование Оскана в Италии - Бантинская таблица - Перуджийская надпись - Этрусский алфавит и слова - Песнопение *Fratres Arvales* - Сальский гимн - Другие памятники старой латыни - Сравнение латинского и греческого алфавитов 44

ГЛАВА III.

Сатурнианский метр - Мнения о его происхождении - Ранние примеры этого метра - Сатурнианские баллады в Ливии - Структура стиха - Примеры ритмической поэзии 60

ГЛАВА IV.

Три периода римской классической литературы - ее грубые элементы - римская религия - этруское влияние - ранние исторические памятники - фесценнианские стихи - фабула Ателлан - введение сценических пьес - деривация сатиры 67

ГЛАВА V.

Эмансипация Ливия Андроника - подражание Одиссею - новый вид сценических выставок - первая выставка его драмы - Невий политический партизан - его горечь - Пуническая война - его национальность - его стихосложение 76

ГЛАВА VI.

Нэвий стоял между двумя веками - Жизнь Энния - Эпитафии, написанные им - Его вкус, образованность и характер - Его пригодность для того, чтобы быть литературным реформатором - Его влияние на язык - Его стихосложение - Анналы - Трудности темы - Трагедии и комедии - Сатира - Малые произведения 90

ГЛАВА VII.

Новая комедия греков - модель римской - мораль римской комедии - желание разнообразия в сюжетах римской комедии - драматические личности - костюмы - персонажи - музыка - латинское произношение - метрические лицензии - критика Волькация - жизнь Плавта - характер его комедий - анализ его сюжетов 99

ГЛАВА VII.

Стаций в сравнении с Менандром - Критика Цицерона - Гипотезы относительно ранней жизни Теренция - Анекдот, рассказанный Донатом - Стиль и мораль Теренция - Анекдот о нем, рассказанный Корнелием Непосом - Его материальные обстоятельства и смерть - Сюжеты и критика его комедий - Остальные комические поэты 118

ГЛАВА VIII.

Почему трагедия не процветала в Риме - Национальные легенды не пользовались влиянием в народе - Фабула Прæтекстатæ - Римская религия не была идеальной - Римская любовь к сценам реального действия и великолепным зрелищам - Трагедия не пользовалась покровительством народа - Пакувий - его Дулоресты и Паулус 140

ГЛАВА IX.

Л. Аттий - Его трагедии и фрагменты - Другие произведения - Трагедия исчезла вместе с ним - Римские театры - Следы сатирического духа в Греции - Римская сатира - Луцилий - Критика Горация, Цицерона и Квинтилиана - Отрывок, цитируемый Лактанцием - Левий - лирический поэт 152

ГЛАВА X.

Прозаическая литература - проза, подходящая для римского гения - история, юриспруденция и ораторское искусство - распространенность греческого языка - К. Фабий Пиктор - Л. Cincius Alimentus - С. Ацилий Глабрий - Значение анналистов - Важный литературный период, в который процветал Катон Цензор - Очерк его жизни - Его характер, гений и стиль 162

ГЛАВА XI.

Истоки Катона - Пассаж, цитируемый Геллием - Трактат De Re Rustica - Оракулы - Л. Кассий Гемина - Историки во времена Гракхов - Традиционный анекдот о Ромуле - Автобиографы - Фрагмент Квадригария - Ложь Антиаса - Сисенны - Туберо 176

ГЛАВА XII.

Раннее римское ораторское искусство - красноречие Аппия Клавдия Цека - 187
погребальные оратории - защита Сципиона Африканского Большого - Сципиона
Африканского Малого Эмилиана - эпоха Гракхов - их характеры - отношения между
Гракхами и Цицероном - М. Антоний - Л. Лициний Красс - К. Гортензий - причины
его ранней популярности и последующего провала

ГЛАВА XIII.

Изучение юриспруденции - Первые систематические труды по римскому праву - 204
Основы римского гражданского права - Выдающиеся юристы - Сцевола - Аквиллий
Галл - С. Аквиллий Галл, реформатор права - Другие юристы - Грамматики

КНИГА II.

ЭПОХА ЦИЦЕРОНА И АВГУРА.

ГЛАВА I.

Проза - критерий состояния языка - Драматическая литература исчезла - Мимы - 211
Различие между римскими и греческими мимами - Лаберий - Отрывки из его
поэзии - Матий Кальвена - Мимиамби - Публий Сир - Римская пантомима - Ее
разнузданность - Главные актеры пантомимы

ГЛАВА II.

Лукреций - поэт, а не философ - его жизнь - эпическая структура его поэмы - 220
разнообразие его поэзии - отрывки из его поэмы - аргументы к ней - эпикурейские
доктрины, содержащиеся в ней - мораль Эпикура и Лукреция - свидетельства
Вергилия и Овидия - Катулл, его жизнь, характер и поэзия - другие поэты этого
периода

ГЛАВА III.

Эпоха Вергилия, благоприятная для поэзии - его рождение, воспитание, привычки, 238

болезнь и смерть - его популярность и характер - его малые поэмы, *Culex*, *Ciris*, *Moretum*, *Сора* и *Catalecta* - его буколики - итальянские нравы, не подходящие для пасторальной поэзии - идиллии Феокрита - классификация буколиков - тема *Pollio* - теория Хейна относительно нее

ГЛАВА IV.

Красота дидактической поэзии - Тщательная отделка *Георгик* - Римская любовь к сельским занятиям - Гесиод, подходящий в качестве модели - Состояние Италии - Предметы, рассматриваемые в *Георгиках* - Некоторые поразительные отрывки перечислены - Влияние римской литературы на английскую поэзию - Источники, из которых происходят происшествия *Энеиды* - Характер *Энея* - Критика *Нибура* 252

ГЛАВА V.

Либертины - римские чувства по отношению к торговле - рождение и младенчество Горация - его раннее образование в Риме - его военная карьера - он возвращается в Рим - знакомится с *Мекеном* - начинает сатиры - *Мекен* дарит ему свой сабинский хутор - его деревенская жизнь - *Эподы* - *Эпистолы* - *Кармен Секуларе* - болезнь и смерть 264

ГЛАВА VI.

Характер Горация - Описания его виллы в Тиволи и сабинского хутора - Место, где находится *Бандузийский фонтан* - Окрестные пейзажи - Предметы его сатир и посланий - Красота его од - Упоминания греческих поэтов - Поддельные оды - Хронологическое расположение 278

ГЛАВА VII.

Биография *Мекенаса* - его близость и влияние на *Августа* - его характер - *Вальгий Руф* - *Варий* - *Корнелий Галл* - биография *Тибулла* - его стиль - критика *Мурета* - *Проперций* - имит *александрийских поэтов* - *Эмилий Мацер* 295

ГЛАВА VIII.

Рождение и воспитание *Овидия* - Его риторические способности - Анекдот, рассказанный *Сенекой* - Его поэтический гений - Самоуглубленная жизнь - 307

Популярность - Изгнание - Место изгнания - Эпистолы и другие произведения - Граций Фалиск - Педо Альбинован - Аулус Сабин - Марк Манилий

ГЛАВА IX.

Прозаики - влияние Цицерона на язык - его общение с друзьями - его ранняя жизнь - выдвижение своего первого дела - квестор, эдил, претор и консул - его изгнание, возвращение и управление провинцией - его колеблющееся поведение - он доносит свои Филиппики - его проскрибировали и убили - его характер 320

ГЛАВА X.

Цицерон как историк - защита его ораторского стиля - его главная прелесть - замечания о его судебных орациях - его ораторское искусство по существу - политические орации - риторические трактаты - цель его философских работ - особенности римской философской литературы - философия Цицерона - его политические работы - письма - его корреспонденты - Варро 332

ГЛАВА XI.

Римская историческая литература - Главные историки - Луций Лукулл - Корнелий Непос - Мнения о подлинности произведений, носящих его имя - Биография И. Цезаря - Его комментарии - Их стиль и язык - Его скромность переоценена - Другие произведения - Характер Цезаря 355

ГЛАВА XII.

Жизнь Саллюста - Его неискренность - Его исторические труды - Он был ярким противником новой аристократии - Расточительность этого ордена - Его стиль сравнивают со стилем Фукидида - Его ценность как историка - Трог Помпей - Его *Historiæ Philippicæ* 369

ГЛАВА XIII.

Жизнь Ливия - цель написания истории - ее дух и характер - Ливий точно соответствует своей эпохе - не умышленно неточен - его политические пристрастия объяснимы - материалы, которые он мог бы использовать - источники истории - его недостатки как историка - его стиль - грамматики - Витрувий Поллий, 377

августинский писатель - содержание его работы

КНИГА III.

ЭПОХА УПАДКА.

ГЛАВА I.

Упадок римской литературы - она стала декламационной - Биография Федра - 390
Гениальность его басен - Моральные и политические уроки, заложенные в них -
Примеры басен - Басни, подсказанные историческими событиями - Сеян и
Тиберий - Эпоха, неблагоприятная для литературы - Умеренность Федра -
Превосходство Исопа - Классический стиль Федра

ГЛАВА II.

Драматическая литература в эпоху Августа - возрождение при Нероне - недостатки 403
трагедий, приписываемых Сенеке - внутренние доказательства их авторства -
Сенека-философ, стоик - непоследовательный и неустойчивый - настроения его
философских трудов в его трагедиях - сравнение параллельных отрывков -
французская школа трагических поэтов

ГЛАВА III.

Биография Персия - его школьные годы - его друзья - его чистота и скромность - 412
его недостатки как сатирика - тема его сатир - неясность его стиля - сравнение с
Горацием - биография Ювенала - разложение римских нравов - критические
замечания о сатирах - их историческая ценность - стиль Ювенала - он был
последним из римских сатириков

ГЛАВА IV.

Биография Лукана - Надпись в память о нем - Чувства, выраженные в "Фарсалии" - 428
Лукан неравный поэт - Достоинства и недостатки "Фарсалии" - Характеристика его
эпохи - Трудности исторической поэзии - Лукан описательный поэт - Образцы его
поэзии - Биография Силия Италика - Его характеристика у Плиния - Его поэма
скучна и утомительна - Его описание Альп

ГЛАВА V.

С. Валерий Флакк - Недостатки "Аргонавтики" - Папиний Стаций - Красота его малых поэм - Неспособность к эпической поэзии - Домициан - Эпиграмма - Марциал - Его биография - Распущенность эпохи, в которой он жил - Незрелость его сочинений - Выгодные образцы его поэзии 441

ГЛАВА VI.

Ауфидий Басс и Кремуций Корд - Веллий Патеркул - характер его сочинений - Валерий Максим - Корнелий Тацит - эпоха Траяна - биография Тацита - перечисление его сохранившихся сочинений - Агрикола - Германия - истории - традиции в отношении евреев - анналы - предмет Тацита - его характер - его стиль 455

ГЛАВА VII.

С. Суетоний Транквилл - его биография - источники его истории - его большие недостатки - К. Курций Руф - время его расцвета сомнительно - его биография Александра - эпитомы Л. Аннея Флора - источники, из которых он их почерпнул 469

ГЛАВА VIII.

М. Анней Сенека - его "Controversiæ" и "Suasoriæ" - Л. Анней Сенека - наставник Нерона - его огромное состояние - его смерть и характер - несоответствия в его философии - любимец ранних христианских писателей - его послания - работы о природных явлениях - апоколоцитоз - его стиль 476

ГЛАВА IX.

Плиний Старший - его привычки, описанные его племянником - его трудолюбие и прилежание - его смерть при извержении Везувия - извержение, описанное в двух письмах Плиния Младшего - естественная история Плиния - описание ее предметов - Плиний Младший - его привязанность к своему опекуну - его панегирик, письма и депеши - то, что касается христиан - ответ 483

ГЛАВА X.

М. Фабий Квинтилиан - Биография - Ораторские институты - Взгляды на образование - Разделение предмета на пять частей - Обзор греческой и римской литературы - Завершение его великого труда - Другие его работы - Его нрав - Горе от потери сына 499

ГЛАВА XI.

А. Корнелий Цельс - его заслуги - Цицерон Медикорум - Скрибоний Ларгус Дезигнатианус - Помпоний Мела - Л. Юний Модератус Колумелла - С. Юлий Фронтин - Упадок вкуса в Серебряном веке - Иностранное влияние на римскую литературу - Заключение 508

Хронологическая таблица 515

РИМСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

КНИГА I. ПЕРВАЯ ЭРА.

ГЛАВА I.

СРАВНЕНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С ГРЕЧЕСКИМ - ЭРЫ ЛАТИНСТВА - ПРОИСХОЖДЕНИЕ РИМЛЯН - ЭЛЕМЕНТЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА - ВЛИЯНИЕ ЭТРУСКОВ.

Различные расы, которые с глубокой древности населяли полуостров Италия, неизбежно придали латинскому языку составной характер. Но так как все они произошли от одного общего источника, великого индоевропейского фонда, к которому принадлежала и эллинская семья, между языками Древней Греции и Рима прослеживается самая тесная связь. Не только их алфавиты и грамматические конструкции идентичны, но и гений одного из них настолько схож с гением другого, что римляне с готовностью переняли принципы греческого литературного вкуса, а латынь, не теряя своих характерных черт, слепила себя по греческому образцу.

Латынь, однако, не обладает той пластичностью, которой обладает греческая, - природной способностью превращаться в любую форму, придуманную фантазией и воображением. Это более твердый материал, он легко принимает полировку, но процесс, с помощью которого он ее получает, трудоемок и искусственен. Греческий язык, подобно жидкости или мягкому веществу, кажется, кристаллизуется как бы спонтанно в самые прекрасные формы: Латынь, будь то поэзия или проза, только благодаря непревзойденному искусству и мастерству обретает ту изящную красоту, которая является естественным свойством родственного языка.

Латынь, продолжая ту же метафору, обладает и другими характерными чертами твердых веществ - гравитацией, твердостью и импульсом или энергией. Это подходящий язык для воплощения и выражения мыслей активных и практичных, но не образных и спекулятивных людей.

Но латинский язык, несмотря на свою нервную энергию и конституциональную силу, отнюдь не демонстрирует постоянство и жизнеспособность греческого. Греческий язык, начиная с самых ранних произведений, дошедших до наших дней, может похвастаться существованием, измеряемым почти половиной продолжительности человеческой расы, и все же, насколько постепенными были изменения в классические периоды, и насколько малы, по сравнению с другими европейскими языками, сумма и результат всех этих изменений! Если отбросить различия, обусловленные расой и физической организацией, то между одним литературным периодом и другим нет ни резких пропастей, ни широких линий разграничения. Переход происходит мягко, медленно и постепенно. Последовательные шаги можно проследить. Литературный стиль одного периода тает и вливается в стиль следующего, подобно тому, как сменяют друг друга оттенки и цвета призмы. Греческий язык гомеровских поэм не настолько отличается от языка Геродота и Фукидида, трагиков, ораторов и даже авторов более поздних эпох, чтобы тот же ученый, который понимает один из них, мог проанализировать и остальные. Несмотря на то, что их разделяло столько веков, современники Демосфена могли оценить красоты Гомера, а византийцы и ранние христианские отцы писали и говорили на языке древнегреческих философов.

Греческий язык давно пережил греческую национальность. Самые ранние римские историки писали на греческом, потому что у них еще не было родного языка, пригодного для выражения их мыслей. Во времена Цицерона римляне сделали греческий язык основой либерального образования и часто посещали Афины как университет для изучения греческой литературы и философии. Великий оратор, защищая поэта Архия, сообщает нам, что греческую литературу читали почти все народы мира, в то время как латынь все еще оставалась в очень узких границах. В начале христианской эры греческий язык был настолько распространен во всем цивилизованном мире, что именно его выбрали евангелисты для записи евангельских доктрин. Во времена Адриана греческий был любимым языком литераторов. Принцесса Анна Комнина, дочь императора Алексея, и Евстафий, комментатор Гомера, оба из которых жили в двенадцатом веке после рождения Христа, славятся необыкновенной чистотой своего стиля; и, наконец, Филельф, живший в пятнадцатом веке и посетивший Константинополь, утверждает в письме от А. 1451 г., что, хотя в этой столице говорили на плохом греческом языке, двор, и особенно дамы, сохранили достоинство и элегантность, присущие самым чистым писателям классических веков. "*Græci quibus lingua depravata non sit, et quos ipsi tum sequimur tum imitamur ita loquuntur vulgo etiam hac tempestate ut Aristophanes comicus ut Euripides tragicus, ut oratores omnes ut historiographi ut philosophi etiam ipsi et Plato et Aristoteles. Viri aulici veterem sermonis dignitatem atque elegantiam retinebant.*"

Такова была удивительная жизнеспособность греческого языка в его древней форме; и все же, как ни странно, несмотря на то, что он так цеплялся за существование, кажется, что это было растение такой нежной природы, что оно могло расцвести только при стечении благоприятных обстоятельств. Оно чахло и увядало, когда его отделяли от живого греческого интеллекта. Оно жило только там, где жили сами греки, на своей родине или в своих колониях. В других местах она не приживалась. Когда в какой-либо части света греческое поселение приходило в упадок, а население вымирало, даже если греческое искусство и наука, литература и философия находили там временный приют, язык тоже погибал.

Греческий язык не мог существовать, когда прекращалась опека родного гения: тогда он снова сжимался до своих первоначальных размеров и ограничивался пределами своего родного дома. Когда греки в каком-либо месте ушли из жизни, их язык не повлиял и не слился с тем народом, который пришел им на смену. С другой стороны, латынь распространялась, как и владычество Рима, путем завоевания; она либо занимала место языка завоеванного народа, либо прививалась к нему и постепенно проникала в его состав. Поэтому его присутствие заметно во всех европейских языках. В Испании он соединился с кельтским и иберийским еще при Гракхах; в Галлии он был насажден завоеваниями Юлия Цезаря, в Британии (если судить по названиям местностей) - его временными экспедициями; и наконец, при Траяне он окончательно утвердился в далеких областях Дакии и Паннонии.

Вряд ли правильно называть греческий язык мертвым. Он деградировал, но никогда не исчезал и не исчезает. Забылись его гармоничные модуляции, перестало звучать тонкое произношение, но на греческом по-прежнему говорят в Афинах. Язык, конечно, демонстрирует те особенности, которые составляют основное различие между древними и современными языками; предлоги и частицы вытеснили аффиксы и инфлексии, вспомогательные глаголы заполняют пробелы, возникшие из-за разрушения старых спряжений, а буквальные переводы современных форм речи придают им атмосферу несоответствия и варварства; но в целом язык сохранился замечательно. Образованный современный грек найдет меньше трудностей в понимании трудов Ксенофонта, чем англичанин при чтении Чосера или, возможно, Спенсера.

Греческий язык демонстрирует не только жизнеспособность, но и индивидуальность. По сравнению с другими языками, его поток протекал чистым через варварские земли, и был лишь немного подкрашен или загрязнен почвой, через которую он проходил. В латыни нет ничего подобного, ни жизненной силы, ни способности сопротивляться изменениям. Странно сказать, но, несмотря на то, что латынь частично происходит из того же источника, ее свойства кажутся совершенно разными. Латынь, похоже, имела сильную склонность к изменениям; она легко становилась полированной и так же легко варваризировалась; ей не составляло труда обогащать себя новыми выражениями, заимствованными из греческого, и соответствовать греческим правилам вкуса и грамматики. Когда он вступил в контакт с языками других народов, сродство, которое он имел с ними, было настолько сильным, что он быстро слился с ними, но он не столько влиял на них, сколько сам получал от них отпечаток. Он не вытеснил, но впитался в другие языки и был испорчен ими. Вероятно, поскольку изначально он состоял из многих европейских элементов, он признавал родство со всеми другими языками и поэтому легко допускал слияние с ними в составную форму. Его существование ограничено рамками менее восьми веков. Он принял форму, приспособленную для литературного творчества, менее чем за два с половиной века до христианской эры, а разговорным языком перестал быть в шестом веке.

Пока Римская империя существовала в своей целостности, а столица сохраняла свое влияние как покровитель, к которому все литераторы должны были обращаться за поддержкой, и как образец утонченности и цивилизации, язык сохранял свое господство. Провинциальные писатели старались избавиться от своих провинциализмов. В Риме они формировали свой вкус и получали образование. Правилom языка был столичный обиход; но когда империя была расчленена, и язык освободился от прежних ограничений, каждая ее часть почувствовала себя вправе иметь собственный независимый язык и литературу, классическим стандартом стали пренебрегать, латынь быстро стала варваризироваться. Опять же, латынь проникла в каждый язык цивилизованной Европы или стала его ядром; она продемонстрировала огромные возможности адаптации, но не проявила индивидуальности

или силы, чтобы вытеснить его; но отношение, которое она имеет к ним, совершенно не похоже на то, которое древнегреческий язык имеет к современному. Лучший латинский ученый не поймет Данте или Тассо, а знание итальянского языка не позволит прочесть Горация и Вергилия.

Старый римский язык в том виде, в котором он существовал до соприкосновения с греческим влиянием, почти полностью исчез. Далее будет показано, что сохранилось лишь несколько записей о нем; и язык этих фрагментов сильно отличается от языка классического периода. Старый язык не перерос в новый, как греческий двух последовательных эпох, в процессе развития, но был переделан под влиянием внешних и иностранных воздействий. Старый римский язык настолько отличался от классической латыни, что, хотя исследования современных ученых позволили нам расшифровать сохранившиеся фрагменты и указать на аналогии, существующие между старыми и новыми формами, некоторые из них с трудом могли понять самые умные и образованные люди эпохи Августа. Договор, который Рим заключил с Карфагеном в первый год Республики, был выгравирован на медных табличках и хранился в архивах Капитолия. Полибий был достаточно образован, чтобы перевести его на греческий, но он говорит нам, что его язык был слишком архаичен для римлян его времени.^[4]

Большой промежуток отделяет эту старую латынь от латыни Энния, чей стиль сформировался под влиянием греческого вкуса; другой, не столь большой, пролегает между эпохой Энния и эпохой Плавта и Теренция, которые писали на языке своего города, но, по общему признанию, копировали греческие образцы; И, наконец, Цицерон и поэты Августа обозначают другую эпоху, к которой от предыдущей нас отделяет единственный переход - ораторский стиль Кая Гракха, который, как сообщает нам традиция, был свободен от древней грубости, хотя и не приобрел гладкости и полировки Гортензия или Цицерона.

Для того чтобы выяснить происхождение латинского языка, необходимо проследить происхождение языка самих римлян. В самые отдаленные времена, к которым восходит традиция, полуостров Италия, по-видимому, был населен тремя родами или племенами великой индогерманской семьи. Одно из них известно под именем осканов; другое состояло из двух ветвей - сабеллинов, или сабинов, и умбрийцев; третье называлось сикели, иногда витули и италики. Какое родство существовало между этими и другими индоевропейскими племенами, вышедшими из Италии, или каким путем они пришли из первоначальной колыбели человеческой расы, остается неясным. Дональдсон считает, что все так называемые аборигенные жители Италии были той же расы, что и литовцы или старые пруссы. Осканцы, очевидно, судя по названию, которое традиция приписывает им, претендовали на роль коренных жителей. Имя *Osci*, или *Orici*, которое является его более длинной формой, этимологически связано с *Опсом*, богиней Земли, и, следовательно, их национальное название эквивалентно греческим терминам *αὐτοχθόνες*, или *υἱὲς γῆς*, "дети земли". То, что сабеллийцы и умбрийцы являются ветвями одного и того же рода, доказывается сходством языков, на которых они говорят. Умбрийцы также претендовали на большую древность, поскольку греки, как говорят, дали им свое имя от *οὐβρος*, дождь; подразумевается, что они были допотопной расой и пережили бури дождя, которые обрушились на мир. Плиний также считает их древнейшей расой в Италии.^[5]

Первоначальные поселения умбрийцев простирались на территории, ограниченной с одной стороны Тибром, с другой - По. Вся страна к югу находилась во владении осканов, за исключением Лация, который населяли сикелы. Но со временем осканцы, под давлением сабеллинов, вторглись в жилища этого мирного и сельского народа, часть которого покорилась и объединилась со своими завоевателями, остальные же были изгнаны через узкое море в Сицилию и дали название этому острову.^[6] Эти туземные племена не остались в

беспрепятственном владении своим богатым наследством. На север Италии прибыла предприимчивая раса, прославившаяся как своим воинственным духом, так и умением владеть искусством мира, - пеласги (или темные азиаты), которые стали цивилизаторами Италии. Историческим исследованиям не удалось выяснить, какие поселения населяла эта удивительная раса непосредственно перед тем, как они заняли Этрурию. Согласно рассказу Ливия^[7], они должны были прибыть в Италию морем, поскольку он утверждает, что их первые поселения были к югу от Апеннин, затем они распространились на север, и что реты были их частью, и говорили на их языке в варварской и испорченной форме. Его свидетельство должно иметь определенный вес, поскольку, будучи уроженцем этих мест, он, вероятно, знал язык ретов. Их переселение произошло, должно быть, более чем за тысячу лет до Рождества Христова^[8], и все же они далеко продвинулись в искусстве цивилизации и утонченности, а также в науке политики и общественной жизни. Они обогатили свою новоприобретенную страну торговлей и наполнили ее сильно укрепленными и многолюдными городами; их владения быстро распространились на всю Италию от моря до моря, от Альп до Везувия и Салерно, и даже проникли на острова Эльба и Корсика.^[9] Геродот^[10] утверждает, что они переселились из Лидии; эту традицию переняли римляне и они сами.^[11] Дионисий^[12] отвергает эту теорию на том основании, что между лидийским и этрусским языком, религией или институтами нет никакого сходства, а Ксанф, коренной лидийский историк, не упоминает об этой миграции. Несомненно, язык уникален и не может быть связан ни с одной семьей; но их алфавит - финикийский, их теология и полития - восточные, их национальная одежда и национальный символ, орел, были лидийскими, и замечательный обычай, о котором упоминают Геродот^[13] и Плавт^[14], также был лидийским.

Вступив на территорию умбрийцев, они вытеснили их в труднопроходимые и гористые районы, а сами заняли богатые и плодородные равнины. Главой квартала захватчиков была Этрурия; покоренные умбрийцы жили среди них как подвластный народ, подобно пелопоннесцам под властью дорийских завоевателей или саксам под властью норманнской знати. Эта часть пеласгов называла себя расенами, греки говорили о них как о тирсенах, название, очевидно, связанное с греческим *τιρρς* или *τιρςς* (лат. *Turris*), что замечательно подтверждает утверждение Геродота, поскольку единственные пеласги, славившиеся архитектурой или строительством башен, были те, кто претендовал на лидийское происхождение, а именно аргивяне и этруски.^[15] Эта теория пеласгийского происхождения этрусков принадлежит Лепсиусу,^[16] и была принята Дональдсоном;^[17] и если она верна, то язык Этрурии, вероятно, был пеласгийским, смешанным с родным умбрийским и в определенной степени испорченным.

Пеласгическое господство на левом берегу Тибра никто не оспаривал. Теперь обратимся к влиянию этих захватчиков в Нижней Италии. Продвигаясь на юг, они победили осканцев и заняли равнины Лациума. Однако они недолго оставались в мире в завоеванных ими районах. Старые жители вернулись с соседних нагорий, куда были изгнаны, и подчинили себе северную часть Лациума.

История захвата Этрурии, о которой уже рассказывалось, повторилась здесь с той лишь поправкой, что доминирующим племенем здесь были осканы, а подвластным народом, среди которого они поселились, - пеласги и сикелы, которыми по-прежнему была занята вся остальная низменная часть Лация. Города севера образовали федеративный союз, столицей которого была Альба, а главным городом южной, пеласгийской конфедерации был Лавиниум, или Латиниум. Завоеватели-осканцы были народом воинов и охотников, и поэтому, как заметил Нибур, в языке этого района термины, относящиеся к войне и охоте, являются осканскими, а те, которые относятся к миру и сельским занятиям, - пеласгийскими.

Поэтому, как язык Этрурии был пеласгийским, испорченным умбрийским, так и формула "пеласгийский + осканский" представляет язык Лациума.

Но римский или латинский язык еще более составной по своей природе и состоит не только из этих двух элементов. Это явление также объясняется происхождением римского народа. Септимонтиум, на котором был построен старый Рим, был занят различными италийскими племенами. Латинское племя, принадлежавшее, если верить мифической традиции, к Альбанской конфедерации, обосновалось на Палатинской горе, а сабины или сабеллины занимали соседние Квиринальскую и Капитолийскую высоты. Взаимная расовая ревность некоторое время держала их отдельно друг от друга, но в конце концов привилегия межродового брака была уступлена, и две общины стали одним народом.

Однако тирренские пеласги, отделенные лишь небольшой рекой от этого нового государства, быстро набирающего силу и процветающего, вряд ли смотрели на его существование без недоверия и ревности. Соответственно, ранние римские исторические традиции явно указывают на период, в течение которого Рим находился под властью этрусков. Когда этрусская династия угасла, ее влияние во многих отношениях еще сохранялось. Религия и мифология Этрурии оставили неизгладимую печать на обрядах и церемониях римского народа. Этрусские божества были естественными богами Рима до того, как влияние греческой поэзии ввело в его пантеон мифологию Гомера и Гесиода. Характеры и атрибуты этих божеств полностью отличались от греческих. Никакие развратные оргии не позорили их поклонение; они не были осквернены ни одним из пороков.^[18] Сатурн, Янус, Сильванус, Фавн и другие этрусские божества были серьезными, почтенными, чистыми и наслаждались простыми занятиями сельской жизни. Лишь общие черты сходства позволили поэтам более поздних веков отождествить Сатурна с Кроносом, Сильвана с Паном, пророческих Каменев Яникула с музами Парнаса.^[19] Однако наиболее важным для настоящего рассмотрения является то, что их язык также подвергся постоянному воздействию.

Этническое родство, о котором здесь кратко говорилось и которое можно считать удовлетворительно установленным благодаря исследованиям Нибура, Мюллера, Лепсиуса, Дональдсона и других, является путеводителем по родству латинского языка и указывает на элементы, из которых он состоит. Этими элементами, , являются умбрийский, осканский, этрусский, сабинский и пеласгийский; но, как уже было сказано, этрусский язык был соединением осканского и пеласгийского, а сабинский был связующим звеном между умбрийским и осканским, поэтому элементы латинского языка сводятся к трем, а именно: умбрийскому, осканскому и пеласгийскому. Их снова можно разделить на две категории, одна из которых имеет, а другая не имеет сходства с греческим. Все латинские слова, которые напоминают греческие, являются пеласгическими,^[20] все, которые не имеют сходства, являются осканскими и умбрийскими. Из первого из этих классов, конечно, следует исключить те слова, такие как, например, *Triclinium* и т. д., которые непосредственно происходят от греческих, происхождение которых частично относится к тому времени, когда Рим начал общаться с греческими колониями *Magna Græcia*, частично к тому времени, когда греческий язык оказал влияние на римскую литературу. Из свидетельства Горация ясно, что обогащение языка за счет заимствования таких иностранных слов защищалось и поощрялось литераторами эпохи Августа:...

-- *Si forte necesse est*

Indiciis monstrare recentibus abdita rerum

Fingere cinctutis non exaudita Cethegis

Continget; dabiturque licentia sumta pudenter,
Et nova fictaque nuper habebunt verba fidem, si
Græco fonte cadant, parce detorta.
Hor. Ep. ad Pis. 48.

ГЛАВА II.

ЕВГУБИНСКИЕ ТАБЛИЦЫ - СУЩЕСТВОВАНИЕ ОСКАНА В ИТАЛИИ - БАНТИНСКАЯ ТАБЛИЦА - ПЕРУАНСКАЯ НАДПИСЬ - ЭТРУССКИЙ АЛФАВИТ И СЛОВА - ПЕСНОПЕНИЕ БРАТСТВА АРВАЛОВ - САЛИЙСКИЙ ГИМН - ДРУГИЕ ПАМЯТНИКИ СТАРОЙ ЛАТЫНИ - СРАВНЕНИЕ ЛАТИНСКОГО И ГРЕЧЕСКОГО АЛФАВИТОВ.

УМБРИЙСКИЙ ЯЗЫК.

В окрестностях Угубио,^[21] у подножия Апеннин (древний Игувиум), в 1444 году н. э. были обнаружены семь таблиц, обычно называемых Эвгубинскими таблицами. Они были в хорошей сохранности и содержали молитвы и правила для религиозных церемоний. Некоторые из них были выгравированы этрусским или умбрийским шрифтом, другие - латинскими буквами. Лепсиус^[22] определил, исходя из филологических соображений, что датировать их следует не ранее 400 года н. э.,^[23] а буквы были выгравированы примерно двумя столетиями позже. Сравнение этих двух знаков показывает, что в умбрийском иероглифе буква *s* стоит на месте *r* в латинском, а *k* - на месте *g*, поскольку этрусский алфавит, с которым совпадает умбрийский, не содержал медиальных букв *B*, *G*, *D*. Аналогичная замена наблюдается при переходе от старой к более современной латыни. Например, имена *Furius* и *Caius* первоначально писались *Fusius* и *Gaius*. *H* также вводится между двумя гласными, как *stahito* для *stato*, подобно тому, как в латыни *aheneus* происходит от *aes*. Оказывается, что окончание мужского рода единственного числа было *o*: так, *orto* = *ortus*; в то время как окончание множественного числа было *or*; например, *subator* = *subacti*; *screhitor* = *scripti*. Этот способ инфлексии иллюстрирует форма *amaminor* для *amamini*, которая сама по себе была причастием, используемым для *amamini estis*, идиома, аналогичная греческой *τετιμμενοι εἰσι*.

Следующего отрывка, с переводом Дональдсона,^[24] вместе с несколькими словами, которые имеют наибольшее сходство с латинским, будет достаточно, чтобы дать общее представление об отношении, которое умбрийский язык имеет к нему:-

Teio subokau suboko, Dei Grabovi, okriper Fisiu, totaper Jiovina, erer nomne-per, erar, nomne-per; fos sei, paker sei, okre Fisei, Tote Jiovine, erer nomne, erar nomne: Таб. VI. (Лепсий.) Te invocavi invoco, Jupiter Grabovi, pro monte Fisiu, pro urbe Iguvina, pro illius nomine, pro hujus nomine, bonus sis, propitius sis, monti Fisiu, urbi Iguvinæ, illius nomine, hujus nomine.

Alfu	albus	белый
Aca	apa	алтарь
Aveis	aves	птицы
Баф	бовы	быки
Ферина	фарина	мука

Неп	нек	ни
Nome	noмен	имя
Парфа	парра	сова
Peica	пикус	пищуха
Периклум	прекулум	молитва (уменьш.)
Poplus	populus	народ
Puni	panis	хлеб
Рехте	ректе	правильно
Skrehto	scriptus	написанный
Suboko	субоко	вызывать
Subra	supra	выше
Taflle	табула	стол
Tuplu	дуплю	двойной
Триплер	триплюс	тройной
Tota (аналогично)	totus	город (целое или собрание)
Vas	fas	закон
Vinu	vinum	вино
Уве	ovis	овца
Витлу	витулус	теленок. ^[25]

ОСКАНСКИЙ ЯЗЫК.

Дошедшие до нас остатки этого языка принадлежат, по сути, к составному идиому, состоящему из сабинского и осканского. Хотя его литература полностью исчезла, надписи, к счастью, все еще сохранились; но поскольку они, должно быть, были выгравированы задолго до поселения сабеллинов в Южной Италии, язык, на котором они написаны, обязательно должен быть составлен из тех, на которых говорили как завоеватели, так и покоренные. Хотя Ливий^[26] упоминает об осканской драматической литературе, поскольку рассказывает, что осканские "Fabulae Atellanæ" появились, когда в Риме свирепствовал мор,^[27] вместе с другими театральными развлечениями, он говорит об осканском языке только в одном месте.^[28] Это, однако, очень важно, поскольку доказывает, что осканский был родным языком самнитов в тот период. Он рассказывает, что Волумний послал в лагерь самнитов шпионов, которые понимали осканский язык: "Gnaros Oscæ linguæ exploratum quid agatur mittit".

Очевидно, что причина преобладания осканского языка среди этого народа заключается в том, что господствующими порядками в Самниуме были сабины. Но есть свидетельства существования осканского языка в Италии и в более поздний период. Нибур^[29] утверждает, что во время Социальной войны^[30] марсины говорили на осканском, хотя в письменности использовали латинские знаки. Некоторые денарии, отчеканенные конфедеративным итальянским правительством, созданным в ходе войны в Корфиниуме, до сих пор имеют надпись *Italia*, в то время как на других изображено слово *Viteliu*. Последнее - это старая осканская орфография, а первое - латинская. Таким образом, один класс этих монет

предназначался для сабинян, а другой - для марсианских союзников. Говорят также, что на осканском языке говорили и после создания империи.

Главным памятником Сабелло-Оскана является латунная табличка, обнаруженная в 1793 году. Поскольку слово *Bansæ* встречается в 23-й строке надписи, предполагается, что оно относится к городу Бантия, который находился недалеко от места, где была найдена табличка, и поэтому она называется Бантинской таблицей. Благодаря прекрасному состоянию центральной части, большая часть этой надписи была истолкована с достаточной уверенностью и правильностью. Можно проследить родство большинства слов с соответствующими им латинскими; совершенно ясно, что отклонения от латыни следуют определенным правилам, и что грамматические инфлексии были такими же, как в древнейшей латыни. Копию таблицы можно найти в коллекции Ореллиуса, а также в "Varronianus" Дональдсона. Ниже приведено несколько примеров слов, в которых легко распознать сходство с латынью, а также, в некоторых случаях, связь осканского с другими древними языками Италии: - Licitudo

Licitud	Liceto
Multam	Mulctam,
Maimas	Максимы,
Карнеис	Carnes
Senateis	Senatus
Pis	quis
Hipid	habeat
Прухипид	præhibeat
Прухипуст	pæхибуент
Цензура	цензор
Цензает	цензапит
Censaum, &c.	цензура и т. д.
Comonei	Communis
Perum dolum mallom siom	Per dolum malum suum
Iok-lonc	hoc-hunc
Под	quod
Valæmon	Valetudinem
Fust	fuerit
Poizad	penset (англ., poize.)
Fuid	fuit
Тарпиниус	Тарпиниус
Ampus	Ancus

К ним можно добавить и другие известные слова, которые, по мнению всех филологов, изначально были осканскими, но вошли в латинский язык, например, Brutus, Cascus, Catus, Fœdus, Idus, Porcus, Trabea; а также имена божеств, такие как Fides, Terminus, Vertumnus, Fors, Flora, Lares, Mamers, Quirinus и т. д.

ЭТРУССКИЙ ЯЗЫК.

Сложность и неясность, в которой находится этрусский язык, объясняется характером обнаруженных надписей и памятников. Те записи, на которые мы уже ссылались, говоря об умбрийском и Сабелло-Оскане, носили церемониальный или юридический характер; поэтому они содержали связные фразы и предложения, разнообразные формы мысли и выражения. Такие памятники, как Таблицы Эвгубина или Бантина, вносят немалый вклад в словарный запас языков, а еще больший - в знание их структуры и аналогий. Однако с этрусскими памятниками древности, которые были обнаружены до сих пор, дело обстоит иначе. Их действительно много, но они не отличаются разнообразием. Они представляют собой погребальные записи хвалебного характера или титулы, начертанные на статуях и вотивных подношениях. Поэтому постоянно повторяется одна и та же краткая фраза, а основную часть надписей занимают имена собственные.

Самой важной, потому что самой большой из обнаруженных до сих пор этрусских надписей является та, что была найдена близ Перуджи в 1822 году.^[32] Эта надпись содержит сто тридцать одно слово и сокращение слов, и из них не менее тридцати восьми - имена собственные. Из остальных слов огромное количество либо часто повторяется, либо имеет этимологическую связь. Этого оказалось недостаточно, чтобы любой филолог (хотя многие пытались это сделать) смог дать удовлетворительное и достоверное объяснение его содержания.

Сравнение перуджинской и эвгубинской надписей показывает наличие сходства между некоторыми словами, встречающимися в обеих надписях; и это именно то, что мы *априори* должны были бы ожидать от теории, согласно которой этрусский язык является соединением пеласгийского и умбрийского. В перуджийской надписи слова, напоминающие умбрийские формы, более многочисленны, чем те, которые, кажется, имеют родство с пеласгийскими. Действительно, язык, на котором она написана, похоже, почти полностью утратил пеласгийский элемент. Такое же наблюдение можно сделать и в отношении кортонской надписи:^[33] -

Arses verses Sethlanl tephral ape termnu pisest estu; *m.e.* Avertas ignem Vulcane victimarum carne post terminum piatus esto; Avertas ignem Vulcane in cinerem redigens qui apud terminum piatus esto.

Вероятно, оба эти произведения относятся к тому периоду, когда старый умбрийский язык завоеванных племен долгое время оказывал влияние на чистый пеласгийский язык завоевателей.

Сохранился один пример этрусского алфавита. Он был обнаружен в гробнице в Бомарцо г-ном Деннисом,^[34] с надписью вокруг ножки кубка, и, вероятно, был подарен ребенку. Буквы располагались слева направо и выглядели следующим образом:-

8Y OVXEDM7YVMI0H8F E3A.²
ph ch th u t s r s p n m l i th h z v e c a

Из этого примера видно, что в этрусском языке не было букв В Г Д Э Ψ Н О Ω.

Ниже приводится каталог этрусских слов, дошедших до нас, вместе с их латинской интерпретацией. Список весьма скуден, но ценен тем, что содержит некоторые из них, вошедшие в латинский язык, и демонстрирует много родственных связей с пеласгами: - Æsar

Æsar	Deus
Agalletor	Puer
Андар	Бореас
Anhelos	Аврора
Антар	Аквила
Аракос	Акципитер
Аримос	Симия
Arse Verse	Averte ignem
Ataison	Витис
Burros	Rosulum
Balteus	} То же, что и в латинском.
Capra	
Кассис	
Целер	
Capys	Фалько
Damnus	Equus
Drouna	Principium
Falandum	Cœlum
Gapos	Currus
Hister	Лудио
Iduare	Dividere
Idulus	Ovis
Itus	Идус
Læna	Vestimentum
Ланиста	Carnifex
Лар	Dominus
Лукумо	Princeps
Mantisa	Additamentum
Нанос	Вагабундус
Nepos	Luxuriosus
Расена	Этруски
Subulo	Тибицен
Слан	Филиус
Sec	Filia
Рил авил	Vixit annos
Toga	Toga

Находки генерала Галасси и мистера Денниса в этрусском городе Черветри показали, до какой степени пеласгийский элемент преобладал в старых этрусках. Черветри был старым Сэром или Агиллой, который был основан пеласгами, поддерживал религиозную связь с

греками как с родственной расой,^[36] и оставался пеласгическим до позднего периода.^[37] В царской гробнице, обнаруженной в этом месте, имя Тарквина...

ΣΑΙΨΥΑΤ

встречается не менее тридцати пяти раз.^[38] На маленькой вазе в форме крышки, похожей на чернильницу, были найдены надписи слогов Vi, Va, Vu и т. д., как в роговой книге, а также алфавит пеласгийского характера.^[39] Эти знаки почти идентичны этрусским. Кроме того, генерал Галасси нашел здесь небольшой черный горшок, на котором были нацарапаны буквы и залиты красной краской.^[40] Лепсиус признал их пеласгийскими, разделил на слова и расположил их в следующих строках, которые, очевидно, являются гексаметрическими:-

Mi ni kethu ma mi mathu maram lisiai thipurenai

Ethe erai sic epana mi nethu nastav helephu.

Мистер Дональдсон^[41] высказал несколько предположений с целью объяснения этой надписи, и ясно показал многие близкие сходства с греческими; но есть еще одна, которую он цитирует, и которую Мюллер^[42] считает чисто пеласгийской, которая даже в своей пеласгийской форме почти греческая: -

Mi kalairu fuius.

Ἰμι Καλαίρου Φυῖος.

В рамках данной работы невозможно попытаться проанализировать все известные этрусские слова и указать на их родство с пеласгическими, греческими или латинскими; но можно привести несколько примеров, а читателя, который захочет продолжить изучение темы, отсылаем к исследованиям ученого автора "Varronianus".

Aifil, возраст, очевидно, происходит от того же корня, что и греческое αἰών, дигамма, характерная для пеласгийского, как и для производного диалекта, Æolic, вставляется между гласными. Арунс, земледелец, содержит корень ἄρω, пахать. Капис - сокол, от саріо - ловить. Кассис (первоначально capsis) - от саpυt, голова. Литуус, изогнутый посох, от obliquus. Tora, от tego - платье, которое изначально было таким же этрусским костюмом, каким впоследствии стало характерным для римлян. Наконец, хорошо известно, что если греки обозначали числа буквами алфавита, то у римлян была система цифровых знаков. Это было большим улучшением. Греческая система обозначений была неуклюжей, потому что в действительности она лишь указывала на порядок, в котором стоит каждое число. Римская же система обозначений представляла собой арифметическое количество и даже сложение и вычитание количеств, и этим элегантным изобретением римляне были обязаны этрускам. Их цифры были следующими:.

I.	II.	III.	IIII.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	...	XL.	XL.	...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		40.	50.	

⊕ D ⊕
100. 500. 1000.



Эта система идентична римской, поскольку перевернутая A стала V а , ,



и стали соответственно L, C, D, на которые в более поздние времена была заменена M

Из приведенных здесь примеров очевидно, что пеласгийский элемент этрусского языка оказал наибольшее влияние на формирование латинского языка, так же как пеласгийское искусство и наука этого замечательного народа способствовали развитию и совершенствованию римского характера.

ДРЕВНЕЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК.

Вышеприведенные наблюдения и материалы, из которых была составлена старая латынь, подготовили почву для некоторых иллюстраций ее структуры и характера. Памятники, из которых мы черпаем всю информацию, немногочисленны: пожар в Риме уничтожил большинство из них; обычные несчастные случаи в течение долгих лет довершили беду. Почти единственные записи, которые остались, - это законы, церемонии, эпитафии и почетные надписи.

Пример самой древней из сохранившихся латынью содержится в священном песнопении Братьев Арвалов (Fratres Arvales). Надпись, воплощающая эту литанию, была обнаружена в 1778 году^[43] во время раскопок фундамента ризницы собора Святого Петра в Риме. Памятник относится к царствованию Гелиогабала;^[44] , но, несмотря на столь позднюю дату, постоянство религиозных формул делает вероятным, что надпись содержит именно те слова, которые пелись этим священством в самые ранние времена.

Братья Арвалы были коллегией священников, основанной, согласно преданию, самим Ромулом. Символическим знаком их должности был венчик из колосьев кукурузы (spicea corona), а их функцией было возносить молитвы в торжественных танцах и процессиях при открытии весны для обильных урожаев. Их песня исполнялась в храме при закрытых дверях в сопровождении своеобразного танца, который назывался трипудиум, так как содержал три удара. Этому ритму соответствует сатурнианская мера гимна, и по этой причине каждый стих повторялся трижды. Гимн состоит из шестнадцати букв: s иногда заменяют на r, ei - на i, а p - на f или ph. Ниже приводится его транскрипция, данная Ореллиусом, к которой прилагается толкование:...

Enos Lases juvate.

Nos Lares juvate.

Us O Lares help.

Neve luaerve Marmer sins incurrere in pleoris.

Neve luem Mars sinas incurrere plus.

Ни язве Марс не позволит вторгнуться больше.

Satur fufere Mars limen Salista berber.

Satiatus furendo Mars lumen Solis sta fervere.

Преисполненный ярости, о Марс, свет солнца перестает гореть.

Semunis alternei advocapit conctos.

Semihemones alterni ad vos capite cunctos.

Мы, полулюди, по очереди к вам обращаемся.

Enos Marmer juvato.

Nos Mars juvato.

Нам Марс помогает.

Triumpe, triumpe, triumpe, triumpe, triumpe, triumpe.

Триумф и т. д.

От салийского гимна (Carmen Saliare), еще одного памятника древней латыни, сохранились следующие фрагменты, сохраненные Варро,^[45] за исключением нескольких отдельных слов: -.

(1.) Cozeulodoizesa, omina vero ad patula coemisse

Jam cusiones; duonus ceruses dunzianus vevet.^[45]

Это было исправлено, переложено в сатурнианский метр и переведено на латынь Дональдсоном,^[46] следующим образом:-

Choroī-aulōdos eso, omina enim vero

Ad patula' ose misse Jani cariones.

Duonus Cerus esit dunque Janus vevet.

Choroio-aulodus ero, omina enim vero ad patulas aures

Miserunt Jani curiones. Bonus Cerus erit donec Janus vivet.

Я буду флейтистом в хоре, ибо жрецы Януса послали знамения в открытые уши. Церус (Творец) будет благосклонен, пока жив Янус.

(2.) Divum empta cante, divum deo supplicante.

7. e. Deorum impetu canite, deorum deo suppliciter canite.

Пойте по вдохновению богов, пойте как сторонники бога богов.

Leges Regiæ обычно считаются следующими по древности примерами старого латинского языка; но можно не сомневаться, что, хотя метрические традиции относят их к периоду правления королей,^[47] принадлежат к более позднему историческому периоду, чем законы Двенадцати таблиц. Некоторые фрагменты законов, приписываемые Нуме и Сервию Туллию, сохранились у Феста^[48] в восстановленном и исправленном виде, и поэтому следует опасаться, что они были модернизированы в соответствии с орфографическими правилами более поздней эпохи.

Один из этих законов цитируется Ливием^[49] как вступивший в силу во время суда над выжившим Горацием за убийство его сестры, когда он вернулся, как гласит предание, после победы над Куратием. Плиний упоминает еще одно постановление,^[50] запрещающее приносить в жертву всех рыб, у которых нет чешуи; но они приведены на современной латыни и могут быть восстановлены в прежнем виде только предположением.

Поэтому мы можем сразу перейти к рассмотрению латинского текста Двенадцати таблиц, фрагменты которого сохранились у Цицерона, Авла Геллия, Феста, Гая, Ульпиана и других. Эти фрагменты можно найти собранными вместе в "Institutionum Juris Romani privati lineamenta" Хаубольда и "Varronianus" Дональдсона. Законы Двенадцати таблиц были выгравированы на медных табличках и публично установлены в Комиции, а впервые были обнародованы в 449 г. до н.э. 449 г. до н. э.^[52] До времени Юстиниана у римлян не было другого свода законов.^[53] Ниже приведены примеры слов и выражений, содержащихся в них.

Ni	nec
Em	eum
Endo jacito	injacito
Ævitas	ætas
Фуат	сидеть
Sonticus	nocens
Hostis	Hospes
Diffensus esto	differatur
Se	без
Venom-dint	венум дет
Estod	esto
Escit	est
Legassit, &c.	legaverit.

Следующий пример старой латыни содержится в Тибуртинской надписи, которая была обнаружена в XVI веке в Тиволи, древнем Тибуре. Она попала во владение семьи Барберини, но затем была утеряна и никогда не восстанавливалась. Нибур^[54] считает (и его предположение, вероятно, верно), что этот памятник является *Senatus-consultum*, относящимся к периоду второй самнитской войны.^[55] Надпись подробно описана в сборнике Грутера,^[56] а также Нибуром^[57] и Дональдсоном.^[58] Латынь, на которой она написана, можно считать почти классической, отклонения от латыни более позднего времени в основном орфографические. Например:-

Tiburtes	пишется Teiburtes
Castoris	пишется Kastorus
Advertit	написано advortit
Диксистис	пишется deixsistis
Publicæ	пишется poplicæ
Utile	пишется oitile
Inducimus	пишется indoucimus
А или ab перед v	пишется af.

За этим документом очень близко по времени следует известная надпись на саркофаге Л. Корнелия Сципиона^[59] Барбатуса и эпитафия его сыну^[60], которые написаны старым сатурнианским метром. Сципион Барбатус был прадедом Ганнибала-завоевателя и консулом в 456 году н. э., в первый год третьей Самнитской войны. Его саркофаг был найден в 1780 году в гробнице у Аппиевой дороги, откуда его перевезли в Ватикан. Эпитафия выглядит следующим образом.

Корнелий Луций Сципион Барбатус Гнейвод

Patre prognatus fortis vir sapiensque

Quoius forma virtutei parisuma fuit

Consol Censor Aidilis quei fuit apud vos

Taurasia Cisauna Samnio cepit

Subigit omne Loucana opsidesque abdoucit.

"Корнелий Л. Сципион Барбатус, сын Кнея, храбрый и мудрый человек, чья красота была равна его добродетели. Он был среди вас консулом, цензором, эдилом. Он взял Тавразию, Кизауну и Самниум; он подчинил себе всю Луканию и увел заложников".

Его сын был консулом А. У. С. 495.^[61] Следующая надпись находится на плите, которая была найдена возле Porta Капона. Заголовок написан красной краской (rubricatus):-

L. Cornelio L. F. Scipio, Aidiles, Consol, Censor.

Honc oino ploirume cosentiunt R.

Duonoro optimo fuise viro

Луций Сципион. Филиос Барбати

Consol Censor Aidiles hic fuet

Hic cepit Corsica Aleria que urbe

Dedet tempestatebus aide mereto.

"Римляне в большинстве своем согласны, что этот человек, Луций Сципион, был лучшим из хороших людей. Он был сыном Барбата, консула, цензора, Эдила. Он захватил Корсику и город Алерию. В качестве справедливого возмездия он посвятил храм Бурям".

Примечательно, что стиль этой эпитафии более архаичен, чем предыдущей.

Консулом 260 года до н. э. был К. Дуилий, который в том году одержал знаменитую морскую победу над карфагенянами; поэтому надпись, выгравированная на постаменте Columna Rostrata, возведенном в честь этого события, может рассматриваться как современный памятник языка.^[62] Некоторые изменения в ее орфографии были внесены, вероятно, в период после ее возведения, поскольку она была разорвана сверху донизу молнией А. У. С. 580,^[63] и, как предполагается, не ремонтировался до правления Августа, поскольку восстановление храма, построенного Дуилием, было начато этим императором и завершено Тиберием.^[64] Основные особенности, которые следует отметить в этой надписи: аблативы единственного числа оканчиваются на *d*, как в словах *Siceliad*, *obsidioned*; *s* ставится вместо *g*, как в *macistratos*, *leciones*; *e* вместо *i*, как в *navebos*, *ornavet*; *o* вместо *u*, как в *Duiliios*, *aurom*; классы, *nummi* и т. д., пишутся *clases*, *pumei*, а также *quiqueremos*, *triremos*, *quinresmos*, *triesmos*. Этот памятник был обнаружен в 1565 году в очень несовершенном состоянии, но многочисленные лакуны были восполнены Гротендом.

Примерно через шестьдесят лет после даты этой эпитафии^[65] был принят *Senatus-consultum*, касающийся вакханок.^[66] Этот памятник был обнаружен в 1692 году в калабрийской деревне Терра-ди-Фериоло и сейчас хранится в Императорском музее Вены.^[67]

Между латинским языком этой надписи и латинским языком классического периода почти нет различий, за исключением орфографии и некоторых грамматических инфлексий. Выражения соответствуют обычаям хороших авторов, а конструкция не лишена изящества. Этому не стоит удивляться, если вспомнить, что в то время, когда был опубликован этот указ, Рим уже обладал письменной литературой. Энний был известен как поэт и историк, а многие комедии Плавта уже ставились на публичных сценах.

Перечислив таким образом существующие памятники старого римского языка и его составные элементы, остается сравнить латинский и греческий алфавиты, чтобы продемонстрировать изменения, которым подверглись латинские буквы.

Буквы можно расположить в соответствии со следующей классификацией:-

		{	Мягкие	P	C K или Q,	T.
Согласные	{	Немые	Медиа	B	G	D.
			льные			
			Аспираты	F (V)	H	=====
	{	Жидкост		L, M, N, R.		
		и				
		Сибилант		S, X.		
	{	ы				
		Гласные		A, E, I, O, U.		

Благодаря связи, существующей между P, B и F или V, как мягким медиальным и придыхательным произношением тех же букв, P и B, а также F и V в латыни являются представителями или эквивалентами греческого звука F (ф и F), а V также иногда стоит на месте β. Например, (1) латинские *fama*, *fero*, *fugio*, *vir* и т. д., соответствуют греческим φημή, φέρω, φεύγω (F) ἄρης. (2.) *Nebula*, *caput*, *albus*, *ambo* - νεφέλη, κεφαλή, ἄλφος, ἄμφω. Аналогично, *duonus* и *duellum* превращаются в *bonus* и *bellum*; переход от *du* к звуку, похожему на английское *w*, затем к *v* и, наконец, к *b*. Старая латинская *s* использовалась как представитель соответствующей медиальной G, а также K; например, *magistratus*, *legiones*,

Carthaginienses писались на Columna Rostrata, *leciones, macistratus, Cartacinienses*.

Представителем греческого к было с; таким образом, caput означает κεφαλή: звук *qu* также, как и следовало ожидать, из-за его соответствия греческому корра (Q) и еврейскому *qoph* (ק), несомненно, имел в старой латыни тот же звук, что и С или К, и, таким образом, *quatio* становится, в композиции, *cutio*; и *quojus, quoi, quolonia*, становятся, в классической латыни, *cujus, cui, colonia*. Это произношение дошло до современного французского языка, хотя в итальянском оно утрачено. Отрывок из "Аулуларии" Плавта иллюстрирует это утверждение, а Квинтилиан^[69] также свидетельствует о существовании такого же произношения во времена Цицерона.

Придыхательная Н является в латыни представителем греческой Х, как, например, *hiems, hortus* и *humi* соответствуют χεῖμων, χόρτος, χάμα, в то время как третье греческое придыхательное немое Θ становится *tenuis* в устах ранних латинян, как в *Cartaginienses*, а звук *h* был восстановлен впоследствии, когда греческий язык оказал влияние на язык и литературу Рима.

Отсутствие звука *th* в старой латыни компенсируется различными способами; иногда с помощью *f*, как *fera, fores*, для θήρ и θύρα.

Чередования, происходящие между Т и D, а также жидкостями L, N, R, можно объяснить грамматическим принципом,^[70] который так постоянно демонстрируется в буквальных изменениях семитских языков, что буквы, артикулируемые одним и тем же органом, часто ставятся одна вместо другой. Так, D, T, L, N - все нёбные, и при произношении R также используется нёбо. Поэтому мы находим перестановку *r* и *n* в δωρον, *donum*; *æreus, æneus*; *t* и *l* в θώραξ и *lorica*; *d* и *l* в *olfacio* и *odere facio*, *Ulysses* и *Ὀδυσσεύς*; *r* и *d* в *auris* и *audio, arfuisse*, и *adfuisse*.

Оставшаяся жидкость, *m*, в латинском языке, по-видимому, не имела большого значения. В стихах она опускалась перед гласным; в глаголах она повсеместно опускалась в первом лице настоящего времени, хотя первоначально была его характеристикой, и сохранялась только в *sum* и *inquam*: она опускалась и в других словах, как *omne* для *omnem*;^[71] и Катон Цензор имел привычку ставить *dice* и *facie* для *dicam* (или *dicem*) и *faciam* (*faciem*).

Поскольку римский *x* был не более чем двойной буквой, состоящей из *g* или *s* и *s*, как *rego, regsi, rexi; dico, dicsi, dixi*, единственным согласным, оставшимся для рассмотрения, является сибилянт *s*. Основное положение, которое он занимает в латыни, соответствует аспирату в греческих словах, происходящих от тех же пеласгических корней. Таким образом, ὕς, ἔξ, ὕλη и т. д. представлены *sus, sex, silva*. Возможно, это объясняется тем, что *S* на самом деле является очень сильным придыханием. Необходимо только провести эксперимент, чтобы доказать, что сильное истечение производит шипящий звук. Те слова, которые в классическом греческом пишутся без придыхания, такие как εἶ, ἄναξ и т.д., которые, тем не менее, имеют *s* в латинском, как *si, senex* и т.д., возможно, в какой-то период произносились с более сильным придыханием. Однако наиболее заметным изменением, произошедшим с этой буквой при переходе от старой к классической латыни, является замена *r* на *s*. Таким образом, *Fusius, Papisius, eso, arbos* и т. д. становятся *Furius, Papirius, ero, arbor* и т. д.

Следующая таблица демонстрирует основные изменения, которым подверглись гласные и дифтонги:.

В современной латыни.

В древней латыни.

Е обозначалось *i*, иногда *u*, как

luci, condumnari,

Я был представлен u, ei, e, o optume, nominus, preivatus, dedit, senatuos.
У представляли oi, ou, o quoius, ploirume, douco, honc.
Æ было представлено словами ai Aidiles.
OE было представлено словами oi proilium.
Гласные иногда удваивались, как leegi, luuci, haace.^[72]

В грамматическом инфлексии основное различие между старой и новой латынью заключается в том, что в существительных старые формы были длиннее и приобрели современную форму в результате процесса сокращения, а аблатив оканчивался на *d*, как *Gnaivod*, *sententiad*; следовательно, окончание наречий было таким же, как *suprad*, *bonod*, *malod*. Такое же окончание появляется в форме *tod* в единственном числе повелительного наклонения.

ГЛАВА III.

САТУРНИАНСКИЙ МЕТР - МНЕНИЯ О ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ - РАННИЕ ПРИМЕРЫ ЭТОГО МЕТРА - САТУРНИАНСКИЕ БАЛЛАДЫ В ЖИВОМ ИЗЛОЖЕНИИ - СТРУКТУРА СТИХА - ПРИМЕРЫ РИТМИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ.

Происхождение и прогресс римского языка теперь кратко прослежены с помощью существующих памятников, от самой ранней зари его существования, когда слияние его диссонирующих элементов было настолько неполным, что едва ли можно было понять, до периода, когда даже в неукрашенной форме публичных записей он начал принимать классическую форму. Но такой анализ будет неполным, если не рассказать о стихах, которыми была написана самая ранняя национальная поэзия.

Самой древней мерой, которой пользовались латинские поэты, была сатурнианская. По мнению Германа,^[73] нет сомнений, что он был заимствован у этрусков, и что задолго до того, как были открыты фонтаны греческой литературы, в этом метре звучали строки итальянских бардов, пока Энний не ввел героический гекзаметр. Грамматик Диомед^[74] приписывает его изобретение Невию, и, похоже, подразумевает, что римский поэт почерпнул идею у греков, поскольку, по его версии, он образовал стих, добавив один слог к ямбическому триметру. Теренций Мавр, как и Атилий, утверждали, что находят подобные стихи в трагедиях Еврипида и одах Каллимаха, а Сервий и Цензорин пытались проанализировать сатурниан в соответствии со строгими правилами греческой просодии; но они были вынуждены допускать все мыслимые вольности и делать римскую грубость оправданием для нарушения тех правил, которые они сами произвольно ввели. По мнению Бентли, это был греческий метр, завезенный в Италию Невием.^[75] Единственным аргументом в пользу последней теории является тот факт, что сатурнианский стих встречается среди стихов Архилоха; но многие обстоятельства, которые будут указаны далее, делают гораздо более вероятным, что использование его греческим поэтом является случайным совпадением, чем то, что старые римские барды скопировали его у него.

Какова бы ни была его история, нет никаких сомнений в том, что если он и не возник в Италии, то его ритм в очень ранние времена был рекомендован итальянскому уху и стал признанным средством их национальной поэзии. Грубое подобие его можно обнаружить в таблицах Эвгубина; более высокую степень совершенства он приобрел в арвальских песнопениях и *axamenta*^[76] или салийских гимнах. Примеры его встречаются во фрагментах римских законов, которые Ливий^[77] относит к правлению Тулла Гостилия, а Цицерон^[78] - к

правлению Тарквиния Приска. Эпитафии Сципионов на самом деле являются сатурнианскими pæniæ. Энний, чья эпоха была достаточно ранней, чтобы он мог знать, что Нэвий, вместо того чтобы быть изобретателем нового стиха или вводить греческий, следовал примеру своих предшественников, находит недостаток в античной грубости своих сатурнианцев.

Scripsere alii rem

Versibus quos olim Fauni Vatesque canebant

Quom neque Musarum scopulos quisquam superarat,

Nec dicti studiosus erat.

Некоторые в таких стихах писали,

Как пели фавны и барды в давние времена,

Когда никто не покорял скалистых высот Муз

И не учился изящной дикции.

Если бы сатурнианский стих был завезен из Греции, Энний не отказал бы ему в вдохновении муз и не усомнился бы в том, что место его рождения - скалистые вершины Парнаса, а его ухо, настроенное на разнообразную мелодику греческой поэзии, не осознало бы его простого и естественного ритма и полностью отвергло бы его ради более громоздкого и величественного гексаметра. Дело в том, что вкус, сформированный изучением греческих букв, создал предубеждение против старого национального стиха. Поскольку он не был греческим, его называли грубым и немзыкальным и отвергали как старомодный. Известный отрывок Горация отражает преобладающее чувство, хотя он говорит, что сатурнианский стих остался надолго после введения гексаметра, и что даже в его время, когда Вергилий довел латинский гекзаметр до высшей степени совершенства, еще можно было обнаружить несколько следов той старой, давно утраченной поэзии, которую Цицерон^[79] желал вернуть:...

Græcia capta ferum victorem cepit et artes

Intulit agresti Latio. Sic horridus ille

Defluxit numerus Saturnius, et grave virus

Munditiæ pepulere: sed in longum tamen ævum

Manserunt, hodieque manent vestigia ruris.

Ep. II., ii. 156.

Некоторые отрывки Ливия несут на себе явные следы того, что первоначально они были частями сатурнианских баллад, хотя историк искажил метр в процессе перевода их на более современную латынь. Пророческое предупреждение К. Марция^[80] было таким образом восстановлено Германом с незначительным изменением слов Ливия:

Amnén, Trojúgena, Cánnam fuge, ne te alienigenæ

Cogánt in cámpo Díomedéi manús consérere;

Sed nec credes tu mihi, donec complëssis sangui

Campum, miliaque multa occisa tua tetulerit

Is amnis in portum magnum ex terra frugifera.

Piscibus avibus ferisque quæ incolunt terras, eis

Fuat esca carnis tua; ita Juppiter mihi fatus.

Оракул, который, согласно традиции, был привезен из Дельф в отношении вод Альбанского озера^[81], очевидно, был воплощен в сатурнианской поэме, возможно, сочиненной тем же Марцием или одним из его современников, например Фабием Пиктором, Цинцием Алиментом или Ацилием. Этот текст также был предположительно восстановлен Германом.

Romane aquam Albanam lacu cave contineri,

Cave in mare immanare suopte flumine siris;

Missam manu per agros rigassis, dissipatam

Rivis extinxis, tum tu insistito hostium audax

Muris memor, quam per tot annos circum obsides

Urbem, ex ea tibi his, quæ nunc panduntur fatis,

Victoriam datam; bello perfecto donum

Amplum ad mea victor templa portato; sacra patria

Nec curata instaurato, utique adsoliturum, facito.

В более поздние времена Ливий Андроник перевел всю Одиссею на сатурналии, а Невий написал в том же метре поэму, состоящую из семи книг, темой которой была первая Пуническая война. Отдельные фрагменты обоих этих произведений сохранились у Аула Геллия, Присциана, Феста и других, которые были собраны Германом.^[82]

Структура сатурниан очень проста, а ее ритмическое расположение встречается в поэзии всех эпох и стран. Маколей^[83] приводит следующие сатурналии из поэмы "Сид" и из "Нибелунгенской песни".

Estás nuevás a mío | Cíd erán venídas

A mí lo dían; á ti | dán las órejádas.

Человек, который не может быть мишенью для вундера | в Сифриде сагена.

Wa ích den kúnic vínde | dás sol mán mir ságen.

Он также добавляет пример идеального сатурнианца - следующую строчку из известной детской песенки

The quéen was ín her párlour | eáting breád and hóney.

Это был метр, естественно адаптированный к национальному способу танца, в котором каждый чередующийся шаг четко обозначал время,^[84] а ритмический такт повторялся в серии из трех тактов, что дало танцу название трипудиум.

Сатурниан состоит из двух частей, каждая из которых содержит три стопы, которые воздействуют на слух с тем же эффектом, что и греческие трохеи. Целому предшествует слог в тезисе, технически называемый анакрузисом. Например.

Sum|más o|pés qui | ré|gum || ré|gi|ás re|fré|git ||.

Метр в своей первоначальной форме был совершенно независим от правил греческой просодии; единственным его необходимым условием был удар или иктус на чередующемся слоге или его представителе. Единственным законом, регулирующим ударение, было общепринятое народное произношение. Фактически ударение занимало место количества. Два или три слога, которые, согласно правилам просодии, должны быть длинными по позиции, могли быть пропущены или произнесены быстро во время одного, как в следующей строке:-

Amném Trojúgena Cánnam | fúge ne té alienígenæ.

Таким образом, очевидно, что принципы, которые регулировали его, были принципами современного стихосложения, без каких-либо тонкостей и деликатесов греческого количества.

Анакрузис напоминает вступительную ноту к музыкальному воздуху и не мешает основному качеству стиха, а именно, трем ударам, повторяющимся дважды, не больше, чем в английских стихах, в которых октосиллабические строки, имеющие ударение на четных местах, перемежаются со стихами из семи слогов, как в следующем отрывке из "L'Allegro" Мильтона:-.

Идите и споткнитесь, как вы идете

На легком фантастическом пальце,

И в правой руке ведите за собой

Горную нимфу, милую Свободу;

И если я воздам тебе должную честь,

Мир, прими меня в свой экипаж".

Примечательно, что в периоды упадка латинской литературы происходил возврат к тем же старым ритмическим принципам, которые породили сатурнианский стих: иктус снова заменялся количеством, а греческие правила просодии игнорировались ради ритма, состоящего из чередования ударов, которым проникнуто большинство современной поэзии.

Империя стала настолько обширной, что вкус народа, особенно провинциалов, больше не регулировался столичным, и акцент и ударение стали вместо метрического количества общим правилом произношения. Так зародилась ритмическая поэзия. Ее следы можно обнаружить уже в сатирических стихах Суетония, посвященных И. Сесару.

Таков метр маленького jeu d'esprit, адресованного императором Адрианом Флору ^[85]

Ego nolo Florus esse

Ambulare per tabernas

Latitare per popinas

Culices pati rotundos;

а также из отчета историка -

Ego nolo Cæsar esse

Ambulare per Britannos

Скифы пати пруйнас.

Простое величие таких строф, как...

Dies iræ, dies illa,

Solvat sæclum in favilla, &c.

и другие монашеские гимны, в значительной степени спасают старый сатурнианский стиль от обвинения в грубости и деревенскости, которое приписывали ему Гораций и другие, чей вкус был сформирован греческой поэзией, и чьи придирчивые уши не могли вынести никакой гармонии, кроме той, которая была посвящена излияниям греческого гения.

Из этого вида стиха, который, вероятно, преобладал среди уроженцев Прованса (римской Провинции), трубадуры вывели метр своей балладной поэзии, а затем ввели его в остальную Европу. Но какие бы фазы ни претерпевала внешняя форма античной поэзии, классические писатели Греции и Рима избегали рифмы. Даже для современного уха прекрасный эффект древних метров полностью уничтожен ею. Это был ложный вкус и менее утонченное ухо, которое могло принять ее как компенсацию за несовершенство просодии.

Хотя рифма была введена в качестве украшения стихов, построенных по принципу иктуса, а не количества, в очень ранний период христианской латинской литературы, не совсем ясно, когда она была добавлена в качестве новой трудности к метрам классической древности.

Грей^[86] сообщает, что когда дети, обучавшиеся в монастыре Святого Галла, обратились к епископу Констанцскому во время его первого визита с увещательными речами, младшие читали следующие доггеровые рифмы: - Quid tibi fecimim

Quid tibi fecimus tale ut nobis facias male

Appellamus regem quia nostram fecimus legem.

Старшие и более продвинутые ученики говорили рифмованными гекзаметрами:-

Non nobis pia spes fuerat cum sis novus hospes

Ut vetus in pejus transvertere tute velis jus.

ГЛАВА IV.

ТРИ ПЕРИОДА РИМСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - ЕЕ ГРУБЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - РИМСКАЯ РЕЛИГИЯ - ВЛИЯНИЕ ЭТРУСКОВ - РАННИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ - ФЕСЦЕННИАНСКИЕ СТИХИ - ФАБУЛА АТЕЛЛАН - ВВЕДЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ ФИГУР - ДЕРИВАЦИЯ САТИРЫ.

Эпоху, в течение которой римская классическая литература зародилась, достигла совершенства и пришла в упадок, можно условно разделить на три периода. Первый из них

охватывает ее подъем и развитие, следы устных и традиционных сочинений, грубые элементы драмы, знакомство с греческой литературой и воспитание национального вкуса в соответствии с этим образцом, зарождение красноречия, создание и совершенствование комедии.

К этому периоду первые пять веков республики можно считать вводными; тогда постепенно закладывались фундамент и основание, на которых возводилась надстройка; ведь, говоря правильно, в Риме не было литературы до окончания первой Пунической войны.^[87]

Таким образом, независимо от этих 500 лет, этот период состоит из 160 лет, продолжающихся со времени расцвета Ливия Андроника^[88] до первого появления Цицерона в общественной жизни.^[89]

Второй период заканчивается со смертью Августа.^[90] Он охватывает эпоху, представителем которой является Цицерон, как самый выдающийся оратор, философ и прозаик своего времени, а также эпоху Августа, которую принято называть золотым веком латинской поэзии.

Третий и последний период римской классической литературы заканчивается со смертью Адриана.^[91] Несмотря на многочисленные достоинства, которые, как мы увидим, отличают литературу этого периода, ее упадок явно начался. Она лишилась покровительства Августа и его изысканного двора и была охлаждена пагубным влиянием его тиранических преемников. Как век Августа был отмечен эпитетом "золотой", так и последующий период, ввиду его сравнительной неполноценности, был назван "серебряным веком".

У римлян, как и у всех других народов, устные поэтические сочинения появились раньше, чем письменная литература. Цицерон в трех местах^[92] говорит о том, что пиршество оживлялось песнями бардов, в которых пересказывались и прославлялись подвиги героев. Этими песнями удовлетворялась национальная гордость и семейное тщеславие, а анекдоты, сохраненные памятью, послужили источником ранней легендарной истории.

Но эти сказания и легенды не следует сравнивать с греческими, которые, вероятно, приобрели эпическую форму задолго до того, как легли в основу "Илиады" и "Одиссеи". В римской традиции нет следов возвышенного гения или поэтического вдохновения. Религиозные чувства были плодородным источником греческой фантазии, которая придавала сверхъестественную славу изливаниям бардов, рисовала людей героями, а героев - божествами; и, будучи естественным развитием греческого интеллекта, она опутала собой привязанности всего народа.

Римская религия была церемонией для жрецов, а не для людей; ее поэзия была просто формулами в стихах и не поднималась выше полуварварских изречений салийских жрецов или арвальского братства. Сказочные легенды, несомненно, легли в основу истории и, следовательно, вероятно, составляли те праздничные развлечения, о которых упоминает Цицерон; но они были грубы и просты, а основанные на них повествования, запечатленные на страницах Ливия и других авторов, настолько же улучшены приукрашиванием историка, насколько они, в свою очередь, расширены поэтическим талантом Маколея.

Вряд ли можно представить себе, что безлюдная литература, которая была современна таким грубым реликтам, дошедшим до наших дней, должна была демонстрировать более высокую степень образной силы. Несколько простых описательных строк, один или два оживляющих и будоражащих сердце чувства, и не более, были бы терпимы в качестве прерывания грубых удовольствий за столом среди грубого и шумного народа. Римляне были людьми дела, а не слова; их интеллект, хотя и энергичный, но по сути своей практический: он

формировал воинов, государственных деятелей, юристов, ораторов, но не поэтов, в самом высоком смысле этого слова, *то есть* если под поэтическим талантом понимать творческую способность воображения. Римский ум обладал зачатками тех способностей, которые допускают культивирование и совершенствование, таких как вкус и гений, понимание прекрасного, и эти способности делали их способными достичь литературного совершенства; он не обладал природными дарами фантазии и воображения, которые были неотъемлемой частью греческого ума и которые сделали их в состоянии младенчества, почти варварства, поэтическим народом.

У римлян литература не рождалась спонтанно: она была результатом внешнего влияния. Невозможно определить период, когда они впервые стали подвержены этому влиянию, но ясно, что во всем умственном и духовном их соседи этруски были их учителями. Влияние, оказываемое этим замечательным народом, было не только религиозным, но и нравственным: его главной целью была дисциплина, а второй - утонченность. Если он развивал интеллектуальные способности, то это делалось с целью воспитания нравственных качеств. Этой чистой культуре древнеримский характер обязан своей энергичностью, честностью, неподкупной суровостью и теми добродетелями, которые обобщены во всеобъемлющем и истинно римском слове "gravitas". История доказывает, что эти качества имели реальное существование - что они не были просто идеальными фантазиями тех, кто любит восхвалять ушедшие времена. Ошибка, в которую впали те, кто оплакивал утрату старой римской дисциплины и сетовал на вырождение своего времени, заключалась в том, что они приписывали это вырождение движению вперед утонченности и цивилизации, а не тому случайному обстоятельству, что это движение сопровождалось распутством и женолюбием, и что раса, которая была раздатчиком этих благ, была развращенной и вырождающейся. Они не могли разделить причины и следствия; они не видели, что Рим интеллектуально развивался благодаря греческой литературе, но, к сожалению, в то же время деградировал из-за греческого распутства.

На протяжении веков римский ум был пропитан этрусской литературой; и Ливий^[93] утверждает, что, как и греческий язык в его время, он продолжал быть инструментом римского образования в течение пяти веков после основания города.

Тенденция римского ума была в основном утилитарной. Даже Цицерон, при всем разнообразии своих достижений, признает лишь одну цель и объект всех исследований, а именно те науки, которые сделают человека полезным для своей страны: "Quid esse igitur censes discendum nobis?... Eas artes quæ efficiunt ut usui civitati simus; id enim esse præclarissimum sapientiæ munus maximumque virtutis vel documentum vel officium puto." Мы должны, следовательно, ожидать, что закон литературного развития будет изменен в соответствии с этим правящим принципом. С самого начала римской литературы ее конечной целью было стремление к пользе, а не удовлетворение импульсивного чувства.

У других народов поэзия была первым спонтанным произведением. У римлян первым литературным трудом была история. Но их ранняя история состояла просто из анналов и мемориалов - записей фактов, а не идей или чувств. Она была рассчитана на то, чтобы стать хранилищем ценных материалов для будущих веков, но в ней не было отпечатка гения или мысли; ее достоинствами были правда и точность; сами факты часто были несерьезными и неважными, их нельзя было ни сделать интересными в виде повествований, ни проиллюстрировать размышлениями. Эти оригинальные документы были скорее элементами литературы, чем заслуживали самого названия литературы - скорее антикварной, чем исторической. Самыми ранними документами такого рода были Libri Lintei - рукописи, написанные на рулонах льняной ткани, о которых Ливий упоминает как о

содержащих первый договор между Римом и Карфагеном, а также перемирие, заключенное с Ардеей и Габиями.^[95] К ним можно добавить *Annales Maximī*, или *Commentarii Pontificum*, о точности которых Сервий рассказывает следующее.^[96] "Каждый год главный понтифик начертал на белой доске, во главе которой стояли имена консулов и других магистратов, ежедневную запись всех памятных событий как дома, так и за границей. Впоследствии эти комментарии или реестры были собраны в восемьдесят книг, которые были озаглавлены их авторами *Annales Maximī*".

Подобные записи года регулярно велись гражданскими магистратами с древнейших времен, и латинские авторы называют их *Commentarii Consulares*, *Libri Prætorum* и *Tabulæ Censoriæ*. Однако все эти записи, существовавшие до взятия Рима галлами, погибли при пожаре города.

Каждый патрицианский дом также имел свою личную семейную историю, а хвалебные речи, произносившиеся на похоронах прославленных членов, тщательно сохранялись, как украшение и иллюстрация их знатности; но эта геральдическая литература заслоняла, а не проливала свет на историю: она была наполнена ложными триумфами, мнимыми консулатами и поддельными генеалогиями.^[97]

Самой ранней попыткой поэзии, или, скорее, стихосложения, поскольку это была лишь внешняя форма, а не внутренний дух, которого достигли грубые жители Лациума, была сатира в несколько драматической форме. Песни фесценнианцев были метрическими, поскольку музыкальное и танцевальное сопровождение неизбежно накладывало на их вневременные излияния ограничения грубой меры. Как и первые театральные представления греков, они зародились не в городах, а среди сельского населения. Они, как и греческая трагедия, не исполнялись в честь божества и не являлись частью религиозного обряда. Тем не менее, они были его сопровождением, развлечением деревенского праздника. Религия была оправданием праздничного спорта, а развлечения - его естественным занятием. Поначалу они были невинными и веселыми, их веселье выливалось в бурные, но добродушные перепалки; но со временем свобода переросла в развязность и породила злобные и клеветнические нападки на людей безупречного характера.^[98] Как разнузданность греческой комедии вызвала вмешательство законодательной власти, так и законы Двенадцати таблиц запретили персоналиям фесценнинские куплеты.

Это песенное младенчество иллюстрирует характер римлян в его самой грубой и грубой форме. Они любили борьбу, как телесную, так и душевную: для них высшим упражнением интеллекта были юридические конфликты и политические дебаты; и по тому же принципу удовольствие, которое зрители в сельском театре получали от этого вида нападения и защиты, приближалось почти к тому энтузиазму, с которым они наблюдали бы за демонстрацией гладиаторского мастерства. Деревенский житель наслаждался словесной перепалкой, как и борцовскими поединками, которые также составляли часть его дневных спортивных состязаний, и таким образом рано проявлял вкус, который в более отточенные века и в руках культурных поэтов развился в острое, режущее остроумие, живые, но пронзительные точки римской сатиры.

Стихи Фесценнина показывают, что римляне обладали природной склонностью к сатире. Удовольствие, получаемое от этого вида письма, а также моральное влияние, оказываемое им, зависит не от эстетического восприятия прекрасного, а от высокого чувства морального долга; а такое чувство проявляется скорее в суровом и негодующем отвращении к пороку, чем в склонности прельщаться прелестями и красотой добродетели. Римляне были суровым, а не эстетствующим народом, поэтому сатира - самое оригинальное произведение римской

литературы, а совершенная и отточенная форма, которую она приняла впоследствии, была полностью их собственной. Они, правда, впоследствии остро наблюдали и с готовностью ухватились за те части греческой литературы, которые были подчинены этой цели, и поэтому Луцилий, основатель римской сатиры, охотно перенимал модели и материалы, которые предоставляла в его распоряжение греческая комедия, и таким образом стал, как пишет Гораций^[99], учеником Евполиса, Кратина и Аристофана.

Популярность этих развлечений была настолько постоянной, что они даже пережили введение греческого письма и приобрели лоск и утонченность благодаря изменениям, произошедшим в духе национальной поэзии.^[100] Говорили, что в этих грубых элементах драмы Этрурия была первым учителем Лациума, и что эпитет "фесценнин" увековечивает название этрусской деревни Фесценния, от которой это развлечение получило свое начало; но Нибур показал, что Фесценния не была этрусской деревней, и, следовательно, эта этимология несостоятельна.

Наиболее вероятной этимологией слова "фесценнин" является та, которую приводит Фестус.^[101] Fascinium был греческим фаллосом, эмблемой плодородия; и поскольку происхождение греческой комедии было связано с деревенскими фаллическими песнями, он считает, что та же церемония может быть каким-то образом связана с фесценнинскими стихами. Если это действительно так, то этруски предоставили зрелище - все, что обращено к глазу, в то время как привычки итальянской сельской жизни обеспечили саркастический юмор и готовые вневременные ужимки, которые являются сутью истинного комического; и эти комбинированные элементы, перекочевав из страны в столицу и с энтузиазмом принятые молодыми людьми с более утонченным вкусом и более либеральным образованием, впоследствии проложили путь для внедрения и адаптации греческой комедии.

Если в этих импровизационных диалогах можно разглядеть зародыш римской комической драмы, то следующее продвижение в искусстве следует приписать осканцам. Их квазидраматические представления были наиболее популярны среди итальянских народов. Они представляли в карикатурном виде национальные особенности: язык диалога был, конечно, изначально осканским, персонажи драмы - тоже осканскими.^[102] Главного из них звали Мачкус, роль которого повторяла роль клоуна в современной пантомиме. Другого звали Букко, он был своего рода Панталоне, или шарлатаном. Большая часть остроумия заключалась в практических шутках, как у итальянца Полишинеля. Эти развлечения иногда назывались *Ludi Osci*, но более они известны под названием *Fabulae Atellanæ*, от *Aderla*,^[103] или, как произносили римляне, *Atella*, города в Кампании, где они были очень популярны, или, возможно, впервые были представлены. После появления в Риме они претерпели значительные изменения и получили важные усовершенствования. Они утратили свою исконную деревенскость; их сатира стала добродушной; их шутки были благопристойными, сдерживались законами хорошего вкуса и были свободны от сквернословия или непристойности.^[104] В более поздние времена они, похоже, делились, как и комедии, на пять актов, с *exodia*,^[105] то есть фарсовыми интерлюдиями в стихах, перемежающимися между ними. Они также не исполнялись обычными профессиональными артистами. Ателланские актеры^[106] составляли особый класс; они не считались позорными, не исключались из племен, но пользовались привилегией иммунитета от военной службы. Даже рядовой римский гражданин мог принимать в них участие без позора и лишения гражданских прав, хотя именно такие общественные наказания налагались на регулярных *гистрионов*. Фабулы Ателлана, введенные так рано, оставались популярными на протяжении веков. Говорят, что диктатор Силла проводил часы досуга за их написанием, а Суетоний свидетельствует, что они были популярным развлечением в империи.

Однако уже в конце четвертого века драма приобрела более искусственную форму. Во время консульства К. Сульпиция Петика и К. Дициния Столо,^[107] в Риме свирепствовал мор. Чтобы отвратить гнев богов, был провозглашен торжественный лектистерний; были приготовлены кушетки из мрамора, с подушками и покрывалами из гобелена, на которых были установлены статуи божеств в лежачей позе. Перед ними поставили хорошо накрытые столы, как будто они могли принять участие в пиршестве. По этому случаю из Этрурии прислали труппу артистов (*histriones*), чтобы, по словам Ливия^[108], умиловать небеса, но, вероятно, и с более мудрой целью - отвлечь народ от созерцания собственных страданий. Эти развлечения были в новинку для народа, чьими единственными признанными публичными видами спорта до того времени, за исключением уже описанной сельской драмы, были испытания телесной силы и мастерства. Представления этрусских гистрионов состояли из грациозных национальных танцев, сопровождаемых музыкой флейты, но без песен и драматического действия. Таким образом, это были просто *балеты*, а не *драмы*.

Таким образом, этруски подали идею: римляне усовершенствовали ее и придали ей драматический характер. Они соединили старые фесценнинские песни с недавно появившимися танцами. Разнообразные метры, которые необузданная природа их грубого стиха позволяла использовать вокальным партиям, дали этому смешанному развлечению название *satura* (солянка или горшок-пурри), от которого в последующие времена произошло слово сатира. Актеры в этих квазидрамах были исповедующими гистрионами, и никаких изменений в них не происходило до тех пор, пока их не ввел Ливий Андроник.

ГЛАВА V.

ЭМАНСИПАЦИЯ ЛИВИЯ АНДРОНИКА - ПОДРАЖАНИЕ ОДИССЕЮ - НОВЫЙ ВИД СЦЕНИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК - ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ЕГО ДРАМ - НЕВИЙ - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАРТИЗАН - ЕГО ГОРЕЧЬ - ПУНИЧЕСКАЯ ВОЙНА - ЕГО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - ЕГО СТИХОСЛОЖЕНИЕ.

Ливий Андроник (расцвет около 240 г. до н. э.)

Уже описанные события подготовили римский народ к восприятию более регулярной драмы, когда по окончании первой Пунической войны влияние греческого интеллекта, уже давно ощущавшееся в Италии, распространилось и на столицу. Но римляне не только были обязаны Греции принципами литературного вкуса и оригинальными образцами, из которых черпались элементы этого вкуса, но и их первый и самый ранний поэт был выходцем из этой страны. Ливий Андроник, хотя и родился в Италии, получил образование на латинском языке в Риме, а впоследствии стал натурализованным римлянином, обычно считается, что он был уроженцем греческой колонии Тарентум. Он был человеком культурного ума и хорошо разбирался в литературе своего народа, особенно в драматической поэзии. Как он оказался в Риме в качестве раба, сказать невозможно. Атий утверждает, что он был взят в плен в Тарентуме К. Фабием Максимом, когда тот отвоевал этот город на десятом году второй Пунической войны. Но Цицерон на основании авторитета Атия показывает, что эта дата на тридцать лет позже того периода, когда он впервые появился в Риме, а Нибур^[109] считает, что причина, по которой его называют тарентинским пленником, заключается в том, что его путают с неким М. Ливием Макатусом, упоминаемым Ливием.^[110] Возможно, он был обязан

своей переменной судьбы тому, что стал пленником войны; во всяком случае, он стал одним из домочадцев М. Ливия Салинатора и занимал конфиденциальную должность наставника его детей. Нанимать в качестве воспитателей греческих рабов, которые, будучи людьми образованными и утонченными, попадали в это положение благодаря военной удаче, было принято у богатых римлян. Таким образом, подрастающее поколение высших классов быстро приобщалось к языку и знаниям, которые римляне так охотно принимали и которыми так восторженно восхищались.

Верность в столь важной ситуации обычно вызывала уважение и привязанность покровителя. Щедрый римлянин становился скорее защитником гениального человека, чем его хозяином, и даровал ему свободу. Андроник был освобожден при таких обстоятельствах и, согласно обычаю, получил имя своего бывшего хозяина Ливия, а его гражданское и политическое звание стало эзарием. Он написал перевод или, возможно, подражание "Одиссее" в старом сатурнианском стиле, а также несколько гимнов. Нибур полагает, что причина, по которой он перевел или эпитомировал "Одиссею" вместо "Илиады", заключается в том, что она была бы более привлекательной для римлян, в связи с тем, что она имела отношение к древним легендам Италии. Море, омывающее побережье Италии, было местом многих самых чудесных приключений Улисса. Сицилия, к которой, благодаря войнам с Иеро и карфагенянами, римляне стали проявлять живой интерес, представлена в "Одиссее" как изобилующая элементами поэзии. Сказочная обитель Цирцеи находилась в пределах видимости земли - ее имя носил мыс в Лациуме, а один из сыновей Улисса от нее, согласно легенде Гесиода, был Латинном, патриархом латинской фамилии. Однако главными его произведениями были трагедии. Страсть римлян к зрелищам и выставкам, любовь к действию и энергичным деловым занятиям, характерная для них, сделала бы драму популярной, и она гармонировала бы с публичными развлечениями, в которых они привыкли получать удовольствие с древнейших времен, когда традиция сообщает нам, что основатель их рода учредил торжественные игры в честь конного Нептуна, и пригласил всех соседей на зрелище;^[111] и когда Анкус с небывалой пышностью праздновал Великие игры и назначил отдельные места и ложи для рыцарей и сенаторов.^[112] Вполне вероятно, что Ливий Андроник, выступая в качестве провозвестника новой эпохи в литературе, изучит характер и язык своих новопринятых соотечественников и постарается угодить им, а также научить их. Чтобы стать в конечном итоге лидером общественного вкуса, он должен был сначала в определенной степени совпасть с ним. Процесс, в ходе которого он будет формировать его по образцу, который он считал истинным, будет мягким и постепенным, а не внезапным и резким. Скудость и краткость сохранившихся фрагментов дают мало возможностей для точной оценки его способностей как поэта и его компетенции направлять и формировать вкус народа. Герман^[113] собрал вместе фрагменты латинской "Одиссеи", которые разбросаны по работам Геллия, Присциана, Феста, Нония и других, и сравнил их с гомеровскими отрывками, переводами которых они являются. Однако лишь немногие из них длиннее одной строки; поэтому единственное мнение, которое можно составить о них, заключается в том, что, хотя стихосложение грубое и ритмичное, а не метрическое, язык энергичный и выразительный, и передает, насколько это возможно в переводе, силу и смысл оригинала.

Критика древних классических авторов также не слишком помогает в принятии решения. Их вкусы были настолько полностью греческими, а предрассудки их воспитания настолько сильны, что они едва ли могли признать существование совершенства у такого древнего поэта, как Андроник. Цицерон говорит в "Бруте"^[114], что его латинская "Одиссея" так же старомодна и груба, как скульптуры Дейдала, и что его драмы не выдерживают повторного прочтения. Гораций, однако, не столь категоричен в своих обвинениях. Он признается, что не стал бы обречать стихи Ливия^[115] на полное забвение, хотя и помнит их в связи с поркой

своего школьного учителя; но он удивлен, что кто-то считает их отточенными и прекрасными, и при этом не слишком отстающими от критической точности.

Отрывок из истории Ливия, кажется, подразумевает, что Андроник решился на некоторые отклонения от древнего плана сценических выставок.^[116] По его словам, Ливий был первым, кто заменил грубые экстемпоральные излияния фесценнианского стиха пьесами с регулярным сюжетом и фабулой. Он добавляет, что, потеряв голос от частых аплодисментов, он добился разрешения ввести мальчика, чтобы тот пел оду или воздух под аккомпанемент флейты, в то время как сам он изображал действие песни жестами и танцами. Таким образом, он получал возможность изображать сюжет с большей силой и свободой пантомимических действий, поскольку не был связан обязательством использовать свой голос. Отсюда возник обычай, когда актер отвечает жестикულიацией на песню и музыку другого, в то время как диалог между одами произносился без музыкального сопровождения.

Отрывок, пересказ которого приведен выше, звучит следующим образом: - "Livius post aliquot annos qui ab saturis ausus est primus argumento fabulam serere (idem scilicet, id quod omnes tum erant, suorum carminum actor) dicitur, quum saepius revocatus vocem obtudisset, veniâ petita, puerum ad canendum ante tibicinem quum statuisset, canticum egisse aliquanto magis vigente motu, quia nihil vocis usus impediēbat. Inde ad manum cantari histrionibus caeptum, diverbiaque tantum ipsorum voci relictā." Очевидно, что это описание указывает на внедрение принципов греческого искусства. Нам вспоминаются гипорхемы в честь Аполлона, в которых жесты некоторых членов хора представляли происшествия или чувства, выражаемые певцом, а также отделение хоровой или музыкальной части от диалога греческой трагедии. Тем не менее, хоровая или лирическая часть драмы, к которой относится только эта новая практика, введенная Ливием, занимает в латинской трагедии незначительное место, если сравнивать ее с греческими. В ней только сам поэт исполнял свою роль, в то время как весь диалог (diverbia) декламировался профессиональными исполнителями.

Однако этот новый стиль драматических представлений, судя по всему, поначалу не настолько захватил людей, чтобы вытеснить их старые забавы. Они принимали их, с удовольствием наблюдали за ними и аплодировали, но не хотели отказываться от старых. Молодые люди хотели, чтобы их развлечения были действительно играми и спортом; их не устраивало быть просто тихими зрителями. Экстемпоральные выступления были удобнее для любителей, чем обычные пьесы, а шутки и анекдоты - чем трагическая серьезность. Новый обычай, введенный Ливием, возвысил драму над областью грубости и смеха, но требуемые искусство и мастерство ограничивали работу профессионального исполнителя. Молодые римляне, таким образом, оставили обычную драму на сцене, восстановили старое развлечение в качестве экзодии или после пьесы и не позволили, как говорит Ливий, "загрязнить" его вмешательством *гистрионов*. По свидетельству Цицерона,^[117] который делает свое заявление на основании авторитета Аттика, Ливий впервые выставил свои драмы в год перед рождением Энния, в консульство К. Хлодия и М. Тудитана, А. У. С. 514.^[118] Эту дату также принимает Аулу Геллий,^[119] который помещает его первые драматические представления примерно через сто шестьдесят лет после смерти Софокла и через пятьдесят два года после смерти Менандра. Сохранившиеся названия его трагедий показывают, что они были переводами или адаптациями с греческого. Среди них - "Эгисф", "Гермиона", "Терей", "Аякс" и "Елена". От каждой из двух последних сохранилась одна строка, а четыре строки цитирует Теренций Мавр из своей трагедии "Ино";^[120] но язык и метр делают гораздо более вероятным, что они были написаны каким-то более современным поэтом. Две его трагедии, "Клитемнестра" и "Троянский конь", были поставлены во время второго

консульства Помпея Великого на торжественном открытии построенного им великолепного каменного театра^[121]. На их постановку не жалели средств: Цицерон пишет в письме к М. Мариусу^[122], что в последнем театре было выставлено три тысячи пряжек, трофеев чужих народов, а в первом - процессия из шестисот мулов, вероятно, богато украшенных, в то время как конница и пехота, облаченные в различные доспехи, смешались в имитации боя на сцене. Однако он считает, что эта пышность противоречит хорошему вкусу, а удовольствие от зрелища портится из-за роскоши. Вкус его покровителей, римского народа, а также свидетельства античности делают весьма вероятным, что он был автором комедий^[123], а также трагедий. Фест говорит об одной из них, из которой он цитирует одну строчку ради ее филологической ценности.

СН. НЕВИЙ.

Невий был первым поэтом, который действительно заслуживает названия римского. Его соотечественники во все века, как и его современники, смотрели на него как на одного из себя. Вероятно, он родился не в Риме, хотя и это утверждается с некоторой долей правдоподобия.^[124] Во всяком случае, по рождению он имел право на муниципальную власть и с самого раннего детства жил в столице. Он не был простым подневольным имитатором, но применял греческий вкус и культуру для развития римских чувств. Истинный римлянин по сердцу и духу, он бесстрашно отстаивал свободу, сурово противостоял всем, кто осмеливался посягать на права его сограждан, безжалостно порицал безнравственность и восхищался героической самоотверженностью. Он был солдатом и проникся тем свободным и воинственным энтузиазмом, которым дышат его стихи, когда он сражался за свою страну в первой Пунической войне. Его честные принципы закрепили в поздние годы крепкую дружбу между ним и честным и непреклонным Катонам,^[125] - дружбу, которая, вероятно, способствовала формированию политического и литературного характера этого сурового старого римлянина.

Принято считать, что Нэвий был кампанцем; но единственным основанием для такого предположения является то, что А. Геллий^[126] критикует его эпитафию, автором которой был сам Нэвий, как полную кампанской гордыни.

Время его рождения неизвестно, но вполне вероятно, что его государственная карьера началась через несколько лет после рождения Ливия. Геллий относит показ его первой драмы к 235 г. до н. э.^[127], а Цицерон помещает его смерть в период консульства М. Корнелия Цетега и П. Семпрония Тудитана,^[128] хотя и допускает, что Варро, который помещает ее несколько позже, - самый щепетильный из римских антикваров. Несомненно также, что он умер в преклонном возрасте, поскольку, по словам Цицерона, он был уже стариком, когда написал одну из своих поэм. Он был автором эпической поэмы "Пуническая война", но из-за популярности драматической литературы самыми ранними его произведениями были трагедии и комедии. Названия большинства из них указывают на то, что их сюжетами были греческие легенды или истории. Таким образом, именно в эпической поэме проявилась признанная оригинальность его таланта. Нэвий был сильным политическим партизаном, горячим сторонником народа против посягательств знати. Вследствие расходов во время войны большая часть населения была доведена до нищеты, и между богатыми и бедными была проведена сильная линия разграничения. Отчуждение и отсутствие симпатии между этими двумя классами усиливались с каждым днем. *Кастовый* барьер действительно был почти разрушен, но вместо него начал воздвигаться *классовый*. Принятие законов Лициния^[129] привело к постепенному росту плебейской знати. Огульнийский закон^[130] признал религиозное и политическое равенство патрициев и плебеев, и прошло более трех четвертей века с тех пор, как Аппий Клавдий Слепой^[131] дал политическое существование

вольноотпущенникам, приняв их в трибы, и даже возвел некоторых, чьи отцы были вольноотпущенниками, в ранг сенаторов, за исключением многих знатных плебеев, занимавших курульные должности. Цель, которую он преследовал этой политикой, несомненно, заключалась в подавлении растущей плебейской знати, и на какое-то время эта цель была достигнута; но конечным результатом стало значительное увеличение численности и власти тех, кто противостоял старой патрицианской знати, за счет формирования высшего класса, единственным критерием для приема в который были богатство и ум. В соответствии со старыми ранговыми различиями даже плебей должен был иметь родословную; его отец и дед должны были родиться свободными. Аппий, будучи впервые избранным, отказался от этого и ввел новый принцип политической партии. Из этой антиаристократической партии Нэвий был литературным представителем и ярым противником привилегий, вытекающих из случайности рождения. Его положение тоже было рассчитано на то, чтобы спровоцировать человека с лучшим нравом. Он был римским гражданином, но, будучи уроженцем муниципального города, не обладал полным правом голоса, которым, как он видел, пользовались окружающие его люди, уступавшие ему в интеллекте, и чувство политической неполноценности досаждало ему. Поэтому он использовал литературу как новый и мощный инструмент для разжигания ревности, существовавшей между сословиями государства. Он нападал на принцип сословной аристократии в лице некоторых представителей самых знатных семей. Он выставил Сципиона Африканского на посмешище, сделав его героем скандальной истории.

Etiam qui res magnas manu gessit sæpe gloriose,

Cujus facta viva nunc vigent, qui apud gentes solas

Præstat, eum suus pater cum pallio una ab amica abduxit.

Государственные заслуги обоих Метеллов не смогли уберечь их от горечи поэта, который приписывает их консульства не собственным заслугам, а лишь воле судьбы.^[132] Одна горькая фраза "Fato Metelli Romæ fiunt consules." сделала эту могущественную семью его врагами. Метелл, занимавший в то время пост консула, пригрозил ему мстью за клевету в следующем стихе: "Dabunt malum Metelli Nævio poetæ.", а оскорбивший его поэт был обвинен в клевете, в соответствии с законом Двенадцати таблиц,^[133] и брошен в тюрьму. Там он сочинил две пьесы, в которых выразил раскаяние; и Плавтус^[134] описывает его, наблюдающего за двумя тюремщиками, задумчиво опустив голову на руки: - Nam os columnatum poetæ esse.

Nam os columnatum poetæ esse inaudivi barbaro,

Quoi bini custodes semper totis horis accubant.

Благодаря влиянию трибунов он был отпущен на свободу.^[135] Как это часто бывает, он не смог удержаться от того, чтобы снова не предаться своей сатирической жилке, и был сослан в Утику, где и умер,^[136] потратив последние годы жизни на написание своей эпической поэмы. Следующая хвалебная эпитафия была написана им самим: -

Mortales immortales flere si foret fas,

Flerent Divæ Camenæ Nævium poetam.

Itaque postquam est Orcino traditus thesauro

Obliti sunt Romani loquier Latinâ linguâ.

Если б боги могли смертным платить дань слезами,

Музы пролили бы ее на труп поэта Невия;

Ведь когда он был перенесен в края гробницы,

Народ вскоре забыл родной язык Рима.

Лучшие и самые восхищенные писатели отдавали дань его совершенству. Энний и Вергилий обнаружили в нем такую свежесть и силу, что бессовестно копировали и подражали ему, перенося его мысли в свои поэмы, как и в поэмы Гомера. Гораций пишет, что в его время стихи Невия читались повсеместно, были в руках и сердцах каждого, а Цицерон^[137] восхваляет его, хотя и не имел вкуса к старой национальной литературе.

Нас не удивляет всеобщая популярность Невия. Его суровая любовь к свободе, непоколебимая оппозиция аристократической исключительности были идентичны старому римскому республиканизму. Его вкус к сатире в точности соответствовал духу самой ранней римской литературы, в то время как он с жизнью, энергией и графическим мастерством изображал сцены героизма, в которых поэт-солдат первой Пунической войны сам был актером. Его трагедии, вероятно, были полностью заимствованы из греческих, но его комедии имели несомненные претензии на оригинальность. Названия многих из них явно указывают на греческое происхождение; но, вероятно, все они в большей или меньшей степени представляют картины римской жизни и нравов, а значит, попадают в сердца людей. Это необходимо для полной эффективности комедии. Трагедия обращается к высшим чувствам: она изображает страсти и принципы действия, признанные всем человечеством; поэтому она может привлечь симпатии на сторону тех, чьи привычки и нравы отличаются от наших собственных, как и в пользу тех персонажей, которые имеют героический и сверхчеловеческий облик. Комедия претендует на то, чтобы описывать реальную жизнь и изображать людей такими, какие они есть; поэтому она теряет часть своей силы, если не имеет дело со сценами, которые могут быть поняты зрителями. Так же обстоит дело и с живописью. Высокое искусство итальянской школы, выбравшей для своих сюжетов священные сцены религии, героизм истории и творения классической поэзии, было возвращено вкусом богатых и знатных людей среди высококультурного и богатого воображением народа. Домашние реалии фламандских живописцев с их точными и реалистичными изображениями вызывали восторг у грубого прозаического народа, который не мог оценить более возвышенный стиль или понять идеальные красоты, если они не были низведены до уровня повседневной жизни.

Новая форма, в которую Невий облек комедию, дала ему возможность выставлять на всеобщее обозрение преобладающие пороки и глупости того времени. Кроме того, у него было еще одно средство для выражения личности в его *Ludi* или *Satiræ*, как их называл Цицерон. Это были комические сцены, а не обычные драмы, несколько напоминающие ателловские фарсы, но без их экстемпорального характера. Но великим его произведением стала поэма о первой Пунической войне. Мы не можем судить о ее достоинствах по тем немногим фрагментам, которые сохранились; но свидетельство Цицерона и использование ее Эннием и Вергилием доказывают, что она полностью заслуживает звания эпической поэмы. Идея была оригинальной, сюжет и персонажи - римскими. Автор, хотя греческая литература научила его быть поэтом, черпал свое вдохновение в пейзажах родной Италии и подвигах своих соотечественников. Именно этой поэме Вергилий обязан прекрасным аллегорическим изображением несокрушимой вражды между Римом и Карфагеном и гибельной любви Энея и Дидоны. Здесь впервые в таких трогательных красках был изображен самоотверженный патриотизм Регула, которого (хотя любовь к исторической правде отказывается верить легенде) поэт представляет жертвующим домом, женой и

детьми ради чувства чести и идущим на мучительную смерть ради своей страны. Вероятно, многие другие волнующие душу легенды и рассказы о доблести, которые веселили ночной бивуак солдат и вдохновляли их в поле, были воплощены в этом популярном эпосе. Не то чтобы он больше, чем Вергилий, пренебрегал помощью Гомера.^[138] Вторая книга "Илиады" подсказала ему перечисление противоборствующих сил в начале борьбы, а описание бури, которое Вергилий, в свою очередь, скопировал в "Энеиде",^[139] во многом обязано своей энергией восьмой книге "Одиссеи". Изъяснения Венеры с отцом богов и людей^[140] по поводу опасностей ее сына, обещание будущего процветания потомкам Энея, которым Юпитер утешает ее, а также обращение Энея к своим спутникам, являются подражанием отрывкам из этой поэмы Невия; Энний так много копировал у него и его предшественников, что вызвал следующий упрек Цицерона:^[141] - "Они писали хорошо, если не со всем твоим изяществом, и так же следует думать тем, кто так много заимствовал у Невия, если ты признаешь, что сделал это, или, если ты отрицаешь это, украл у него так много."

Сохранившиеся фрагменты Невия не более многочисленны, чем фрагменты Ливия, но некоторые из них довольно длинные. В качестве примера простоты и силы можно привести два следующих:...

Amborum

Uxores noctu Troiad exhibant capitibus

Opertis, flentes ambæ, abeuntes lacrymis multis.^[142]

Эти несколько слов рассказывают свою историю с не меньшим пафосом, чем восхитительная строка в "Андриане" Теренция

Rejecit se in eum flens quam familiariter.

Следующие строки описывают панику карфагенян; ни один римский поэт не смог бы нарисовать эту картину меньшим количеством штрихов или с большей силой: - Sic Poinei contremiscipi contremiscipi contremiscipi contremiscipi contremiscipi contremiscipi.

Sic Poinei contremiscunt artibus universim;

Magnei metus tumultus pectora possidet

Cæsum funera agitant, exequias ititant,

Temulentiamque tollunt festam.^[143]

Тот, кто может простить грубость выражения ради энергичной мысли, если бы оставалось больше времени, с восторгом читал бы неискusstvenную, хотя и неотшлифованную поэзию Невия. Без той тщательной обработки, которая для римлянина была единственной заменой спонтанного изящества и красоты всего, что исходило от греческого ума и выражалось на греческом языке, несомненно, Нэвий проявил гений, оригинальность и достоинство. Предрассудки Горация в пользу греческого вкуса были слишком сильны, чтобы он мог ценить старое в поэзии или сочувствовать восхищению тем, что освятила богиня смерти.^[144] Но Цицерон, приписывая Ливию лишь механическое мастерство и варварское искусство Дедала, наделял Нэвия творческим талантом и пластической силой Мирона.

Даже когда римские критики не были единодушны в выделении ему места среди величайших бардов, римский народ любил его как своего национального поэта и был благодарен ему за его национальность. Они сделали ему высший комплимент, оставив его воспитателем своей

молодежи. Орбилий вбил его чувства в память своих учеников; и в то время как тонкости грамматики преподавались греческими наставниками с помощью греческого языка, а поэтический вкус формировался изучением гомеровских поэм, Нэвий все еще формировал характер молодых римских юношей, и его эпос был в руках и сердцах каждого.

В связи с литературными произведениями Нэвия остается затронуть еще один вопрос - метрический характер его поэзии. Он высоко ценил этот важный элемент греческой поэтической красоты. Разнообразное стихосложение, с помощью которого он сразу же обращается к слуху, подобно тому, как физическая красота очаровывает задолго до того, как нас привлекает скрытая сила нравственного совершенства, а внешняя форма создает предубеждение в пользу того, что имеет большую внутреннюю ценность, но не может быть так легко воспринято, так и мелодия стиха более охотно радуется, чем красота образов и чувств, которые стихи передают. Поэтому Нэвий не преминул порекомендовать своему оригинальному гению изучить принципы греческого стихосложения и облечь свои мысли в те формы, которые его слух подсказывал как наиболее подходящие к случаю. Похоже, он так и не преодолел трудности героического метра, хотя и изучал гомеровские поэмы.

Вероятно, поскольку сатурнианская, единственная естественная италийская мера, которую он нашел существующей, была тройным временем, римское ухо не смогло сразу приспособиться к общему времени дактилических мер. Стихосложение нашей страны представляет собой аналогичный пример. Обычные метры английской поэзии состоят из чередования долгих и кратких слогов; дактилические и анапесты встречаются реже и являются более современным введением, и английское ухо еще не совсем привыкло к гекзаметрическому ритму. Достоинство эпоса выражается в серьезном марше ямба; баллада рассказывает свою историю в том же метре, хотя и в более коротких строках; радостный анакреонтик переходит на танцевальный шаг трохея. Возможно, по этой причине Нэвий, руководствуясь своим вкусом, ограничился введением ямбического и трохайческого метров, а также нерегулярных особенностей греческой лирической поэзии, исключив из нее героический гекзаметр.

Римляне долго не могли достичь совершенства в этом метре. Энний не добился успеха. Его гекзаметры грубы и немusикальны; похоже, он так и не смог до конца понять природу и красоту цезуры или паузы. Неудача Цицерона, несмотря на его природный музыкальный слух, стала притчей во языцех. Никто до Вергилия, кажется, не преодолел эту трудность. Версификация, похоже, всегда была для римлян в некотором роде трудом. В структуре своей поэзии они работали по правилам; их отделка была художественной, но искусственной. Поэтому латинский поэт позволял себе меньше метрической свободы, чем греческий, которого он считал своим образцом. Казалось, он чувствовал, что греческие метры, которые воспитание его вкуса заставило его перенять, не совсем соответствуют форме, в которую естественно ложатся латинские слова; этот недостаток должен быть восполнен тщательностью, с которой он лепит свой стих, в соответствии с самыми строгими возможными стандартами. Можно представить себе экстенпоральные излияния гомеровского барда; но для римского вкуса, который в любом литературном произведении, особенно в поэзии, искал тщательной отделки, сила импровизатора, который мог излить сотню стихов, стоя на одной ноге, была смехотворной претензией.^[145]

Как правило, ни один римский поэт не достиг мастерства в стихосложении; Овидий был, пожалуй, единственным исключением. В ранний период, когда римская поэзия была экстенпоральной, их национальный стих был только ритмичным, а теперь, когда современная Италия может похвастаться способностью к импровизации, стих снова стал ритмичным. Но хотя Нэвий ввел в обиход римлян различные греческие метры, основная

часть его поэм, и особенно национального эпоса, была написана старой сатурнианской мерой: ее структура действительно была менее грубой, а метр более регулярным и научным, но все же он не позволил новым правилам греческой поэзии полностью изгнать любимые стихи, "в которых в былые времена пели фавны и барды" и которые наиболее приемлемо доносили до слуха народа достижения римского оружия.

ГЛАВА VI.

ЭННИЙ - ЖИЗНЬ ЭННИЯ - НАПИСАННЫЕ ИМ ЭПИТЕТЫ - ЕГО ВКУС, ОБРАЗОВАННОСТЬ И ХАРАКТЕР - ЕГО ПРИГОДНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕФОРМАТОРА - ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЯЗЫК - ЕГО СТИХОСЛОЖЕНИЕ - ЛЕТОПИСИ - ТРУДНОСТИ ПРЕДМЕТА - ТРАГЕДИИ И КОМЕДИИ - САТИРЫ - ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Энний (родился в 239 г. до н. э.).

Энний, по-видимому, занимал положение между двумя сменяющими друг друга эпохами; он был последним представителем древнейшей школы писателей и подготовил почву для новой. Хотя по своим чувствам он был истинным римлянином, он восхищался греческой культурой. Он с сожалением наблюдал за угасанием старой литературы своей страны, хотя сам ввел новые принципы вкуса для своих соотечественников. Он не был готов к потрясению, когда увидел, что старая школа вытеснена новой. Но время для этого все же пришло, и в своей эпитафии, как мы видели, он сожалел, что латынь умерла вместе с ним. Любовь к древнеримской литературе осталась среди пастухов холмов и земледельцев долин и равнин, в памяти которых жили старые песни, бывшие отрадой их детства; она сохранилась среди тех немногих, кто мог разглядеть достоинства в недисциплинированной гении; но подрастающее поколение, обязанное своим вкусом образованию, восхищалось только теми произведениями, на которых формировался его вкус. Греческая литература теперь имела открытое поле для расцвета: она вытеснила свою предшественницу, хотя еще не пустила глубоких корней в римский ум; возникла новая поэтическая школа, основателем которой стал Энний. Основные события жизни Энния таковы: он родился в маленькой деревушке Рудиз, в дикой и гористой Калабрии, в 239 году до н. э.^[146] Древнего и почтенного происхождения,^[147] он, как говорят^[148], начал военную карьеру и дослужился до звания центуриона или капитана. Анонимный автор "Жизни Катона", которую обычно приписывают Корнелию Непосу, рассказывает, что Катон во время своего путешествия из Африки в Рим^[149] посетил Сардинию и, найдя Энния на этом острове, взял его с собой домой. Однако невозможно объяснить, почему Энний должен был там находиться или почему Катон должен был отправиться в столь далекий путь. Если цензор действительно представил поэта обществу Рима, он мог познакомиться с ним во время своего квесторства в Африке, если Энний был со Сципионом в этой провинции; или во время своего преторства^[150] в Сардинии, если поэт жил на этом острове. Однако нет достаточных данных, чтобы прояснить эти трудности.

Кроме того, кажется странным, что Катон должен был быть его покровителем и при этом упрекать Фульвия Нобилиора за то, что тот взял поэта с собой в качестве спутника во время своей Итолийской экспедиции.^[151] За исключением этой кампании, Энний прожил остаток своей долгой жизни в Риме. Греческий язык и греческая литература теперь были востребованы высшими классами, и Энний зарабатывал на жизнь, достаточную для его умеренных потребностей, обучаясь. Он пользовался дружбой и уважением ведущих

литературных обществ Рима, а после смерти, в возрасте семидесяти лет, был похоронен в семейной гробнице Сципионов по просьбе великого завоевателя Ганнибала, славу которого он передал потомкам. Его статуя была удостоена ниши среди изображений этого прославленного рода. Следующая эпитафия была написана им самим:

Adspicite, O cives, senis Enni imagini' formam

Hic vostrum panxit maxima facta patrum.

Nemo me lacrymis coret, nec funera fletu

Faxit. cur? voluto vivu' per ora virum.

Сохранилась также эпитафия, которую он написал в честь Сципиона Африканского:

Hic est ille situs, cui nemo civi' neque hostis

Quivit pro factis reddere operæ pretium.

Вероятно, только смерть положила конец его карьере поэта, и его последняя работа была завершена лишь за некоторое время до его кончины. Он был так популярен в течение столетий, и его стихи сохранялись с такой тщательностью, что все его произведения, как говорят, существовали до тринадцатого века.^[154]

Литература, представленная Эннием, заняла более высокое общественное и политическое положение, чем то, которое она занимала до сих пор. Ливий Андроник, как мы видели, был вольноотпущенником и, вероятно, военнопленным. Невий так и не получил полного гражданского права и не стал никем иным, как уроженцем муниципия, проживающим в Риме. До сих пор римляне, хотя и начали восхищаться образованностью, не научились уважать ее профессоров. Энний, очевидно, был джентльменом; он первым добился для литературы должного влияния. Таким образом он добился для себя желанных привилегий римского гражданина, к которым Ливий никогда не стремился, а Невий так и не смог достичь. Поэтому Цицерон всегда говорит о нем с любовью, как о своем соотечественнике. "Наш Энний" - так он называет его, когда цитирует его стихи. Гораций также называет его "отцом Эннием" - термин, подразумевающий не только то, что он был основателем латинской поэзии, но и почтение и уважение.

К разборчивому вкусу и обширной образованности он добавил ту многогранность таланта, которая проявляется в большом разнообразии его сочинений. Он был знаком со всеми лучшими из существующих источников поэтических преданий, древними легендами римского народа и лучшими произведениями греческих писателей; у него было критическое суждение, чтобы выбрать красивые и интересные фрагменты, изобретательность, чтобы подражать им, и в то же время гений и фантазия, чтобы облечь их в оригинальность. Не стоило ожидать, что он сможет полностью освободиться от антикварного стиля старой школы. Процесс переделки национальной литературы, включая сам язык, на котором она выражается, и метрические гармонии, в которых она ложится на слух, - это почти то же самое, что реформирование образа мыслей и реконструкция характера народа. Такая работа должна быть постепенной и мягкой: разум нации не склонится сразу к новым принципам вкуса и новым правилам искусства. Попытка насильственной революции была бы абсурдной и свидетельствовала бы о незнании человеческой природы. Поэт, предпринявший такую попытку, не сумеет завоевать симпатию, которая является важнейшим элементом успеха. Чтобы совершить такую революцию, необходимы сильная воля и энергичный мужественный ум, а это как раз характерные черты эннийской поэзии.

Если бы нам нужно было нарисовать персонаж, лучше всего подходящий для роли литературного реформатора для такого народа, каким были римляне, то это был бы именно Энний. Он, как и его друзья Катон Цензор и Сципион Африканский Старший, был человеком действия, а также философской мысли. Он был не только поэтом, но и храбрым и стойким воином. Ему были свойственны чистота сердца и незлобивая простота нравов, которыми отличались старые времена римской добродетели; он жил жизнью циннатов, курий и фабрициев, которой поэты роскошного августовского века восхищались, но не подражали. Рим стал богатеть, а богатство - значком ранга; но благородный поэт пользовался уважением богатых и великих даже в своем скромном домике на Авентине и не считал зазорным работать наставником молодежи, хотя до его времени это было занятием только слуг и вольноотпущенников. Он был основателем новой школы и вел своих поклонников вперед к новой карьере, но его воображение могло наслаждаться воспоминаниями и традициями прошлого. Для него славные подвиги патриархов его рода были столь же богатым источником басни, как и героические строки Гомера, чудесные мифологии Гесиода и трагические герои Аргоса, Микен и Фив. Его раннее обучение греческой философии и поэзии, а также греческие привычки в родной деревне не отшлифовали и не рафинировали его природную свежесть. Он был дитя искусства, но все же дитя природы. Он твердо верил в свою миссию поэта, был убежден в своем вдохновении. Он считал себя не метафорически, а действительно тем, кого Гораций называет вторым Гомером,^[155] за то, что душа великого греческого барда теперь оживляла его брненное тело. Он обладал всем энтузиазмом и смелостью, необходимыми для выполнения великой задачи, а также сознанием того, что его задача была великой и почетной.

Благодаря этому редкому сочетанию лучших черт римского характера с греческой утонченностью и цивилизованностью, он сделал себя и свои произведения приемлемыми для самых выдающихся людей своего времени, а его близость и дружба повлияли на умы Порция Катона, Лелия, Фульвия Нобилиора и великого Сципиона.

Сравнение дошедших до нас образцов старой латыни с многочисленными фрагментами^[156] поэм Энния, которые сохранились, покажет, как глубоко они были обязаны ему за улучшение своего языка, не только в гармонии его чисел и удобстве грамматических форм, но также в его полноте и силе.

Однако не следует думать, что Энний заслуживает похвалы не только потому, что он сделал так много, но и потому, что он воздержался от большего, как будто он намеренно оставил древнюю грубость, напоминающую о древнеримском духе и простоте. Язык в том состоянии или на той стадии совершенствования, до которой он дошел, ценен с антикварной точки зрения; но им не следует восхищаться, как если бы он находился в более высоком состоянии совершенства, чем то, которого он достиг впоследствии. Тщательная полировка может, возможно, победить жизнь и свежесть, но никто из тех, кто обладает правильным слухом или ценит красоту, не может предпочесть хромающие гексаметры Энния музыкальным строкам Вергилия или его поздний стиль изысканному красноречию эпохи Августа. Как говорит Квинтилиан, мы ценим Энния не за красоту его стиля, а за его живописность, за святость, как бы освящающую античность, подобно тому, как мы испытываем благоговейный трепет, созерцая огромных сплетенных отцов леса. "Ennium sicut sacros vetustate lucos adoremus in quibus grandia et antiqua robora, jam non tantam habent speciem, quantam religionem".

Его предшественники мало что сделали для того, чтобы переделать грубую и неперевавленную массу, которая, как было показано, состояла из нескольких элементов, выброшенных вместе в результате случайных войн и завоеваний и оставленных для слияния естественным гением народа. Энний, естественно, обладал огромной властью над словом и

умело ею пользовался. При восстановлении здания он выполнил самую важную и самую сложную часть работы, хотя результат его трудов не поражает воображение совершенством и законченностью. Он заложил прочный и надежный фундамент. То, что он сделал, было улучшено, но никогда не было отменено. Вкус последующих эпох возвел на его фундаменте элегантную и красивую надстройку. Именно Эннию мы обязаны тем, что после него латинская литература постоянно продвигалась вперед, пока не достигла своего совершенства. Она никогда не возвращалась назад, потому что фундамент, на котором она была построена, был прочным.

Энний подражал большинству греческих метрических форм; но он писал стихи как ученик, а не как человек, проникшийся духом тех метров, которым он подражал. Он соблюдал просодические правила количества, насколько его наблюдательность выводила их из аналогий двух языков, а не из старого римского принципа иктуса или ударения; но если количество стоп было правильным, а долгие и краткие слоги следовали друг за другом в надлежащем порядке, его ухо было удовлетворено: оно еще не было достаточно настроено, чтобы оценить те миниатюрные аксессуары, которые украшают позднейшее латинское стихосложение. Это главная причина той грубости, с которой справедливо сталкиваются даже поклонники Энния. Но, несмотря на эти недостатки, среди его стихов есть такие же музыкальные и гармоничные, как у лучших поэтов эпохи Августа.

Его великая эпическая поэма под названием "Анналы" снискала ему как привязанность, так и восхищение соотечественников. В этой поэме, написанной гекзаметрами - метром, впервые ставшим известным римлянам, - в восемнадцати книгах подробно описаны подъем и прогресс их национальной славы, начиная с самых ранних легендарных периодов и заканчивая его собственными временами. Единственная часть истории, которую он опустил, - это первая Пуническая война; причина, по которой он ее опускает, заключается в том, что другие его предвосхитили^[157] - ссылаясь на его предшественников Ливия и Невия.

Тема, которую он предложил для себя, представляла значительные трудности. Название и объем его работы заставляли его принять строгий хронологический порядок вместо принципов эпического расположения, и вложить истины, которые ход истории заставлял его принять, в интерес вымысла. Его тема не могла иметь единства, не было героя, на судьбе которого должен быть сосредоточен основной интерес и вокруг которого должны группироваться главные события. Но все же никакая история не могла быть лучше приспособлена к его цели, чем история его собственной страны. Ее ранние легенды образуют длинный ряд поэтических романов, пригодных для героического воспевания, хотя изначально они не были связаны друг с другом и не могли быть сплетены в единую эпическую историю. Энний должен был объединить в себе характеры историка и поэта, учить тому, что считал правдой, и в то же время трогать чувства и восхищать фантазию приукрашиванием вымысла. Поэтическое достоинство, в котором он неизбежно должен был испытывать недостаток, - это ведение сюжета; но фрагменты его поэмы недостаточно многочисленны, чтобы мы могли обнаружить этот недостаток. Однако их вполне достаточно, чтобы показать, что он обладал живописной силой как в обрисовке своих повествований, так и в изображении персонажей. Его сцены полны активности и оживления; его персонажи словно живут и дышат; его чувства благородны и полны здорового энтузиазма. Его язык - тот, каким должен быть язык древнего римлянина, такой, какого мы могли бы ожидать от Катона и Сципиона, если бы они были поэтами: достойный, целомудренный, суровый, он поднимается так же высоко, как самое величественное красноречие, хотя и не взлетает до возвышенности поэзии.

Части, в которых он наиболее близок к своему великому образцу или, как он считал, источнику своего вдохновения, - это описания сражений. Здесь сияет боевой дух римского воина; старый солдат, кажется, упивается сценами своей юности. Поэма, которая занимала его последние годы жизни, показывает, что для него было величайшим удовольствием записывать триумфы своих соотечественников и рассказывать потомкам, как их предки завоевали столько славных полей. Его уподобления - просто подражания; они показывают, что у него был вкус, чтобы оценить особенности гомеровской поэмы; но, как и должно быть в случае с простыми подражаниями, в них нет той энергии, которая характерна для его сражений.

Как драматический поэт Энний не заслуживает высокой репутации. Трагическая драма должна быть родной, она не терпит пересадки. Римляне не обладали элементами трагедии; гений Энния не мог исправить этот недостаток, и он мог сделать не больше, чем отобрать, со вкусом и суждением, которыми он обладал, такие греческие драмы, которые могли быть интересными. Вероятно, однако, его трагедии так и не стали популярными; ими восхищался узкий литературный круг, в котором проходила его личная жизнь. Те, кто был знаком с греческими оригиналами, были в восторге от того, что их любимцы переведены на родной язык; те же, кто не был знаком, удовлетворили свое любопытство и приветствовали даже эти отблески славных умов Эсхила, Софокла и Еврипида.

Но дань восхищения, которую древние классические авторы отдали Эннию, была отдана ему как эпическому, а не драматическому поэту. Цицерон, когда говорит о его похвале, обычно приводит цитаты из "Анналов", лишь однажды - из трагедии.^[158] Вергилий заимствует строки и мысли, а также начало и заключение той же поэмы; и хотя слава Энния пережила упадок римской трагедии и процветала даже в эпоху Антонинов,^[159] и его стихи звучали в театре ПUTEОЛИ (ПОЦЦУОЛИ), развлечение состояло не из одной его трагедии, а из декламации его эпической поэмы. Тем не менее, его трагедий было очень много, и сохранились названия и некоторые фрагменты двадцати трех. Все они являются близкими подражаниями или даже переводами с греческого. Из пятнадцати сохранившихся фрагментов его "Медеи" нет ни одного, который не соответствовал бы какому-нибудь отрывку из "Медеи" Еврипида: то небольшое, что мы имеем от его "Евменидов", является переложением трагедии Эсхила;^[160] и, по мнению А. Геллия, его "Гекуба" - тоже искусный перевод.

Его любимым образцом был Еврипид: неудивительно, что он должен был лучше оценить низшие достоинства этого драматического поэта, если вспомнить, что рождение латинской литературы совпало с упадком греческой. Каллимах умер как раз в то время, когда Ливий начал писать.^[161] Феокрит умер, когда Эннию было двадцать пять лет;^[162] и на этой угасающей живой литературе его вкус должен был отчасти воспитаться и сформироваться.

В комедии, как и в трагедии, он так и не освободился от оков греческих оригиналов. Его комедии были *паллиатами*, и Теренций, когда его обвиняют в плагиате, защищается, ссылаясь на пример Энния. Сохранились фрагменты только четырех.

Стихи, которые он писал в разных стилях и на разные темы, по этой причине назывались *Satiræ* или *Saturæ*. Энний, конечно, не предвосхищает притязания Луцилия на то, чтобы считаться отцом римской сатиры в собственном смысле этого слова; но все же не приходится сомневаться, что целью этих небольших поэм было обличение порока. Вырождение римской добродетели даже в его дни вызывало у столь сурового моралиста язык архилоховской горечи, хотя он не стал бы клеветать на тех, кто не заслуживал порицания. Приветствие, которое он адресует самому себе, выражает жгучее негодование, которое он испытывал к нечестию: "Enni poeta salve qui..."

Enni poeta salve qui mortalibus

Versus propinas flammeos medullitus.

Среди его мелких работ были эпитафии Сципиону и ему самому, дидактическая поэма под названием "Эпихарм", сборник моральных наставлений, энкомий своему другу Сципиону Африканскому, перевод гекзаметрами поэмы о съедобных рыбах и их местах, написанной Архестратом ("Фагетика"), и работа под названием "Асот", о существовании которой известно только то, что она упоминается Варро и Фестом для этимологической иллюстрации; некоторые считают, что это была комедия. Идея о том, что он был автором произведения под названием "Sabinæ", не имеет под собой оснований.

Цицерон^[163] упоминает мифологическое произведение (Evemerus), перевод на трохаический лад Ἰέρα Ἀναγραφή сицилийского писателя, носившего это имя. Это произведение было хорошо приспособлено к таланту Энния излагать мифические традиции в форме поэтической истории. Теория, воплощенная в оригинале, была той, которая часто используется Ливием в его ранней истории, и поэтому, скорее всего, вошла в древние легенды, а именно, что боги изначально были могучими воинами и благодетелями человечества, которые, в качестве награды, были обожествлены и обожествлены.

ГЛАВА VII.

НОВАЯ КОМЕДИЯ ГРЕКОВ - МОДЕЛЬ РИМСКОЙ - МОРАЛЬ РИМСКОЙ КОМЕДИИ - ЖЕЛАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ В СЮЖЕТАХ РИМСКОЙ КОМЕДИИ - ДРАМАТИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ - КОСТЮМЫ - ПЕРСОНАЖИ - МУЗЫКА - ЛАТИНСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ - МЕТРИЧЕСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ - КРИТИКА ВОЛЬКАЦИЯ - ЖИЗНЬ ПЛАВТА - ХАРАКТЕР ЕГО КОМЕДИЙ - АНАЛИЗ ЕГО СЮЖЕТОВ.

Уже было показано, что драматический вкус римлян впервые проявился в самых грубых видах комедии. Развлечение было экстемпоральным, исполнялось любителями и было ритмичным только в той мере, в какой это соответствовало условиям. Оно было сатирическим, личным, полным бурлескных экстравагантностей, розыгрышей и развратного шутовства. Когда она обрела более систематическую форму, введя музыку, пение, танцы и профессиональных актеров, римская молодежь все равно не отказалась от своей национальной забавы, и было проведено заметное различие в социальном и политическом положении актера и любителя. Итальянская комедия не получила дальнейшего развития, но к ней была привита греческая комедия, и таким образом возникла та фаза драмы, представителями которой были Плавт, Цецилий Стаций и Теренций.

Старая аттическая комедия состояла из политической или литературной критики. В Италии, однако, фесценнианские стихи и фарсы Ателлы не были политическими, не было и литературы, которую можно было бы критиковать или пародировать. Но личности, в которых люди получали удовольствие, подготовили их к наслаждению комедией нравов, воплощающей в себе картины социальной жизни. Поэтому новая комедия греков послужила подходящей моделью, а комедии Менандра, Дифила, Аполлодора и других - богатым источником материалов для адаптации или подражания.

Из них римский поэт мог почерпнуть гораздо больше, чем из "vis comica", в которой, как жаловался Цезарь, у них до сих пор такой недостаток. В сохранившихся фрагментах Менандра можно найти сильные описания человеческих страстей, особенно боли и удовольствия любви, меланхоличные, но правдивые взгляды на тщету человеческих надежд, возвышенные моральные чувства и благородные представления о божественной природе. В комедиях Филемона прослеживается жилка умеренной и спокойной мягкости, перемежающейся с милой приятностью, а его чувства нежны и серьезны, но не мрачны. Эти хорошие качества рекомендовали их Хризостому, Евстафию и другим ранним христианам, от которых сохранилось так много их фрагментов.

Несомненно, что комический, как и трагический поэт Греции, считал себя общественным наставником; но трудно сказать, насколько римский автор признавал моральную цель, потому что невозможно определить, какие моральные чувства были введены намеренно, а какие были просто транскрипцией оригинала. Однако очевидно, что римская комедия была рассчитана на моральный результат, хотя мораль, которую она прививала, была крайне низкой: ее стандартом было лишь житейское благоразумие, ее уроки были утилитарными, ее философия, как и философия самого Менандра, была эпикурейской, и поэтому она не прививала нескгибаемого чувства чести, самоотверженного героизма стоической школы или той жесткой римской добродетели, которая была ей сродни - она довольствовалась поощрением доброжелательных привязанностей.

Она не стремилась перевоспитать плута, лишь показывая ему, что плутовство не всегда приносит успех. Она учила, что на хитрость нужно отвечать ее же оружием, а качества, необходимые для борьбы, - остроумие и резкость. Союз морального и комического начал проявлялся в том, что интрига удавалась везде, где жертва была достойна этого, и в том, что она была сорвана случайностями и перепутьями, потому что благоразумие и осторожность плута не всегда идут вровень с его хитростью. Она также имела свою сентиментальную сторону, и симпатии зрителей были задействованы в пользу доброго нрава, привязанности и щедрости.

Но новая аттическая комедия представляла собой правдивый портрет реальной отечественной жизни. У римлян такого почти не было; сюжеты, персонажи, местность и политические институты были греческими, и поэтому можно сказать, что все это находилось в полной гармонии и соответствии с римским образом мыслей и действий. Комедии Плавта, вероятно, как будет показано далее, составляют единственное исключение.

Нельзя отрицать, что в сюжетах римской комедии не хватает разнообразия,^[164] но этот недостаток объясняется политическим и социальным состоянием Древней Греции. Греция и соседние страны были разделены на множество независимых государств; ее узкие моря еще больше, чем сейчас, кишели пиратами, которые устраивали свои гнезда и укрытия на различных безлюдных побережьях и островах; а рабы были предметом торговли. Поэтому происходило много романтических происшествий, подобных тем, что происходят в комедиях. Ребенок был украден, продан в рабство, обучен всем навыкам, чтобы *стать гетерой*, завоевал расположение какого-нибудь молодого афинянина, и в конце концов, благодаря драгоценностям или личным знакам, был признан родителями и восстановлен в звании афинского гражданина.

Опять же, чтобы ограничить привилегии гражданства, браки с иностранцами были недействительны, и это ограничение на брак стало причиной того, что *гетеры* занимали столь видное место в комедии; кроме того, любовь была не более чем чувственной страстью, а брак, как правило, был вопросом удобства: гетеры тоже часто были умны и опытны, в то

время как добродетельные матроны были более пригодны для домашних обязанностей, чем для общества. Правила греческого театра, перенятые римлянами, также привели к некоторым ограничениям в разнообразии сюжетов. В комедии сцена представляла собой общественную улицу, на которой греческие женщины с хорошим характером обычно не появлялись без одежды: на сцену выходили только матроны, кормилицы и женщины с легким характером, и во всех пьесах Теренция, кроме "Евнуха", героиня никогда не появляется.

Как мал круг сюжетов, так однообразны и действующие лица: главные герои - угрюмый и скупой или нежный и покладистый отец, который иногда, , является также мужем богатой жены, ласковой или властной женой, юноша, откровенный и добродушный, но распутный, хваткая или благосклонная Гетера, плутоватый слуга, ласковый фаворит, трус, беспринципная сводница, холодный расчетливый работородец.

Актеры носили соответствующие маски, иногда частичные, иногда закрывающие все лицо, черты которого были не только гротескными, но и сильно преувеличенными и увеличенными. Это было совершенно необходимо из-за огромных размеров театра, сцена которого иногда измерялась шестьюдесятью ярдами и вмещала многие тысячи зрителей; рот также служил в качестве резонатора или говорящей трубы, чтобы помочь донести голос до каждой части огромного здания. Персонажей также можно было узнать по условным костюмам: старики носили просторные белые одеяния, юноши были одеты в яркие разноцветные одежды, богачи - в пурпур, солдаты - в алое, бедняки и рабы - в темные и скудные платья.

Имена, присвоенные персонажам римской комедии, всегда имеют соответствующее значение. Например, юноши - Памфил - "дорогой для всех", Харин - "милостивый", Федрия - "радостный", старики - Симо - "плосконосый", такая физиономия считалась признаком поперечного нрава: Хремес - от слова, означающего "мучимый мокротой". Рабы обычно носят имя своей родины: Сир - фригийца, Давус - дакийца, Биррия - уроженка Пирра в Кари, Дориас - дорийская девушка; тщеславный солдат - Тразо, от *θρασος* - дерзость; паразит - Гнато, от *γναθος* - челюсть; кормилица - Софрона (осмотрительная); вольноотпущенник - Сосия, как поощаженный на войне; молодая девушка - Гликерия, от *γλυκος* - сладкая; судья - Крито; куртизанка - Хриза, от *χρυσος* - золото. Этих примеров будет достаточно, чтобы проиллюстрировать практику, принятую комическими писателями.

Очень трудно понять, какое отношение музыка имела к экспозиции римской комедии. Ясно, что музыкальное сопровождение было всегда, и что инструментами служили флейты; лира использовалась только в трагедии, потому что в комедии не было хора или лирической части. Сначала флейты были маленькими и простыми, но во времена Горация они стали гораздо больше и мощнее, а также были сконструированы с более многочисленными упорами и большим объемом.^[165]

Флейты были двух видов. Те, на которых играли правой рукой (*tibiæ dextræ*), были сделаны из верхней части тростника и, подобно современной фифе или октавной флейте, издавали высокий звук: поэтому они подходили для живых и веселых мелодий; и этот вид музыки, известный под названием лидийского лада, исполнялся на паре *tibiæ dextræ*. Левосторонние флейты (*tibiæ sinistræ*) были на октаву ниже: их тона были серьезными и подходили для торжественной музыки. Режим, называемый тирийским, или сарранским,^[166] исполнялся парой *tibiæ sinistræ*. Если сюжет пьесы был сериокомическим, музыка исполнялась во фригийском ладу, а флейты использовались неравные, то есть одна для правой, другая для левой руки.^[167] В трагедии лирическая часть исполнялась под музыку, а диалог декламировался. Но если бы так было в комедии, трудно представить, что соответствовало лирической части, и, следовательно, где использовалась музыка. Квинтилиан сообщает нам,

что сценическая модуляция представляла собой простой, легкий напев,^[168] напоминающий, вероятно, интонацию в наших соборах. Такая практика значительно помогала голосу; и если это так, то, вероятно, верна теория Колмана о том, что аккомпанемент существовал повсюду, но музыка для солилоквиев (которыми особенно изобилует Теренций) была более трудоемкой и сложной, чем для диалогов.^[169]

Чтобы понять принципы, которые регулировали римский комический метр, необходимо сделать несколько замечаний о том, как сам язык был затронут общим разговорным произношением. В большинстве языков существует естественная тенденция к сокращению и уменьшению. Поскольку объектом языка является выражение мысли, немногие склонны брать на себя больше хлопот или тратить больше времени, чем это абсолютно необходимо для передачи их смысла: это внимание к практической пользе и удобству является причиной всех эллиптических форм в грамматических конструкциях, а также всех сокращенных методов произношения путем сглаживания или обрывания, или, выражаясь языком грамматистов, апокопа, синкопа, синерезиса или кразиса.

Опыт каждого человека доказывает, насколько отличается впечатление, которое звук иностранного языка производит на ухо, когда его произносит другой человек, от того, которое он производит на глаз, когда его читает даже тот, кто прекрасно знаком с теорией произношения. Пока ухо не привыкло, англичанину легче говорить по-французски, чем понимать его в устной речи. Если мы внимательно посмотрим на то, как мы говорим на нашем родном языке, то поразимся, как много букв и даже слогов пропущено: ударный слог произносится сильно и твердо, остальные, особенно в длинных словах, предоставлены самим себе, и опыт слушателя и его знакомство с языком без труда восполняют недостаток. Так происходит повсеместно, за исключением внимательного и продуманного чтения, а также размеренной и величественной декламации.

В отношении классических языков вышеизложенные замечания справедливы; в меньшей степени, правда, в отношении греческого, поскольку тонкость их слуха, внимание к ударению и количеству, не только в поэзии, но и в ораторском искусстве, и даже в разговоре, заставляли их придавать большее значение каждому слогу, и особенно гласным звукам. Но даже в греческой поэзии элизия иногда предотвращает неприятный эффект хиатуса, а при переходе от одного диалекта к другому многочисленные гласные ионического языка принимают сокращенную форму аттического.

Сходство между практикой римлян и современных народов весьма примечательно; у них признаком хорошего вкуса была легкость - отсутствие усилий, педантизма и жеманства. Как они восхищались легкостью в стихосложении, так же они стремились к ней и в произношении. Говорить ртом (hiulce) с широким акцентом (late, vaste) означало говорить как клоун, а не как джентльмен (rustice et inurbaniter). Цицерон^[170] восхищался мягкими, нежными, ровными тонами женского голоса и считал произношение красноречивой и культурной Лелии образцом чистоты и совершенства: он думал, что она говорит так, как могли бы говорить Плавт или Невий. Опять же, он говорит о привычке Котты опускать йоту, произнося, например, dominus, dom'nus, как о распространенной моде; и хотя он говорит,^[171] что такая *неясность* свидетельствует о небрежности, он, с другой стороны, применяет к противоположному недостатку термин (putidius), который подразумевает самое оскорбительное жеманство. Из этих наблюдений следует, что латынь, как она произносилась, сильно отличалась от латыни, как она пишется; что это отличие заключалось в сокращении либо путем полного отсутствия звуков, либо путем сокращения двух звуков в один; и что эти процессы происходили особенно в тех слогах, которые в поэзии не обозначаются иктусом или ударом, а в обычном разговоре - ударением или акцентом.

Даже в более искусственной поэзии и ораторском искусстве эпохи Августа, где количество соблюдалось римскими подражателями более строго, чем греческими оригиналами, мы находим следы этой тенденции; и Вергилий без колебаний использует в своей величественной героике такие формы, как *aspris* - *asperis*, *semustum* - *semiustum*, *oraculum* - *oraculum*, *maniplus* - *manipulus*; и, как Теренций, делает *rejicere* (*rēiicērē*) dactyle.^[172] Ряд самых распространенных слов, одобренных общим употреблением и вошедших в язык в его наиболее совершенном состоянии, были сокращениями - например, *amassent* от *amavissent*, *concio* от *conventio*, *cogo* от *con* и *ago*, *surgo* от *sub* и *rego*, *malla* от *maxilla*, *pomeridianus* от *post-mediam-diem*, и другие случаи, слишком многочисленные, чтобы их упоминать.

Но в более ранние периоды, когда литература была обращена больше к уху, чем к глазу, когда греческие метры были еще неизвестны, и даже когда после их введения точное соблюдение греческих правил еще не было необходимо, мы находим, как и следовало ожидать, эти принципы языка еще более распространенными. Они пронизывают поэмы Ливия и Энния, а также римские трагедии, хотя их стиль неизбежно более декламационный, чем у комических авторов; но в последних мы имеем полное представление о латыни, как ее обычно произносили и говорили, и лишь в малой степени она была ограничена жесткой привязкой к греческим метрическим законам. В прологах, которые, правда, имеют характер декламации, а не свободного и естественного разговора, заметна большая осторожность; ямбические триметры, которыми они написаны, падают на слух с каденцией, похожей на греческую, почти без всякого разрешения, за исключением случайного *spondee* в четных местах. Но в сценах, похоже, не уделялось больше внимания, чем тому, чтобы стих имел необходимое количество стоп, а слоги произносились в нужном количестве, в соответствии с широчайшей свободой, которую допускали правила греческой просодии. Какие слоги должны быть нечеткими, оставалось решать в соответствии с общепринятым обычаем произношения.

Помимо тех нарушений, которые часто встречаются у поэтов эпохи Августа, в поэтическом языке той эпохи, о которой мы говорим, наиболее распространены следующие искажения: - 1.

1. Конечное *s* могло опускаться даже перед согласным, и тогда предшествующая гласная становилась краткой: так *mālīs* превращалось в *malī*, по тому же принципу, по которому в августовской поэзии *aūdīsñē* сокращалось в *audīn'*. Таким образом, краткий гласный перед другим гласным подвергся элизии, и следующая строка Теренция, следовательно, была бы отсканирована следующим образом:-

Ut mā | līs gāŭ | dēat ālī | ēn' ātq' | ēx īn | cōmmō | dīs.

2. Гласные и даже согласные произносились невнятно; так, *Liberius* стал *Lib'rius*; *Adolescens* - *Ad'lescens*; *Vehemens* - *Vemens*; *Voluptas* - *V'luptas* (как французские *voila*, *v'la*;) *meum*, *eum*, *suum*, *siet*, *fuit*, *Deos*, *ego*, *ille*, *tace* стали односложными; а *facio*, *sequere* и т. д. - разносложными.

3. *М* и *Д* синкопировались в середине слов: так *enimvero* стало *en'vero*; *quidem* и *modo qu'en* и *mo'o*, *circumventus*, *circ'ventus*.

4. И наоборот, *d* добавлялось к *me*, *te* и *se*, когда за ними следовала гласная, как *Reliquit med homo* и т. д., а у Плавта - *med erga*.

Подобные наблюдения позволяют нам свести все метры Теренция и почти все метры Плавта к ямбическим и трохаическим, особенно к ямбическим сенариям и трохаическим тетраметрам. Многие из тех, которые не поддаются этой попытке, стали, в результате неосторожного обращения переписчиков или комментаторов, неправильно расположены: например, одна из четырех строк в Андрии Теренция, которая всегда представляла собой трудность, может быть расположена таким образом:...

Innā | tā cuī | quām tānt' | ūt siēt | vēcōr | dīa;

вместо обычной неуправляемой формы -

Tanta vecordia innata cuiquam ut siet.

Andr. iv. 1.

Волкаций Седигит, критик и грамматик, определяет порядок заслуг авторов римской комедии в следующем отрывке:-

Multos incertos certare hanc rem vidimus

Palmam poetæ comico cui deferant.

Eum, me iudice, errorem dissolvam tibi;

Ut contra si quis sentiat, nihil sentiat.

Cæcilio palmam Statio do comico.

Plautus secundus facile exsuperat cæteros.

Dein Nævius qui servet pretium, tertius est.

Si erit, quod quarto dabitur Licinio.

Post insequi Licinium facio Atilium.

In sexto sequitur hos loco Terentius.

Turpilius septimum, Trabea octavum obtinet;

Nono loco esse facile facio Luscium.

Decimum addo causa antiquitatis Ennium.

Volc. Sedig. ap. Gel. lib. xv. 24.

Каким бы правильным ни было это суждение, Плавт является самым древним, если не самым знаменитым из тех, кто до сих пор не был упомянут.

ПЛАВТУС.

Т. Макций Плавт был современником Энния, поскольку принято считать, что он родился на двенадцать лет позже^[173] и умер на пятнадцать лет раньше^[174], чем основатель новой школы латинской поэзии. Таким образом, период расцвета обоих совпадает. Он был уроженцем Сарсины, в Умбрии, но был очень молод, когда переехал в Рим. О его жизни известно очень мало, но общепризнанно, что он был скромного происхождения, и благодаря

распространенности этой традиции мы находим у *Плаутина* выражение *prosapiæ homo*, употребляемое как пословица. В пользу этого предположения говорят многочисленные примеры вульгарного вкуса и низкого юмора в его комедиях.

У него не было ранних джентльменских ассоциаций, которые могли бы помешать ему обрисовать римский характер в низкой жизни. Его современник Энний был джентльменом, а Плавт - нет: образование не преодолело его вульгарности, хотя и оказало большое влияние на его язык и стиль, которые были более изысканными и культурными, чем у его предшественников. Плавт должен был жить и общаться с тем классом, чьи нравы он описывает; поэтому его изображения верны и правдивы.

Класс, из которого он черпал свои представления о римской жизни, - это *ærarii*, состоявшие из клиентов, сыновей вольноотпущенников и полубесправных уроженцев италийских городов. Его сюжеты греческие, персонажи греческие, а действие происходит в Греции и ее колониях; но мораль, манеры, чувства, остроумие и юмор принадлежали смешанному, полуиностранным классу жителей столицы, который стоял между рабом и свободнорожденным гражданином. Один из его характеров, как заметил Нибур,^[175] не римский, ибо паразит - греческий, а не римский персонаж; но льстец по профессии - гражданин мира, и его дело - соответствовать нравам любого общества. О том, как легко этот характер натурализовался, нам рассказывают некоторые из самых забавных отрывков в сатирах Горация и Ювенала.

Скромное занятие, которому его вынудила следовать бедность, было рассчитано на то, чтобы привлечь и развить комический талант, которым он впоследствии отличался, ибо Варро^[176] рассказывает нам, что он выступал в качестве плотника (*operarius*) в театральной труппе; он также добавляет, что впоследствии он занимался каким-то ремеслом, в котором не преуспел, и был вынужден зарабатывать на хлеб насущный, работая на мельнице. Предполагается, что именно этому унижительному труду, который обычно не выполнялся мужчинами, разве что в качестве наказания для несговорчивых рабов, он был обязан своим прозвищем Асиний, которое иногда добавляют к другим его именам. Однако Ритцшль наиболее изобретательно и удовлетворительно доказал, что имя Асиний является разновидностью имени Сарсинас (уроженец Сарсины): он предполагает, что Сарсинас стал Арсинасом, что впоследствии писали Арсин, затем Асин, и что в конце концов это стало считаться представителем Асиния.

В пользу этого мнения говорит и тот факт, что во всех случаях, когда используется имя Асиний, поэт называется не Асиний Плавт, а Плавт Асиний, как Ливий Патавин, что является правильным положением для этнического имени. Другая ошибка, касающаяся имени поэта, сохранилась во всех изданиях его произведений, хотя она не встречается ни в одной рукописи. Она была обнаружена Рицшелем^[177] при изучении палимпсеста MS. в Амброзианской библиотеке в Милане. Таким образом, он выяснил, что на самом деле его звали Тит Макций, а не Марк Акций. Имя Плавт было дано ему потому, что у него было плоскостопие - таково значение этого слова в умбрийском языке. Niebuhr,^[178] хотя и не отрицает его бедности, не доверяет истории о том, что он работал на мельнице.

Самые ранние комедии, которые он написал, как говорят, назывались "Addictus" и "Saturio", но они не входят в число двадцати сохранившихся до наших дней. Как только он стал автором, можно не сомневаться, что он вышел из состояния бедности и неизвестности, поскольку за всю свою карьеру у него не было соперников, если только не считать таковым Цецилия Стация, человека весьма низкого таланта. Комедии стали пользоваться большим спросом: пробудился вкус к комической драме; это был именно тот вид литературы, который

мог быть приемлем для таких активных, суетливых, наблюдательных людей, как римляне. Они любили всевозможные зрелища и публичные выступления, у них всегда были открыты глаза и уши, они любили шутки, грубую сатиру и бурное веселье, они ценили смелые и бесстрашные обрисовки характеров, с которыми сталкивались в повседневной жизни. Поэтому спрос на публичные игры стал превышать предложение, и театральные менеджеры заботились о том, чтобы всегда иметь в репетиции новую пьесу на случай, если их позовут на публичное представление.

У Плавта не было аристократических покровителей, как у Энния и Теренция - возможно, его юмор был слишком широким, а вкус недостаточно утонченным, чтобы понравиться Сципионам и Лелиям и их привередливым соратникам. Гораций ставит в вину Плавтусу то, что его остроумие было недостаточно джентльменским, а его номера - недостаточно гармоничными. Вероятно, высшие классы могли бы заметить подобные недостатки; в массе же комедии Плавта, несмотря на их недостатки, сохранили свою первоначальную популярность даже в эпоху Августа. Римская публика была его покровителем. Его грубость могла бы порекомендовать его грубым поклонникам фесценнианских песен и ателланских *фабул*. Его небрежная просодия и негармоничные стихи либо ускользнули бы от не слишком искушенных ушей слушателей, либо были бы прощены ради той забавы, которую они содержали. Жизнь, суета, сюрпризы, неожиданные ситуации, острая, энергичная, блестящая, искрометная язвительность, не знающая ни сдерживания, ни границ, увлекала публику за собой. Он не давал ни передышки, ни времени для скуки или усталости. По выражению Горация, он спешил от сцены к сцене, от случая к случаю, от шутки к шутке, так что у его слушателей не было возможности почувствовать усталость.

Другой причиной его популярности было то, что, хотя греческий язык был источником, из которого он черпал свои запасы, а метры греческой поэзии - рамкой, в которую он их помещал, его остроумие, образ мыслей, язык были чисто римскими. Он так долго жил среди римлян, что уловил их национальный дух, и этот дух отразился во всех его комедиях. Инциденты в них могли происходить на улицах Рима, настолько искусно он облакал их в римскую форму.

Его стиль тоже был истинно латинским, причем латинским в самом чистом и элегантном виде.^[179] Он, подобно Катону и Эннию, не доводил свое восхищение греческим языком до того, чтобы "обогащать" родной язык новыми и иностранными словами. Но и эта особенность не помешала бы ему завоевать симпатии масс. Они восхищаются элегантностью языка, если это элегантная простота. Они ценят хорошо подобранные и выстроенные предложения, если слова в них привычно и, следовательно, доходчиво ложатся на слух.

Грубость Плавтуса, однако, заключалась в грубости намеков, и даже если намек был бестактным, он был завуалирован в приличный язык. Это качество его остроумия вызвало одобрение Цицерона.^[180] Но трудно представить, как он мог сравнить его в этом отношении со старой афинской комедией, непристойность которой столь груба и осязаема, что составляет единственный порок этих восхитительных сочинений.

Следующая хвалебная эпиграмма, написанная Варро, содержится в *Noctes Atticæ* А. Геллия:^[181] -

Postquam est mortem aptus Plautus, comœdia luget,

Scena est deserta dein risus ludu, jocusque,

Et numeri innumeri simul omnes collacrumarunt.

Тот же грамматик сделал его стилю комплимент, подобный тому, который был сделан Платону, сказав, что если бы Музы говорили на латыни, они бы заимствовали язык Плавта.^[182] Какими бы ни были недостатки плаутовской комедии, она сохраняла свои позиции на римской сцене в течение по крайней мере пяти веков и исполнялась вплоть до правления Диоклесиана.

Не похоже, что Плавт когда-либо добился всех привилегий римского гражданина. Вероятно, у него не было могущественных друзей, которые бы отстаивали его притязания, и поэтому до конца своих дней он пользовался не более чем итальянским правом. Ему приписывают не менее ста тридцати комедий, но многие из них были поддельными. Варро считает подлинными те двадцать, которые сохранились до наших дней, вместе с "Видулярией", от которой осталось всего несколько строк, да и те лишь в уже упомянутом палимпсесте MS. Остальные, из которых сохранились только названия, имеют сомнительный авторитет.

Все комедии Плавта, кроме "Амфитруо", были адаптированы из новой комедии греков. Утверждение, что он подражал сицилийцу Эпихарму,^[183] и основал *Менекми* на одной из своих комедий, опирается лишь на смутную традицию. Несомненно, он изучал и старую, и среднюю комедию, но все же Менандр, Дифил и Филемон дали ему оригиналы сюжетов. Популярность Плавта не ограничивалась Римом, ни республиканским, ни императорским. Драматические писатели нового времени признали эффективность его сюжетов и, следовательно, переняли их или подражали им, и они были переведены на большинство европейских языков.

Ниже приводится краткий очерк сюжетов его сохранившихся комедий.

I. Амфитруо. Это единственное произведение, которое Плавт заимствовал из средней аттической комедии; сюжет основан на известной истории Юпитера и Алкмены и был подражаем Мольером и Драйденом.

II., III., IV. В "Асинарии", "Казине" и "Меркаторе" изображено состояние нравов, настолько отвратительное, что на нем невозможно останавливаться.

V. В "Аулуларии", очень забавной пьесе, скупец находит горшок с золотом (aulula) и прячет его с величайшей тщательностью. Его дочь требует в жены старик по имени Мегадорус, главной рекомендацией которого является то, что он готов взять ее без приданого. Тем временем раб ее молодого любовника крадет золото, и, как можно предположить, поскольку больше ничего не сохранилось, любовник возвращает золото, а старик, в радости сердца, отдает ему свою дочь.

Эта комедия подсказала Мольеру сюжет "Авары", лучшей пьесы, которую он когда-либо писал, и в которой он намного превзошел оригинал. Были предприняты две попытки восполнить утраченные сцены, которые можно найти в издании Дельфина и Вариорума.

VI. Вакхиды - две сестры-близнецы, одну из которых любит возлюбленный ее сестры. Он не знает, что их две, и, введенный в заблуждение сходством имен, считает себя преданным. Возникают забавные ситуации и происшествия, но в конце концов происходит эклерцисс.

VII. По стилю, настроениям, морали и структуре сюжета "Каптивии" - несравненно лучшая комедия Плавта. Во время войны между этолийцами и элейцами в плен попадает этолиец Филоподем, сын Гегио, а Филократ оказывается в плену у этолийцев. Филократ и его раб Тындарус выкупаются Гегио, чтобы вернуть сына путем обмена пленниками. Однако хозяин и

раб соглашаются поменяться местами, и Филократа отправляют обратно в его страну, ценя только как раба. Гегео обнаруживает хитрость и приговаривает Тындаруса к кандалам и каторжным работам. Однако Филократ возвращается и приводит с собой Филополема, а также выясняется, что Тындарус - сын Гегео, которого он потерял в младенчестве.

VIII. "Куркулион" получил свое название от паразита, который является героем и играет свою роль в заговоре, полном мошенничества и подлога; единственным удовлетворительным моментом в комедии является заслуженное наказание позорного сводника.

IX. В "Кистелларии" лемниец Демиф обещает свою дочь Алксимарху, который влюблен в Силениум. Девушка попала в руки куртизанки, которая пытается склонить ее к порочному образу жизни; она, однако, упорно отказывается, и в конце концов с помощью ящика с игрушками (цистеллы) выясняется, что она незаконнорожденная дочь Демифа и была выставлена напоказ еще в младенчестве. Ее добродетель вознаграждается тем, что она счастливо выходит замуж за своего возлюбленного.

X. Эпидик, очевидно, был любимой пьесой автора, так как он заставляет одного из персонажей другой комедии сказать, что любит ее так же дорого, как самого себя.^[184] Сюжет разворачивается на основе обычной истории о потерянном признанном ребенке. Интригой, которая отличается необыкновенной ловкостью, руководит Эпидик, хитрый раб, давший название пьесе.

XI. Мостеллария - чрезвычайно живая и забавная пьеса. Молодой человек в отсутствие отца превращает отцовский особняк в сцену шумного и экстравагантного веселья. В разгар этого веселья возвращается отец, и, чтобы его не обнаружили, раб убеждает его, что в доме водятся привидения. Узнав об этой уловке, он очень сердится, но в конце концов прощает и сына, и раба. Название происходит от *Mostellum*, уменьшительного от *Monstrum*, вундеркинда или сверхъестественного посетителя.

XII. Менекми - комедия ошибок, возникшая из-за точного сходства двух братьев, один из которых был украден в младенчестве, а другой скитается в поисках его и наконец находит его в большом достатке в Эпидамне. Она послужила сюжетом для пьесы Шекспира, а также для комедии Регнара, носящей название оригинала.

XIII. *Miles Gloriosus* был взят из *Ἀλαζων* (Хвастун) греческой комической драмы. Его герой, Пиргополиникс, является образцом всех крикливых, чванливых капитанов древней и современной комедии. Хвастун уводит любовницу молодого афинянина, которая следует за ним, и поселяется в соседнем доме с тем, в котором скрывается девушка. Подобно Пираму и Этбе, влюбленные проводят тайные беседы через дыру в стене. (Прием заимствован из "Призрака" Менандра.)^[185] Когда их обнаруживают, солдата убеждают, что другая отчаянно влюблена в него, но единственная награда, которую он получает, - хорошая взбучка за свои мучения.

XIV. В "Псевдолусе" хитрый раб этого имени приобретает по подложной записке женщину-рабыню для своего молодого хозяина, а когда обман раскрывается, дело решается выплатой цены покладистым отцом. Несмотря на простоту сюжета, действие суматошно и полно интриг; из отрывка Цицерона,^[186] следует, что эта пьеса и Трукулентус были любимы самим автором. Скупщик в этой комедии был одним из персонажей, в которых особенно преуспел Росций.

XV. Свое название "Пинулус" получил благодаря романтическому сюжету. Молодого карфагенского раба усыновляет старый холостяк, оставляя ему хорошее наследство. Он

влюбляется в девушку, такую же карфагенянку, как и он сам, которая была похищена вместе со своей сестрой и теперь принадлежала своднику. Приезд отца приводит к открытию, что они свободнорожденные, а также что они - двоюродные братья юноши. Таким образом, девушки оказываются спасены, а влюбленные соединены. Наиболее любопытной частью этой комедии является та, в которой отец Ханно представлен говорящим на пуническом языке;^[187] и его слова имеют столь близкое сходство с древнееврейскими, что комментаторы изложили их древнееврейскими буквами и сделали их, после некоторых поправок, пригодными для перевода.^[188]

XVI. Уловки, разыгранные над сводником рабом, которому помогает персидский паразит, составляют стройный сюжет "Перса".

XVII. Пьеса "Руденс" получила свое название от веревки рыболовной сети и, за исключением, пожалуй, "Каптиви", является самой трогательной и приятной из всех двадцати пьес. Мораль чиста, чувства возвышенны, поэтическая справедливость полна. Ребенок женского пола попал в руки сводника. Ее возлюбленный тщетно пытается выкупить ее, и, потерпев кораблекрушение, игрушки, с которыми она играла в младенчестве, теряются в волнах, но в конце концов попадают в сети рыбака. Таким образом, отец узнает ее и выдает замуж за своего возлюбленного, в то время как сводник полностью разоряется, потеряв свое имущество во время кораблекрушения.

XVIII. Стихус - имя раба, от которого в основном зависит интрига пьесы, носящей это название. Сюжет очень прост. Два брата женятся на двух сестрах и разоряются расточительной жизни, поэтому они решают уехать за границу и поправить свое состояние. После долгих лет отсутствия отец дамы хочет, чтобы они снова поженились. Они, однако, упорно отказываются, и их постоянство вознаграждается возвращением мужей с большим состоянием.

XIX. Тринуммус" - перевод из "Тезауруса" греческого комического поэта Филемона.^[189] Свое латинское название она получила от случая, когда доносчика подкупили тремя нуммиями.^[190] Старый купец, покидая дом, отдает своих сына и дочь вместе с сокровищами, которые он зарыл в своем доме, под опеку своего друга Калликла. Сын растрчивает имущество отца и даже вынужден продать свой дом, который покупает Калликл. Вскоре молодой человек из хорошей семьи и состояния делает предложение руки дочери, и Калликл в растерянности не знает, как дать ей приданое, не сказав ничего о сокровищах. В конце концов он нанимает человека, который притворяется, что пришел от отсутствующего отца и принес тысячу золотых. Возвращение отца мешает плану, но все объясняется, дочь выходит замуж, а сын прощен.

XX. Трукулентус", хотя моральная картина, которую он представляет, отвратительна, замечательно умна, как по разнообразию происшествий, так и по графическому обрисовыванию характеров, которые она содержит. Искусная куртизанка, которая обманывает и губит своих любовников; трое самих любовников - один из них городской житель, другой - неотёсанный, но великодушный деревенщина, третий - глупый и самодовольный солдат; и, наконец, раб, чья грубая смекалка и наглая ненависть к куртизанкам ставят его в вину, что он на самом деле дикарь (truculentus), - нарисованы очень убедительно; но, несмотря на все достоинства, эта пьеса не может удовлетворить вкусы и чувства современности.

Плавта нельзя оставить без внимания, не упомянув о его прологах. Пролог греческой драмы готовил зрителей к действию пьесы, рассказывая обо всех предыдущих событиях истории, необходимых для понимания сюжета. Пролог современной сцены - это обращение поэта к

зрителям, молящее о снисхождении, отвергающее суровую критику, часто оживляемое характерными зарисовками и сатирическими замечаниями о нравах и привычках эпохи. В этих чертах он иногда напоминает парабасис старой аттической комедии. Прологи Плавта объединяли в себе все эти цели; и хотя они вводили комедию, их забавная веселость была рассчитана на то, чтобы привести зрителей в хорошее настроение и обеспечить их аплодисменты. Проницательное знание, которое автор демонстрировал в них о характере своих соотечественников, вызывало симпатию и предрассудки в его пользу, а их отточенность и законченность, должно быть, ценилась собранием, чье внимание еще не начало ослабевать или утомляться. Некоторые из них длинные. Амфитруо, которая является самой длинной, насчитывает более ста пятидесяти строк. А "Тринуммус" имеет необычную форму краткого аллегорического диалога между Роскошью и ее дочерью Бедностью.

ГЛАВА VII.

СТАТИЙ В СРАВНЕНИИ С МЕНАНДРОМ - КРИТИКА ЦИЦЕРОНА - ГИПОТЕЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РАННЕЙ ЖИЗНИ ТЕРЕНЦИЯ - АНЕКДОТ, РАССКАЗАННЫЙ ДОНАТОМ - СТИЛЬ И МОРАЛЬ ТЕРЕНЦИЯ - АНЕКДОТ О НЕМ, РАССКАЗАННЫЙ КОРНЕЛИЕМ НЕПОСОМ - ЕГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И СМЕРТЬ - СЮЖЕТЫ И КРИТИКА ЕГО КОМЕДИЙ - ОСТАЛЬНЫЕ КОМИЧЕСКИЕ ПОЭТЫ.

ЦЕЦИЛИЙ СТАЦИЙ.

Между Плавтом и Теренцием процветал Цецилий Стаций, которого Волькаций, как и Цицерон,^[191] ставит во главе списка римских комических поэтов. Он был освобожденным рабом и родился в Милане. Время его рождения неизвестно, но умер он в 586 году н. э. и, следовательно, был современником Энния. Он не отступал от установившегося обычая переносить комедии греческой сцены на римскую, и, насколько можно судить по названиям его сорока пяти сохранившихся комедий, все они были "Паллиатами". Коллекция сохранившихся фрагментов его произведений велика, но они недостаточно длинны и не связаны между собой, чтобы проверить благоприятное мнение, сложившееся у критиков древности.

Аулус Геллий^[192] дает нам возможность оценить способности К. Стация как переводчика, сравнивая два отрывка из его "Плоций" с оригиналом Менандра. В результате выясняется, что обычный недостаток переводов проявляется слишком явно, а именно: утрата духа и силы. "Наши комедии, - замечает он, - написаны в элегантном и изящном стиле, и их можно читать с удовольствием; но если сравнить их с греческими оригиналами, то они настолько отстают, что руки Глаука не могли бы быть более низкими, чем руки Диомеда: греческий язык полон эмоций, остроумия и живости; латинский скучен и неинтересен". Цицерон, , а также Варро высказали свое мнение о его достоинствах и недостатках. Суть их критики сводится к тому, что его достоинства заключаются в ведении сюжета,^[193] достоинствах,^[194] и в пафосе,^[195] в то время как его недостатком является недостаточная забота о сохранении чистоты латинского стиля.

Цицерон,^[196] хотя и не без колебаний, отдает ему пальму первенства среди писателей латинской комедии, как он отдает ее Эннию, а трагедию - Пакувию.^[196] С другой стороны, он говорит,^[197] что плохая латынь Цецилия и Пакувия составляла исключение из обычного стиля их эпохи, который был столь же похвален своей латинскостью, как и невинностью. А в письме к Аттику^[198] он пишет: "Я сказал не как Цецилий, *Mane ut ex portu in Piræum*, а как Теренций, чьи пьесы, из-за их изящной латыни, считались написанными К. Лелием, Heri

aliquot adolescentuli coimus in Piræum". Гораций,^[199] не высказывая собственного мнения, приводит общепринятое в его время мнение, что Цецилий превосходит Теренция по достоинству (*gravitate*), а Теренций - по мастерству (*arte*).

Пролог комедии Теренция "Гецира" доказывает, что ранние пьесы Цецилия с большим трудом добивались успеха. Исполняющий его актер, старый любимец публики и, вероятно, менеджер, извиняется за то, что выдвигает пьесу, которая однажды была отвергнута (*exacta*), на том основании, что, упорно следуя подобному курсу, он вызвал прием и одобрение не одной, а многих комедий Цецилия, которые не имели успеха, и добавляет, что из тех, что имели успех, некоторые были не очень удачными.

P. TERENCE AFER.

Р. Теренций Афер был рабом в семье римского сенатора П. Теренция Лукана. Его ранняя история неясна, но обычно предполагается, что он родился в 561 г. н. э.^[200] Его имя, Афер, указывает на африканское происхождение, поскольку было принято различать рабов по этническим именам. Есть ли достаточные основания для традиции, согласно которой он был уроженцем Карфагена, неясно. Он не мог, как справедливо заметил Фенестелла,^[201] быть военнопленным, поскольку родился и умер в промежутке между первой и второй Пуническими войнами; если же он попал в плен к нумидийцам или гетулийцам в ходе войны, которую эти племена вели с Карфагеном, он не мог попасть в руки римского генерала путем покупки, поскольку между этими народами и Римом не было торговых сношений до разрушения Карфагена.

Была предложена и другая гипотеза, которая отнюдь не является невероятной.^[202] В промежутке между первой и второй Пуническими войнами карфагеняне вели войны с собственными наемниками, нумидийцами и южными иберийцами. Некоторые посольства из Рима также посещали Карфаген. Поэтому Теренций, возможно, попал в плен во время одной из этих войн, был куплен римлянином на карфагенском рынке рабов и доставлен в Рим. Каково было его положение в доме Лукана, неизвестно, но ясно, что у него были возможности развивать свои природные таланты и приобретать то утонченное и мастерское знакомство со всеми тонкостями и изяществами латинского языка, которое демонстрировали его комедии, и вполне вероятно, что очень рано в жизни он получил свободу.

Его первым драматическим произведением стал "Андриан", пожалуй, самая интересная и, безусловно, самая трогательная из всех его комедий. Теренций, неизвестный и малоизвестный молодой человек, предложил свою пьесу курульным эдилам. Они, как нам сообщают, передали нового кандидата на суд опытного Цецилия Стация, находившегося тогда на пике своей популярности. Теренций, одетый в скромную одежду, был представлен поэту, пока тот ужинал, и, усевшись на низкий табурет возле кушетки, на которой возлежали Сесилии, начал читать. Он успел закончить всего несколько строк, когда Сесилий пригласил его сесть рядом и пообедать с ним. Он быстро дочитал до конца свою пьесу и вызвал безоговорочное восхищение слушателей. Эту историю рассказывает Донат, но есть ли в ней хоть доля правды - очень сомнительно. Во всяком случае, несомненно, что "Андриан" не был поставлен сразу после получения этого решения в свою пользу, поскольку дата его первого представления^[203] - два года после смерти Цецилия.

Талант Теренция, столь популярный в народе, и гений, представляющий редкое сочетание всех тонких и деликатных штрихов, характеризующих истинно аттические чувства, не испортив при этом исконной бесхитростной чистоты латинского языка, не могли долго оставаться в неизвестности. Вскоре его с нетерпением ждали в качестве гостя и собеседника

те, кто мог оценить его способности. Крупная римская знать, такая как Сципионы, Лелии, Скаволы и Метелли, имела вкус к литературе. Подобно *тиранам* в Сицилии и Греции, а также некоторым итальянским князьям в средние века, они собирали вокруг себя кружки литераторов, ядром и центром которых был сам вежливый и гостеприимный хозяин.

Чистота и изящество стиля Теренция, "*per quam dulces Latini leporis facetiæ nituerunt*"^[205] показывают, что разговор его опытных друзей не пропадал для его верного уха и быстрой интуиции. Этим привычкам к хорошему обществу можно также приписать ведущие моральные характеристики его комедий. Он неизменно проявляет гуманность и благожелательность, свойственные культурному человеку. Он не выносит мерзких и отвратительных пороков: он удерживает молодежь от незаконного потворства своим страстям, изображая это потворство как несовместимое с утонченными привычками и вкусами джентльмена.

Его правдивость заставляет его изображать привычки и обычаи, которые признавались и допускались как нравами афинян, с которых были взяты его комедии, так и распушенной моралью римского модного общества. Мы также не можем ожидать от языческого автора комедий столь высокого морального тона, чтобы осудить порок с той суровостью, которой, по мнению христианина, он заслуживает, каким бы порочным общество его ни считало. На это можно только надеяться, если мы видим, что принципы хорошего вкуса выдвигаются на сцену, чтобы повлиять на общественную мораль. Даже кодекс христианского общества слишком часто ограничивается тем, что порицает пороки, мешающие его собственному комфорту или безопасности, и клеймит поведение не за его безнравственность, а за то, что оно не подобает джентльмену. Это стандарт, который имеет свое применение, но он не выше терентианского.

А если сравнить пьесы Теренция с пьесами авторов, исповедующих христианство, которые являются частью классической литературы английской нации, и о которых не стеснясь свидетельствовали некоторые представители обоих полов, которые, тем не менее, исповедовали уважение к характеру, то насколько неизмеримо выше комедии языческого поэта! Укажите молодым на большой свет и знания, которыми наслаждается христианин, и пьесы Теренция можно будет читать без моральной опасности. Никаких прикрас и предостережений не хватит, чтобы уберечь ум бесхитростного юноши от неминуемой опасности быть развращенным пьесами Уайчерли и Конгрива. Картины римских нравов должны изображать их развращенными, иначе они не были бы правдивыми; но часто из них извлекается хороший урок. Когда обманутая жена с упреком спрашивает своего оскорбленного мужа, с каким лицом он может упрекать своего сына за то, что у него есть любовница, когда у него самого две жены,^[205] гораздо больше поражается чести, которую строгость римской добродетели воздавала брачному союзу, чем обижается на снисходительный взгляд, который принимается за вину молодого человека. В испуге и порке Давуса^[206] соблюдена достаточная поэтическая справедливость. Само платье, в которое была одета Меретрикс, или женщина с отброшенной моралью, постоянно держало перед глазами римской молодежи их алчность и, следовательно, предупреждало их о гибели, которая ожидает их жертв; и известный отрывок^[207], в котором описываются отвратительные привычки этого класса, должен был, как говорит сам Теренций, служить сохранением юношеской добродетели: -

Nosse omnia hæc salutis est adolescentulis.

Пандер, который подло, ради грязной корысти, служит страстям молодых, представлен как самый униженный и презренный из смертных. Паразит, который зарабатывает себе на пропитание, лъстя и подлизываясь к своему богатому покровителю, становится объектом яростных насмешек. А робкая, простая дева, слишком доверяющая привязанности своего возлюбленного и жертвующая своими интересами ради этой любви, а не ради похоти или корысти, изображена в таких красках, чтобы вызвать жалость и сочувствие зрителя, а также его одобрение, когда она заслуженно вернется на свое место почтенной матроны. Наконец, ее любовник не представлен как распутник, наслаждающийся беспорядочным потворством своим страстям и делающий порок соблазнительным благодаря привлекательным манерам и очаровательным качествам: мы чувствуем, что его грех неизбежно является результатом отсутствия высокого тона общественной морали, защищающего молодых от соблазна; и во всех случаях реальность и постоянство его привязанности к жертве его проступка доказываются его готовностью и стремлением стать ее мужем.

Насколько это возможно, комедия в руках Теренция была инструментом нравоучения, поскольку она может быть таковой только косвенно, изображая людей и нравы такими, какие они есть, а не такими, какими должны быть.

Говорят, что покровители Теренция помогали ему в написании комедий или, по крайней мере, исправляли их язык и стиль, а также украшали их, вставляя сцены и отрывки. Корнелий Непос рассказывает анекдот,^[208] который, если он правдив, сразу же доказывает эту точку зрения. Он рассказывает, что Лелий находился на своей вилле под ПUTEОЛАМИ во время праздника МАТРОНАЛИЙ. В этот праздник власть римских дам была абсолютной. Жена приказала Лелию прийти к ужину пораньше. Он оправдался, сославшись на занятость, и попросил не беспокоить его. Когда он появился в обеденном зале, то сказал, что никогда еще не был так доволен своими сочинениями. Его попросили показать образец того, что он написал, и он тут же повторил сцену из "Самоубийцы" Теренция. Теренций, однако, мягко опровергает эту историю в прологе к "Адельфиде" и дает ей положительное опровержение в прологе к комедии, в которой происходит этот отрывок. Возможно, поначалу допустил это сообщение, чтобы сделать комплимент своему покровителю.

Существует традиция, что он жил и умер в бедности, и эта история увековечена в следующих строках Порция Лициния:...

Нил Публий

Scipio profuit, nihil ei Lælius, nil Furius,

Tres per idem tempus qui agitabant nobiles facillume,

Eorum ille opere ne domum quidem habuit conductitium

Saltem ut esset quo referret obitum domini servulus.

Ничто не принесло Публию Сципиону пользы;

Ни Лелий, ни Фурий;

Сразу три великих покровителя нашего барда.

И все же так скупы в своих щедротах к нему,

Он не имел даже средств, чтобы нанять

Дом в Риме, в который верный раб

Весть о смерти хозяина мог бы принести. *Колман*.

Покровители Теренция, однако, никогда не заслуживали упрека в подлости. Комический поэт также не мог быть очень бедным. Он получал большие суммы за свои комедии; у него было достаточно средств, чтобы прожить некоторое время в Греции, а после смерти он владел садами на Аппиевом пути площадью в двадцать югеров.

Его смерть, произошедшая в 158 г. до н. э., покрыта тайной.^[210] Неизвестно, умер ли он в Греции или погиб в море вместе со всеми комедиями Менандра, которые он перевел, находясь в Греции, или же после отплытия в Азию его, как пишет Волькаций, больше никогда не видели: - *Ut Afer sex populo edulo edulo...*

Ut Afer sex populo edidit comœdias

Iter hinc in Asiam fecit, navim cum semel

Conscendit visus nunquam est. Sic vitâ vacat.

Его пережила одна дочь, выданная замуж за римского рыцаря.

Сохранилось шесть комедий Теренция, и, вероятно, это все, что он когда-либо написал; они принадлежат к классу, технически называемому *Palliatae*.

"Андриан".

"Андриан" был выставлен на Магаленсийских играх, А. У. С. 588,^[211] когда поэту шел двадцать седьмой год. Музыкальное сопровождение исполнялось на равных флейтах, правой и левой (*tibiis paribus dextris et sinistris*); *то есть*, поскольку действие носило серьезно-комический характер, в комических сценах использовалась живая музыка *tibiæ dextræ*; торжественные звуки *tibiæ sinistræ* сопровождали серьезную часть. Манеры - греческие, а действие происходит в Афинах.

Сюжет таков: Гликерия, молодая афинянка, попадает под опеку андрийца, который воспитывает ее вместе со своей дочерью Хрисидой. После его смерти Хриза переезжает в Афины, забирая с собой Гликерию как сестру, и из-за беды становится куртизанкой. Памфил, сын Симо, влюбляется в Гликерию и обещает ей выйти замуж. Симо случайно узнает о привязанности сына следующим образом: Хриза умирает, и на ее похоронах Гликерия по неосторожности подходит слишком близко к горящей куче. Ее возлюбленный бросается вперед, обнимает ее и ласково выговаривает ей за то, что она так рискует жизнью. "Дорогая Гликерия, - восклицает он, - что ты делаешь? Почему ты спешишь на погибель?" На это девушка разразилась потоком слез и бросилась в его объятия. Тем временем Симо обручил Памфила с Филуменой, дочерью Хрема; и хотя он обнаружил страсть сына, а Хрем слышал об обещании жениться, он делает вид, что брак с Филуменой все же состоится, чтобы узнать, каковы истинные чувства его сына. В этом затруднении Памфил обращается к Даву, хитрому и умному рабу, который советует ему не оказывать сопротивления. В этот момент Гликерия рождает ребенка, которого Давус подкладывает к дверям Симо. Хремес видит младенца и, поняв, что отцом является Памфил, отказывается отдать ему свою дочь. Вовремя прибывший андриец Крито открывает Хрему, что Гликерия - его родная дочь, которую он во время своего отсутствия в Афинах доверил своему брату Фанию, ныне умершему. В результате Гликерию выдают замуж за Памфила, а Филумену отдают молодому любовнику по имени Харин, который до сих пор тщетно добивался своего.

Роман "Андриан", как и следовало ожидать, имел огромный успех и побудил молодого автора упорно продолжать выбранную им карьеру. Интерес хорошо поддерживается, действие естественно, многие сцены трогательны и патетичны, а серьезные моменты умело смягчаются ловкостью Давуса и его умением выходить из затруднительных положений, в которые его вовлекает хитрость. Цицерон^[212] хвалит сцену похорон^[213] как пример того таланта повествования, который постоянно демонстрирует Теренций. Суть его критики сводится к тому, что поэт достиг краткости без ущерба для красоты; и хотя он избежал утомительного жеманства, он не упустил ни одной детали, которая была бы приятной и интересной. Ничто не может быть прекраснее борьбы между любовью и сыновним долгом Памфила,^[214] которая заканчивается его решимостью подчиниться воле отца; ничто не может быть откровеннее его признания или честнее его искреннего желания не быть заподозренным в подстрекательстве Критона.

"Андриан" был тщательно имитирован в комедии "Сознательные любовники" сэра Ричарда Стила; но по естественному и изящному остроумию, а также по изобретательности английская пьеса значительно уступает римскому оригиналу.

"Евнух".

"Евнух" - это переложение комедии Менандра. Даже персонажи те же, за исключением того, что Гнато и Фрасо вместе занимают место Колакса (льстеца) в греческом оригинале. Она была представлена в консульство М. Валерия Мессалы и К. Фанния Страбона.^[215] Музыкальное сопровождение было лидийским. Это была самая популярная из всех пьес Теренция, и она принесла автору самую большую сумму денег, которая когда-либо была заплачена за комедию ранее, а именно 8 000 сестерциев, что эквивалентно примерно 65 фунтам стерлингов. Напрасно Лавиний, злейший соперник Теренция, пытался прервать представление, и обвинить автора в плагиате. Его защита была вполне успешной, и Суетоний утверждает^[216], что за один день его вызывали дважды.

По остроумию и юмору "Евнух" не сравнится с некоторыми пьесами Теренция, но сюжет его оживлен и динамичен, а диалоги веселы и искрометны: кроме того, это, несомненно, лучшая актерская пьеса из всех. Нет ни одной пьесы, в которой была бы большая индивидуальность характеров или больший эффект гистрионного контраста. Влюбленная и несколько женоподобная Федрия прекрасно контрастирует с пылкой и страстной Хереей, чванливый, задиристый Фразо - с напыщенным философским паразитом, предлагающим основать гнатоническую школу. Пармено не только хитрее, но и гораздо умнее Давуса, а его описание пороков любви - совершенство проницательной мудрости.

Сюжет таков: Памфила, дочь афинского гражданина, была похищена в младенчестве и продана родосцу. Тот отдал ее куртизанке, которая воспитала ее вместе с собственной дочерью Таис. Впоследствии Таис переезжает в Афины, а Памфила после смерти матери продается солдату по имени Фрасо. Солдат, влюбленный в Таис, решает сделать ей подарок из своей покупки; но у Таис есть другой любовник, Федрия, и Фразо отказывается отдать Памфилу Таис, если Федрия не отвяжется от него. Таис, думая, что узнала об отношениях Памфила, и желая вернуть ее им, уговаривает Фэдрию отлучиться на два дня, чтобы Фразо мог подарить ей девицу. Тем временем Херея, младший брат Фэдрии, случайно видит Памфилу и отчаянно влюбляется в нее. Поэтому он уговаривает раба своего брата, Пармено, ввести его в дом Таис под видом евнуха, которого Фэдрия поручила ему передать ей на время своего отсутствия. Это приводит к *эклерциссу*. Памфила оказывается афинской гражданкой, и ее брат Хремес выдает ее замуж за Херею.

Самой искусной частью этой пьесы является метод, с помощью которого Теренций связал основной сюжет между Парменом и Пифией, служанкой Таис, с основным действием, и их ссоры полностью способствуют *развязке*. Из всех комедий Теренция моральный тон этой - самый низкий и унижительный. Попустительство Лакхеса, отца Хереи, в незаконной связи его сына с Таис, представляет печальную картину морального разложения, как и соглашение, хладнокровно заключенное между Федрией и Гнато^[217] демонстрирует подлость, которая, очевидно, не считалась несовместимой с привычками римского общества.

Как ни печальны эти недостатки, эта комедия всегда должна быть любимой. В ней есть отрывки, острота которых не уменьшилась с течением веков: возьмем, к примеру, тихую сатиру, содержащуюся в контрасте, который Херея проводит между здоровой и естественной красотой своей любовницы и "повседневными формами, от которых устали его глаза".

Ch.

Haud similis virgo est virginum nostrarum; quas matres student
Demissis humeris esse, vincto pectore, ut graciles sient;
Si qua est habitior paulo, pugilem esse aiunt; deducunt cibum,
Tametsi bona est natura, reddunt curatura junceas:
Itaque ergo amantur.

Pa.

Quid tua istæc.

Ch.

Nova figura oris.

Pa.

Papæ!

Ch.

Color verus, corpus solidum et succi plenum.^[218]

"Евнух" послужил основой для сюжета "Белламиры" сэра Чарльза Седли, был переведен Лафонтеном и использован в "Le Muet" Брюиса.

"Хеавтонтиморуменос".

"Самоубийца" - перевод из Менандра. Она была поставлена в первый раз с фригийской музыкой, во второй - с лидийской, в консульство прославленных Ти. Семпроний Гракх и Ювентий Тальна.^[219] Эта пьеса может считаться шедевром Теренция; она была очень любима, несмотря на ее серьезность и отсутствие комического троллинга. Стил^[220] справедливо замечает, что это картина человеческой жизни; но во всей пьесе нет ни одного отрывка, который мог бы вызвать смех. Это хороший образец утонченного вкуса Теренция, который, в отличие от Плавта, ненавидел пошлость и грубость, и не часто снисходил даже до юмора. Его благосклонный прием, кроме того, доказывает, что, несмотря на предпочтение, которое римский народ был склонен отдавать гладиаторским представлениям и более невинным забавам буфонов и канатоходцев, а также шумному веселью, которым часто прерывались театральные развлечения, он мог оценить и насладиться искусно построенным сюжетом и тем качеством, которое Теренций особенно приписывает этой комедии,^[221] чистотой стиля. Благородные чувства,

Homo sum, nihil humanum a me alienum puto,

был встречен всей публикой бурными аплодисментами.

Сюжет: Клиний, сын Менедема, влюбляется в Антифилу, якобы дочь бедной коринфянки, и, чтобы избежать гнева отца, поступает на службу к персидскому царю. Раскаявшись в своей жестокости, Менедем наказывает себя тем, что покупает ферму и, отказавшись от всех роскошеств городской жизни, трудится с утра до ночи. Как и Лаэрт в "Одиссее", он пытается занятием отвлечься от созерцания отсутствия сына: "В тот скорбный час, что оторвал его от дел...

Скорбный час, что сына оторвал

Отправил печального государя в одиночество;

Но, занятый своими рабами, чтобы облегчить свою печаль

Он виноградную лозу укрыл, и сад обдул.

Odys. xvi. 145.

Глиний возвращается из Азии и поселяется в доме своего друга Клитифора, сына Хрема. Этот Клитиф влюбился в экстравагантную куртизанку Вакхиду, и хитрый раб Сир уговаривает его выдать Вакхиду за объект привязанности Глиния, а Антифилу - за ее служанку. На следующий день Хремес, которому Менедем сообщил о своем горе и раскаянии, сообщает ему о возвращении сына и советует притвориться незнающим о его любви. Интриги и хитрость Сира побуждают Хрема заплатить Клитифону 10 мин (40 л.) на содержание Вакхиды. Сострата, жена Хрема, подло узнала, что Антифила - ее дочь, по кольцу, хранившемуся у нее. По жестокому афинскому обычаю, она отдала ее в младенчестве коринфянину, чтобы та не подвергалась опасности; тогда же она отдала и кольцо - средство ее обнаружения. Поэтому Глиний женится на Антифиле, а Хрем, разгневанный насилием Сира, прощает его и его сына, а Клитифой обещает, что откажется от Вакхиды и женится на дочери соседа.

Эта пьеса изобилует добрыми и великодушными чувствами и отрывками простой и наглядной красоты. Вся сцена, в которой описываются привычки бедной девушки, которую полюбил Глиний, отличается исключительной правдивостью. Ее занятия похожи на занятия целомудренной Лукреции из легенды:...

Texentem telam studiose ipsam offendimus,

Mediocriter vestitam veste lugubri,

Ejus anuis causa, opinor, quæ erat mortua;

Sine auro, tum ornatam, ita uti quæ ornantur sibi;

Nulla mala re esse expolitam muliebri;

Capillus passus, prolixus, circum caput

Rejectus negligenter.

Heaut. II. iii.

Занятая плетением паутины, мы нашли ее,

Прилично одетую в траур, я полагаю,

по умершей старухе. На ней не было

Ни золота, ни безделушек, но была проста и опрятна,

И одета, как те, кто одевается только для себя.

Никакого женского лака, чтобы подчеркнуть ее красоту;

Волосы всклокочены, длинны и распущены

по плечам.

Читатель не может не сочувствовать замечанию Клитифо, услышав это описание добродетельной бедности: "Если все это правда, как я полагаю, то ты самый удачливый из людей".

Деградивовавшая Вакхида также преподносит ценный урок своему полу, когда показывает благословения пути добродетели, с которого она сошла: "Nam expedit bonas esse...

Nam expedit bonas esse vobis: nos, quibuscum est res, non sinunt;

Quippe forma impulsu nostra, nos amatores colunt:

Hæc ubi immutata est, illi suum animum alio conferunt.

Nisi si prospectum interea aliquid est, desertæ vivimus.

Vobis cum uno semel ubi ætatem agere decretum 'st viro,

Cujus mos maxime 'st consimilis vostrum, hi se ad vos applicant.

Hoc beneficio utrique ab utrisque vero devincimini,

Ut nunquam ulla amoris vestro incidere possit calamitas.

Heaut. II. iv.

Добродетель - это ваш интерес: те, с кем мы имеем дело.

Не допускают, чтобы она была нашей; ибо наши галанты,

Очарованные нашей красотой, ухаживают за нами только ради нее;

Которая, увядая, переносит их любовь на других.

Если, значит, пока мы не смотрим на себя,

Мы живем одинокими, покинутыми и страдающими.

Вы, согласившись однажды прожить свою жизнь

привязаны к одному человеку, чей нрав совпадает с вашим,

Он тоже привязывается к вам всем сердцем.

Так взаимная дружба притягивает вас друг к другу;

Ничто не может разлучить вас, ничто не может поколебать вашу любовь.

Как прекрасна бескорыстная преданность Антифилы, когда она бесхитростно заявляет, что ничего не знает о чувствах других женщин, а знает только одно - что ее счастье зависит от счастья ее возлюбленного!

Nescio alias; me quidem semper scio fecisse sedulo

Ut ex illius commodum meum compararem commodum.

II. iv. 16.

Phormio.

Phormio - это перевод или адаптация "Эпиказомена" (*предмет судебного разбирательства*) Аполлодора: он был озаглавлен Phormio.

Quia primas partes qui aget, is erit Phormio

Parasitus, per quem res geretur maxime.^{[[222]]}

Она была поставлена четыре раза; в последний раз - в консульство К. Фанния Страбона и М. Валерия Мессалы,^{[[223]]} на римских или черкесских играх.

Сюжет: Хремес, афинянин, хотя у него есть жена в Афинах (Наусистрата), женится на другой на Лемносе под вымышленным именем Стилфо. От нее у него есть дочь Фания. Когда она достигла брачного возраста, Хремес договаривается со своим братом Демифой, что она станет женой его сына Антифора. После этого оба старика покидают Афины; в их отсутствие сын Демифо, Федрия, влюбляется в девушку-менестрель, и лемнийская жена прибывает в Афины вместе со своей дочерью Фанией. Там она умирает, и Антифон, увидев Фанию на похоронах, очаровывается ею. Не зная, что делать, он прислушивается к совету Формиона. В случае с обездоленной сиротой афинский закон обязывал ближайшего родственника жениться на ней или дать долю. Формион подает иск против Антифона; дело доказано, и он женится на Фании. Старики возвращаются, и Хремес, не зная, что Фания - его родная дочь, приходит в отчаянный гнев. В это время Дорио, владелец Памфилы, угрожает продать ее кому-нибудь другому, если Федрия немедленно не заплатит ему тридцать мин. Гета, пронырливый слуга Демифо, добывает эти деньги, сказав старому господину, что Формион готов взять жену Антифора в свои руки при условии получения тридцати мин. В конце концов Фания обнаруживают и признают, и дело счастливо завершается. Наусистрата поначалу очень сердится, но смиряется, получив покорность раскаявшегося Хрема.

Эта комедия дала Мольеру значительную часть материалов для "Скапена".

Гецира.

Эта комедия, которая, если верить надписи, является переводом или адаптацией одной из пьес Менандра, была наименее успешной из всех пьес Теренция. Дважды она была отвергнута; в первый раз, как сообщает нам пролог ко второму представлению, из-за "неслыханной беды и препятствия" Мысли публики были настолько заняты канатным плясуном, что они не слышали ни слова. Теренций побоялся рискнуть повторить представление в тот же день; но он был настолько уверен в достоинствах пьесы, что во второй раз предложил ее на продажу эдилам, и она была поставлена еще раз в консульство Кн. Октавия и Т. Манлия.^{[[225]]} В третий раз она была показана на погребальных играх Л. Эмилия Павла, когда ее снова отвергли. На следующем представлении она имела успех, и Амбивий Турпион, чья театральная труппа исполняла ее и чья популярность уже вызвала возрождение некоторых неудачных пьес,^{[[226]]} взялся отстаивать ее интересы в новом прологе. В этом

прологе подробно рассказывается об обстоятельствах, послуживших причиной отклонения пьесы. В нем говорится, что несколько известных боксеров и ожидаемые выступления канатного плясуна вызвали большой переполох и беспорядок, особенно среди женской части публики; что на следующем представлении первый акт прошел под аплодисменты, но распространился слух о гладиаторских боях, народ стекался на представление, более соответствующее его вкусу, и театр опустел. В заключение, ради поэтического искусства, для поощрения себя к покупке новых пьес и для защиты поэта от злобных критиков, Амбивио обратился к терпеливому вниманию публики; и призыв старого любимого слуги публики увенчался успехом.

"Гецира", несомненно, уступает другим пьесам Теренция и, вероятно, по этой причине никогда не подражалась в современной литературе. Это драма о домашней жизни, но сюжет лишен интереса, а сценам не хватает жизни и разнообразия.

Сюжет: Памфил, по желанию своего отца Лахеса, женится на Филумене, дочери Фидиппа и Миррины, но, будучи вовлеченным в любовную связь с Вакхисом, не испытывает к жене никакой привязанности и избегает всяких сношений с ней. Между тем Вакхида, оскорбленная его женитьбой, проявляет такое несдержанное поведение, что отлучает его от себя и переносит его привязанность на Филумену. Памфил отправляется в Имбрус, а по возвращении с удивлением узнает, что Филумена покинула дом его отца, а затем обнаруживает, что она родила сына. Поэтому он отказывается взять ее в жены; но поскольку он любит ее до безумия, то обещает ее матери, что сохранит в тайне ее позор. Поскольку он не хочет жить со своей женой и не называет причины, в этом подозревают Вакхиду. Но она снимает с себя это подозрение. Однако Миррина узнает на пальце кольцо, принадлежащее ее дочери. Это приводит к *развязке*. Однажды ночью Памфил в состоянии алкогольного опьянения встретил Филумену и предложил ей насилие. Он силой снял с ее пальца кольцо и отдал его Вакхиду. Поэтому он с радостью признает ребенка своим и возвращает оскорбленную жену в свои объятия.

Название комедии - "Гецира" (свекровь) - происходит от роли Состраты, матери Памфила. Лахес, не в силах объяснить поведение Филумены и своего сына, твердо убежден, что его жена Сострата питает предубеждение против невестки, и Памфил, несмотря на свою покорную привязанность к матери, не может не поддаться аналогичному впечатлению. Сострата, чтобы отвести от себя это подозрение, с благородным великодушием предлагает покинуть дом, чтобы Филумена могла вернуться.

Это милое соперничество материнской преданности, с одной стороны, и сыновнего уважения - с другой, составляет самую интересную часть комедии; Теренций таким образом постарался избавить отношения свекрови от предрассудков, которые слишком часто заслуженно связывают с ними.

Адельфи.

Эта комедия была поставлена на погребальных играх Л. Эмилия Павла Македонского, завоевателя Персея, в консульство Л. Аниция Галла и М. Корнелия Цетегуса.^[227] Музыка была сарранская или тирийская, серьезный характер которой соответствовал торжественности случая. Расходы на представление взяли на себя К. Фабий Максим и П. К. Сципион Африканский, сыновья покойного.

Описание: У Демея, деревенского дворянина и строгого блюстителя дисциплины, было два сына, Эсхин и Ктесифо. Старшего, Эсхина, усыновляет его дядя Микио, холостяк со снисходительным нравом и несколько распушенными принципами, ведущий городской

образ жизни в Афинах. В то время как Ктесифой воспитывается в строгой деревенской обстановке, Эсхин воспитывается слишком снисходительно и ведет разгульный и экстравагантный образ жизни. Однажды ночью, в порыве пьяной страсти, он предлагает насилие Памфиле, юной деве, хорошо рожденной, но бедной; за это оскорбление он заглаживает вину обещанием жениться. Вскоре Ктесифо влюбляется в случайно встреченную им девушку-менестреля, а Эсхин, чтобы спасти брата от гнева отца, скрывает свою любовь и берет позор от нее на себя. В конце концов он нападает на пандера, которому принадлежит девушка, силой отнимает ее и отдает брату. Эта история доходит до слуха Демее, которая сурово упрекает Мичио за то, что он погубил своего сына неосмотрительным потворством. Дело разъясняется, брак между Эсхином и Памфилой заключен, девушка-менестрель отдана Ктесифу, и за нее уплачена цена. Старый холостяк Микио женится на Сострате, матери Памфилы, и, по обычному правилу комедии, все низшие лица драмы становятся счастливыми.

Как бы ни были распущены нравы, которые Мичио воздерживается исправлять, его поведение иллюстрирует ценный принцип воспитания:...

Есть способ завоевать больше любовью

И призывом к скромности, чем страхом.

Сила действует на подневольные чувства, а не на свободные.

Бен Джонсон.

Зло, которое может возникнуть из-за безразличия к моральным принципам, также не остается без противоядия. Демей поддерживает мудрую и неизбирательную снисходительность; в конце пьесы он объявляет о своей сознательной смене характера, но в то же время указывает на пагубные ошибки той доброты и снисходительности, которая проистекает из импульса, а не из принципа.

Dicam tibi:

Ut id ostenderem, quod te isti facilem et festivum putant,

Id non fieri ex vera vita, neque adeo ex æquo et bono;

Sed assentando atque indulgendo et largiendo, Micio.

Nunc adeo, si ob eam rem vobis mea vita invisa, Æschine, est,

Quia non justa, injusta, prorsus omnia omnino obsequor;

Missa facio; effundite, emite, facite, quod vobis lubet.

Sed si id vultis potius, quæ vos propter adulescentiam

Minus videtis, magis impense cupitis, consulitis parum,

Hæc reprehendere et corrigere quam, obsecundare in loco;

Ecce me qui id faciam vobis.

Итак, если я одиозен для тебя, сынок,

Потому что я не подчиняюсь твоему юмору

Во всех делах, хороших и плохих, прочь заботы:

Трать, растрачивай и делай, что хочешь. Но если,

В тех делах, где молодость тебя ослепила,

нетерпеливым и легкомысленным, вы позволите мне

Советовать и поправлять вас, а в должное время

Побаловать вас, я к вашим услугам. *Колман*.

Этот двойной урок отнюдь не бесполезен для родителей, чтобы они не покупали привязанность своих детей неосмотрительными поблажками, как Мичио, и, с другой стороны, как Демей, не натягивали слишком туго пуповину, склоняя детей к обману и отказывая в доверии их естественным советчикам и опекунам. Однако самая прекрасная черта пьесы - это картина, которую она дает о братской привязанности. Это была последняя комедия автора. Она подсказала Мольеру идею его "Школы мари", а Барону - значительную часть сюжета "Школы де Пера". Шэдвелл также был обязан ей за своего "Сквайра из Эльзатии", а Гаррик - за комедию "Стражник".

Следующее сравнение двух великих римских комических поэтов, сделанное французским критиком, является справедливым:...

"Ce poète (Térence) a beaucoup plus d'art, mais il me semble que l'autre a plus d'esprit. Теренций больше говорит, чем действует; другой больше действует, чем говорит: это и есть подлинный характер комедии, которая больше действует, чем говорит. Это живое действие я считаю еще большим преимуществом Плутарха; его интриги очень разнообразны и постоянно вызывают восхищение; вместо этого театр кажется более вялым для Теренция, в котором живое действие и отсутствие инцидентов и интриг явно бросаются в глаза".

Если Теренций уступает Плавту в жизни, суете и интригах, в сильном обрисовке национального характера, то он превосходит его в изяществе языка и утонченности вкуса; он гораздо реже нарушает приличия и заменяет пошлость изысканностью чувств. Справедливость его размышлений с лихвой компенсирует отсутствие юмора его предшественника: он трогает сердце, а также радует интеллект.

Если ему не хватало *vis comica*, то это лишь тот недостаток, который Цезарь приписывал римской комедии в целом; а Цицерон, считавший, что римское остроумие еще более пикантно, чем сама аттическая соль, сделал ему заслуженный комплимент в следующих строках:...

Quicquid come loquens atque omnia dulcia dicens.

Теренцию возражают, что он перебарщивает с солилоками;^[228], но неудивительно, что он должен был ими наслаждаться, поскольку ни один автор не превзошел его в повествовании. Его естественная и непринужденная простота делает его лучшим рассказчиком истории: он никогда не предаётся демонстрации принудительного остроумия или попыткам эпиграмматической остроты; в нем нет лишних штрихов, хотя его картины оживлены достаточной миниатюрностью; его моральные уроки передаются в знакомых пословицах, а не в скучном и педантичном догматизме.

Остальные комические поэты требуют лишь краткого упоминания. Л. Афраний был современником Теренция и процветал около 150 г. до н.э. Все его комедии относятся к

низшему классу *басен* (*tabernariæ*), и критики обычно признают, что он обладает большим мастерством в приспособлении греческой комедии к изображению римских нравов:...

Dicitur Afrani *toga* convenisse Menandro.

Hor. Ep. II. i. 57.

Его стиль был краток и красноречив (*perargutus et disertus*)^[229], но он был человеком низких вкусов и распутной морали;^[230] и поэтому, хотя, живя среди сцен вульгарного порока, которые он с удовольствием рисовал, его персонажи были верны природе, они были отвратительны и омерзительны. Его безнравственность, вероятно, не меньше, чем его талант, стала причиной того, что он оставался любимцем в самые развращенные времена империи. Сохранились фрагменты и названия многих его комедий.

Имя Атилия стало известно нам благодаря Цицерону, который трижды упоминает о нем. В письме к Аттику^[231] он называет его самым захудалым поэтом (*poeta durissimus*) и цитирует следующую строку из одной из его комедий:...

Suam cuique sponsam, mihi meam; suum cuique amorem, mihi meum.

В трактате "De Finibus" он говорит о нем как об авторе плохого перевода "Электры" Софокла и ссылается на свидетельство Лициния, который называет его "твердым как железо".

Ferreum scriptorem; verum opinor; scriptorem tamen

Ut legendus sit;

И, наконец, в "Тускуланских диспутах" он дает название одной из своих пьес - *Μισογυνος* (Женоненавистник). О его рождении и личной истории ничего не сохранилось.

Р. Лициний Тегула, как принято считать, был одним из древнейших латинских комиков, процветая уже в начале II века до н. э. Немногочисленные фрагменты его произведений не дают возможности определить, насколько он заслуживает места, отведенного ему в эпиграмме Волькатия.

Лавиний Лусций подвергается суровой критике Теренцием в его прологах к "Евнуху", "Гевтонтиморумену" и "Формиону", хотя сам он не упоминается по имени. Теренций, однако, защищает строгость своих замечаний, ссылаясь на то, что Лусций был первым агрессором. В первом из вышеупомянутых прологов нам сообщается, что он хорошо переводил, но, неумело изменяя и приспособлявая сюжеты, делал из хороших греческих комедий плохие латинские:...

-- bene vertendo et describendo male

Ex Græcis bonis Latinas fecit non bonas.

Две пьесы Менандра упоминаются как подвергшиеся такому жестокому обращению - "Фазма" ("Призрак") и "Тезаурус" ("Сокровище"). Как он испортил сюжет первой, не указано; но в версии "Тезауруса" Теренций обвиняет Лусция в юридической ошибке. Молодой блудник продал свое наследство, на котором стоит гробница его отца, старому скряге. Отец, предвидя последствия расточительности сына, перед смертью велел ему открыть гробницу по истечении десяти лет. Он так и сделал и нашел сокровища. Старик требует, чтобы сокровища принадлежали ему, а юноша подает иск об их возвращении. Ошибка, в которой был виновен Лусций, заключалась в том, что при ведении дела он заставил ответчика открыть состязательные бумаги вместо истца.

От сочинений К. Трабеи не осталось никаких фрагментов, кроме коротких отрывков, процитированных Цицероном,^[234] а время его расцвета неизвестно. Существует анекдот, в котором рассказывается, что Мурет подарил Иосифу Скалигеру перевод на латынь стихов из поэмы Филемона, сохраненной Стобеусом, который, как он утверждал, был написан Трабеей. Скалигер был навязан и в своих заметках о Варро процитировал стихи Муретуса как работу Трабеи. Когда он обнаружил этот трюк, он вычеркнул их из латинских изданий своих записок и отомстил Мурету пасквильной эпиграммой.^[235]

Последний из этих драматических писателей, о котором еще предстоит упомянуть, - Секст Турпилий. Сохранилось несколько фрагментов, а также названия некоторых его пьес. Все названия греческие, поэтому, вероятно, его комедии были *Fabulæ Palliatæ*. Он процветал во втором веке до нашей эры, а умер, согласно Евсевийской хронике, в начале первого века.^[236]

ГЛАВА VIII.

ПОЧЕМУ ТРАГЕДИЯ НЕ ПРОЦВЕТАЛА В РИМЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ НЕ ИМЕЛИ ВЛИЯНИЯ НА НАРОД - ФАБУЛА - РИМСКАЯ РЕЛИГИЯ НЕ БЫЛА ИДЕАЛЬНОЙ - РИМЛЯНЕ ЛЮБИЛИ СЦЕНЫ РЕАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЗРЕЛИЩА - ТРАГЕДИЯ НЕ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ НАРОДА - ПАКУВИЙ - ЕГО ДУЛОРЕСТЫ И ПАУЛУС.

Из того, что уже было сказано, достаточно ясно, что итальянцы, как и все другие индоевропейские расы, имели определенный вкус к драме, но этот вкус развился в любовь к сценам юмористической сатиры. Таким образом, если римская комедия возникла в Италии и была доведена до совершенства под влиянием греческой литературы, то римская трагедия,^[237] с другой стороны, была перенесена из Афин и, за исключением очень немногих случаев, никогда не была чем-то большим, чем перевод или подражание.

За столетие, в течение которого вместе с комедией она процветала и приходила в упадок, она могла похвастаться пятью выдающимися писателями - Ливием, Невием, Эннием, Пакувием и Аттием. Единственная претензия Атилия на то, чтобы считаться трагическим поэтом, заключается в том, что он был переводчиком одной греческой трагедии. Но в последующие века Рим не создал ни одного трагического поэта, если только не считать исключением Вария. Его трагедия "Тиест" пользовалась столь высокой репутацией среди критиков эпохи Августа, что Квинтилиан, чьи суждения в целом совпадают с их мнением, назвал ее способной выдержать сравнение с произведениями греческих трагических поэтов. Она была поставлена только один раз, а именно после возвращения Октавия из битвы при Актиуме, и поэт получил за нее 1 000 000 сестерций (около 8 000 л.)^[238] Трагедии, приписываемые Сенеке, никогда не ставились, а были написаны только для чтения и декламации.

О Ливии, Невии и Эннии уже было сказано немного, поскольку их поэтическая репутация основывается скорее на других основаниях, чем на их таланте к драматической поэзии. Но прежде чем перейти к жизни и сочинениям Пакувия и Аттия, необходимо рассмотреть причины, которые помешали трагедии процветать в Риме.

Пытаясь объяснить этот феномен, недостаточно сказать, что в национальных легендах эллинской расы были заложены сюжеты по сути драматического характера и что эпическая поэзия содержала инциденты, характеры, чувства и даже драматический механизм, которые требовалось лишь перенести на сцену. Несомненно, греческие эпосы и легенды были

неисчерпаемым источником вдохновения для трагических поэтов. Но верно и то, что у римлян были национальные легенды, которые легли в основу их истории и были вплетены в их раннюю литературу. Однако эти легенды были частной, а не общественной собственностью; они хранились в записях и родословных частных семей, служили их славе и поэтому были более интересны для членов этих семей, чем для всего народа: они не хранились как национальное достояние жреческими семьями, как аттические Евмолпиды, и не обвивались вокруг сердец римского народа, как почтенные традиции Греции вокруг сердец этого народа. Римляне не жили ими - они были забальзамированы их поэтами как любопытные свидетельства древности или признанные вымыслы - они не служили поводом для пробуждения национального энтузиазма. Поэтому, хотя они и существовали, они были сравнительно бессильны перед народным сознанием как элементы драматического эффекта.

Они ревностно хранились известными домами, в сухом и неприукрашенном виде поставляли материалы анналистам и украшались графической силой историка; но маловероятно, что они когда-либо составляли, в том же смысле, что и греческие легенды, фольклор римского народа. Сами по себе истории Горацийев и Регилла были достаточно волнующими, а истории Лукреции, Кориолана и Виргилия - достаточно трогательными для трагедии, но они не были знакомы народным массам.

Вскоре наступил период, когда появилась еще одна причина, по которой римские национальные легенды, как бы они ни были абстрактно приспособлены для трагедии, не смогли затронуть чувства римского народа. Оно перестало испытывать к ним личный интерес. Массы претерпели полное изменение. Римский народ самых цветущих литературных эпох не был потомком тех, кто поддерживал национальную славу в легендарный период. Тогда не только вымерли почти все патрицианские роды, но войны и нищета уничтожили средний класс и сильно поредели низшие слои. Оставшиеся в живых старые ветераны чистой римской крови были расселены вдали от Рима в различных военных колониях. В образовавшуюся пустоту хлынули тысячи рабов, пленников, захваченных в кровавых войнах в Галлии и Испании, Греции и Африке. Они и их потомки заменили древний народ. Многие из них получили свободу и право голоса, а некоторые благодаря своим талантам и энергии достигли богатства и положения. Но они не могли быть римлянами в душе или считать прошлую славу принятой ими страны своей собственной. Они не были связаны с ней узами старых ассоциаций. Древние легенды не представляли для них особого интереса. Не имело значения, греческими или римскими были происшествия и персонажи трагедий, свидетелями которых они становились. Именно подъему этого нового элемента населения и вытеснению или поглощению старой расы был обязан упадок патриотизма - беспечное пренебрежение всем, кроме ежедневного пропитания и ежедневных развлечений,^[239] проложившее путь империи и ознаменовавшее падение свободы. Отсюда же в какой-то степени проистекало и то невлиятельное положение, которое занимали в Риме национальные традиции; трагедия, хотя и была какое-то время популярна, не смогла сохранить свою популярность. Таким образом, она полностью исчезла, а когда возродилась, то появилась не как любимица народа, а под покровительством избранных кругов, и заняла свое место, не как афинская трагедия, как ведущая литература эпохи, а просто как один из видов литературного творчества.

Народ, состоящий из таких элементов, не давал поэту соблазна сойти с проторенной дорожки своего предшественника, подражания греческой трагедии. Они были пасынками Рима, как Сципион Эмилиан называл толпу, которая с криком заявила, что смерть Тиберия Гракха была справедливой: - *Mercedibus emptæ*

Mercedibus emptæ

Et viles operæ quibus est mea Roma noverca.

Petron. v. 164.

Настоящие покровители поэта были воспитаны на греческих принципах; поэтому греческий вкус полностью восторжествовал над национальной легендой, и героями римской трагедии стали те, кто был прославлен в эллинской истории. Римские исторические пьесы (*prætextatæ*), которые наиболее близко подошли к воплощению идеи национальной трагедии, были изящными комплиментами в адрес выдающихся личностей. Обычно они исполнялись на общественных похоронах; и поскольку в процессии маски, изображающие черты лица покойного, несли люди схожего роста, происхождения из его жизни становились предметом драмы, которая выставлялась по этому случаю.

Список *Fabulæ Prætextatæ*, даже если бы он был полным, занял бы лишь узкие рамки; они не обладали достаточными достоинствами, чтобы выдержать испытание временем. Они дошли до нас только под именем, а сохранившихся названий всего девять:...

Паулюс из Пакувия, представляющий случай из жизни Л. Эмилия Паулюса.^[240]

Брут, Энеад и Марцелл Аттия.^[241]

Iter ad Lentulum, отрывок из жизни Бальба.^[242]

Катон.

Домиций Нерон, по Матерну, во времена Веспасиана.

Весций, сатирик (?) Персий.

Октавиан, по Сенеке, в царствование Траяна.

Сравнивая влияние трагедии на афинский и римский народы, не следует забывать, что в первом она была частью национальной религии. С ее помощью людей не только учили сочувствовать своим героическим предкам, но и освящали их симпатии. В Греции поэт считался вдохновителем - поэзия была голосом обожествленной природы, языком, на котором естественное общалось со сверхъестественным, видимое - с невидимым. Для римлян поэзия была не более чем развлечением фантазии; для греков она была божественным источником душевных эмоций.

Поэтому в Афинах драма была как бы актом поклонения - она составляла неотъемлемую часть радостного, но серьезного религиозного праздника. Театр был храмом; алтарь божества был его центральной точкой; группа хористов двигалась торжественным маршем и песнями в честь бога и, в дидактическом духе, который освящал их должность, преподавала людям уроки добродетели. Не то чтобы зрители входили в зал с сердцами, проникнутыми святыми чувствами, или с мыслями богомольцев; но так всегда бывает, когда религиозные церемонии становятся чувственными. Настоящая цель поклонения большинством забывается. Но все же греки привыкли бессознательно воспринимать драму как развитие религиозных чувств. У римлян театр был всего лишь местом светских развлечений. Тимьян больше не существовал как память о жертвоприношении богу. Оркестр, ранее

предназначавшийся для хора, был для них не более чем лавками, занятыми государственными сановниками. Драмы, конечно, показывали на больших Мегаленсийских играх, но они были лишь дополнением к религиозному характеру праздника. Священный сезон подразумевает отдых и расслабление - *праздник* в народном понимании этого слова, и театральные представления считались подходящим и правильным видом времяпрепровождения; но как сама религия не оказывала на народное сознание римлян того же влияния, что и на греков, так и драма у римлян не занимала место служанки религии.

Кроме того, их религия, хотя и была чище и благороднее, не была идеальной, как у греков. Свобода от человеческих страстей выводила ее из сферы поэзии, и поэтому она не была рассчитана ни на ужас, ни на жалость. Нравственные атрибуты Божества проявлялись в суровой строгости; но ни вера, ни церемониал не стремились воспламенить сердце поклонника энтузиазмом. В Риме не было священнической касты, объединявшей в одном лице характер барда и служителя религии. В последующие века она научилась у греков называть поэта священным, но святость, которую она приписывала его характеру, не была искренней верой сердца. Римские священники были гражданскими магистратами; религия, таким образом, стала частью гражданской администрации и политическим двигателем. То, во что верили, не имело большого значения. Старая национальная вера Италии, не укоренившаяся в сердце, вскоре устарела: она с готовностью приняла иноземные суеверия. Старые божества приняли имена греческой мифологии: они поменяли свои атрибуты и истории на греческие легенды, и целый сонм чужих богов заполнил их Пантеон. Однако они не имели ни веры, ни любви народа: это были мифологические и нереальные персонажи, годные лишь на то, чтобы служить сюжетом и украшением для поэзии.

Да и гений римского народа был не таков, чтобы сочувствовать легендам прошлого. Римляне жили настоящим и будущим, а не прошлым. Поэт мог назвать эпоху, в которой он жил, вырождающейся и со скорбью ожидать еще более низкой деградации, в то время как он с восхищением оглядывался на ушедшие времена. Сквозь призму прошлых лет римская добродетель и величие казались его воображению превознесенными: он мог сетовать, как Гораций, на постепенный упадок, который еще не достиг своей худшей точки:...

Ætas parentum pejor avis tulit

Nos nequiores mox daturos

Progeniem vitiosorem.

Od. III. vi. 46.

Но народ не сочувствовал этим чувствам: он наслаждался действием, а не созерцанием и размышлением. Они не оглядывались на своих национальных героев, как на полубогов, и не мечтали об их славе: они шли вперед и расширяли границы своей империи, подчиняя своему игу племена и народы, которых не знали их предки. Если они и воспринимали своих предков, то не героических людей по сравнению с собой, а тех, на кого они могли равняться или даже превзойти: они жили надеждой, а не памятью.

Это не те элементы характера, которые заставили бы народ воплотить для себя идеал трагедии. Афинский трагический поэт был бы уверен, что та же тема, которая вдохновляла его, заинтересует и его зрителей, что если его гений поднимется на ту высоту, которую требовал их критический вкус, он сможет рассчитывать на симпатии театра, переполненного десятками тысячами его соотечественников. Римский трагический поэт был бы покинут ради любого зрелища более волнующего характера - его самые трогательные сцены и

благородные чувства, ради сцен реального действия и реальной жизни. Кровавые бои гладиаторов, несчастные пленники и преступники, растянутые на крестах, умирающие в мучительных агониях или растерзанные дикими зверями, были настоящими трагедиями, притворные бои и Наумахии, хотя и были лишь имитацией, были настоящими драмами, в которых зримо представлялись те занятия, которые наиболее глубоко интересовали зрителей, которые составляли их главные обязанности и высшую славу. Даже великолепные зрелища питали их личное тщеславие и гордость за свое национальное величие. Добыча завоеванных народов, проносимая в процессии по сцене, напоминала им об их триумфах и победах; а великолепные наряды актеров - модель захваченного города, перед которой и за которой следовали скульптуры из мрамора и слоновой кости, - имитировали оvation или триумф какого-нибудь успешного генерала, чье возвращение из далекой экспедиции, нагруженное богатством, подтверждало слухи, которые уже дошли до ворот Рима; А сцена, сверкающая стеклом, золотом и серебром, украшенная разноцветными колоннами из иностранного мрамора, демонстративно рассказывала об их богатстве и великолепии.^[243]

Опять же, римляне были грубым, беспокойным народом, полным скорее физической, чем интеллектуальной энергии, любящим вражду, стремящимся к опасности, не придающим значения человеческой жизни и страданиям. Сами их добродетели были суровы и строги. Неумолимая справедливость Брута, олицетворяющая победу принципа над чувством, была для них вершиной добродетели. Они были готовы пройти через крайние физические пытки вместе с Регулом и посвятить себя смерти, как Курций и Деций. Суровые и безжалостные к себе, они, как и следовало ожидать, были такими же и по отношению к другим. Им, в сущности, были чужды обе страсти, которые трагедия призвана возбуждать и очищать, - жалость и ужас.^[244] Они были слишком суровы, чтобы жалеть, слишком лишены воображения, чтобы их тронули рассказы о чудесах и ужасных деяниях, которые поражали нежное и любящее чудеса воображение греков. Будучи народом деятельным, а не сентиментальным, они не ценили нравственные страдания и борьбу чувствительного духа. Их трогали только сцены физических страданий и агонии.

Общественные игры Греции в Олимпии или на перешейке были бескровными и мирными, а утонченность поэзии смешивалась с теми, которые были рассчитаны на бодрость физических сил и развитие мужественной красоты. Римские войны были выставками не морального, а физического мужества и выносливости: они были кровавыми и жестокими, развлечениями народа, для которого война была не необходимым злом или борьбой за национальное существование, за очаги и алтари, а удовольствием и развлечением, средством удовлетворения агрессивных амбиций. Трагическое чувство Греции представлено скульптурной скорбью Ниобы, Рима - смертельной борьбой, искажающей черты и мускулы Лаокоона. Это было, если можно так выразиться, *амфитеатрально*, а не *театрально*.

Для такого народа моральные страдания трагедии были бессильны; и все же именно у народа драма, если она хочет процветать, должна искать покровительства. Изысканное и образованное общество, такое, какое всегда существовало в Риме в его литературный период, может аплодировать счастливой адаптации греческих трагиков и поощрять поэта в его задаче - ведь только образованный и утонченный вкус может оценить такой талант, как искусное подражание; но трагическая драма в таких обстоятельствах вряд ли могла надеяться на то, чтобы стать национальной. Не следует забывать и о том, что, учитывая вкус римлян к зрелищам, художественные аксессуары драмы имели бы больше шансов на успех у такого народа, как римляне, чем литературные достоинства, поскольку удовольствия искусства более низкие и чувственные. Поэтому в глазах народа украшение театра и

костюмы исполнителей, естественно, стали главными требованиями, в то время как должность поэта считалась подчиненной тому, как пьеса была поставлена на сцене; и таким образом вырождающийся театральный вкус, преобладавший во времена Горация, вызвал известную и заслуженную критику поэта.^[245]

Нельзя утверждать, что трагедия никогда не была, в определенной степени, приемлемым развлечением в Риме, но только то, что она никогда не процветала в Риме так, как в Афинах, что ни одна римская трагедия не может, несмотря на все, что было сказано в ее хвалу и защиту, сравниться с греческими, и что трагическая драма никогда не удерживала такого влияния на народный ум, чтобы не быть вытесненной развлечениями более материального и менее интеллектуального рода. Она была подражательной и лишенной оригинальности. Она была привнесена извне как одна из составляющих новой литературы; она не выросла спонтанно в процессе естественного развития из предшествующих эпох эпической и лирической поэзии и не возникла, как это произошло в Афинах, в тот самый момент, когда общественный ум и вкус были готовы принять и оценить ее.

Три эпохи, отделенные друг от друга пропастями, вторая из которых шире первой, породили трагических поэтов. В первую из них процветали Ливий Андроник, Невий и Энний; во вторую Пакувий и Аттий; в третью Асиний Поллион^[246] писал трагедии, сюжеты которых, как следует из слов Вергилия, были взяты из римской истории.^[247] Варий либо написал, либо, как утверждают некоторые схолиасты, украл "Фиест" у Кассия или Вергилия. Овидий попытался написать "Медею", о которой Квинтилиан говорит, что это, по меньшей мере, многообещающее представление; и даже сам император Август, вместе с другими людьми гения, пробовал свои силы, хотя и безуспешно, в трагедии. Послание Горация к Пизонам сразу же показывает распространенность этого вкуса и то, что всеобщее незнание правил и принципов искусства требовало обучения. Десять риторических драм, с полным основанием приписываемых философу Сенеке, завершают каталог трагедий, относящихся к этой эпохе, но, за исключением этих, образцов не осталось; скорее всего, они не заслуживали сохранения. Трагедии более древней школы были более высокого уровня, и они сохранили свое место в общественной оценке достаточно долго, чтобы породить более новую и более низкую школу. Отрывки из старых латинских трагедий, процитированные Цицероном, вполне заслуживают того восхищения, с которым он к ним относился; а фрагмент "Прометея" Аттия отличается величием и возвышенностью, которые заставляют нас сожалеть о почти полной утрате этой ветви римской литературы.

Пакувий (родился в 220 г. до н. э.)

Эпоха, когда римская трагедия достигла своего наивысшего совершенства, была второй из упомянутых и совпадала с эпохой развития комедии. Обе они питали друг друга; ведь в то время как Теренций так успешно воспроизводил остроумие и манеры новой аттической комедии, М. Пакувий обогащал римскую драму свободными подражаниями греческим трагикам. Он был уроженцем Брундизия и племянником,^[248] или, по словам святого Иеронима, внуком поэта Энния. Хотя он родился еще в 220 г. до н. э., пик его популярности, по-видимому, пришелся на период до н. э.^[249] Во время своего пребывания в Риме, где он оставался до 80 лет,^[250] он отличился как живописец, а также как драматический поэт; одна из его картин в храме Геркулеса считалась превзойденной только работой Фабия Пиктора.^[251] Он входил в тот литературный кружок, украшением которого был Лелий. Завершение его долгой жизни прошло в уединении в Тарентуме, где он умер на девяностом году жизни. Аулус Геллий сохранил простую и непритязательную эпигramму,^[252] которая, вероятно, была написана им самим: --

Adolescens, etsi properas, te hoc saxum rogat

Uti ad se aspicias, deinde quod scriptum est, legas.

Hic sunt poetæ Pacuvi Marci sita

Ossa. Hoc volebam, nescius ne esses. Долина!

Пакувий был очень любим теми, кто мог смириться с недостатками и оценить достоинства великих писателей древности, и его стихи были популярны во времена И. Цезаря;^[253] и этот любитель древнеримской литературы, Цицерон, хотя и не слепой к его недостаткам, горяч в своих похвалах. Он не был лишен поклонников в эпоху Августа, и даже его недостатки имели ревностных защитников во времена Персия среди тех, кто едва ли мог найти недостаток в любом произведении, напоминающем о древности.^[254] Архаическая грубость его языка, его неотесанные формы, такие как *axim*, *tetinerim*, *egregiissimus*, и его недозволенные конструкции, такие как *mihi piget*, были вызваны неурегулированным состоянием латинского языка в его дни. Его странные сочетания, такие как *repandirostrum* и *incurvicervicum*, возможно, были вызваны изучением греческого языка и его чрезмерным восхищением его легкостью композиции. Но блеск, пафос и образованность,^[255] гармония его периодов,^[256] его красноречие,^[257] его беглость, его словесная живопись,^[258] присущи только ему.

Трагедии Пакувия были не просто переводами, а адаптацией греческих трагедий к римской сцене. Сохранившиеся фрагменты полны новых и оригинальных мыслей. Его сюжеты были заимствованы у греков, но план и трактовка были его собственными. Лирическая часть, похоже, занимала важное место в его трагедиях и демонстрирует значительную силу воображения. Очевидно, что его ум нуждался только в предложениях и был достаточно оригинален, чтобы создавать новые комбинации. Сохранились названия тринадцати его трагедий,^[259] из которых наиболее известны "Антиопа" и "Дулорест" ("Орест в рабстве"). От первой сохранился лишь один фрагмент, подвергнутый резкой критике Персием. Вторая была основана главным образом на "Ифигении в Тавриде" Еврипида,^[260] хотя автор, очевидно, вдохновлялся поэтическими концепциями Эсхила. На самом деле Пакувий менее еврипидовский, чем другие римские трагические поэты. В самой грубости его стиля и смелости выражений есть что-то от торжественного величия и живописной смелости, которые отличают отца аттической трагедии.

Темой "Дулорестов" стали приключения сына Агамемнона. Изгнанный из дворца своих предков, он оказался в изгнании и в рабстве.^[261] На первом представлении этой пьесы великодушная дружба Ореста и Пилада вызвала самые восторженные аплодисменты зрителей, которые, вероятно, впервые услышали легенду. "Какие аплодисменты, - рассказывает Лелий^[262], - раздались в театре при представлении новой пьесы моего гостя и друга М. Пакувия, когда царь, не зная, кто из них двоих Орест, Пиллад заявил, что он Орест, чтобы его предали смерти вместо него, в то время как Орест упорно утверждал, что он человек!"

Одна из его пьес, "Паулюс", представляет собой *фабулу-пратекстату*: ее сюжет полностью взят из римской истории, герой - L. Æm. Паулул, покоритель Персея. Кроме трагедий, грамматики приписывают ему одну сатуру.^[263] Говорят, что он также писал комедии, но нет никаких доказательств в пользу какой-либо из них, за исключением одной, озаглавленной "Меркатор".

ГЛАВА IX.

L. АТТИЙ - ЕГО ТРАГЕДИИ И ФРАГМЕНТЫ - ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ТРАГЕДИЯ ИСЧЕЗЛА ВМЕСТЕ С НИМ - РИМСКИЕ ТЕАТРЫ - СЛЕДЫ САТИРИЧЕСКОГО ДУХА В ГРЕЦИИ - РИМСКАЯ САТИРА - ЛУЦИЛИЙ - КРИТИКА ГОРАЦИЯ, ЦИЦЕРОНА И КВИНТИЛИАНА - ОТРЫВОК, ЦИТИРУЕМЫЙ ЛАКТАНЦИЕМ - ЛЕВИЙ, ЛИРИЧЕСКИЙ ПОЭТ.

L. Аттий (родился около 170 г. до н. э.).

Хотя он родился примерно на пятьдесят лет позже Пакувия,^[264] Аттий был почти его современником и конкурентом в борьбе за народные аплодисменты. Приветливый старый поэт жил в самых дружеских отношениях со своим молодым соперником; А. Геллий рассказывает, что, удалившись из литературного общества Рима на покой в Тарентум, он однажды пригласил восходящего поэта к себе в гости на несколько дней и заставил его прочитать свою трагедию "Атрей". Пакувий доброжелательно оценил ее, справедливо похвалил величие поэзии, но сказал, что она несколько сурова и жестка. "Ты прав, - ответил Аттий, - но я надеюсь исправиться. Плоды, которые сначала твердые и кислые, становятся мягкими и сочными, но те, которые начинаются с мягкости, заканчиваются гнилью". Валерий Максим^[265] рассказывает, что в собраниях поэтов он отказался встать при входе И. Цезаря, потому что чувствовал, что в республике букв он главнее. Если этот анекдот подлинный, он не доказывает, что престарелый поэт был виновен в необоснованном самолюбии, ведь Сезар, должно быть, был тогда совсем юнцом, и если он и претендовал на репутацию поэта, то, во всяком случае, не был еще выдающимся воином или государственным деятелем. Среди великих людей, чьей дружбой пользовался поэт, был Дек Брут, консул 616 г.^[266] Больше ничего не известно о его личной истории, кроме того, что его родители были вольноотпущенниками, и что он был одним из колонистов, поселившихся в Пизауруме, где в последующие времена ферма или поместье (fundus Attianus) продолжала носить его имя. Его трагедии были очень многочисленны. Говорят, что он написал более пятидесяти. Три, по крайней мере, были *претекстатами*, их названия - "Брут", "Энеада" или "Деций", и "Марцелл". Его "Трахини" и "Фениссы" - почти переводы, один из них - из Софокла, другой - из Еврипида; остальные - свободное подражание греческим трагедиям. Они отличались возвышенностью и пафосом; и хотя его согревали пламенный дух и трагическое величие Эсхила, он явно проявлял пристрастие к Софоклу.^[268] Его вкус остыл, чувства благородны, стихосложение изящно. Его язык почти классический, и древние заслуженно восхищались как его отточенностью, так и энергичностью. Брут" был написан по предложению его друга Децима. Сюжет заключался в изгнании Тарквиниев, герой Брут, героиня Лукреция. Он выбрал один из самых благородных романов в римской истории. Два отрывка,^[269] процитированные Цицероном, - все, что осталось от этой национальной трагедии. В них тиран рассказывает авгурам сон, который его преследовал, а они, по его просьбе, дают свое толкование. Варро также сохранил солилоквию Геракла в предсмертных муках, взятую из "Трахини",^[270] благородный пересказ Софокла. Этот прекрасный образец его гения длится сорок пять строк. В другом отрывке Филоктет изливает свои страдания языком, столь же трогательным, как и греческий оригинал; а в третьем Прометей, освобожденный от тирании Юпитера, обращается к собравшимся титанам с возмущенным красноречием, недостойным Эсхила.^[271] Следующие строки из "Phœnissæ" и "Жалоб Филоктета", хотя и краткие, являются яркими примерами его языка и стихосложения:...

Sol, qui micantem candido curru atque equis

Flammam citatis fervido ardore explicas,

Quianam tam adverso augurio et inimico omine

Thebis radiatum lumen ostendis tuum!^[272]

Heu! quis salsis fluctibus mandet

Me ex sublimi vertice saxi,

Jamjam absumor; conficit animam

Vis volneris, ulceris æstus.^[273]

Это самые важные из многочисленных фрагментов, сохранившихся от различных трагедий возвышенного Аттия.^[274] Некоторые считают его основателем *Tragœdia Prætextatæ*. Однако это не так, поскольку нет сомнений, что подобные драмы писали и его предшественники. Тем не менее, он довел естественную трагедию до ее наивысшего совершенства.

Очевидно, приближалось время, когда римляне начали показывать, что, хотя они и не обладали изобретательским гением греков, они способны извлечь свой родной язык от грубости и перенести в него красоты греческой мысли; что они больше не являются простыми подневольными копировщиками, а могут использовать греческую поэзию как источник идей для оригинальных произведений. Они не могли сами добывать камень, но теперь они могли собрать греческие материалы в сияющее и отполированное здание, детали которого были новыми, а эффект - оригинальным.

Аттий использовал в основном ямбический триметр и анапестный диметр, но его *пратекстаты* были написаны в трохаическом и ямбическом тетраметрах, ритм которых доказывает, что его слух был более утонченным, чем у его предшественников.^[275]

Неизвестно, был ли он автором каких-либо комедий, но он был историком, антикваром и критиком, а также поэтом. Он оставил после себя обзор драматической поэзии под названием "Libri Didascalion", "Римские анналы" в стихах и два других произведения - "Libri Pragmaticon" и "Parerga". Первое из них цитируется Нонием и А. Геллием. Он умер в преклонном возрасте, вероятно, около 670 года н. э., и таким образом является как бы звеном, связывающим первый литературный период с эпохой Цицерона; ведь великий оратор был лично знаком с ним, и на момент его смерти ему должно было быть около двадцати двух лет.

С Аттием латинская трагедия исчезла. Трагедии третьего периода были написаны специально для чтения и декламации, а не для сцены. Возможно, они заслужили похвалу, которую получили, но достоинства и талант, которые они продемонстрировали, были просто риторическими, а не драматическими; это были драматические поэмы, а не драмы.

Состояние политических дел, синхронизированное со смертью Аттия, как никогда благоприятствовало трагической музе. Разворачивались настоящие и кровавые трагедии, и в сердце римского народа не было места для выдуманных бед. Если было маловероятно, чтобы народ, восхищавшийся кровавыми сценами в амфитеатре, сочувствовал горестям героя в трагедии, то почти невозможно, чтобы трагедия процветала, когда сам Рим был театром, в котором ежедневно разыгрывались сцены ужаса.

То ли тогда, то ли незадолго до этого началось ужасное господство Цинны и Мария. Резня и насилие бушевали на улицах Рима. Лучшие и благороднейшие люди становились жертвами неистовой жажды крови. Престарелый Марий, сбитый с толку беспринципными амбициями и дикими страстями, умер в бреду раскаяния, освободив тем самым место для тирании своего

лжесоюзника Цинны. Но не было ни передышки, ни перерыва. Жестокий Сулла отправил из Антемнеи приказ хладнокровно расправиться с 8 000 пленников. Бойня едва началась, как он сам прибыл, занял свое место в сенате, и пока он спокойно говорил, в доме раздавались крики убитых им жертв. Это было началом ужасов: затем последовали печально известные проскрипции. Кроме других жертв, погибло 5 600 римских рыцарей.

На фоне этих сцен затих голос трагической музыки. Зависимая от дыхания народной благосклонности, она не могла найти сторонников, а потому томилась и молчала. Может показаться удивительным, что литература любого рода должна была пережить такие времена дикого варварства. Но другая литература не зависит от общественного покровительства: она находит убежище под кровом частного дома. Литератор находит друзей и покровителей среди тех, кто, посвятив себя гуманитарным интеллектуальным занятиям, избегает сцен революционных разборок и борьбы эгоистических амбиций. Даже сам Сулла обладал изысканным и утонченным вкусом, а когда сложил с себя полномочия диктатора, проводил часы отдыха за литературными занятиями, которые не были посвящены разврату и разнузданности.

Стиль, в котором были построены римские театры, указывает на то, что вкус к трагедии, которым обладал римский народ, уже угас. Огромное здание, возведенное Помпеем, было слишком велико для показа трагедий. Сорок тысяч зрителей, которых оно вмещало, едва ли могли слышать актера, а тем более видеть выражение человеческих страстей и эмоций. Два театра, расположенные на шарнирах, спина к спине, чтобы их можно было поворачивать и формировать один огромный амфитеатр, показывают, как интерес к драме разделялся со страстью к зрелищам; и таким образом публично обеспечивалось удовлетворение того развращенного вкуса, который достиг своего зенита во времена Горация и, как мы уже видели, прервал даже комедию еще во времена Теренция.

Сатира.

Изобретение сатиры повсеместно приписывается римлянам, и это утверждение верно в том, что касается внешней формы; но дух сатиры можно найти во многих частях литературы Греции. Он оживлял гомеровские маргиналии, поэму о женщине Симонида, горькие лирические ямбы Архилоха, нападки Стесихора на Елену и особенно, как говорит Гораций, старые комедии Эвполиса, Кратина и Аристофана. Некоторое сходство можно также обнаружить между римской сатирой и греческими силлами, поэмами, относящимися к периоду упадка греческой литературы,^[276] целью которых было нападение на порок и глупость с жестким высмеиванием.^[277]

Сатира - это, если верить Горацию, форма, которую комедия приняла среди людей, у которых драма не процветала. Энний был изобретателем этого названия, но Луцилий^[278] был отцом сатиры в собственном смысле слова и был в Риме тем, чем были в Афинах авторы старой комедии. Впоследствии она заняла более широкое поле: Персий и Ювенал ограничились дидактической целью, а Гораций превратил ее в средство повествования о забавных приключениях и живописных описаниях человеческой жизни.

Сатиры Луцилия знаменуют собой целую эпоху в римской литературе и доказывают, что любовь к этому виду поэзии уже достигла больших успехов. До сих пор наука, литература и искусство считались уделом рабов и вольноотпущенников. Суровая древнеримская добродетель презирала такое сидячее и бездеятельное занятие, как интеллектуальный труд, и считала его недостойным воина и государственного деятеля. Некоторые представители высших классов любили литературу и покровительствовали ей, но не делали ее своим занятием. Катон порицал М. Фульвия Нобилиора за то, что его сопровождали поэты, когда он

отправлялся управлять своей провинцией^[279], и он до глубокой старости не брался за изучение греческого языка.^[280] К. Луцилий был по происхождению всадником, первым римским рыцарем, который сам был поэтом.^[281] Он родился в Суэссе Аурунке в 148 году до н. э.^[282] и прожил до сорока шести лет.^[283] В четырнадцать лет он служил под началом Сципиона при осаде Нуманции.^[284] Он был двоюродным дедом Помпея по материнской линии, а среди его друзей и покровителей числились Африкан и Лелий. Его сатиры состояли из тридцати книг, из которых первые двадцать и тридцатая были написаны гекзаметрами, а остальные - ямбиками или трохаиками. До наших дней сохранились многочисленные фрагменты, некоторые из которых имеют значительный объем. Сатиры, вероятно, были расположены в соответствии с их тематикой, так как те, что находятся в первой книге, посвящены темам, связанным с религией, в то время как те, что находятся в девятой, относятся к литературной и грамматической критике. Его стихосложение небрежно и неизощренно; в этом отношении он сильно уступает своим предшественникам. Он пренебрегает законами просодии и почти возвращается к обычаям того периода, когда единственным судьей было ухо.

Предвзвешенности Горация^[285] против древнеримской литературы делают его небезопасным проводником в критике. Даже в его собственное время его нападки считались некоторыми необоснованными; но его строгие замечания по поводу стиля Луцилия не являются незаслуженными; он был немзыкальным, аффектированным и неправильным. Его предложения часто плохо построены и, следовательно, лишены ясности. Его смешение греческих и латинских выражений, без того мастерства и искусства, с которым Гораций считал допустимым обогащать жаргонный язык, само по себе оскорбительно для хорошего вкуса и становится еще более неприятным из-за ненужных уменьшительных и принудительных аллитераций. На этих основаниях, и только на них, он заслуживает презрительной критики Горация.

Его реальный недостаток - недостаток средств; и не исключено, что, если бы проза считалась законным средством, он предпочел бы изливать свое возмущенное красноречие в этой неограниченной форме, а не в том, что, как говорит Гораций, каждый стих должен был стоить ему многих царапин на голове и грызения ногтей до крови. В то время как критика Горация смещена в сторону суровости, критика Цицерона^[286] несколько слишком пристрастна: во-первых, потому, что он сам не обладал поэтическим мастерством; во-вторых, потому, что в его время не было образцов совершенства, с которыми можно было бы сравнить произведения Луцилия. Суждения Квинтилиана⁽¹⁾ умеренны; и хотя поэтический вкус в то время был испорчен любовью к тишине и риторическому жеманству, похвала, которую он воздает откровенной честности и язвительному остроумию сатир Луцилия, вполне заслужена. Поскольку за образец он брал авторов старой аттической комедии, не приходится удивляться тому, что иногда он придавал своим нападкам на порок силу грубости и индивидуальности. Как и они, если Луцилий находил кого-нибудь, кто заслуживал обличения за свои преступления, он не утруждал себя общими замечаниями и абстрактными нападками на порок, а иллюстрировал свои принципы живыми примерами.

Образование Луцилия, вероятно, было неспешным, а курс обучения недостаточно строгим, чтобы дать богатому молодому римскому рыцарю точную подготовку, критические знания, необходимые для того, чтобы он стал не только поэтом, но и сатириком. Оно дало ему образованность и эрудицию, обеспечило богатство двух языков, оба из которых он использовал всякий раз, когда считал, что они дают ему обоюдоострое оружие, но оно недостаточно развило его слух и утончило его вкус. С другой стороны, его "Сатиры" должны были обладать более благородными качествами, чем стиль. Очевидно, что он был человеком высоких моральных принципов, хотя и суровым и стоическим, преданным делу добродетели,

неумолимым врагом порока и распутства, галантным и бесстрашным защитником правды и честности. Он, должно быть, чувствовал, как и Ювенал, что "трудно писать сатиру". На нем лежала обязанность, от которой он не мог уклониться. Что ему за дело до правильных тетраметров, героики или сенариев, лишь бы сокрушить женолюбие, обжорство и самообольщение и восстановить стандарты античной морали, на которые он смотрел с восхищением?

Эта рыцарская преданность вдохновляла его на красноречие и придавала достоинство его грубым стихам, хотя и не наделяла их изяществом и очарованием поэзии. Не только когда он объявляет открытую войну разврату, он должен был заставить своих противников трепетать, а жертв, мучимых совестью, корчиться под его ножом. Его восхваления добродетели образуют такие же поразительные картины; но в обоих случаях поражает и наставляет мастерство наброска рисунка, а не просто принадлежность раскраски. Посмотрите, например, следующий благородный отрывок с его бескорыстным заключением, сохраненный Лактанцием:^[288] -

Virtus, Albine, est pretium persolvere verum

Queis in versamur, queis vivimu' rebu' potesse.

Virtus est homini scire id quod quæque habeat res.

Virtus, scire homini rectum, utile, quid sit honestum,

Quæ bona, quæ mala item quid inutile turpe inhonestum.

Virtus, quærendæ finem rei scire modumque;

Virtus, divitiis pretium persolvere posse.

Virtus, id dare quod reipsa debetur honori,

Hostem esse atque inimicum hominum morumque malorum;

Contra, defensorem hominum morumque bonorum;

Magnificare hos, his bene velle, his vivere amicum;

Commoda præterea patriai prima putare,

Deinde parentum, tertia jam postremaque nostra.

Если бы они сохранились, мы нашли бы полезную информацию и наставления в его верных картинах римской жизни и нравов в их моральном состоянии перехода, развлечение в таких произведениях, как его дневник продвижения из Рима в Капую, из которого Гораций позаимствовал идею своего путешествия в Брундизий, а в его любовных стихах, обращенных к его любовнице Коллире, мы бы проследили нежные симпатии человеческой природы, которые суровость стоицизма была не в состоянии преодолеть.

Кроме сатиры, Луцилий, как говорят, пытался писать лирические стихи: если это так, то неудивительно, что ни один образец не выдержал испытания временем, ведь он не обладал ни одним из качеств лирического поэта.

После смерти Луцилия сатира пришла в упадок. Варро Атацин предпринял попытку и потерпел неудачу.^[289] Спустя полвека она обрела новое одеяние в описательных сценах Горация, а также проявила свою первоначальную силу в жгучих мыслях Персия и Ювенала.

ЛИВИЙ.

Этот литературный период был полностью лишен лирической поэзии, если только Нибур не ошибается, полагая, что Ливий процветал одновременно с Луцилием.^[290] О его истории ничего не известно, и в отношении него царит такая неопределенность, что его имя постоянно смешивают с именами Ливия и Невия. Не исключено, что некоторые приписываемые им отрывки, которые кажутся принадлежащими более поздней литературной эпохе, на самом деле являются работой Левия - например, гексаметры, которые встречаются в латинской "Одиссее" Ливия. Он перевел поэмы Киприана и написал несколько беглых аматорических произведений под названием *Erotopægnia*. Кажется, они не обладали ни изящной простотой, ни нежной теплотой, которые необходимы для лирической поэзии, хотя, возможно, достигли такого изящества выражения, какое допускало тогдашнее состояние языка. Короткие фрагменты сохранились у Апулея и в *Noctes Atticæ* А. Геллия.^[291]

ГЛАВА X.

ПРОЗАИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ПРОЗА, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ РИМСКОГО ГЕНИЯ - ИСТОРИЯ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО - РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА - Q. ФАБИЙ ПИКТОР - Л. CINCIUS ALIMENTUS-С. ACILIUS GLABRIO-ЗНАЧИМОСТЬ АННАЛИСТОВ-ВАЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРИОД, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРОЦВЕТАЛ САТО CENSORIUS- ОЧЕРК ЕГО ЖИЗНИ-ЕГО ХАРАКТЕР, ГЕНИЙ И СТИЛЬ.

Проза гораздо больше соответствовала гению римлян, чем поэзия. У них как у нации практически не было идейности и силы воображения, не было восторженной любви к природной красоте, острого восприятия симпатии и связи, существующей между человеком и внешним миром. В сознании греков любовь к стране и любовь к природе удерживали разделенную империю - они были поэтами, а также патриотами. Римский патриотизм действительно имел свою темную сторону - беспредельную жажду господства, беспринципное стремление к расширению власти и славы республики; но, тем не менее, он побуждал к ревностной преданности всему, что способствовало бы национальной независимости и социальному прогрессу. Поэтому государственная деятельность и родственные ей предметы были любимым гражданским занятием просвещенного римлянина, стремившегося сделать выдающуюся карьеру в области общественной пользы; поэтому литература, направленная на развитие науки об общественной жизни, имела для него такое очарование, каким не обладала никакая другая литература.

Его внимание привлекали такие отрасли знаний, как история, юриспруденция и ораторское искусство. Они должны были изучаться с точки зрения пользы, и в практическом духе они требовали научного, а не художественного подхода, и, следовательно, их естественным языком была бы проза, а не поэзия. Поскольку для этого утилитарного народа материя ценилась больше, чем манера, прошло немало времени, прежде чем возникла необходимость украсить прозаическую литературу грациями композиции. Самые ранние ораторы говорили с грубым и энергичным красноречием, которое всегда завораживает: они мало писали; их стиль был жестким и сухим, и очень уступал их речи. Проза Катона была менее грубой, чем у его современников или даже ближайших преемников. Сисенна был первым историком, которому приписывали изящество и лоск; а о К. Гракхе говорят как о единственном исключении среди ораторов его эпохи, благодаря ритмичной модуляции его прозаических предложений - качество, которым он, вероятно, был обязан не столько

тонкому слуху, сколько смягчающему влиянию материнского воспитания. Даже проза этого прославленного образца утонченности и хорошего вкуса, К. Лелия, была резкой и немзыкальной.^[292]

Помимо влияния, которое практический характер римского ума оказывал на прозу, не следует забывать, что римская литература была подражательной: ее целью и объектом, следовательно, было не изобретение, а эрудиция; она зависела для своего существования от обучения и была почти синонимом его. Этот принцип придал римскому интеллекту явно исторический уклон: исторический вкус пронизывает большую часть национальной литературы. Наблюдается явная тенденция к изучению предметов с исторической точки зрения. Далее мы увидим, что она не похожа на греческую, оригинальную и изобретательную, но эрудированную и эклектичную. Исторический принцип - главная отличительная черта римского ума; следовательно, в этой отрасли литературы римляне достигли наивысшей репутации и могут по праву считаться конкурентами своих греческих наставников. Не то чтобы они когда-либо полностью превосходили их; хотя они были практичными, энергичными и справедливыми мыслителями, они никогда не достигали того всеобъемлющего и философского духа, который отличал греческих историков.

Работа историка с древнейших времен считалась недостойной римлянина. Это не было похоже на другие отрасли литературы, в которых пример подавали рабы и вольноотпущенники. Те, кто первыми посвятили себя этому занятию, были также выдающимися людьми на государственной службе своей страны. Фабий Пиктор происходил из знатного патрицианского рода. Цинций Алимент, Фульвий Нобилиор и другие были свободного и почтенного происхождения. Такими были римские историки до времен Суллы; ведь Л. Отаций Пилит, процветавший в тот период, был первым свободным человеком, который начал писать историю.^{[293][294]}

Опять же, наука юриспруденции составляла неотъемлемую часть государственного управления. Это было исследование, которое рекомендовалось своим практическим характером: его не могли заклеймить даже самые занятые люди как праздное и легкомысленное занятие, а конституционные отношения, существовавшие между покровителем и клиентом, делали знание его принципов, в определенной степени, абсолютно необходимым. Защита от ошибок была величайшим благом, которое сильные могли оказать слабым, ученые - неученым. Таким образом, это был самый эффективный метод обретения благодарных и преданных друзей, а благодаря их поддержке открывался прямой путь к самым высоким политическим позициям. Поэтому не стоит удивляться тому, что даже когда изящная литература находилась в зачаточном состоянии, в ней можно найти столько имен людей, прославившихся как юристы и адвокаты.

Практическая государственная деятельность, как и ораторское искусство, рано дала толчок к развитию. Это особая литература активной жизни. Владение красноречием делало человека более эффективным как солдата и как гражданина. Как бы ни была велика сила родного, ничем не приукрашенного красноречия, энергичного здравого смысла, честной правдивости и возмутительной страсти, природа уступала место искусству по мере того, как вкус становился все более культурным. Римляне также не могли долго держать перед глазами законченные образцы греческого красноречия, не перенеся на форум или в сенатский дом часть их простого величия и величественной красоты.

Первые усилия римских историков были направлены на перенос поэтических записей в прозу, как более подходящую и популярную форму. Национальные предания, переданные традицией, стали хранилищами, которые они перерыли, чтобы получить необходимые

материалы. Что касается записей подлинной истории, то они выполняли функции простых летописцев: они рассказывали о событиях почти в стиле общественных памятников, без попыток украсить их, без живописных деталей и политических размышлений. Когда Цицерон сравнивает стиль Фабия Пиктора, Катона и Пизона со стилем старых греческих логографов^[295] Ферекида, Элланика и Акусилая, он указывает на сходство в том, что оба пренебрегали орнаментом, заботились лишь о том, чтобы их изложения были понятны, и считали, что главное достоинство писателя - краткость. Вероятно, тема римских летописцев была более ценной, в то время как греки имели преимущество в живости и мастерстве. Некоторые из самых ранних историков писали на греческом, а не на латыни. Даже в более поздние времена такие люди, как Сулла и Лукулл, а также Кн. Ауфидий, который процветал во времена юности Цицерона, писал свои мемуары на иностранном языке. Этому была определенная причина. Язык, на котором высшие классы получали образование, был греческим: наставники, даже няни были греками, так же как библиотекари, секретари и конфиденциальные слуги в самых знатных семьях. Гуманизирующий дух литературы был настолько велик, что эти выдающиеся иностранцы находили приют в семьях знатных римлян, несмотря на суровость, с которой закон относился к военнопленным. Модные разговоры, более того, перемежались греческими фразами, а в некоторых домах на греческом говорили постоянно. Даже во времена Цицерона^[296] греческую литературу читали и изучали почти во всех уголках цивилизованного мира, в то время как произведения латинских писателей были известны только в ограниченных пределах Италии.

Q. Фабий Пиктор.

Древнейшим прозаиком римской истории был К. Фабий Пиктор, современник Невия. Он принадлежал к той ветви знатного дома Фабиев, которая получила свое прозвище благодаря выдающимся способностям своего основателя как художника. Храм Салуса, который он расписал, был посвящен диктатором К. Юнием Бубульком в 302 году до н. э.; этот старейший из известных образцов римского изобразительного искусства сохранился до пожара храма в царствование Клавдия. Поэтому она должна была подвергнуться критике эпохи, способной составить правильное суждение о ее достоинствах; и, судя по свидетельствам древности, она обладала двумя основными качествами - точным рисунком и правдивым колоритом, а также была свободна от недостатков условной трактовки.^[297]

Фабии были интеллектуальной, а также знатной семьей: возможно, многочисленные записи об их подвигах, которые существуют, в какой-то степени были обусловлены их образованностью. Внуком выдающегося художника был историк Фабий Пиктор. Ливий^[298] постоянно ссылается на него, и на протяжении всего своего повествования о Ганнибаловой войне он безоговорочно доверяет ему на том основании, что тот является историком-современником,^[299] (*æqualem temporibus hujusce belli*); кроме того, он является авторитетом, на который больше всего полагались Дион Кассий и Аппиан. Точный и верный Полибий также не считал его иначе как заслуживающим доверия в целом, хотя и обвинял его в пристрастном отношении к своим соотечественникам.^[300] Niebuhr^[301] приписывает Фабию Пиктору точное знание конституционной истории, продемонстрированное Дионом Кассием, и признает, как глубоко мы обязаны ему за информацию, которой мы обладаем относительно изменений, произошедших в римской конституции. Именно его заботе мы обязаны верностью Диона, в то время как Дионисий и Ливий слишком часто сбивают нас с пути. Некоторым оправданием его пристрастности как историка служит тот факт, что Филин из Агригентума также написал историю первой Пунической войны в духе, враждебном Риму, и это спровоцировало Пиктора на защиту чести своей страны. Его труд был написан на греческом языке, а его основной темой была история первой и второй Пунических войн,

особенно войны с Ганнибалом. Некоторые считают, на основании отрывка из "De Oratore" Цицерона,^[302] что он писал как на латыни, так и на греческом; но Нибур считает, что Цицерон ошибается, и путает его с латинским анналистом по имени Ф. Мах. Сервилианом. Период, на который распространялась его работа, точно не известен, но последнее событие, о котором упоминает Ливий, основываясь на его авторитете, это битва при Тразимене,^[303] а последний случай, когда он упоминает его имя, это когда он записывает свое возвращение из посольства в Дельфы в следующем году.^[304] Более ранняя история Рима была добавлена в качестве введения; ведь его целью было не только помочь в строительстве возвышающегося здания римской литературы, но и распространить славу своей страны среди другой великой нации древности, которая теперь впервые столкнулась с достойным соперником. Папские анналы, национальные баллады, анналы его собственного дома, столь богатые легендарными историями о героизме, предоставили ему достаточно материалов; но, как говорят, он также в значительной степени опирался на запасы греческого автора по имени Диокл, уроженца Пепарета, который опередил его в работе по изучению и накоплению материала.

Л. Цинций Алимент.

Современником Фабия был другой летописец второй Пунической войны, Л. Цинций Алимент. Он был претором Сицилии^[305] на девятом году войны и принимал в ней самое активное участие.^[306] Солдаты, сражавшиеся при Каннах^[307], были отданы в его распоряжение, срок его командования был продлен, а после возвращения домой он был отправлен *легатом* к консулу Криспину по случаю печальной смерти своего коллеги Марцелла.^[308] Через некоторое время после этого он был взят в плен Ганнибалом.^[309] Как и Фабий, он написал свой труд на греческом языке и приложил к нему краткое изложение ранней римской истории.^[310] Ливий говорит о нем как о прилежном антикваре и ссылается на его авторитет, чтобы установить этрусское происхождение обычая диктатора вбивать гвоздь в храм Юпитера Оптимуса Максима.^[311] Как его точное исследование оригинальных памятников придает достоверность его ранней истории, так и его личное участие в войне на высоком посту делает его заслуживающим доверия в более поздние периоды. Говорят также, что, когда он был военнопленным, Ганнибал, который наслаждался обществом литераторов, относился к нему с большой добротой и вниманием и сам сообщил ему подробности своего перехода через Альпы в Италию.

Поэтому именно ему и тем возможностям, которыми он пользовался для получения информации, мы обязаны достоверностью этой части истории Ливия^[312] по вопросу, по которому авторы расходились во мнениях, а именно о численности войск Ганнибала в это время. Ливий апеллирует к заявлению Цинция, чтобы решить этот вопрос, и говорит, что Ганнибал сам сообщил Цинцию, сколько войск он потерял между переходом через Рону и спуском в Италию.

Точный ум Ганнибала должен был сделать его анналы ценнейшим трудом, и поэтому было очень важно объяснить и согласовать отклонения его ранней хронологии от общепринятой. Эту задачу Нибур удовлетворительно выполнил. Он предполагает, что Цинций принял циклические годы по десять месяцев, которые использовались до правления Тарквиния Приска, вместо обычных лет по двенадцать месяцев. Время, прошедшее между строительством Рима и этой эпохой, составило, согласно папским анналам, 132 года. Таким образом, ошибка, вызванная этим просчетом, составила бы 132 - 132 + 10

12 = 22 года. Если это прибавить к общей дате строительства Рима, 753 г. до н. э. = Ol. vii. 2, то получится дата, указанная Цинцием, а именно Ol. vii. 4.^[313]

C. Acilius Glabrio.

Несколько слов можно посвятить К. Ацилию Глабриону, третьему представителю греко-римской исторической литературы. О нем известно очень мало. Он был квестором в 551 г., трибуном в 557 г., а затем достиг сенаторского звания; Геллий^[314] рассказывает, что, когда три афинских философа посетили Рим в качестве послов, Ацилий представил их сенату и выступил в роли переводчика. Его рассказ был признан достойным перевода автором по имени Клавдий, и на этот перевод дважды ссылается Ливий.^[315]

Хотя труды этих летописцев, должно быть, ценны как исторические записи и как материал для более вдумчивых и философских умов, они представляют собой лишь то, что могло существовать в период становления национальной литературы. Они представляли собой голый сборник фактов, простые строительные леса и каркас истории; они не были разнообразны критическими замечаниями или политическими размышлениями. Авторы не использовали факты ни для выводов, ни для иллюстрации принципов. Что касается стиля, то он был скуден, бессодержателен и вял.

M. Порций Катон Цензорий.

Многогранность и разнообразие талантов Катона позволяют ему занять место среди ораторов, юристов, экономистов и историков. Однако именно среди последних, как представителей высшей ветви прозаической литературы, мы должны говорить об авторе "Origines". Его жизнь охватывает широкий и важный период литературной истории: все находилось в состоянии перемен - нравы, социальные привычки, литературный вкус. Влияние не только греческой литературы, но и морального и метафизического вероучения греческой философии начинало ощущаться в период расцвета мужественного и сильного интеллекта Катона. Когда он занял вторую государственную должность, к которой стремился римский гражданин, Нэвий был еще жив. Он был цензором, когда умер Плавт; и еще до окончания его собственной жизни на римской сцене были показаны комедии Теренция.

При его жизни произошли три политических события, которые, должно быть, оказали важное влияние на психическое состояние римского народа. Когда Македония после поражения Персея^[316] была низведена до состояния римской провинции, около тысячи ахейцев, среди которых был историк Полибий, были отправлены в Рим и содержались в Италии в качестве заложников в течение почти семнадцати лет. Тринадцатый год от этого события ознаменовался рассветом философии в Риме, поскольку до этого философские школы Магна Гренции, похоже, оставались незамеченными и игнорировались. Но теперь^[317] Карнеад академик, Критолай перипатетик и Диоген стоик,^[318] прибыли в Рим в качестве послов из Афин и прочитали философские лекции, которые привлекли внимание ведущих государственных деятелей, а доктрины, которые они преподавали, вызвали всеобщую тревогу. В следующем году Кратес прибыл в качестве посла от Аттала, царя Пергама, и во время своего пребывания порадовал литературное общество столицы комментариями к греческим поэтам.^[319] Неудивительно, что человек, живший в период, когда греческая литература имела столь благоприятные возможности быть пропагандируемой некоторыми из ее самых выдающихся профессоров, достаточно преодолел свои предрассудки, чтобы в старости изучить язык народа, который он одновременно ненавидел и презирал.

М. Порций Катон Цензорий родился в Тускулуме в 234 г. до н. э.^[320] Его род был очень древним, и среди его членов было много тех, кто отличался храбростью на войне и

честностью в мире. Его детство прошло в здоровых занятиях сельской жизнью на небольшой ферме Сабин, принадлежавшей его отцу; его ум, оживленный суровым и выносливым воспитанием, был рано направлен на изучение, а также на практику сельского хозяйства. В этой суровой, но честной дисциплине можно проследить черты его характера, проявившиеся в последующей жизни, его предрассудки, а также его добродетели.

Он стал солдатом в очень раннем возрасте, в 217 году до н. э., служил в Ганнибаловой войне, был под командованием Фабия Максима в Кампании и Тарентуме и хорошо послужил в решающей битве при Метауре. В перерывах между кампаниями он не стремился демонстрировать свои лавры в столичном обществе, а, подобно Курию Дентату и Квинцию Цинциннату, занимался сельским трудом в своем сабинском уединении.

Его пронизательные замечания и непринужденная беседа, а также мастерство, с которым он отстаивал интересы своих клиентов перед сельской магистратурой, вскоре сделали его способности известными, а его репутация привлекла внимание одного из его деревенских соседей, Л. Валерия Флакка, который пригласил его в свой городской дом в Риме. Благодаря покровительству своего знатного друга и собственным достоинствам он быстро возвысился в качестве адвоката. В 206 году до н. э. он был квестором, в 199 году до н. э. - эдилом, в следующем году - претором, а в 195 году до н. э. получил должность консула, причем его покровитель Флакк стал его коллегой. Его провинцией была Испания;^[321] и, будучи суровым и безжалостным к своим врагам, он показал благородный пример самоотверженной стойкости, чтобы служить благополучию своей армии. По окончании консульства он служил легатом во Фракии и Греции, а в 189 г. до н. э. был послан с гражданской миссией к Фульвию Нобилиору в Итолию.

Пережив одну неудачу, он был избран цензором в 184 г. до н. э.; теперь у него была возможность отплатить за обязательства, которые возложил на него его ранний покровитель; благодаря его влиянию Флакк был назначен его коллегой. Эта должность, прежде всего, соответствовала его талантам, и своей замечательной активностью в исполнении обязанностей он обязан своей славе и фамилии.

Теперь он мог в полной мере проявить свои деловые привычки, талант к управлению, бескомпромиссное сопротивление всякой роскоши и расточительности, бесстрашие в исправлении злоупотреблений; и хотя он был суров, общественное мнение свидетельствовало о его честности, так как он был вознагражден статуей и надписью. Теперь он служил своей стране во всех качествах, но по-прежнему не давал себе покоя; преклонный возраст не ослабил его энергии; он всегда был готов выступить в роли защитника угнетенных, поборника добродетели и карателя порока. Он преследовал губернаторов-вымогателей своей старой провинции, Испании.^[322] Он отстаивал перед сенатом дело верных родосцев.

Он вежливо уволил трех греческих философов, потому что в спорах Карнеада трудно было различить истину.^[323] Хотя его предубеждение против греков не позволило ему сочувствовать горестям ахейских изгнанников, он поддержал голосование за их возвращение на родину. Ни враги, ни страна не давали ему покоя. На восемьдесят шестом году жизни ему пришлось защищаться от обвинения в смертной казни. На восемьдесят девятом он был послан в Африку в качестве одного из арбитров между карфагенянами и Массиниссой,^[324] а на девяностом, в год своей смерти,^[325] его последним публичным актом стало обвинение Гальбы за вероломное обращение с покоренными лузитанами.^[326]

Катон любил борьбу, и его долгая жизнь была сплошной борьбой. Задача никогда не казалась ему слишком трудной, потому что трудности заставляли его напрягать все силы, а

сильная воля и непобедимое упорство гарантировали успех. Присущая ему любовь к истине заставляла его ненавидеть все условности. Как политик, он считал, что звание не имеет ценности, если только оно не зависит от личных заслуг; поэтому он был неумолимым врагом аристократии. Как моралист он с негодованием отвергал фальшивый лоск современной моды, вытеснявший старую простоту, которая, по его мнению, была основой славы его страны. В литературе он не доверял и осуждал все греческое, потому что путал настроения самых благородных периодов ее существования как нации с настроениями вырождающихся греков, с которыми он вступал в контакт. Но в конце концов его честный и правдивый нрав обнаружил и признал его ошибку в этом вопросе, и его предрассудки сдались перед убеждением.

Катон, при всех своих достоинствах, был жестокосердным человеком.^[327] В нем не было ни приветливости, ни любви, ни привязанности; он не любил добра, ибо не любил ничего; но он испытывал жгучее негодование против зла. Это было главной движущей силой его поведения. Он не сочувствовал угнетенным, но объявлял войну угнетателям. Он никогда не мог сочувствовать живым людям. В молодости он восхищался прошлым поколением. В старости он чувствовал, что его жизнь прошла вместе с прошлым, и у него нет ничего общего с настоящим.

Как это обычно бывает с теми, кто живет в переходный период, его чувства были настолько заинтересованы в прошлом, которое сформировало его характер, что он был неспособен увидеть что-либо хорошее в переменах и прогрессе. По этой причине он боялся вторжения утонченности и цивилизации. Привыкший связывать добродетель и чистоту с отсутствием соблазнов, он был готов принять преувеличенное мнение о соотношении между полировкой и женоподобностью, между вкусом к прекрасному и роскошью.

Он был лютым ненавистником тех, кто противостоял его предрассудкам. Его вражда к Карфагену проистекала в большей степени из неприязни к Сципиону, как к лидеру греческой партии, чем из опасений за безопасность Рима. Сципион сказал: "Пусть будет Карфаген"; поэтому воля Катона была такова: пусть Карфаген будет разрушен. Когда в нем пробуждалась ненависть к несправедливости, как, например, в случае с вероломством Сульпиция Гальбы по отношению к лузитанам, он мог поддержать дело иностранцев против соотечественников. Его характер полон явных противоречий. Хотя он ненавидел угнетение, он был жесток к своим рабам; тираничен и непримирим только потому, что не терпел противодействия своей воле. Его честность была неподкупной, и все же он был отъявленным ростовщиком; экономным в своих привычках, и, несмотря на свои скудные потребности, хватким и скупым; но он удовлетворял свою любовь к бизнесу, а не любовь к деньгам. Торговля была для него схваткой, в которой он не допускал преимущества противника. Добродетель не представлялась Катону в приятной форме. У него было только одно представление о ней - справедливость; и, поскольку его ненависть к плохому не уравновешивалась любовью к хорошему, интенсивность его ненависти сдерживалась только практическим здравым смыслом и утилитарными взглядами, которые занимают столь видное место в римском характере. Будучи сам сдержанным и недемонстративным, он ожидал, что и другие будут такими же, и считал, что проявлять нежность чувств не подобает достоинству римлянина. Однажды, как нам рассказывают, он унижил римского рыцаря за то, что тот обнимал его жену в присутствии дочери. Его внешность была не более привлекательной, чем его манеры, о чем мы узнаем из следующей суровой эпиграммы:

Πύρρον, πανδακήτην, γλαυκόμματον, οὐδὲ θανόντα

Πόρκιον εἰς ἅδην Περσεφόνῃ δέχεται.

С его рыжими волосами, постоянным оскалом и серыми глазами Прозерпина не приняла бы Порция даже после смерти в Аид.

Как, несмотря на свои недостатки, Катон был морально величайшим человеком, когда-либо рожденным Римом, так и интеллектуально он был одним из величайших. Его гений был совершенно самобытен; его характер не формировался другими людьми; у него не было никакого образования, кроме самообразования. У него была огромная способность приобретать знания, и он перерыл все источники, чтобы пополнить свои запасы; но он не был обязан никому за свои взгляды - они формировались сами собой, за исключением тех, которые он унаследовал и с которыми его собственные независимые убеждения заставляли его соглашаться. У него были способности и решимость преуспеть во всем, за что бы он ни брался: в политике, в войне, в сельском хозяйстве, в ораторском искусстве, в истории. Его стиль - грубый, неотполированный, некрасивый, потому что для него остроумие было искусством, а лоск - поверхностным, а значит, нереальным. По этой причине он не воспользовался немисливо быстрыми изменениями, происходившими в то время в латинском языке, что видно из сравнения фрагментов произведений Катона с отшлифованными комедиями Теренция.

Его высказывания, однако, были ясными и прозрачными; его иллюстрации, хотя и причудливые, были поразительными; слова, которыми он обогатил свой родной язык, были полны смысла; его остроумие было острым и живым, хотя он никогда не позволял ему оскорблять серьезность или проявлять непочтительность.^[329] Его аргументы шли прямо к интеллекту и несли с собой убеждение.

Характер Катона образует один из самых прекрасных отрывков в трудах Ливия:^[330] "In hoc viro tanta vis animi ingenique fuit, ut, quocunque loco natus esset, fortunam sibi ipse facturus fuisse videretur. Nulla ars, neitherque privatae, norque publicae rei gerendae, ei defuit. Urbanas rusticasque res pariter callebat. Ad summos honores alios scientia juris, alios eloquentia, alios gloria militaris provexit. Huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unum diceres, quodcunque ageret. In bello manu fortissimus, multisque insignibus clarus pugnans; idem, postquam ad magnos honores pervenit, summus imperator: idem in pace, si jus consuleres, peritissimus; si causa oranda esset, eloquentissimus. Nec is tantum, cujus lingua vivo eo viguerit, monumentum eloquentiae nullum exstet: vivit immo vigetque eloquentia ejus, sacrata scriptis omnis generis. Orationes et pro se multae, et pro aliis et in alios; nam non solum accusando, sed etiam causam dicendo, fatigavit inimicos. Simultates nimio plures et exercuerunt eum, et ipse exercuit eas; nec facile dixeris, utrum magis presserit eum nobilitas, an ille agitaverit nobilitatem. Asperi proculdubio animi, et linguae acerbae, et immodice liberae fuit; sed invicti a cupiditatibus animi, et rigidae innocentiae; contemptor gratiae divitiarum. In parsimonia, in patientia laboris, periculi, ferrei prope corporis animique; quam neque senectus quidem, quae solvit omnia, fregerit. Qui sextum et octogesimum annum agens causam dixerit, ipse pro se oraverit, scripseritque; nonagesimo anno Ser. Galbam ad populi adduxerit iudicium."

ГЛАВА XI.

ИСТОКИ КАТО- ПАССАЖ, ПРОЦИТИРОВАННЫЙ ГЕЛЛИЕМ- ТРАКТАТ О ДЕРЕВЕНСКИХ ОРАЦИЯХ- Л. КАССИЙ ГЕМИНА-ИСТОРИКИ ВО ВРЕМЕНА ГРАКХОВ-ТРАДИЦИОННЫЙ АНЕКДОТ О РОМУЛЕ-АВТОБИОГРАФЫ-ФРАГМЕНТ КВАДРИГАРИЯ-ЛОЖЬ АНТИАСА-СИЗЕННЫ-ТУБЕРО.

Великий исторический и антикварный труд Катона "Истоки" был написан в преклонном возрасте.^[331] Его название, казалось бы, подразумевает, что это просто исследование древней истории его страны; но в действительности он охватывал гораздо больше, чем это, - это была история Италии и Рима с древнейших времен до последних событий, произошедших при его собственной жизни. Корнелий Непос так описывает содержание этого труда:^[332] Он разделен на семь книг. Первая посвящена истории царей; вторая и третья - возникновению и развитию италийских государств; четвертая содержит первую Пуническую войну; пятая - войну с Ганнибалом; остальные две - историю последующих войн вплоть до преторства Сервия Гальбы.

Это был труд, отличающийся большой исследовательской и оригинальной работой. Для получения археологической информации он обратился к записям и документам не только Рима, но и главных городов Италии. Вполне вероятно, что их конституционная история была введена в основное повествование случайно, и что рост и прогресс римской конституции был проиллюстрирован политическими принципами итальянских народов. В "Origines" также содержатся ценные заметки об истории и конституции Карфагена,^[333] его посольство предоставило ему полную возможность для сбора материалов. Это была, по сути, уникальная работа: ни один другой римский историк не писал в том же духе и не был столь же кропотлив в работе над оригинальными исследованиями.

Правдивость и честность Катона должны были сделать современную часть истории столь же ценной, как и античную. Он не мог быть виновен в лести, он не заботился о чувствах отдельных людей. Он не только никогда не упоминает себя, но, за исключением давно прошедших времен, никогда не называет никого по имени.^[334] Слава победы или доблестного подвига принадлежит генералу, консулу или трибуну как представителю республики. Он не позволяет ни отдельному человеку, ни семье участвовать в том, что он считает исключительной собственностью своей страны.

Сохранилось достаточно фрагментов "Истоков", чтобы мы пожалели, что их не сохранилось больше; но, хотя их очень много, они, за исключением двух, чрезмерно кратки. Один из них - часть его собственной речи в пользу родосцев,^[335] другой - простое и трогательное повествование об акте самоотверженного героизма. Консульская армия была застигнута врасплох и окружена карфагенянами в дефиле, из которого не было выхода. Трибун, которого Катон не называет, но который, как сообщает нам А. Геллий, был Кедицием, отправился к консулу и посоветовал ему послать четырехста человек занять соседнюю высоту. Враг, добавил он, нападет на них, и, без сомнения, они будут убиты до единого человека. Тем не менее, пока враг будет занят, армия сможет спастись. Но, - ответил консул, - кто будет предводителем этого отряда? Я, - ответил трибун, - я посвящаю свою жизнь тебе и своей стране. Трибун и четырехста человек отправились на смерть. Они дорого продали свои жизни, но все пали. "Бессмертные боги, - добавляет Катон, так как Геллий цитирует именно его слова, - дали трибуну жребий, соответствующий его доблести. Так и случилось. Хотя он получил много ран, ни одна из них не оказалась смертельной; и когда товарищи узнали его среди мертвых, потерявших сознание от потери крови, они подняли его, и он поправился. Но есть огромная разница, в какой стране совершается тот или иной великодушный поступок.

Восхваляется Леонид из Лакедемона, который совершил подобный подвиг при Фермопилах. За его доблесть объединенная Греция всячески выражала свою благодарность, а украсила его подвиг монументальными записями, картинами, статуями, восхвалениями, историями. Римский трибун удостоился лишь слабой похвалы, а ведь он сделал то же самое и спас республику". Самый патетический писатель не смог бы рассказать эту историю эффективнее, чем суровый Катон.

Обстоятельства придают его трактату "De Re Rustica" большой интерес. Население Рима, как патриции, так и плебеи, было вынуждено заниматься сельским хозяйством. На протяжении веков они почти не занимались торговлей: их богатство составляли стада и отары, а также завоеванные территории таких же бедных народов, как и они сами. В эпоху Римской империи, а впоследствии, по мере новых приобретений, плодородные равнины, долины и горные склоны Италии обеспечивали их содержанием. Государственные деятели и полководцы в перерывах между гражданскими войнами или военной службой возвращались, подобно Цинциннату и Катону, к возделыванию своих полей и садов. Римские армии набирались из крестьянства, и когда война заканчивалась, солдат возвращался к своему ежедневному труду, а в более поздние времена ветеран, закончив службу, становился мелким фермером в военной колонии. Для беспокойного народа, который не мог существовать в состоянии бездействия, смена работы была отдыхом; и удовольствиями сельской жизни, которые так часто воспевали поэты эпохи Августа, от души наслаждался тот же человек, чьей естественной атмосферой, казалось, были либо политика, либо война.

Кроме того, что римляне обладали этими сельскими вкусами, они были по сути своей домашним народом. Греки были социальны, они жили в обществе, у них не было понятия о доме. Женщина у них не занимала положения, благоприятного для существования домашнего чувства. Римская матрона была центром домашнего круга; она была равной своему мужу, иногда его советчицей и, как правило, воспитательницей его детей в раннем возрасте. Сотни надгробных надписей свидетельствуют о сладкой благотворительности домашней жизни, о послушании детей, преданности родителей, верности жен, привязанности мужей. Таким образом, дом и все его занятия вызывали интерес в глазах римлянина. По этой причине было так много писателей о сельском и домашнем хозяйстве. От Катона до Колумеллы мы имеем список авторов, целью которых было обучение различным отраслям этого предмета. Их перечислил сам Колумелла:^[336] "Катон был первым, кто научил земледельческое искусство говорить по-латыни; после него оно было усовершенствовано усердием двух Сазернов, отца и сына; затем оно приобрело красноречие у Скрофа Тремеллия; полировку у М. Теренция, (Варро); поэтическую силу у Вергилия". К их прославленным именам он добавляет имена И. Гигина, карфагенского Маго, Корн. Цельса, И. Аттика и его ученика И. Грёцина.

Труд Катона "De Re Rustica" дошел до нас почти в том виде, в каком был написан. В нем нет метода обычного трактата. Это обычная книга по сельскому хозяйству и домашней экономике, состоящая из ста шестидесяти трех разделов. Темы связаны между собой, но не упорядочены; они представляют собой сборник полезных инструкций, советов и рецептов. Его цель - полезность, а не наука. Она служит целям руководства для фермеров и садоводов, домашней медицины, траволечения и кулинарной книги; в нее вкраплены благоразумные сентенции и некоторые любимые чары для лечения болезней людей и животных. Катон учит своих читателей, например, как сажать озимые грядки, выращивать овощи, сохранять здоровье скота, мариновать свинину и готовить пикантные блюда. Он проникателен и экономен, но никогда не позволяет гуманности мешать прибыли; своим читателям он

советует продавать все, что им не нужно, даже старых лошадей и старых рабов. Он великий фокусник, ибо сообщает нам, что самым действенным средством от растяжения связок является повторение следующих фокусов:^[337] "Daries dardaries, astataries dissunapitea"; или: "Huat hanat, huat hista, pista sista, domiabo damnaustra"; или: "Huat huat, huat, ista sis tar sis, ordannabon damnaustra". Этому разнородному сборнику предшествует введение, в котором доказывается превосходство сельского хозяйства над другими способами добывания средств к существованию, особенно над торговлей и денежным кредитованием.

Катон был совестливым отцом. Не доверяя грекам, он взялся за воспитание сына сам. В рамках своей системы он в форме писем давал ему наставления на различные темы - исторические, философские, нравственные. К сожалению, сохранилось очень мало фрагментов этой работы. В одном из них он рекомендует бегло ознакомиться с греческой литературой, но не глубоко изучать ее. Очевидно, он считал греческие сочинения морально опасными, но еще больший ужас он испытывал к их медицине. Он был уверен в своих собственных старомодных чарах и сельской фармакопее; но он твердо верил, как в голос оракула, что все греческие врачи объединились, чтобы уничтожить римлян как варваров.

Из ораций Катона сохранилось девять названий, а также многочисленные фрагменты.^[338] Некоторые из них, очевидно, были судебными, но большинство - совещательными. После того, что было сказано о его произведениях, едва ли стоит описывать стиль его красноречия. Если человек не является простым актером, его характер, как правило, отражается в его речи. Это особенно верно в отношении Катона. Он презирал искусство. Он был слишком бесстрашен и прям, слишком уверен в справедливости своего дела, чтобы быть ритором; он был слишком поглощен своей темой, чтобы следить за языком, на котором он передавал свои мысли. Он никому не подражал, и никто никогда не мог подражать ему. Его стиль был резким, лаконичным, остроумным, полным контрастов; его красота - это красота природы, а именно быстрая смена света и тени. То он был грубым и резким, то патетичным и трогательным. Это был язык дебатов - антагонистический, гладиаторский, эленктический.

Плутарх сравнивает его с Сократом, но опускает главный момент сходства, а именно то, что он всегда говорил так, словно находился лицом к лицу с противником. Даже среди блеска и лоска эпохи Августа у старого Катона были поклонники.^[339] Но это не было общим чувством. Внутренняя ценность необработанного драгоценного камня не была оценена по достоинству. Цицерон^[340] рассказывает, что, к его изумлению, Катон был почти совсем неизвестен. Впоследствии наступило время, когда критика стала наукой, и его оценили так, как он того заслуживал; но это восхищение античной формой не было возрождением античного духа; это была лишь попытка компенсировать его утрату; это была имитация, а не реальность.

Таково было литературное положение того, кого Нибур называет единственным великим человеком в своем поколении и одним из самых великих и почетных персонажей римской истории.^[341]

L. Cassius Hemina.

Не было никого достойного последователя Катона в качестве историка, кроме Л. Кассия Гемина. А. Постумий Альбин, консул 151 г. до н. э., был, по словам Цицерона,^[342] ученым и красноречивым человеком и написал историю Рима на греческом языке;^[343] но она была настолько неумелой, что он извинился на том основании, что он римлянин, пишущий на чужом языке.^[344] Вероятно, он также был неточным и пуританским. Например, он рассказывает, что Байя была названа так в честь Бойи, кормилицы одного из друзей Энея, и что Брут питался зелеными фидами и медом.^[345]

Гемина написал римские анналы в пяти или шести книгах и опубликовал их примерно во время падения Карфагена:^[346] сохранилось значительное количество фрагментов. Он был последним писателем этого периода, который исследовал первоисточники истории. Его исследования относятся к очень раннему периоду; похоже, что он попытался, по крайней мере, сравнить греческую и итальянскую хронологию, поскольку он относит возраст Гомера и Гесиода к династии Сильвиев, более чем через 160 лет после осады Трои. Он рассказывает о первоначальной легенде о Какусе и быках Геракла, о находке гроба Нумы и о праздновании четвертых Секулярных игр в консульство Лентула и Муммия.^[347] Это было, вероятно, последнее важное событие, предшествовавшее публикации его работы. Только два фрагмента имеют достаточную длину, чтобы мы могли составить какое-либо суждение о его стиле. Многие из его выражений очень архаичны, но история Какуса рассказана в простой и приятной манере.

После Гемина римская история в течение нескольких лет была не более чем компиляцией из старых хроник, а также трудов и исследований предыдущих авторов. К. Фабий Максим Сервилий был консулом в 612 г. до н. э. Его латинский стиль, должно быть, страдал недостатком благозвучия, если он часто употреблял такие слова, как *litterosissimum*, которое встречается в одном из сохранившихся фрагментов. К. Фанний, претор А. У. К. 617 г., написал скудную историю^[348] на не слишком изящной латыни. Венноний, его современник, был автором анналов, на которые ссылается Дионисий. К этому списку историков можно добавить и К. Семпрония Тудитана, полированного джентльмена, а также изящного писателя.^[349]

Времена Гракхов были очень плодотворны на историков и автобиографов. Во главе их стоит Л. Целий Антипатр,^[350] римский вольноотпущенник, красноречивый оратор и искусный юрист. Его труд состоял из семи книг, и многие фрагменты сохранились у грамматиков. Похоже, он был в восторге от чудесного; Цицерон цитирует два замечательных сна в своем трактате о гадании. На него также часто ссылается Ливий в своей истории Пунических войн.

Одновременно с Целием жил Кн. Геллий, чья объемная история насчитывает не менее девяноста семи книг. Ливий редко ссылается на него. Вероятно, в данном случае он поступил мудро, так как, по всей видимости, он был историком, не имевшим большого авторитета. Два других Геллия, Секст и Аулус, процветали в то же время.

Публий Семпроний Аселлий написал примерно в середине седьмого века в Риме мемуары о Нумантийской войне. Он был очевидцем сцен, которые описывает, так как был трибуном в Нуманции при Сципионе Африканском.^[351]

Единственной конституционной историей Рима была работа К. Юния, который носил фамилию Гракхан, вследствие своей близости к К. Гракху. Несомненно, что эта работа должна была быть результатом оригинального исследования, поскольку не сохранилось никаких остатков истории, которые могли бы послужить материалом. Содержащиеся в нем юридические и политические знания, очевидно, были значительными, поскольку юристы цитируют его как заслуживающий доверия авторитет.^[352]

Сервий Фабий Пиктор^[353] писал анналы; но главным его трудом был трактат о папском праве, антикварный отчет об обрядах и церемониях. Л. Кальпурний Пизон Фругий Цензорий был консулом в тот год, когда Тий. Семпроний Гракх был убит, а цензором в год после убийства К. Гракха.^[354] его иногда цитирует Дионисий и дважды Ливий, который по данным вопросам считает его авторитет менее надежным, чем авторитет Фабия Пиктора.^[355] Геллий^[356] цитирует у него следующий традиционный анекдот о Ромуле. Однажды царь был приглашен на ужин. Он пил очень мало, потому что на следующий день ему предстояли дела. Кто-то из сидящих

за столом заметил, что если бы все так делали, то вино было бы дешевле. "Нет, - ответил Ромул, - я выпил столько, сколько хотел; если бы все так делали, оно было бы дорогим".

Пизон был честным человеком, но не честным историком. Он приобрел фамилию Фруги благодаря своей строгой честности и простым привычкам; но его изобретательность склоняла его к пренебрежению исторической правдой. Нибур считает его первым, кто ввел систематические фальсификации в римскую историю. Видя расхождения и несоответствия между рассказами предыдущих анналистов, вместо того чтобы взвесить их вместе и принять те, которые лучше всего подтверждались свидетельствами древности, он либо изобретал теории, чтобы примирить противоречивые утверждения, либо подменял некоторые рассказы, которые, по его мнению, могли лежать в основе чудесной легенды. Нибур отмечает, что он обращался с историей точно так же, как рационалисты пытались лишить Священное Писание его чудесного характера.

М. Эмилий Скавр, П. Рутилий Руф и К. Лутаций Катул были первыми римскими автобиографами; их примеру впоследствии последовал Сулла, который, выйдя на пенсию, написал собственные мемуары в двадцати двух книгах. Скавр был сыном торговца углем, который благодаря своим военным талантам дважды поднимался до консулата, а однажды удостоился чести триумфа. Грамматики сохранили несколько малозначительных фрагментов его личных мемуаров. Рутилий был консулом в 649 году: он написал свою жизнь на латинском языке, а историю Рима - на греческом.^[357] Катула Цицерон хвалит за его латинство, сравнивая его стиль с Ксенофонтом.^[358]

Другими историками, которые процветали непосредственно перед литературным периодом Цицерона, были К. Лициний Мацер, К. Клавдий Квадригарий и К. Валерий Антиас.

Мацер^[359] был пролирическим и сплетничающим писателем: он не страдал недостатком в промышленности; он не жалел усилий для сбора традиций; но у него не было рассудительности в выборе, и он принимал все греческие басни об Италии без различия. Поэтому он делает некоторые заявления, которые были отвергнуты более авторитетными анналистами. Нибур^[360] защищает его и глубоко сожалеет об утрате его анналов. Он считает неправдоподобным, что неблагоприятная критика Цицерона могла быть вызвана политическими предрассудками. Его труд был объемным и, вероятно, прослеживал римскую историю от начала до его собственных времен.

Квадригарий часто цитируется Ливием и грамматиками. Из сохранившихся фрагментов ясно, что его история началась с галльских войн; а из отрывка в "Жизни Нумы" Плутарха^[361] следует, что он руководствовался мотивом, свидетельствующим о его правдивости как историка. Он не довольствовался сказочными легендами, а до захвата Рима галлами не существовало никаких документов. Его труд состоял из двадцати трех книг: в нем история, как принято считать, дошла до смерти Суллы^[362] или, как полагал Нибур, до консульства Цицерона.^[363] Самый длинный фрагмент сохранился у Геллия и повествует о сражении Манлия Торквата с гигантским галлом.

Стиль отрывистый и сентиментальный, структура предложений рыхлая, но история рассказана в наивной и одухотворенной манере. Можно представить себе сцену, как ее описывает историк: благоговейный трепет римского войска перед неожиданным зрелищем - гигантский рост, грозный лик голиафа - нерушимая тишина, среди которой его громовой голос произнес свой вызов, презрение, с которым он оскалился и высунул язык, когда никто не принял его вызов, стыд и горе благородного Манлия, борьба, отсечение головы чудовища и обвивание собственной шеи воротником, все еще истекающим кровью.

Есть предположение, что этот историк получил фамилию Квадригарий, потому что на играх в цирке, которые отмечались после победы Суллы, он выиграл приз в гонках на колесницах.

Ни один римский историк не претендовал на большую точность, чем Валерий Антиас, и никто не был менее надежным. Ливий, в одном случае,^[364] обвиняет его либо в небрежности, либо в наглом преувеличении; но нет сомнений, что он был виновен в последнем. Почти во всех местах, где Ливий цитирует его, речь идет о цифрах, и во всех он не только идет дальше всех других историков,^[365] но даже переходит границы возможного. Ливий не стесняется называть его лжецом. Во всех случаях он виновен в неправде; вопрос лишь в том, насколько умеренна его ложь. Следующие примеры достаточны для его осуждения. Он берется утверждать, что точное число сабинских дев было 527.^[366] Если один историк утверждает, что было взято 60 боевых машин, он называет число 6000;^[367] когда все авторы, греческие и латинские, единодушно утверждают, что в 553 г. не было памятной кампании, он говорит, что была битва, в которой 12 000 врагов были убиты и 1200 взяты в плен.^[368] В другом месте 10 000 убитых превращаются в 40 000;^[369] а штраф, который, по словам Квадригария, должен был выплачиваться частями в течение тридцати лет, он распределяет только на десять лет.^[370] Подобными непроверенными сведениями он заполнил не менее семидесяти пяти книг, из которых сохранилась значительная часть отрывков, особенно у Ливия.

До сих пор, за одним сомнительным исключением, латинское историческое сочинение находилось в руках великих и знатных; первым историком, принадлежавшим к ордену либертинов, был Л. Отаций Пилит. Суетоний^[371] говорит, что он не только был рабом, но и служил носильщиком, и, по обычаю, был прикован к двери своего хозяина. О его произведениях ничего не известно, поэтому можно предположить, что они не имели никаких достоинств.

Среди анналистов этого периода следует упомянуть еще два важных имени - Л. Корнелий Сисенна и К. Илий Туберо. Корнелий Сисенна и К. Илий Туберон. Сисенна, по свидетельству Цицерона,^[372] родился между 640 и 680 гг. до н. э. и занимал должность квестора до 676 г. до н. э. Он был человеком образованным и образованным. Согласно тому же авторитету, он был человеком образованным и со вкусом, писал на чистой латыни, был хорошо знаком с государственными делами и, хотя и не обладал достаточной промышленностью, превосходил всех своих предшественников и современников в талантах историка. Вероятно, его стиль письма более близок к стилю новой школы, хотя все еще ниже цицероновского стандарта. Свидетельство Саллюстия не столь благоприятно, так как он считает его недостаточно беспристрастным, чтобы адекватно выполнять обязанности современного историка.^[373]

Не сохранилось ни одного фрагмента достаточной длины, чтобы мы могли оценить его заслуги, хотя из-за множества необычных слов, которые встречаются в его трудах, ни один историк этого периода не цитировался грамматиками чаще. Скорее всего, его двадцать три книги не представляют собой никакой ценности, поскольку на них никогда не ссылаются, чтобы проиллюстрировать вопросы, представляющие исторический или антикварный интерес.

Туберон был современником Цицерона и написал свои анналы только после консульства Цицерона. Тем не менее его следует считать представителем старой школы, причем как последним, так и одним из самых достойных ее представителей. Он был отцом Л. Туберо, легата К. Цицерона в Азии. Как и Пизон, он был ярким противником политики Гракхов и твердым сторонником аристократии. Стоик по философии, он жил в строгом соответствии со своим верованием, а его стиль письма, как говорят, отличался катонической грубостью. В

своей истории он описывает жестокие пытки Регула карфагенянами и рассказывает о чудесной змее в Баграде.^[374] Его один раз цитирует Дионисий и дважды Ливий.

ГЛАВА XII.

РАННЕЕ РИМСКОЕ ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО - КРАСНОРЕЧИЕ АППИЯ КЛАВДИЯ ЦЕКА - ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОРАТОРИИ - ЗАЩИТА СЦИПИОНА АФРИКАНСКОГО БОЛЬШОГО - СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ МАЛЫЙ - ЭПОХА ГРАКХОВ - ИХ ХАРАКТЕРЫ - ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ ГРАКХАМИ И ЦИЦЕРОНОМ - М. ANTONIUS-L. ЛИЦИНИЙ КРАСС - К. ГОРТЕНЗИЙ - ПРИЧИНЫ ЕГО РАННЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВАЛА.

Красноречие, хотя и грубое, неотшлифованное, должно быть, в самые ранние времена было характерно для римского народа. Это растение, присущее свободной почве. Его зародыш был взращен в школах Тисия и Коракса, когда после свержения тиранов над Сицилией забрезжил рассвет свободы; и так же, как в наше время оно процветает, особенно в Англии и Америке, поддерживаемое беспрепятственной свободой дебатов, оно нашло себе пристанище в свободной Греции и республиканском Риме. Тот, кто мог в самых ярких красках противопоставить жестокость безжалостного кредитора страданиям разоренного должника, кто мог изобретательно связать эти очевидные беды с некоторыми дефектами конституции, некоторым неравенством в политических правах, до сих пор скрытым и незамеченным, мог по своему желанию овладеть привязанностями народа и стать хозяином-духом среди своих сограждан.

В государстве, где с древнейших времен велась постоянная борьба между господствующей и подчиненной расой за использование тех искусств красноречия, которые предлагает природа, владычица всех искусств, не будет недостатка в таких случаях. Плебеи в своих конфликтах с патрициями должны были иметь какого-то лидера, и красноречие, вероятно, в значительной степени руководило их выбором, даже если в действительности не было никакого Менения Агриппы, чтобы вести их обратно со священной горы с его домашней мудростью. Случаи притеснения, несомненно, вдохновляли какого-нибудь Ицилия или Виргиния на слова жгучего негодования, а многие Сикции Дентаты, хотя и не учились технической риторике, использовали риторический прием, апеллируя к своим почетным ранам и шрамам спереди, которые он получил на службе своей стране, и к позорным ранам, которыми его спина была изрезана плетью мучителя. В армии, где личное влияние генерала было более продуктивным для героизма, чем правила давно установленной дисциплины, короткая речь часто приводила солдат к победе. И, наконец, отношения, существовавшие между двумя орденами - покровителем и клиентом, учили более мягкому и деловому красноречию - разъяснению общих гражданских прав и распутыванию запутанных моментов конституционного права. Ораторское искусство, по сути, было неписаной литературой активной жизни и рекомендовало себя своим антагонистическим духом и полезностью воинственному и утилитарному народу. Поэтому задолго до того, как искусство историка было достаточно развито, чтобы записать речь или вставить вымышленную речь в качестве украшения или иллюстрации на его страницах, форум, сенат, поле битвы, порог юриспруденции были питомниками римского красноречия или школами, в которых ораторское искусство достигало бодрой юности и готовилось к последующей зрелости.

Традиция говорит о речи, записанной еще до того, как были написаны стихи Невия, и эта речь была известна Цицерону. Ее произнес против Пирра Аппий Клавдий Слепой.^[375] Он

принадлежал к дому, каждый член которого, от децемвира до императора, был рожден для того, чтобы склонять своих собратьев перед их сильной волей. Такой характер в сочетании с поэтическим гением предполагает наличие элементов ораторского искусства, которое могло бы обуздать народ, привыкший к тому, что его сдерживают не только силой, но и разумом. По этому знаменитому случаю^[376] слепого старика внесли в здание сената на подножке, чтобы он мог противостоять хитрому Кинею, которого Пирр послал для переговоров о мире. Македонский министр был искусным оратором, а его память, этот важный помощник красноречия, была настолько сильна, что за один день он научился обращаться ко всем сенаторам и рыцарям по именам, однако, как говорят, он не мог сравниться с энергией Аппия и был вынужден покинуть Рим.

В то время как правовая и политическая конституция римского народа давала прямой стимул для совещательных и судебных ораторских выступлений, уважение к прославленным умершим предоставляло возможности для панегириков. Песня барда в честь ушедшего воина сменилась погребальной орацией (*laudatio*).

Перед началом второй Пунической войны^[377] К. Метелл произнес погребальную речь над своим отцом, завоевателем Гасдрубалом; история также говорит о нем как о дебатере в сенате, а его обращение к цензорам встречается в четвертой декаде "Ливия".^[378] Этой погребальной орацией восхищались даже во времена И. Цезаря, а Плиний^[379] записал суть одного замечательного отрывка, который в ней содержался. Период второй Пунической войны породил Корна. Кетегус. Цицерон упоминает его в своем списке римских ораторов;^[380] и, хотя он никогда не видел образцов его стиля, утверждает, что он сохранил силу и бодрость даже в преклонном возрасте. Энний также свидетельствует о его красноречии в следующих строках:-

Flos delibatus populi, suaviloquenti ore.

По окончании второй войны Фабий Кунктатор произнес хвалебную речь^[381] о своем старшем сыне; и Цицерон, хотя и отказывает ему в похвале красноречия, утверждает, что тот был беглым и правильным оратором.

Сципион Африканский Майор в тот памятный день, когда враги призвали его дать отчет о деньгах, полученных от Антиоха, показал себя непревзойденным оратором: он не стал опровергать злобные обвинения своих противников, а до сумерек рассказывал о тех благах, которые он принес своей стране. Так и получилось, что прерванное заседание состоялось в годовщину Замы. Ливий украсил простые слова великого воина своим изящным языком, но А. Геллий^[382] сохранил проповедь почти в его собственных словах. "Я напоминаю вам, римляне, - сказал он, - что сегодня тот самый день, когда я победил в кровавой битве на равнинах Африки карфагенянина Ганнибала, самого грозного врага, с которым когда-либо сталкивался Рим. Я добыл для вас мир и долгожданную победу. Так не будем же неблагодарны небесам, оставим этого плута и сразу же вознесем благодарственные молитвы Джову, в высшей степени доброму и великому".

Народ послушался его призыва - форум опустел, и толпы людей с восклицаниями последовали за ним в Капитолий.

Уже упоминалось о суровом красноречии его противника Катона. Он был одинаково трудолюбив как оратор и как писатель. Во времена Цицерона сохранилось не менее ста пятидесяти его ораций, большинство из которых были посвящены общественным и политическим вопросам.

Отец Гракхов отличался среди своих современников простым и нервным красноречием, но образцов его ораторского искусства не сохранилось.

Сципион Африканский Малый (Æmilianus) точно подходил на роль связующего звена между новой и старой школой ораторского искусства. Его характер, похожий на солдатский, демонстрировал всю силу и некоторую суровость старого римлянина, но жесткие очертания были изменены горячей любовью к учебе. Его первая кампания прошла в Греции под командованием его отца Эмилия Паулуса. Там завязалась его первая литературная дружба с историком Полибием, которая переросла в самую тесную близость, когда Полибий прибыл в Рим в качестве заложника. Впоследствии он познакомился с Панэтием, который был его учителем в области философии. Его вкус был удовлетворен греческой утонченностью, хотя он ненавидел распутство и распущенность самих греков. В духе Катона, которым он горячо восхищался, он возмущенно выступал против вторжения греческих нравов. В своей речи против закона К. Гракха он предупреждал слушателей о разврате, который уже проникал в среду римской молодежи. "Я не верил тому, что слышал, - говорит он, - пока не убедился в этом собственными глазами: в школе танцев я видел более пятисот молодых людей обоего пола. Я видел мальчика, которому было не меньше двенадцати лет, носящего знак благородного происхождения, который исполнял танец с кастаньетами, который нескромный раб не смог бы станцевать без позора".

Вырождение греческих нравов не испортило его нравственную природу и не сделало его несклонным к активным обязанностям гражданина; оно не уничтожило откровенность, но очеловечило грубую честность римлянина, научило его любить прекрасное так же, как и доброе, и верить, что первое является надлежащим внешним развитием второго.

Одним из друзей, чье влияние способствовало формированию ума Сципиона, был мудрый и мягкий Лелий. В других местах, а также в "*de Amicitia*", Цицерон связывает их имена вместе. Эти выдающиеся друзья хорошо подходили друг другу. Чувства обоих были благородными и возвышенными. "Оба", как говорит Цицерон^[383], "были *красноречивыми*". Их расхождения были таковы, что сближают людей с похожими вкусами в те часы, которые они могут посвятить своим любимым занятиям. Сципион был активным деловым человеком, Лелий - созерцательным философом: Сципион - римлянин душой и сердцем - Лелий - гражданин мира: Сципион был склонен к показухе, а Лелий был сдержан. Первый обладал правильным вкусом, чисто говорил по-латыни и был знаком с литературой как Греции, так и своей страны. Достижения второго были более основательными, а его знакомство с умом Греции - более глубоким. Но Лелий не был столь же рассчитан на то, чтобы занять место в истории; и поэтому, возможно, хотя сохранилось несколько фрагментов красноречия Сципиона,^[384] остатки красноречия Лелия простираются лишь до стольких же строк. Речи Лелия отличались жизнерадостностью (*hilaritas*), плавностью (*lenitas*) и образованностью, а речи Сципиона - духом, гением и природной силой.

Сервий Сульпиций Гальба, которого Катон^[385] преследовал за предательство лузитанцев, получил от Цицерона похвалу за то, что он был первым римлянином, который действительно понял, как применять теоретические принципы греческой риторики. Говорят, что он также уносил с собой чувства слушателей своими оживленными и пылкими речами. О том, насколько искусен он был в использовании риторических приемов, свидетельствует его выступление перед собранием народа, когда его привлекли к суду, двух его сыновей-младенцев и сироту его друга Сульпиция Галлуса. Его слезы и объятия тронули сердца судей, и хладнокровный лжесвидетель был оправдан. Однако, вероятно, вся его заслуга заключалась во внешней хитрости. У него хватило такта прикрыть сухим и античным стилем,

лишенным нервов и мускулов, от которого не осталось ни одного образца, кроме нескольких слов.

Все периоды политической смуты неизбежно благоприятствуют красноречию, а эпоха Гракхов была особенно благоприятной. В стране начались масштабные политические перемены. Они происходили медленно и постепенно и были естественным развитием римской системы; но это были изменения, которые не могли произойти без того, чтобы кризис не сопровождался большими политическими потрясениями. Чтобы понять состояние партий, представителями которых были великие вожди и главные ораторы, необходимо вкратце объяснить, в чем заключались эти перемены. Результатом упорной и настойчивой борьбы на протяжении почти четырех столетий стало то, что старого различия между патрициями и плебеями больше не существовало. Плебеи занимали должности консулов^[386] и цензоров,^[387] а патриции, подобно Гракхам, выступали в качестве плебейских трибунов и защитников народных прав.

Кровные и расовые различия, таким образом, больше не принимались во внимание. Большинство старых патрицианских родов вымерло. Нибур считает, что в этот период осталось не более пятнадцати патрицианских "родов", а отдельные члены тех, что уцелели, если и сохраняли свое положение, то благодаря личному влиянию. Конституционным принципом, определявшим различие рангов, была собственность. Эта граница между богатыми и бедными не была непроходимой, как граница рождения, но теперь она стала очень широкой и глубокой, благодаря накоплению богатства в немногих руках; и поэтому между этими двумя сословиями было так же мало симпатии, как между патрицианскими кредиторами и плебейскими должниками в прежние времена республики.

Но помимо этого конституционного принципа различия существовал и другой, более аристократический, который был обязан своим появлением общественному мнению. Те семьи, члены которых занимали высокие государственные посты, назывались *нобиями* (знатными), а те, чьи семьи никогда не отличались подобными качествами, - новыми людьми (*novi homines*). Таким образом, предки человека становились заложниками его патриотизма; и настолько надежным залогом наследственных заслуг считались способности и верность при исполнении высоких обязанностей, что лишь в нескольких исключительных случаях консульский пост, хотя и открытый для всех, присуждался новому человеку. Одним из следствий всех этих перемен стало то, что борьба за политические отличия стала еще более жаркой, чем когда-либо, а распри между конкурентами за общественное расположение - еще более ожесточенными.

Эти бурные времена породили множество знаменитых ораторов. Папирий Карбо, ультралиберальный и беспринципный коллега Тиберия Гракха, сочетавший дар красивого голоса с полнотой и беглостью речи; Лепид Порцина, достигший совершенства аттической мягкости, которого Тиб. Гракх взял его за образец; Эмилий Скавр, которого Стаций оклеветал как человека низкого происхождения; Рутилий Руф, который был слишком честен, чтобы вызывать к состраданию своих судей;^[388] М. Юний Пенн, который оскорбительным чужеземным актом встретил законопроект Гракха о предоставлении италийцам гражданских прав.

Сами Гракхи были в разной степени красноречивы и обладали теми дарованиями и родовыми случайностями, которые рекомендовали их красноречие своим соотечественникам. Мягкость и доброта были характерными чертами этого прославленного рода. Их отец своим мягким управлением снискал горячую привязанность испанцев. Их мать унаследовала сильный ум и гений Сципиона. К глубокому знанию греческой и латинской

литературы^[389] и поэтическому таланту она добавила женские достижения. Она изящно танцевала, более изящно, чем по строгим понятиям римской морали должна была делать женщина с характером. Она также умела петь и аккомпанировать себе на лютне. Ее заботе в ранней юности прославленные братья были обязаны развитием своих природных способностей и направлением своих щедрых принципов. Цицерон рассказывает, что видел письма этой замечательной женщины, из которых видно, как сильно ее сыновья были обязаны ее учению. Греческие философы помогали ей в ее работе, а опытный Лелий способствовал тому, чтобы придать изящество и лоск более основательным частям ее образования.

Несмотря на то, что политические принципы, которых придерживались Гракхи, были одинаковыми, их характеры, или, правильнее сказать, темпераменты, сильно различались, и стиль их речи, как и следовало ожидать, соответствовал их соответствующим склонностям. Тиберий был холоден, обдуман, степенен, сдержан. Бури страстей никогда не нарушали спокойствия его чувств. Поэтому его речь была самообладающей и серьезной, такой же стоической, как и его философское кредо. Его поведение было не результатом импульса, а строгим чувством долга. Цицерон назвал его *homo sanctissimus*, и его стиль был настолько же выверенным, насколько безупречной была его честность. Таков, если верить Плутарху, был и характер его ораторского искусства, поскольку никаких фрагментов не сохранилось.

Кай, который был на девять лет моложе своего брата, был горячим, страстным и порывистым: он уступал Тиберию морально, но превосходил его интеллектуально. Его порывы были великодушны и благородны, но он не обладал той непоколебимой прямоотой намерений, которая является результатом моральных принципов. Однако у него было больше гения, больше творческой силы. Его воображение, разбуженное буйством страстей, нуждалось в сильном обуздании; но по этой причине оно било как из природного фонтана и, подобно потоку, увлекало все за собой. В одном случае, о котором упоминает Цицерон,^[390] его взгляд, голос, жесты были так невыразимо трогательны, что даже его враги растворялись в слезах. Говорят, что в спокойные минуты он сознавал, что его пылкость оскорбляет хороший вкус, и нанимал раба, чтобы тот стоял рядом с ним с вилами, чтобы он мог регулировать свой голос, когда страсть делала тоны немзыкальными. Его образование позволило ему избавиться от грубости старой школы и завоевать репутацию отца римской прозы. Но его порывистость заставила его оставить незаконченным то, что он хорошо начал. "Его язык был благороден, чувства мудры, серьезность пронизывала весь его стиль, но его произведения нуждались в последнем завершающем штрихе. Было много славных начал, но они не были доведены до совершенства". Сохранилось несколько фрагментов, подтверждающих правильность критики Цицерона - один из самых прекрасных, из его речи против Попилия Ленаса, которая отправила этого кровожадного тирана в добровольное изгнание.

Ораторское искусство стали изучать больше как искусство и облачать в более полированную одежду. Период между Гракхами и Цицероном был отмечен многими выдающимися именами, такими как К. Катул, Курио, Фимбрия, Сцевола, Котта, П. Сульпиций и Меммий. Самыми известными именами этой эпохи были М. Антоний, Л. Лициний Красс и непосредственный предшественник и самый грозный соперник Цицерона - Гортензий. Антоний и Красс, говорит Цицерон, были первыми римлянами, поднявшими красноречие на ту высоту, на которую его вознес греческий гений.^[392] Из этой жалобы можно сделать вывод, что, несмотря на существовавшее в народе предубеждение против греческого вкуса, которому иногда вынужден был поддаваться даже сам Цицерон,^[393] ведущие ораторы перестали брать образцы древнеримского красноречия за свои модели. Цицерон утверждает^[394], что и Антоний, и Красс обязаны своей известностью прилежному изучению

греческой литературы и наставлениям греческих профессоров. Первый, по его словам, регулярно посещал лекции в Афинах и на Родосе, а второй говорил по-гречески так, словно это был его родной язык. Однако у обоих хватило узколобого тщеславия отрицать свои обязанности: они считали, что их красноречие будет более популярным, если один будет демонстрировать презрение к грекам, а другой - делать вид, что не знает их.

M. Antonius.

М. Антоний вступил в общественную жизнь в качестве адвоката, заложив тем самым основу своей блестящей политической карьеры; но всю жизнь он был больше судебным, чем совещательным оратором. Он неутомимо готовил свои доводы и доводил их до конца: он был великим мастером патетики и знал путь к сердцам *судей*. Он не был свободен от преобладающего недостатка адвокатов - некоторой беспринципности в своих утверждениях; говорят, что причиной, по которой он никогда не публиковал своих речей, было то, что он не был вынужден опровергать свои слова. Это утверждение, однако, опровергается Цицероном.^[395] Хотя сам он не передавал свои речи потомкам, некоторые из его наиболее острых выражений и любимых пассажей оставили неизгладимое впечатление в памяти слушателей: многие из них сохранились у Цицерона, который также дал нам полную эпитомию одной из них.^[396] В расцвете сил он пал жертвой политической ярости; его окровавленную голову положили на трибуну, которая так часто служила сценой его красноречивых триумфов.

L. Лициний Красс.

Л. Лициний Красс был на четыре года моложе Антония, он родился в 140 г. до н.э. Неизвестно, был ли он связан с выдающейся семьей, чье имя он носил. Он начал свою карьеру в римской адвокатуре.^[397] В возрасте двадцати одного года он успешно провел импичмент К. Карбо, а в 118 году до н. э. поддержал основание колонии в Нарбо, в Галлии. Мера, столь полезная для бедных граждан, увеличила его популярность, а также профессиональную славу. Он отправился в Азию в качестве квестора и учился там у ратора Метродора. По пути домой он ненадолго остановился в Афинах и посещал лекции ведущих профессоров.

Несмотря на его знания в области юриспруденции и ранние успехи в качестве адвоката, речь, которая создала его репутацию, была политической. При римской судебной системе в суде председательствовал претор, а его обязанности выполняло определенное число заседателей (*judices*), которые выносили свой вердикт подобно нашим присяжным. Они выбирались из числа сенаторов. Опыт доказал, что они не только были пристрастны к своему ордену, но и были открыты для взяточничества. Рыцари представляли собой ближайшее приближение к богатому среднему классу. Поэтому К. Гракх, издав "*Lex Sempronia*", передал отправление правосудия органу из трехсот человек, выбранных из конного ордена. Это обещало стать благотворным изменением, но так коррумпирован был весь каркас римского общества, что оно не принесло результатов. *Мытари*, получавшие доходы от провинций, все были римскими рыцарями. Поэтому новые судьи так же стремились оградить от поборов и вымогательств своих собратьев, как и прежние.

В 106 году до н. э. Л. Сервилий Цепион внес законопроект о возвращении судебной власти сенаторам. В поддержку этой меры (первый *Lex Servilia*) Красс произнес мощную и триумфальную речь, в которой горячо поддержал сенат, которому он до этого так же горячо противостоял по вопросу о колонии в Нарбо. Эта речь стала его *шеф-поваром*.^[398] После исполнения обязанностей консула,^[399] в которых он, похоже, ошибся в своем призвании, сменив тогу на меч, он был возведен в цензоры.^[400] Год его правления отмечается тем, что по

указу его самого и его коллеги были закрыты школы латинских риторов. Основы этих школ были заложены на развалинах греческих школ, когда философы и риторы были изгнаны из Рима.^[401] Хотя цензурная власть могла подавить школы, она не могла положить конец образованию, которое в них давалось. Профессора находили убежище в частных особняках и, защищенные и поддерживаемые умными покровителями, продолжали исполнять свои обязанности наставников молодежи. Как часто литературе в Риме приходилось искать убежища у частных покровителей против грубых нападок общественных предрассудков! Причины мер Красса изложены в преамбуле.^[402] Эти школы были новшеством; они противоречили древним установлениям; они поощряли праздные привычки среди римской молодежи. Цицерон защищал этот произвол на том основании, что профессора претендовали на преподавание предметов, в которых сами были невежественны; но Цицерон едва ли мог найти недостатки в Крассе. Он считал его образцом совершенства - первым из ораторов и юристов.^[403] Он не видел противоречий в его поведении в делах Нарбонской колонии и Сервилианского закона.^[404] Он щедро хвалит его остроумие и лицедейство (*lepor et facetiæ*,^[405]) и применяет к его злобным и недобродушным шуткам термин "городскость". Шутки Красса ни в коей мере не превосходили общего числа римских острот, которые были лишены смысла, хотя и были личными, едкими и жесткими.^[406] Серьезные римляне довольствовались малым количеством остроумия; качество, которое они искали в ораторах, было не игривостью, а мастерством в искусстве изобретательного мучительства. Красс никогда не произносил шуток, равных той, которую произнес старый Катон, говоря об обжоре К. Гельвидии, чей дом сгорел: "Что он не мог съесть, то сжег".

Его поведение в отношении латинских школ, а также его самообольстительная жизнь в своем великолепном особняке на Палатине доказывают, что он сохранил узкий кругозор старых римлян без их умеренности и самоотречения и приобрел роскошь и вкус греков без их либеральности. Однако, если сделать некоторую поправку на пристрастность, Красс заслуживает благосклонной критики Цицерона.^[408] Его стиль осторожен, но не трудоемок - он элегантен, точен и ясен. Похоже, он обладал значительными способностями к иллюстрации и большой ясностью в объяснении и определении; его речь была спокойной и самообладающей, его действия были достаточно энергичными, но не чрезмерными.^[409] Он особенно тщательно подходил к началу своей речи. Когда он собирался говорить, все готовились слушать, и первые же слова, которые он произносил, показывали, что он достоин возложенных на него ожиданий. Никто лучше него не понимал сложного искусства сочетания элегантности и краткости.

Из толпы ораторов, процветавших в последние дни угасающей римской свободы, Цицерон выбрал Красса в качестве представителя своих настроений в воображаемой беседе в "*Ораторе*". Он чувствовал, что их вкусы совпадают. В этом увлекательнейшем эссе он знакомит своих читателей с выдающимся литературным кругом, людьми, которые объединяли активность в общественной жизни со вкусом к изысканному отдыху. Антоний, Красс, Сцевола, Котта и Сульпиций собирались в Тускулуме, чтобы обсудить актуальные политические вопросы. Они пришли с этой особой целью и весь день не переставали обсуждать эти серьезные вопросы. О более легких делах они не говорили до самого ужина. День они, похоже, провели в сенате, а вечер - в Тускулуме. На следующий день, в безмятежном и солнечном климате Фраскати - месте, вполне подходящем для спокойного отдыха платоновского диалога, - Сцевола предложил подражать Сократу Платона и беседовать, как это делал великий философ, под сенью платана. Красс согласился, заметив лишь, что подушки будут удобнее, чем трава. Так начался диалог, в котором Красс стал рупором, передающим мысли Цицерона.

Как и наш Чатем, Красс чуть не умер на полу сената, и его последнее усилие было направлено на поддержку аристократической партии. Его противник, консул Филипп, приложил все силы, чтобы оскорбить его, и приказал конфисковать его имущество. Его последние слова были достойны его самого. Он оплакивал утрату сената: консул, подобно святотатственному разбойнику, лишил достоинства тот самый орден, для которого он должен был быть добрым родителем или верным опекуном. "Бесполезно, - продолжал он, - хвататься за это: если ты хочешь заставить Красса замолчать, ты должен вырвать ему язык, и даже тогда моя свобода будет дышать опровержением твоего разврата!" Пароксизм был слишком силен для него; началась лихорадка, и через семь дней он стал трупом.

Мы должны пройти мимо многочисленных имен, содержащихся в каталоге Цицерона, упомянув между прочим Котту и двух Сульпициев. Вкус Котты был чист, но его нежные легкие делали его ораторское искусство слишком мягким для его пылких соотечественников. Публий Сульпиций обладал всеми способностями трагического актера воздействовать на страсти, но признавался, что не умеет писать, и поэтому не оставил после себя никаких образцов. Его нежелание писать, должно быть, было результатом запасливости или лености, а не неумения, ибо ничто не может быть более нежным и трогательным, и в то же время более философским, чем его письмо Цицерону о смерти любимой дочери.^[410] Сервий, как и многие ораторы, и даже сам Цицерон, поначалу презирал точное знание римского права. Однако великий Сцевола упрекнул его и напомнил, как позорно для того, кто желает получить репутацию адвоката, быть невеждой в юриспруденции. Эти слова возбудили в нем подражание; он горячо посвятил себя изучению юриспруденции,^[411] и в конце концов, как говорят, превзошел даже самого Сцеволу.

Q. Гортензий.

Последним из доцицероновских ораторов был Гортензий. Хотя он был всего на восемь лет старше величайшего из римских ораторов, его нельзя считать принадлежащим к тому же литературному периоду, поскольку гений и красноречие Цицерона означают начало новой эпохи. Тем не менее, он был его современником и соперником, и все, что известно о его карьере, почерпнуто из трудов Цицерона.

Q. Гортензий был сыном Л. Гортензия, претора Сицилии, 97 г. до н. э. Он родился в 114 году до н. э., и, поскольку по обычаю знатные римские юноши должны были быть призваны в адвокатуру в раннем возрасте, он начал свою карьеру в качестве адвоката в девятнадцать лет и выступал, пользуясь овациями и успехом, перед двумя консулами, которые были отличными судьями его достоинств, - оратором Крассом и юристом Сцеволой. Его первая речь была в поддержку провинции Африка против поборов правителя. Во второй речи он защищал Никомеда, царя Вифинии, от свергнувшего его брата. Когда Красс и Антоний умерли, у него не осталось соперников, кроме Котты, но он вскоре превзошел его.^[412] Красноречие Котты было слишком вялым, чтобы противостоять стремительному потоку, и он стал признанным лидером римской адвокатуры, пока не возшла звезда Цицерона. Впервые они столкнулись, когда Цицерон выступал в защиту Квинтии, и в этой оратории он делает максимальный комплимент талантам и гению Гортензия.

Его политическая связь с фракцией Суллы и беспринципная поддержка распутной коррупции, которая характеризовала эту администрацию как дома, так и за границей, привлекли его юридические таланты в защиту позорного Верреса; но красноречие Цицерона, а также справедливость дела, которое он отстаивал, взяли верх, и с этого времени его превосходство над Гортенziem было установлено и завершено. Но восхищение, которое Цицерон питал к своему сопернику, переросло в дружбу, которую не могли прервать ни факт

их пребывания на противоположных сторонах, ни даже различия в политике. Единственной опасностью, угрожавшей ее стабильности, была небольшая ревность со стороны Цицерона - ревность, которую следует отнести на счет его болезненного темперамента и впечатлительного нрава. Но Гортензий всегда был теплым и ласковым другом Цицерона, и Цицерон был охвачен глубочайшей скорбью, когда узнал о смерти Гортензия.^[413] В конце концов наступило время, когда идентичность политических настроений сблизила их; и именно этому мы обязаны тем местом, которое Гортензий так часто занимает в письмах и других произведениях великого римского оратора.

Изначально Цицерон выступал за народное дело, но постепенно его рвение ослабевало, а заговор катилинистов и вовсе бросил его в объятия аристократической партии. В римской адвокатуре политика имела огромное влияние на определение стороны, которую занимали ведущие адвокаты. Они фактически являлись главными законниками той партии в республике, к которой принадлежали, и имели, так сказать, общих сторонников на своей стороне. Поэтому Гортензий обычно выступал на одной стороне с Цицероном. Вместе они защищали Рабирия, Мурену, Флакка, Секстия, Скавра и Милона; но первый, похоже, сразу же признал свою неполноценность и впредь почти не принимал участия в общественной жизни. В 51 г. до н. э. он защищал своего племянника от обвинения во взяточничестве; но вина обвиняемого была настолько очевидна, что народ шипел на него, когда он выходил в театр.^[414] В следующем году он умер в возрасте семидесяти пяти лет, оставив после себя дочь, чье красноречие прославлено в истории. Орацию, автором которой она была, читали во времена Квинтилиана ради ее собственных достоинств, а не как простой комплимент женскому полу. К. Гортензия обвиняли в коррупции; его привязанность к коррумпированной партии, роскошные привычки, экстравагантные расходы, многочисленные виллы и огромное богатство заставляют предполагать, что эти подозрения были небезосновательны. Он был легким, добродушным, гостеприимным, но самовлюбленным человеком. Его парк представлял собой целый зверинец; в его прудах водилась рыба, настолько прирученная, что могла питаться с его руки. Его сады были так тщательно ухожены, что он даже поливал свои деревья вином. У него был вкус к поэзии и живописи, он написал несколько аматорических стихов, а за одну картину отдал 140 000 сестерций (около 1100 фунтов стерлингов). Его стол был роскошным, а павлины впервые были замечены в Риме на его банкетах. Его погреб был настолько хорошо снабжен, что он оставил после себя 10 000 бочек с чианским вином.^[415]

Цицерон^[416] говорит нам, что главной причиной ранней популярности Гортензия и его последующего провала было то, что его стиль красноречия подходил для блеска и живости молодости, но не для достоинства и серьезности зрелого возраста. В те времена существовали две партии,^[417] которые расходились во взглядах на теорию красноречия; одна восхищалась ораторским искусством аттических риторов, которое было спокойным, отточенным, изысканным, избегающим излишеств; другая - ораторским искусством азиатских школ, которое было цветистым и витиеватым.

Цицерон^[418] говорит нам, что стиль красноречия Гортензия был азиатским; а поскольку характерной чертой его собственного красноречия является азиатская рассеянность, а не аттическая закрытость, и он часто считает это качество азиатского красноречия наименее достойным восхищения, вполне возможно, что Гортензий довел его до чрезмерности, возможно, даже до границ жеманства. В молодом ораторе избыток украшений простителен,

потому что естественен; он дает обещание будущего совершенства, когда гений протрезвеет и пышность уйдет.

Гортензий, преуспевающее и избалованное дитя природы, всю жизнь был молодым человеком: ничто не могло омрачить его жизнерадостность; а тем слушателям, которые обладали хорошим вкусом, эта юность казалась непоследовательной и отбрасывала в тень законченность, отточенность и оживленность, которые характеризовали его стиль. Вероятно, его речь была не менее неподходящей для более зрелых лет. Нам рассказывают, что Эзоп и Росций изучали его действия в качестве урока;^[419] и что некий Торкват с усмешкой называл его Дионисием, который был знаменитым танцором того времени. Он ловко защищался: "Лучше я, - говорил он, - буду таким, чем неуклюжим Торкватом". Но сами эти анекдоты говорят о том, что его выступление было несколько нескладным и театральным.

ГЛАВА XIII.

ИЗУЧЕНИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ - РАННИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ - ОСНОВЫ РИМСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА - ВЫДАЮЩИЕСЯ ЮРИСТЫ - СЦЕВОЛА - АКИЛИЙ ГАЛЛ - С. АКВИЛИЙ ГАЛЛУС, РЕФОРМАТОР ПРАВА - ДРУГИЕ ЮРИСТЫ - ГРАММАТИКИ.

Политика и юриспруденция были теми предметами, в которых римляне особенно активно проводили независимые линии мысли; но их юриспруденция была более оригинальной из двух. Хотя практическое развитие их политической системы было полностью делом рук этого исключительно практичного народа, в теории политической науки они были последователями и подражателями греков. Но в юриспруденции помощь, которую они черпали из Греции, была очень незначительной. Просто каркас, насколько это касается законов Двенадцати таблиц, пришел к ним из Афин; но полная структура была построена их собственными руками; и благодаря своему мастерству и благоразумию они стали авторами системы, обладающей такой стабильностью, что оставили ее в наследство современной Европе, и следы римского права видны в правовых системах всего цивилизованного мира.

Римская юриспруденция - это, конечно, слишком обширная тема, чтобы рассматривать ее так, как того заслуживает ее важность в такой работе, как эта; но все же она настолько тесно связана с красноречием, что о ней нельзя не сказать несколько слов. Уже говорилось, что оружие, политика и адвокатура были путями к отличию; и поэтому многие честолюбивые юноши, научившиеся военному искусству в заграничном походе под началом опытного полководца, занимали себя и на форуме. Молодой патриций не только осознавал, что не сможет эффективно выполнять свой первый долг перед клиентами, не обладая достаточными способностями и знаниями для защиты их прав в суде, но это был эффективный способ показать свою пригодность к государственной карьере. Превосходство в качестве юриста открывало прямой путь к превознесению в качестве государственного деятеля.^[420] Он должен быть подобен Поллио, "*Insigne mæstis præsidium reis*", а также "*Consulenti curiæ*".

Таким образом, сложные принципы юриспруденции и римской конституции стали необходимой частью либерального образования. Блестящие ораторы, правда, иногда с презрением смотрели на такие чернобуквенные и античные знания, клеймя их педантизмом;^[422] но все же здравый смысл заставлял трезвомыслящих людей признать необходимость их изучения. Они видели, что в судах красноречие может рассматриваться только как служанка юридических знаний, даже если бы высказывание Квинтилиана было

правдой: "*Et leges ipsæ nihil valent nisi actoris idoneâ voce munitæ.*" Поэтому, когда римский юноша завершал свое обучение у учителя риторики, он не только часто посещал форум, чтобы научиться практическому применению приобретенных им ораторских принципов, и часто брал за образец какого-нибудь знаменитого оратора, но и изучал принципы юриспруденции у выдающихся юристов и посещал консультации, на которых они давали своим клиентам свои изложения законов. Фактически молодой римлянин получал свои юридические знания в *атриуме* юриста, примерно так же, как современный студент-юрист получает образование в кабинете барристера. Он изучал предмет практически и эмпирически, а не его теорию и общие принципы.

Почти все знания, которыми мы обладаем, получены благодаря трудам писателей, которые процветали задолго до того, как конституционная свобода ушла в прошлое.

Самыми ранними систематическими трудами по римскому праву были "Энхиридион" или "Руководство" Помпония и "Институции" Гая, который процветал во времена Адриана и Антонинов. Обе эти работы долгое время были утеряны, хотя многочисленные фрагменты сохранились в Пандектах или Дигестах Юстиниана. Однако в 1816 году Нибур обнаружил палимпсест MS., в котором Послания святого Иеронима были написаны поверх стертых Институтов Гая. Но из-за решений и толкований великих практикующих юристов, из-за отсутствия какой-либо системы отчетности и записи, а также из-за многочисленных недоразумений римских историков в отношении законов и конституционной истории своей страны, весь предмет долгое время оставался в состоянии путаницы: постепенно появлялись новые противоречивые теории, а старые трудности не были объяснены и примирены. Джан Баптиста Вико в своей "Новой науке" первым развеял тучи заблуждений и привел их в систему; его примеру с таким успехом последовал Нибур, что современные студенты понимают предмет яснее и имеют о нем более полное античное представление, чем писатели эпохи Августа.

Самыми ранними римскими законами были *Leges Regiæ*, собранные и кодифицированные Секстом Папирием и получившие название Папириева кодекса. Но они были грубыми и несвязанными - просто собрание отдельных постановлений. Следующими по древности идут законы Двенадцати таблиц. Они представляют собой первые попытки регулярной системы и содержат не только законодательные акты, но и правовые принципы.^[424] Они были настолько популярны, что в детстве Цицерона каждый римский мальчик заучивал их наизусть, как наши дети заучивают катехизис,^[425] и великий оратор сетует, что в течение его жизни эта практика вышла из употребления. Разъяснение этих законов было привилегией только Папской коллегии. Только этот орган предписывал форму подачи исков и публиковал дни, в которые проводились суды. Таким образом, не только вся практика и изложение закона находились в руках патрициев, но они также имели право препятствовать по своему усмотрению всем юридическим делам. Но в цензуру Аппия Клавдия его секретарь, кн. Флавий, по предложению Аппия, установил на Форуме календарь, в котором были указаны дни, когда можно было заниматься законными делами. Напрасно патриции пытались сохранить свою монополию путем изобретения новых формул, называемых "Записками", ибо Тиберий Корунканий, первый плебейский понтифик Максим, который был консулом в 474 г., открыл публичную школу юриспруденции, а в середине следующего века^[426] "Записки" были опубликованы Секстом Илием Катом.

Устные традиционные изложения этих законов легли в основу римского гражданского права. К ним время от времени добавлялись постановления народа (*plebiscita*), акты сената (*senatus-consulta*) и преторские эдикты, в которых излагались принципы, на основании которых каждый последующий претор намеревался управлять статутным правом.

Таковы были различные элементы, из которых состоял весь свод римского права; и в столь ранние времена этот предмет усердно изучался и излагался, что вторая половина шестого века до нашей эры была богата юристами, чьи способности прославлены в истории. Кроме уже упомянутого С. Илиуса Катуса, П. Лициний Красс, прозванный "богатым", который был консулом в 549 г., упоминается Ливием^[427] как сведущий в папском праве, каноническом праве древних римлян. Л. Ацилий также написал комментарии к законам Двенадцати таблиц; к ним можно добавить Т. Манлия Торквата, консула 589 г., С. Фабия Пиктора и другого члена той же знатной семьи, К. Фабия Лабео, Катона-цензора и его сына Порция Катона Лициниана, и, наконец, П. Корнелия Насика, чьи заслуги как юриста были отмечены предоставлением дома за государственный счет.

Самыми выдающимися юристами, украсившими следующий век, были Сцеволы. В их семье профессия юриста, похоже, была наследственной; о многих носителях этого выдающегося имени можно было бы сказать, что их дом был оракулом всего государства; "Domus jurisconsulti totius oraculum civitatis." Квинт, авгур, был первым наставником Цицерона в науке права: его двоюродный брат Публий также пользовался высокой репутацией; а Квинт, сын Публия, который стал наставником Цицерона после смерти старшего родственника, сочетал в себе гений оратора и эрудицию юриста, и был назван своим выдающимся учеником "величайшим оратором среди юристов и величайшим юристом среди ораторов". Составитель сборника также приводит в качестве авторитетов М. Манилия и М. Юния Брута.^[429] Манилий - один из персонажей, введенных в диалог Цицерона "*Республика*": он был консулом в 604 г., и, как говорят, был автором семи юридических трактатов; но все они, за исключением трех, Цицерон отрицает авторитет. Брут был сыном посла этого имени, который участвовал в войне с Персеем, и оставил трактат в трех книгах о гражданском праве.^[430]

В следующем столетии процветал некий Илиус Галл, который был несколько старше Цицерона и являлся автором трактата о значении терминов права. Несколько его определений приводит Фест, а фрагменты сохранились у А. Геллия,^[431] и в Дигестах. Некоторые считают его тождественным с Илием Галлом, префектом Египта в правление Августа,^[432] который был другом географа Страбона; но поскольку почти нет сомнений, что его цитирует Варро,^[433] такое тождество невозможно, поскольку Варро умер до 28 г. до н. э., а о Галле он говорит как о пожилом человеке. Другим выдающимся юристом этой эпохи был его однофамилец К. Аквиллий Галл. Он был учеником К. Муция Сцеволы и превзошел всех своих современников в том чернобуквенном знании права, которое в прежние времена ценилось более высоко, чем в более блестящие дни Цицерона. Учеба тогда стала высмеиваться и мало цениться, а ораторские способности вызывали большее восхищение по мере того, как римский ум становился более живым к изыскам и красотам языка.

Но больше всего Галлус отличился как реформатор права. Письменное право Рима по своей техничности представляло наибольшие препятствия для действий по неписаному принципу общего права и справедливости. Чтобы устранить это, он изобрел юридические фикции, *то есть* формулы, с помощью которых можно было отменить действие закона без необходимости отменять сам закон. Его практика, должно быть, была обширной, поскольку Плиний упоминает, что он был владельцем великолепного дворца на Виминальском холме.^[434] В 67 году до н. э. он занимал должность претора вместе с Цицероном, и как до, так и после этого он часто заседал в качестве одного из судей. Цицерон выступал перед ним в защиту Цецины и Клуентия.

Кроме Аквиллия Галла, три самых выдающихся юриста, которые были на несколько лет старше Цицерона, были обязаны своими юридическими знаниями наставлениям Муция

Сцеволы. Это были С. Ювентий, Секст Папирий и Л. Луцилий Бальбус, последний из которых упоминается Цицероном^[435], а его труды цитируются его выдающимся учеником Сульпицием Руфом.

Грамматики.

К концу этого литературного периода значительно увеличилось число ученых людей, которых римляне называли "*Litterati*", а затем, по обычаю греков, "*Grammarians*" (*Grammatici*.^[437]). Им литература была глубоко обязана. Хотя лишь немногие из них были авторами, и все они были людьми скорее приобретенной образованности, чем оригинального гения, они оказывали мощное влияние на общественное сознание в качестве профессоров, лекторов, критиков и школьных учителей. С их помощью юноши из лучших семей не только прививали вкус к греческой философии и поэзии, но и учили ценить литературу своей страны.

Суэтоний ставит во главе класса Ливия Андроника и Энния; но их слава поэтов затмевает их репутацию простых критиков и комментаторов.

Первым исповедуемым грамматиком, которого он упоминает, является Кратес Маллотес, который между первой и второй Пуническими войнами был послан Атталом в Рим. Несчастный посол упал в открытый водосток и сломал ногу, а утомительность своего заточения компенсировал чтением курса филологических лекций. После него С. Октавий Лампадий редактировал труды Невия, К. Варгунтий - труды Энния, а Лелий, Архелай, Вектий и К. Филоком читали и объясняли кругу слушателей сатиры Луцилия.

Большинство этих грамматиков были освобожденными рабами: некоторые из них были греками, некоторые варварами. Сэвий Никанор и Аврелий Опилий были вольноотпущенниками: последний принадлежал к семье какого-то эпикурейского философа. Корнелий Эпикад был вольноотпущенником Суллы и завершил комментарии, которые его покровитель оставил незаконченными, а Леней был вольноотпущенником Помпея Великого. М. Помпилий Андроник был сирийцем; М. Антоний Гнифо, хотя и бесхитростного происхождения, - галлом. А вот Сервий Хлодий и Л. Илиус Ланувин были римскими рыцарями. Труды этих трудолюбивых ученых не ограничивались Римом или даже Италией, ведь Октавий Тевкер, Сисценний Иакх и Оппий Харес давали наставления в провинции Галлия Тогата.

К уже упомянутым именам можно добавить имена Л. Илиуса Стило, который сопровождал в изгнании Л. Метелла Нумидика, и Валерия Катона, который не только преподавал искусство поэзии, но и сам был поэтом.

Теперь мы проследили, как с самого младенчества поднималась и развивалась римская литература, как постепенно раскрывался национальный интеллект. Заря мягко разгоралась, свет неуклонно усиливался и вот уже сменился полуденным блеском "золотого века".

КНИГА II. ЭПОХА ЦИЦЕРОНА И АВГУРА.

ГЛАВА I.

ПРОЗА - КРИТЕРИЙ СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКА - ДРАМАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - МИМЫ - РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РИМСКИМИ И ГРЕЧЕСКИМИ МИМАМИ - ЛАБЕРИЙ - ОТРЫВКИ ИЗ ЕГО ПОЭЗИИ - МАТИЙ КАЛЬВЕНА - МИМИАМБИ - ПУБЛИЙ СИРУС - РИМСКАЯ ПАНТОМИМА - ЕЕ РАЗНУЗДАННОСТЬ - ГЛАВНЫЕ АКТЕРЫ ПАНТОМИМЫ.

В период, к которому мы сейчас переходим, римская литература достигла своего наивысшего совершенства. Время, когда она достигла наивысшей точки совершенства, Нибур определяет^[438] около 680 года н. э., когда Цицерону было от тридцати до сорока лет. Поэзия, действительно, все еще продолжала совершенствоваться, что касается метрической структуры и дикции, в отделке, плавности и гармонии. В этих отношениях есть заметная разница между произведениями Лукреция и Вергилия; но, тем не менее, принципы языка теперь стали фиксированными и устоявшимися. В самом деле, о состоянии языка следует судить по его прозе; так же следует судить и о состоянии совершенства, которого достигла его литература. Если бы поэзия могла быть принята за эталон, то начало империи Августа стало бы лучшим веком латинской литературы, а не то время, когда форум перекликался с красноречием Цицерона; но в двух эпохах Цицерона и Августа, взятых вместе как составляющих одну эру, заключен золотой век как поэзии, так и прозы.

Драматическая литература, однако, так и не смогла оправиться от транса, в который она впала. Сцена еще не совсем утратила ту популярность, которой она пользовалась во времена Аттия и Теренция, ведь Исоп и Росций, первый - великий трагик, второй - любимый комик, во времена Цицерона скопили огромное состояние. Эзоп жил в достатке,^[439] завещал состояние своему сыну, а Росций, как говорят, зарабатывал ежедневно тридцать два фунта.

Несмотря на унижение, связанное с социальным положением актера, оба этих выдающихся артиста пользовались дружбой Цицерона и других великих людей. Они привнесли в изучение своей профессии трудолюбие, вкус, талант и образованность, и эти качества были оценены по достоинству. В один прекрасный день Эзопус был награжден несчетным количеством раз (*millies*)^[440] восторженной публикой, а Розий был возведен Суллой в конное достоинство. Но хотя стандартные римские пьесы были представлены постоянно, драматическая литература вымерла. Комедии вообще никто не писал, а трагедии Вальгия Руфа и Асиния Поллио предназначались только для чтения или декламации. Как уже было показано, "Тиесты" Вара также не являются исключением из этого утверждения.

Драматические развлечения, которые теперь заняли место комедии и трагедии, назывались мимами.

Их отличительное название было заимствовано из греческого языка, но они полностью отличались от тех композиций, к которым греки применяли это название. Последние были написаны не в стихах, а в прозе,^[441] это были диалоги, а не драматические произведения, и хотя они выставлялись на некоторых фестивалях, а роли исполняли актеры, они никогда не были представлены на сцене. Даже когда Софрон, чьими сочинениями восхищался и подражал Платон,^[442] довел их до высшей степени совершенства и сделал их проводниками серьезных моральных уроков, соединив смешную буффонаду с серьезной философией, их язык был лишь ритмичной прозой, вероятно, несколько напоминающей ту, на которой была

написана знаменитая депеша Гиппократ^[443]. Некоторое представление об их характере можно составить из того факта, что идиллии Феокрита были подражанием мимам Софрона, а Персий взял их за образец в своих своеобразных драматических сатирах.^[444]

Римские мимы были смехотворными имитаторами манер и лиц. В них сочетались черты комедии и фарса; в комедии изображались характеры классов, в фарсе - отдельных людей. Суть их была та же, что и у современной пантомимы; мимика и бурлескный диалог были введены лишь случайно. Их грубость и даже непристойность^[445] удовлетворяли любовь к широкому юмору, характерную для римского народа. Они стали успешными соперниками комедии и, таким образом, получили признание на публичной сцене. Наиболее вероятно, что, как и другие драматические представления, они первоначально выросли из *Fabulæ Atellanæ*, которые впоследствии были вытеснены. Но, несмотря на непристойность, сатиру на живых и бурлескные изображения прославленных мертвецов, когда их показывали на погребальных играх, они иногда, как и мимы Софрона, имели нравственный характер и изобиловали пронизательной мудростью и благородными чувствами.^[446] Шлегель утверждает, что между римскими мимами и пасквиадами и арлекинадами современной Италии существует большое сходство. Он предполагает, что в них можно проследить зародыш *комедии дель арте*, и утверждает, что изображение Полишинеля можно найти на некоторых фресках Помпеи.

Через некоторое время, когда мимы стали любимцами публики, диалог или письменная часть развлечения заняли более заметное место и были написаны в стихах, как в трагедии или комедии. Во времена диктатуры Юлия Цезаря римский рыцарь по имени Деций Лаберий стал знаменитым мимом. О его достоинствах у нас мало возможностей судить, поскольку фрагменты его сочинений^[447] немногочисленны и коротки; но Гораций^[448] отзывался о них в неблагоприятных выражениях, отмечая их небрежность и отсутствие регулярного плана. Он родился около 107 г. до н. э.^[449] и умер в 45 г. до н. э. в ПUTEОЛИ, (ПОЦЦУОЛИ). Профессия актера-мима была печально известна; но Лаберий был писателем, а не актером. Однако случилось так, что П. Сирус, который был сначала рабом, затем вольноотпущенником и учеником Лаберия, а в конце концов профессиональным актером, вызвал всех своих собратьев на испытание импровизаторского мастерства. Цезарь уговорил Лаберия войти в списки и предложил ему пятьсот сестерциев (около 4 000 л.) Лаберий не согласился на унижение ради денег, но отказаться побоялся. Единственным доступным ему способом мести был сарказм. Он играл роль раба, и когда хозяин бичевал его, восклицал: "Porro, Quirites, libertatem perdimus!". Его слова были встречены аплодисментами, и зрители устремили свои взоры на Цезаря. В другой раз его нападки на Диктатора были почти угрожающими: "Necesse est multos timeatatus

Necesse est multos timeat quem multi timent".

Похоже, что он всегда был быстр и готов к ответу. Когда, будучи побежденным своим противником Сиром, Диктатор сказал ему с усмешкой

Favente tibi me victus es Laberi a Syro,

Он ответил ему следующими печальными, но правдивыми размышлениями: -

Non possunt primi esse omnes omni in tempore,

Summum ad gradum cum claritatis veneris

Consistes ægre; et quum descendas decides;

Cecidi ego, cadet qui sequitur, laus est publica.

Однако Сезар вернул ему звание и конные привилегии, которых лишил его поступок, но он так и не смог вернуть себе уважение соотечественников. Когда он проходил мимо оркестра, направляясь к стойлам рыцарей, Цицерон воскликнул: "Если бы мы не были так переполнены, я бы освободил здесь место для тебя". Лаберий ответил, ссылаясь на вялость Цицерона как политического приверженца: "Я удивлен, что тебе тесно, ведь ты обычно сидишь на двух табуретах". Спокойный и прочувствованный упрек, с которым в прологе к своей пантомиме он выступал против тирании Сезара, необычайно энергичен и красив: -
Necessitas, cujus cujus

Necessitas, cujus cursus transversus impetum

Voluerunt multi effugere, pauci potuerunt,

Quo me detrusit pæne extremis sensibus?

Quem nulla ambitio, nulla unquam largitio,

Nullus timor, vis nulla, nulla auctoritas

Movere potuit in juvenia de statu;

Ecce in senectute ut facile labefecit loco

Viri excellentis mente clemente edita

Submissa placide blandiloquens oratio!

Etenim ipsi Dii negare cui nihil potuerunt,

Hominem me denegare quis possit pati?

Ergo bis tricenis actis annis sine nota

Eques Romanus lare egressus meo

Domum revertas mimus; Nimirum hoc die

Uno plus vixi mihi quam vivendum fuit

Fortuna, immoderata in bono æque atque in malo,

Si tibi erat libitum literarum laudibus

Floris cacumen nostræ famæ frangere,

Cur quum vigebam membris præviridantibus,

Satisfacere populo et tali cum poteram viro,

Non flexibilem me concurvastis ut carperes?

Nunc me quo dejicis? quid ad scenam affero?

Decorem formæ, an dignitatem corporis,

Animi virtutem, an vocis jucundæ sonum?

Ut hederæ serpens vires arboreas necat,

Ita me vetustas amplexa annorum enecat,

Sepulchri similis nihil nomen retines.

О, сильная Необходимость! Чей стремительный ход

Так много чувствуют, так мало спасаются от нее,

Куда, ах куда, в твоей покорной карьере,

Постановила ли ты нести эту предсмертную раму?

Я, в мои лучшие дни, ни враг, ни друг,

Ни угрозы, ни взятки, ни тщеславие не могли склонить;

Теперь же, соблазненный лестью, в слабом возрасте

Я рыцарство сбрасываю и на сцену восхожу.

И все же не размышляйте - как может человек оспорить

Того, кому повинуются сами божества?

Шестьдесят долгих лет я прожил без позора.

Римский рыцарь! Пусть достоинство уступит место;

Я теперь актер Сезара и достиг большего.

За один короткий час, чем за всю мою жизнь.

О Фортуна, переменчивый источник добра и зла,

Если здесь я оказался по воле твоей,

Зачем, когда я молод и способен угодить

столь великого хозяина и таких гостей, как эти,

Почему бы не принудить меня тогда, злая сила,

К тяжелой работе в этот унижительный час?

Где теперь, в какой бездне позора,

Ты сговорился с судьбой, чтоб имя мое потопить?

Где мои надежды? Какой голос может дать возраст.

Чтобы очаровать слух, чтобы порадовать глаз?

Где активная энергия и искусство,

Взгляд, который направляет страсть к сердцу?

Возраст ползет, как плющ, по моему иссохшему стволу,

И цвет его померк, и силы убавилось;

Могила, где нет ничего, кроме имени.

Чтоб поведать миру, чей прах в ней хранится.

Камберленд.

Другим поэтом этой эпохи, сочинявшим пантомимы, был К. Матиус, прозванный из-за своей лысины Кальвеном. Его мимы называли *мимиамби*, потому что он писал ямбической мерой,^[450] а также он был переводчиком "Илиады" и автором труда по кулинарии. Считается, что его главной заслугой было умение обогащать родной язык введением новых слов.^[451] Он был несколько моложе Лаберия и пользовался дружбой величайших из своих современников. Близость с Юлием Цезарем,^[452] к которому он был горячо привязан,^[453] а затем с Августом,^[454] придала ему большое влияние,^[455] но он никогда не принимал особого участия в политических распрях, которые досаждали его времени, и не использовал свое влияние для собственного продвижения.

Его уединенные привычки и любовь к литературному досугу не позволяли ему искать счастья в честолюбивых порывах. Цицерон, который очень любил его, часто упоминает его в своих письмах и делает комплимент^[456] его образованности и приветливости. Интересное письмо Цицерона, сохранившееся в сборнике его посланий к друзьям,^[457] показывает, что он обладал развитым умом и нежным сердцем. Поэтому нельзя полагать, что его *Мимиамби* были испорчены слишком распространенными недостатками грубости и нескромности.

Публий Сир.

Публий Сир, как следует из его имени, был первоначально сирийским рабом и получил свое прозвище от хозяина, который дал ему свободу. Все, что известно о его жизни, уже изложено в рассказе Лаберия. Похвалы, которые его пантомимы получили от древних, особенно от Цицерона,^[458] Сенеки,^[459] и Плиния,^[460] доказывают, что их много читали и ими восхищались. Сохранившиеся фрагменты отличаются остроумием и аккуратностью, а также пронизательной мудростью притчевой философии. Традиция также записала одно его *замечание*, которое столь же остроумно, сколь и сурово. Увидев однажды плохого человека по имени Муций в плохом настроении, он заметил: "Либо с Муцием случилось несчастье, либо с кем-то из его друзей - удача". Точное знание человеческой природы, выраженное метким и лаконичным языком, скорее всего, составляло очарование этого вида живописной литературы. Большое собрание его пословиц, озаглавленное P. Syri Sententiæ, далеко не все подлинные; но ядро, вокруг которого выросла коллекция, пополняясь с каждым разом, несомненно, принадлежит ему, а те, что являются работой последующих эпох, созданы по образцу его апофегм.

Римская пантомима несколько отличалась от пантомимы - она представляла собой балет, исполняемый одним танцором. Впервые в полном виде она была представлена в правление Августа, а Суидас,^[461] неверно цитируя отрывок из Зосима,^[462] безосновательно приписывает изобретение самому императору. Как пантомима имела некоторое сходство с ателланскими фарсами, так и пантомима напоминала гистрионные представления, введенные Ливием Андроником. В обоих случаях человек, произносящий слова (*canticum*^[463]), отличался от того, кто представлял персонажей. В пантомиме *кантику* исполнял хор, стоявший в глубине сцены. До времен поздних императоров, когда порок выставлялся напоказ с неприкрытой наглостью, женщины в пантомиме не выступали; но само представление было чувственным и

развратным по своему характеру,^[464] а его участники заслуженно считались позорными, и Тиберий запретил им вступать в какие-либо сношения с римлянами конного или сенаторского достоинства.^[465] Нерон, однако, возмутил общественные приличия, сам появившись в пантомиме.^[466] К счастью для достоинства Рима, лицо императора было скрыто за маской, которую, в отличие от исполнителей пантомимы, пантомимические актеры всегда носили. Игроки не только демонстрировали человеческую фигуру в самых изящных позах, но и изображали каждую страсть и эмоцию с такой правдивостью, что зрители без труда понимали сюжет. Иногда представляемые сцены были основаны на греческой трагической драме, но вместо ее очищающего эффекта было подменено пробуждение развратных страстей.

Именно эти представления так дискредитировали сцену - они вызывали заслуженные нападки первых христианских отцов и заставляли их заявлять, что тот, кто их посещает, недостойн называться христианином. Если бы драма не подвергалась такому злоупотреблению, если бы она сохранила свою первоначальную чистоту и выполняла цель, приписанную ей Аристотелем, в ней видели бы не питомник порока, а школу добродетели, не только невинное развлечение, но и мощный двигатель для формирования вкуса, улучшения нравов и очищения чувств народа.

В царствование Августа главными актерами пантомимы были Батилл, Гилас и Пилад. При Нероне этим искусством занимались Латинус,^[467] и Парис, который научил императора танцевать, а впоследствии был предан Нероном смерти, когда стал его соперником в борьбе за народные аплодисменты.^[468] Но наибольшей популярности достигли другой Латинус и другой Парис, процветавшие при Домициане. Оба они были увековечены в эпитафиях Марциала.^[469] Первому Марциал приписывает способность очаровывать таких суровых и жестких моралистов, как Катон, Курии и Фабриции. Эпитафия завершается такими строками:-

Vos me laurigeri parasitum dicite Phœbi,

Roma sui famulum dum sciat esse Jovis.

Скажите, что я завоевал любовь лавроносного Феба,

так что Рим называет меня слугой своего Джова.

Последний, благодаря своей популярности, приобрел большое влияние при дворе, но распутство стало его гибелью. Он интриговал с императрицей Домицией; в результате Домициан развелся со своей женой, а Парис был убит. Он послужил сюжетом и героем для пьесы Массингера "Римский актер". Простая и красивая эпитафия, написанная в память о нем Марциалом, выглядит следующим образом

Quisquis Flaminiam teris, viator,

Noli nobile præterire marmor.

Urbis deliciæ, salesque Nili,

Ars et gratia, lusus et voluptas;

Romani decus et dolor theatri,

Atque omnes Veneres, Cupidinesque,

Hoc sunt condita, quo Paris, sepulchro.

Кто бы ты ни был, о путник, останься!

Отметь, какая гордая гробница украшает путь.

Восторг города, остроумие Нила,

Искусство, грация, веселье, удовольствие, спорт и улыбка:

Честь римской сцены,

Горе и печаль эпохи:

Все Венеры и Любви лежат здесь.

Погребенные в парижской усыпальнице.

ГЛАВА II.

ЛУКРЕЦИЙ - ПОЭТ, А НЕ ФИЛОСОФ - ЕГО ЖИЗНЬ - ЭПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЕГО ПОЭМЫ - РАЗНОВИДНОСТИ ЕГО ПОЭЗИИ - ОТРЫВКИ ИЗ ЕГО ПОЭМЫ - АРГУМЕНТАЦИЯ ЕЕ - ЭПИКУРЕЙСКИЕ ДОКТРИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕЙ - МОРАЛЬ ЭПИКУРА И ЛУКРЕЦИЯ - СВИДЕТЕЛЬСТВА ВЕРГИЛИЯ И ОВИДИЯ - КАТУЛЛ: ЕГО ЖИЗНЬ, ХАРАКТЕР И ПОЭЗИЯ - ДРУГИЕ ПОЭТЫ ЭТОГО ПЕРИОДА.

Лукреций Кар (родился в 95 г. до н. э.)

Лукреций Карус может претендовать на место среди философов, а также поэтов, поскольку его поэма знаменует собой эпоху как в поэзии, так и в философии. Но его философия - это простое отражение греческой, в то время как его поэзия сияет лучами оригинального гения. Поэтому описание его особенностей как писателя воображения даст более точное представление о месте, которое он занимает среди римских авторов. Он не пустословил, что как поэт заслуживает похвалы за оригинальность, что он открыл путь через территорию музыки, до него не проторенную ногами поэта, что он черпал из девственного источника и срывал свежие цветы там, где муза еще никогда не искала их, чтобы сплести гирлянду для чела поэта.^[470]

Для составления его биографии существует мало материалов. Из двух отрывков^[471] в его работе, в которых он сообщает, что его родным языком была латынь, ясно, что он родился в пределах Италии. Датой его рождения принято считать 95 год до н. э.^[472] Распространение эпикурейской философии и дополнительная популярность, которой его таланты наделили модное вероучение, возвели его в конное достоинство; и, в соответствии с его холодным и безнадежным атеизмом - гордым неверием в предначертания Провидения, - он умер от собственной руки в расцвете сил и на сорок четвертом году жизни.^[473] История о том, что его работы были написаны в светлые промежутки безумия, вызванного любовным зельем, а также его пребывание в Афинах с целью обучения, не имеют под собой никаких оснований.

Его поэма "О природе вещей" состоит из шести книг и написана в подражание поэме Эмпедокла, который является предметом его самых горячих похвал и восхищения. Хотя ее тема философская, а цель дидактическая, единство замысла, единая точка зрения, с которой он рассматривает различные доктрины мастера, чьи принципы он перенимает, претендует на звание эпической поэмы.

Эпическая структура не позволяет ему быть полным и систематическим обзором всей эпикурейской философии; но, несмотря на этот недостаток в плане полноты, точность и верность, с которой он представляет те доктрины, которые он излагает, делает его достойным похвалы за то, что он дал своим соотечественникам, насколько это позволяет эпическое письмо, точное представление о философской системе, которая в то время пользовалась наивысшей степенью популярности.

Хотя греческая философия послужила для Лукреция предметом изучения, а греческая поэма - образцом для подражания, он также видел и ценил возможности латинского языка - он по своему усмотрению использовал его силу для воплощения самых благородных мыслей и показал, как его обильные и гибкие свойства могут преодолеть жесткие технические требования науки. Как ни велики были его концепции, язык Лукреция не уступает им в величии. Не нарушая философской точности, он, кажется, никогда не чувствует ее сдерживающим фактором для своей музыки: его фантазия всегда жива, его воображение имеет свободный простор, даже когда его мысли фиксируются на самых заумных теориях и вовлечены в самую тонкую аргументацию.^[474]

Великая красота поэзии Лукреция заключается в ее разнообразии. Можно было бы ожидать возвышенности от философа, который проникает в тайны природного мира и раскрывает перед взором человека скрытые причины его удивительных явлений. Его цель была возвышенной, ибо, хотя иррациональные нелепости национального вероучения ввергали его в противоположные пороки скептицизма и неверия, его целью было освободить интеллект от пут суеверий. Но помимо величия и возвышенности мы находим в поэзии совершенно иные качества - мягкость и нежность. Рим давно не знал ничего, кроме войны, и теперь его раздирала самая страшная и деморализующая разновидность войны - гражданский раздор. Лукреций жаждал мира, и его молитва о том, чтобы сказочная богиня всего прекрасного в природе залечила раны, нанесенные раздором, отличается нежностью и пафосом даже в большей степени, чем возвышенностью. Весь отрывок превосходит поэзию Овидия по силе, хотя и уступает в мастерстве. Его стихосложение не такое плавное и гармоничное, как у Вергилия, который процветал в период, когда язык достиг более высокой степени совершенства, а римское ухо было более образованным и, следовательно, более тонко настроенным, но оно никогда не бывает грубым и шершавым, а всегда ложится на слух звучной мелодией. Вергилий оценил его превосходство и подражал не только отдельным выражениям, но и почти целым стихам и отрывкам.^[475]

В качестве примера возвышенности немногие отрывки могут сравниться с тем, в котором он описывает прозябание человеческого интеллекта под тягостным суеверием, бесстрашную цель Эпикура освободить человека от ее гнетущего правления, дать ему возможность открыть порталы сокровищницы природы и таким образом одержать победу, которая поставит его наравне с обитателями небес:-...

Humana ante oculos fede quom vita jaceret

In terris, oppressa gravi sub Religione,

Quæ caput a cœli regionibus ostendebat,

Horribili super aspectu mortalibus instans;

Primum Graius homo mortales tendere contra

Est oculos ausus, primusque obsistere contra;

Quem neque fama deûm nec fulmina nec minitanti
Murmure compressit cœlum, sed eo magis acrem
Irritât animi virtutem, effringere ut arcta
Naturæ primus portarum claustra cupiret.
Ergo vivida vis animi pervicit et extra
Processit longe flammantia mœnia mundi,
Atque omne immensum peragravit mente animoque;
Unde refert nobis victor, quid possit oriri,
Quid nequeat; finita potestas denique quoique
Quanam sit ratione, atque alte terminus hærens.
Quare Religio, pedibus subjecta, vicissim
Obteritur; nos exæquat victoria cœlo.
Lib. i. 63.

Идея, которую поэт доносит до сознания читателей, сходна с той, что пронизывает сочинения греческих трагиков: это ограниченная энергия смертных, решительно борющихся с превосходящей и почти непреодолимой силой.

Захватывающее повествование о чуме в Афинах, со всеми ее физическими и моральными ужасами, является одним из самых душераздирающих образцов описательной поэзии. Суровый отказ от всякого страха смерти, хотя и основанный на отрицании бессмертия души, - это благородный всплеск поэтического и философского энтузиазма; а пятая книга демонстрирует ту безупречную законченность и завершенное изящество, которые присущи всем лучшим римским поэтам. Среди наиболее трогательных отрывков можно перечислить те, в которых описываются ранние печали человеческой расы и горе убитого животного, чей детеныш был заклан в жертву.^[476] Еще два прекрасных отрывка - философское объяснение Тартара и панорама бури человеческих желаний, увиденная со скалистых высот философии - великолепное описательное произведение, которому подражал лорд Бэкон.

Следующие строки показывают, как прекрасно поэт уловил дух и чувства греческой фантазии, и насколько латинский язык был способен адекватно их выразить:...

Aulide quo pacto Triviai virginis aram
Iphianassai turparunt sanguine fede
Ductores Danaum delectei, prima virorum
Cui simul infula, virgineos circumdata comtus,
Ex utraque pari malarum parte profusa est;
Et mœstum simul ante aras astare parentem
Sensit, et hunc propter ferrum celare ministros,

Aspectuque suo lacrimas effundere civeis;
Muta metu, terram genibus summissa, petebat:
Nec miseræ prodesse in tali tempore quibat,
Quod patrio princeps donarat nomine regem
Nam sublata virum manibus, tremebundaque, ad aras
Deducta est; non ut, solenni more sacrorum
Perfecto, posset claro comitari hymenæo;
Sed, casta incerte, nubendi tempore in ipso,
Hostia concideret mactatu mœsta parentis,
Exitus ut classi felix faustusque daretur.
Tantum religio potuit suadere malorum!

С жестокого алтаря Дианы текло
Кровью невинной и царственной девы:
Несчастливая дева! Священными лентами связана,
Религиозная гордость! и священные гирлянды увенчаны;
Чтобы встретить незаслуженную, безвременную судьбу,
Ведомая греческими вождями в пышности и государстве;
Она увидела своего отца, чьи слезы текли
ручьями - единственная жалость, которую он мог проявить.
Она увидела, как хитрый жрец спрятал нож.
от него, благословенного и готового к смерти!
Она видела, как ее граждане с плачущими глазами
не желая идти на жертвоприношение.
Тогда, онемев от горя, она со слезами попросила жалости,
Но спасти ее было не в силах отца.
Напрасно молила она о невинности, юности и красоте;
Тщетно первый залог брачного ложа;
И даже теперь, когда она созрела для брачной радости.
Чтобы подкупить богов и купить ветер для Трои.
Так погибла эта невинная, эта царственная дева:
Религия не смогла бы переубедить ее в столь ужасных поступках. *Крич.*

Нельзя отрицать, что в поэме Лукреция много бесплодных пустошей, по которым разбросан мусор и *обломки* ложной философии; но даже в этих пустынях достаточно оазисов, чтобы предотвратить истощение и усталость. Они встречаются слишком часто, чтобы перечислять их все. Если бы такая попытка была сделана, другие вкусы все равно нашли бы свежие примеры.

План и структура поэмы в нескольких словах таковы: - Ее цель - освободить человечество от пагубного влияния суеверий путем изложения ведущих догматов эпикурейской школы. Она состоит из шести книг. В первой поэт излагает и подробно иллюстрирует великую аксиому своей системы мироздания, а также следствия, которые из нее неизбежно вытекают. "Ничто не создано из ничего". Он также приступает к рассмотрению атомной теории. Во второй книге он продолжает тему творения в целом и различных функций животного мира. В третьей рассматривается природа почвы. Четвертая содержит теорию ощущений, особенно зрения; отношения, которое мысль имеет к материи; страстей, особенно влияния любви, как физической, так и моральной. Пятая книга посвящена истории человечества. Шестая объясняет явления природного мира, в том числе болезни и смерть.

Ниже перечислены основные эпикурейские доктрины, воплощенные в поэме: - Существуют божественные существа, но они не являются ни творцами^[477], ни правителями мира.^[478] Они живут в совершенном счастье и покое, независимо от человеческих дел, не подверженные влиянию добродетелей и пороков, счастья или несчастья человека. У них нет не только силы, но и воли вмешиваться в дела мира, ибо они не могут противостоять вечным законам природы и судьбы. Хотя, повинаясь врожденному чувству, которое восстает против отрицания Бога, он признает существование божественных существ, доказательства, которые он приводит как полученные от своего великого учителя, слабы и неудовлетворительны.^[479] Следствием этого неверия в Божественное Провидение является практический атеизм. Представления, которые человек имеет о Боге, ложны, потому что они являются простым творением воображения. Не зная реальных причин, которые приводят к природным явлениям, он придумывает их в качестве механизма для их объяснения.^[480] Народная вера беспочвенна; и все же поэт считает, что, если эта система будет разрушена, ничто не сможет занять ее место, а значит, все поклонение, будь то молитва или хвала, является грубым суеверием.^[481] Единственное истинное благочестие состоит в спокойном и мирном созерцании.^[482]

Тем, кто утверждает, что неверие ведет к безбожию, он отвечает, что то, что человек называет религией, привело к величайшим преступлениям.^[483] Он не полностью лишен религиозного чувства или принципа веры, поскольку обожествляет природу^[484] и почитает ее законы; поэтому его неверность следует рассматривать скорее в свете философского протеста против унижительных результатов языческого суеверия, чем как полный отказ от принципа религиозной веры.

Именно здесь Лукреций, кажется, на некоторое время оставляет авторитет Эпикура; и с вдохновением поэта, которое вряд ли совместимо с полным отсутствием почитания и веры, оставляет свою холодную и бессердечную систему. Хотя он утверждает, что явления природы являются результатом комбинации атомов, что эти элементарные частицы самосуществующие и вечные, он, кажется, наделяет природу некой индивидуальностью. Теплое чувство поэта побеждает холодную логику философа. Неудовлетворенный негениальной идеей абстрактного безжизненного принципа, он жаждет материнской ласки существа, наделенного энергией и способностями, которым он может сочувствовать. Поэтому он приписывает природе атрибут, который может принадлежать только разумному агенту, обладающему властью. Более того, он даже идет дальше этого и полностью

противоречит догмам эпикурейской школы. Даже произведения природы представлены как инстинкты, наделенные жизнью.^[485] О солнце говорится как о существе, которое теплом своих лучей оживляет все вещи: земля, из чрева которой все проистекает, холит и лелеет всех своих детей. Сами звезды, возможно, являются живыми существами, совершающими свои движения в поисках пропитания.^[486] Это, несомненно, причуды поэта, а не серьезные убеждения философа; но они доказывают, насколько ложной, пустой и искусственной является система, претендующая на объяснение творения естественными причинами, и как искренне человеческий разум жаждет утешения и поддержки со стороны личного божества.

Отрицание бессмертия души вытекает из разрушаемости материальных элементов, из которых она состоит. Она должна погибнуть сразу же, как только лишится защиты тела.^[487] В соответствии с этой психической теорией он объясняет различие человеческих темпераментов и характеров. Характер возникает в результате сочетания элементарных принципов: преобладание тепла порождает холерический нрав, ветра - робость, воздуха - спокойствие и уравновешенность.^[488] Но эту природную конституцию сила воли, воздействуя на нее воспитанием, способна в определенной степени изменить, хотя и не может добиться полного изменения. Таким образом, несмотря на то, что моральные и физические явления происходят в соответствии с установленными законами, человеческие беды являются результатом необузданных страстей и могут быть исправлены с помощью философии.

Хотя, если судить по христианскому стандарту, лукрецианская мораль отнюдь не чиста^[489], однако даже там, где он допускает распушенность, он не остается равнодушным к нравственной красоте, счастливым и святым результатам чистоты и целомудрия.^[490] Также, несмотря на утверждения Цицерона,^[491] не может быть выдвинуто обвинение в безнравственности или эгоистической любви к нечистым удовольствиям против Лукреция или Эпикура. Различие, которое последний проводил между законными и незаконными удовольствиями, было суровым и бескомпромиссным. Первый говорит об аде, который нечестивый чувственник всегда носит в своей груди^[492] - об удовлетворении истинной мудрости,^[493] и о совести, свободной от преступлений.^[494]

Опять же, Эпикур был человеком почти христианской мягкости. Стоическая грубость и презрение к утонченности вызывали у него отвращение; немилосердная суровость этой секты была чужда его натуре. Поэтому он впал в противоположную крайность; и хотя он старался сделать чистые интеллектуальные удовольствия *summum bonum*, его стандарт открывал ему путь для возражений со стороны ревнивых противников. Рвение, с которым многие выдающиеся женщины посвятили себя его системе и стали его ученицами, потому что его доктрины и характер особенно рекомендовали себя женскому полу, позволило его врагам легко заклеить их как *женоподобных*, вместо того чтобы восхвалять их как *женоподобных*. С той нелиберальностью, которая отказывает женщине в свободе поведения и либеральном образовании, его противники клеветали на характеры его учеников, представляли их нецеломудренными, а их наставника - развратным. Они не стеснялись даже подкреплять эти обвинения фальшивками.^[495]

Небрежное восприятие их клеветы без расследования, а также общее и, возможно, преднамеренное заблуждение, царившее среди римлян во времена Цицерона, привели к искажениям, которые встречаются в его сочинениях. Они были переданы в последующие века, и таким образом доктрины, которым учил Эпикур, подверглись незаслуженной клевете.^[496] Однако несомненно, что эпикуризм был принят римлянами в испорченной форме, и что он стал модным, поскольку предполагалось, что он поощряет индифферентизм и чувственность. Вероятно также, что отрицание бессмертия во многом способствовало развращению и искажению его системы. Ничто так не деморализует, как разрушение

надежд на вечность. Человек не может общаться с Богом или возноситься ввысь к духовным вещам, если он не надеется стать одухотворенным и увидеть Бога таким, какой Он есть. Что бы ни говорил философ об истинной природе счастья, человек все равно установит свой собственный порочный стандарт, который предпочтут его страсти и аппетиты: он будет действовать по принципу "давайте есть и пить, ведь завтра мы умрем". И все же следует признать, что взгляды Эпикура на долг человека перед Богом были бескорыстными, основанными на представлениях о Божественных совершенствах, а не просто на надеждах на вознаграждение.^[497] Его взгляды на чувственные удовольствия соответствовали его простой, бережливой жизни, диаметрально противоположной неводержанности и излишествам. Он учил как своим примером, так и наставлениями, что тот, кто хочет быть счастливым, должен культивировать мудрость и справедливость, потому что добродетель и счастье неразделимы. Он привязывал к себе учеников скорее привязанностью, чем восхищением, с терпеливой покорностью переносил слабости и болезни и умер с героизмом, который не смог бы превзойти ни один стоик.

Таков был учитель, которому следовал Лукреций, и школа, к которой он принадлежал; и хотя суровость римского характера вдохнула в его протест против суеверий более смелый дух неповиновения, чем у спокойного и покорного грека, его учение было столь же чистым и благородным, и он с гордостью отказался бы сделать философию прикрытием для сладострастного распутства. Поэты, которые превзошли его в изяществе и которым посчастливилось процветать, когда латинский язык стал более пластичным, воздали должную честь его величию. Вергилий воспекает счастье этого человека: -...

-- qui potuit rerum cognoscere causas,

Atque metus omnes, et inexorabile fatum

Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis avari.^[498]

Его муза проникнута лукрецианским духом, когда он с таким наглядным мастерством описывает ливень, нападающий на грубое создание;^[499] а Овидий восклицает, что возвышенные строки Лукреция никогда не исчезнут, пока не настанет день, когда мир будет отдан на растерзание.

Катулл (родился в 86 г. до н. э.).

Одновременно с великим поэтом-дидактиком, но на девять лет младше его по возрасту, жил К. Валерий Катулл. Он принадлежал к хорошей семье, проживавшей на Лаго-ди-Гарда, в окрестностях Вероны,^[500] а его отец имел честь часто принимать у себя в гостях Цезаря.^[501] В раннем возрасте он отправился в Рим, вероятно, для получения образования, но его горячий темперамент и сильные страсти ввергли его в разнузданные излишества столицы. В этот период своей карьеры, прошедший в потворстве удовольствиям и веселью и в среде рассеянного общества, он не имел более серьезного занятия, чем развитие своих литературных вкусов и талантов. Изящная нежность его аматорской поэзии сделала его любимцем прекрасного пола, поскольку ее разнузданность не противоречила настроениям и разговорам, распространенным в римском модном мире. Не следует думать, что тон общества среди высших классов был чистым и нравственным, как у Цицерона и его друзей, или что он не был отмечен той же разнузданной свободой, которая загрязняла некоторые даже самые изящные их стихи.

Поэзия Катулла была такой, как и следовало ожидать от характера его жизни. Оправдание, которое он приводил для своего характера, не было веским;^[502] строка в эпитафии Адриана на Вокония не могла быть применена к нему: - *Lascivus versu*.

Lascivus versu, mente pudicus eras.^[503]

Его любовницу, к которой он обращался под вымышленным именем Лесбия, на самом деле звали Клодия.^[504] Говорили, что она была сестрой печально известного Клодия; но для этого утверждения нет никаких оснований.

Расточительная и развратная карьера закончилась разорением, и хотя его состояние изначально было большим, дела его безнадежно запутались, и, чтобы вернуть их колониальным грабежом, он сопровождал Меммия, друга Лукреция, когда тот отправился в качестве претора в Вифинию. Однако из-за корыстолюбия покровителя его ожидания не оправдались. Он вернулся домой "с кошельком, полным паутины". Тем не менее ему посчастливилось посетить те города Греции и Азии, которые были наиболее известны в литературе и изобразительном искусстве.

Отправившись в Азию, он посетил могилу брата, погибшего в Троаде и похороненного на Ретийском мысу; о теплоте его братской привязанности свидетельствуют стихотворение, которое он адресовал по этому случаю Орталусу, рассеянному сыну оратора Гортензия, а также другое, посвященное Манлию. Первое из них - прекрасный и трогательный образец элегического стиля: "*Multas per gentes et multi*".

Multas per gentes et multa per æquora vectus,

Adveni has miseras frater ad inferias.

Ut te postremo donarem munere mortis

Et mutum nequidquam alloquerer cinerem.

Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum

Has miser indigne frater adempte mihi!

Nunc tamen interea prisco quæ more parentum

Tradita sub tristes munera ad inferias

Accipe fraterno multum manantia fletu

Atque in perpetuum frater ave atque vale!

По возвращении в Рим он вернулся к своим старым привычкам и умер в расцвете сил, вероятно, в 47 году до н. э., поскольку это самая поздняя дата, на которую есть ссылки в его сочинениях.

Его произведения состоят из многочисленных коротких беглых пьес лирического характера; элегий, таких как уже цитированная; светского гимна Диане; поэмы, несколько дифирамбического характера, под названием "Атис"; и "Эпиталия Пелея и Фетиды", мифологической поэмы в героических стихах. Его вкус, очевидно, сформировался на изучении греческих поэтов, у которых он научился не только красивым шестисложникам, но и способам мышления и выражения. Он обладал мастерством и вкусом, чтобы использовать материалы, которыми снабдила его обширная эрудиция, и скрыть недостаток

оригинальности и вдохновения. Некоторые из его произведений являются переводами с греческого, как, например, элегия о волосах Береники, взятая из греческого Каллимаха, и знаменитая ода Сапфо.^[505] Он был одним из самых популярных римских поэтов, во-первых, потому, что обладал теми качествами, которые наиболее высоко ценило литературное общество Рима, а именно: лоском и образованностью; во-вторых, потому, что, хотя он и был подражателем, во всем, что он писал, есть живая реальность - истинно римская национальность. Он не просто маскировал вдохновение Греции под латинскую одежду, но наделял римскую жизнь, мысли и общественные привычки идеалом греческой любви и красоты. По этим причинам его слава процветала до тех пор, пока в Риме существовала классическая литература. Лишь два выдающихся человека скрывали свое восхищение - Гораций в золотой век; Квинтилиан в период упадка. Первый пренебрежительно отзывается о нем как о лирическом поэте, второй почти обходит его молчанием. Гораций ревновал к сопернику, который был так почти равен ему самому: он не мог вынести даже малейшей возможности того, что его претензии будут оспорены на роль музыканта римской лиры;^[506] и он нечестно заявил, что впервые приспособил эолийские ритмы к римской лире,^[507] несмотря на лесбийский характер и гекзаметры своего предшественника. Квинтилиан не мог оценить Катулла, потому что его собственный вкус был слишком чопорным и аффектированным, испорченным риторическим духом его эпохи.

Катулл обладал талантом сатирика, но его сатира не была вдохновлена благородным негодованием против порока и несправедливости. Это было горькое негодование мстительного духа: его любовь и его ненависть были чисто эгоистическими. Его язык любви выражает чувства нечистого сладострастника, язык презрения - чувства разочарованного. Он удовлетворял свой раздражительный нрав, нападая на Сезара самым оскорбительным образом; но благородный римлянин не раздавил раздражавшее его насекомое; и хотя Катулл оскорбил его лично, читая свои пасквили в его присутствии, в его лице не произошло никаких изменений: он не опустил до мести; и императорское милосердие утишило гнев клеветника. Сильное предубеждение Нибура в пользу римской древности заставило его назвать Катулла гигантским и необыкновенным гением, равным во всех отношениях лирическим поэтам Греции до времен Софокла; он считал его величайшим поэтом, которым когда-либо обладал Рим, за исключением, возможно, некоторых ранних; но этот великий человек также считал, что Вергилий ошибся в своем призвании, став эпическим, а не лирическим поэтом.^[508] Катулл, безусловно, обладал великими достоинствами и талантами самого манящего и пленительного рода. Ни один гений не проявлял себя в более разнообразных аспектах. Ему присущи игривость и шаловливость девушки, живость и простота ребенка. Он никогда не был превзойден в грациозности, мелодичности и нежности. Никто, если только он не обладал хладнокровием и самообладанием Сезара, не мог бы не вздрагивать под резкими ударами его остроумия: у него были страсть и ярость, но не было величия и возвышенности ни Лукреция, ни Вергилия.

Хотя особенности его поэзии проявляются главным образом в его лирических и элегических стихотворениях, в его более длинных произведениях, которые менее известны и менее любимы, есть отрывки необыкновенной сладости и красоты. У него не было достаточного охвата и полноты ума, чтобы создать эпическую поэму. Его знания о человеческой природе, ограниченные одной из ее фаз - развитием более мягких привязанностей, - не допускали достаточного разнообразия для столь обширного произведения. Его интеллектуальный вкус, как и его моральные принципы, были слишком плохо отрегулированы, чтобы построить хорошо усвоенный план, необходимый для совершенства эпической поэмы; но там, где требуется изобретательность и живость в описании или пафос в воздействии на чувства, поэзия Катулла не уступает поэзии Овидия или Вергилия.

Поэма, озаглавленная "Брак Пелея и Фетиды", имеет небольшое сходство с героической поэмой. Тема ее - героическая, ибо в ней воплощена легенда героического века. Персонажи мифологии играют в ней роль, подобную той, которую они поддерживают в поэмах Гомера или Вергилия. Но она не связана между собой и лишена единства, а ее план слишком обширен для тех размеров, которыми она ограничена. Тем не менее, при всех этих недостатках, она радуется пышностью фантазии и блеском гения. Самым прекрасным отрывком, пожалуй, является эпизод, повествующий об истории Тесея и Ариадны, который вводится в основную часть поэмы как сотканный и вышитый на вешалках дворца Холея. Следующие стихи взяты из этого эпизода,^[509] и являются частью жалобы Ариадны на вероломное покидание Тесея:-.

Siccine discedens, neglecto numine Divûm,
Immemor ah! devota domum perjuriam portas?
Nullane res potuit crudelis flectere mentis
Consilium? tibi nulla fuit clementia præsto,
Immite ut nostri vellet mitescere pectus?
At non hæc quondam nobis promissa dedisti
Voce; mihi non hoc miseræ sperare jubebas;
Sed connubia læta, sed optatos hymenæos;
Quæ cuncta ærii discerpunt irrita venti.
Jam jam nulla viro juranti fœmina credat,
Nulla viri speret sermones esse fideles;
Qui, dum aliquid cupiens animus prægestit apisci,
Nil metuunt jurare, nihil promittere parcunt;
Sed simul ac cupidæ mentis satiata libido est,
Dicta nihil metuere, nihil perjuriam curant.
Certe ego te in medio versantem turbine leti
Eripui, et potius germanum amittere crevi,
Quam tibi fallaci supremo in tempore deessem.
Pro quo dilaceranda feris dabor, alitibusque
Præda, neque injecta tumulabor mortua terra.
Quænam te genuit sola sub rupe læna?
Quod mare conceptum spumantibus expuit undis?
Quæ Syrtis, quæ Scylla vorax, quæ vasta Charybdis,
Talia qui reddis pro dulci præmia vitæ?

Si tibi non cordi fuerant connubia nostra,
Sæva quod horrebas prisci præcepta parentis;
Attamen in vestras potuisti ducere sedes,
Quæ tibi jucundo famularer serva labore,
Candida permulcens liquidis vestigia lymphis,
Purpureave tuum consternens veste cubile.
Sed quid ego ignaris nequicquam conqueror auris,
Externata malo? quæ nullis sensibus auctæ
Nec missas audire queunt, nec reddere voces.-132-161.

И мог бы ты, Тесей, из родной земли
Ариадну свою привезти, то жестоко так
Жертву свою на одиноком берегу?
И смел ли ты, обманутый, в Афины идти,
Не страшась тяжести небесного возмездия?
Ничто не могло тронуть твое сердце священной жалостью?
Ничто не заставило бы твою душу отказаться от зловещего замысла
Против той, что любила тебя? Ах! Когда-то не было таких
Клятвы, надежды, гладкие обещания твои!
Тогда все было правдой, тогда твой медовый язык
О супружеской вере льстивые басни плел.
Все, все к ветрам небесным брошено!
Отныне пусть не верит служанка
Протестующим мужчинам. Когда в их лживых сердцах зарождается
Эгоистичное желание, ко всему, кроме удовольствия, слепое,
Ни слов они не жалеют, ни клятв не оставляют;
Но когда владенья застилают их изнеженный разум,
Не заботятся они о клятвах, не связывают честью слова.
За это, значит, я от смерти мгновенной укрыл
Твое неверное лоно; и за это предпочел,
Даже крови брата, клятвопреступника;
А теперь растерзана диким зверем и птицей,

Без надлежащей формы, без достойного обряда, погребен!

Что за пенистое море, что за дикарь ночной,

В мутном логове чудовищное рождение твое?

Какой водоворот направил тебя к свету,

Чтоб так подло отплатить за желанный дар жизни?

Что, хотя суровый наказ твоего царственного отца

Узы брака нам запретил,

О, в безопасности в родные края

Я могла бы уехать твоей счастливой служанкой;

Там с радостью омыть твои белоснежные ноги или положить

На блаженном ложе твоём пурпурное одеянье.

Ах, тщетный призыв! Ветрами унесенный,

Беспокойные ветры, что не слышат моих повелений:

Никакие слова не доходят до его уха и не проникают в его грудь!

Писатели эпохи Августа и их преемники сделали Катулла высший комплимент, назвав его *ученым*. Критика все относилась к греческому стандарту. Качества, которые они обозначали этим эпитетом, были теми, которые они считали наиболее ценными - даже более ценными, чем оригинальность и изобретательность - обширное знакомство с материалами греческой истории, тщательное изучение поэтов, взятых в качестве образцов, научное понимание каденций и гармоний греческого стихосложения. Они были благодарны за те блага, которые, как они считали, были получены в результате умственного развития; и высшей похвалой, которую они могли воздать, было присвоить поэту звание ученого и опытного человека.

В этот период, когда проза достигла своего зенита, кроме Лукреция и Катулла, могли похвастаться и другие поэты, чьи заслуги были значительны, хотя они и не удовлетворяли прихотливому вкусу эпохи Августа. Здесь процветали К. Лициний Кальв,^[510] К. Гельвий Цинна, Валерий Катон, Вальгий, Тицида, Фурий Бибакул и Варро Атацин.

Первый из них был живым маленьким человеком,^[511] оратором, а также поэтом. Его речи были тщательно смоделированы по образцу аттических ораторов; и если бы его стихи отличались таким же мастерством, они могли бы удовлетворить Горация^[512] и его современников и, таким образом, были бы сохранены. Но сохранившиеся фрагменты столь кратки, что невозможно сказать, были ли его заслуги таковы, что оправдывают Нибура, поставившего его в ряд трех величайших поэтов своего века. По духу и морали его поэзия напоминала поэзию Катулла. Это была модная поэзия того времени, состоявшая из нежных элегий, игривых и сентиментальных эпиграмм, развратных любовных песен и горьких личностей.

Цинна,^[513] кроме небольших поэм, был автором эпоса под названием "Смирна"; сюжет его неизвестен, но Катулл, который был его близким другом, высоко оценивает его, а Вергилий скромно заявляет, что по сравнению с Варием и Цинной он сам кажется гусем среди лебедей.^[514] Валерий Катон был грамматиком, а также поэтом. Две его главные поэмы

назывались "Лидия" и "Диана";^[515], а фрагментарная поэма, которой было дано название "Дирæ или проклятия", обычно приписывается ему на том основании, что автор изливает свои горести любовнице по имени Лидия. Суть произведения такова: поместье Катона, как и Вергилия, было конфисковано и превращено в военную колонию; мучимый чувством несправедливости, он проклинает свой потерянный дом. Затем тема меняется: его сердце смягчается, и в печальных тонах он оплакивает разлуку с любовницей и все свои сельские удовольствия. Раньше считалось, что это стихотворение принадлежит Вергилию, но ни язык, ни поэзия не могут сравниться с произведениями мантуанского барда, а чувства не похожи на спокойствие и смирение, с которыми он переносит свои несчастья. Дж. Скалигер, руководствуясь этими соображениями, перенес авторство с Вергилия на Катона. Но достаточных оснований для решения этого вопроса нет.

Относительно К. Вальгия Руфа все сомнительно и неясно. Грамматики цитируют его; Плиний^[517] говорит о его образованности; Гораций^[518] упоминает его как элегического поэта и выражает величайшее доверие к его критическому вкусу и суждениям. Тицида упоминает Суетоний как свидетеля заслуг Валерия Катона. Бибакул был горьким сатириком, не пощадившим чувств своего друга Катона, когда тот из богатства превратился в нищету;^[519], который сам имел тщеславие попытаться написать эпическую поэму и своим вульгарным вкусом вызвал резкую критику Горация.^[520]

Р. Теренций Варро Атацин был современником Варро Реатина, и по этой причине его труды часто путают с работами последнего. Он родился в 82 г. до н. э.^[521] у реки Атакс в Галлии, и поэтому его прозвали Атацином, чтобы отличить от его ученого тезки, который получил свое прозвище от собственности, которой владел в Реати. Сохранилось очень мало фрагментов его произведений^[522], хотя его поэзия была такого характера, что Вергилий счел некоторые его строки достойными плагиата.^[523] Его главная работа, о которой Квинтилиан отзывается не слишком высоко,^[524] - перевод "Аргонавтики" Аполлония Родия. Кроме того, он написал две географические поэмы, а именно "Хорографию" и "Libri Navales", героическую поэму под названием "Bellum Sequanicum", посвященную одному из галльских походов И. Цезаря, а также несколько элегий, эпиграмм и сатурналий.^[525]

Фрагмент "Хорографии" сохранился у Мейера,^[526] заключительные строки которого, очевидно, были подражанием Вергилию, а также следующая суровая эпиграмма на Лициния:-.

Marmoreo Licinus tumulo jacet, at Cato nullo,

Pompeius parvo; Quis putet esse Deos?

Saxa premunt Licinum, levat altum fama Catonem,

Pompeium tituli. Credimus esse Deos.

ГЛАВА III.

ВОЗРАСТ ВЕРГИЛИЯ, БЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЛЯ ПОЭЗИИ - ЕГО РОЖДЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ПРИВЫЧКИ, БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ - ЕГО ПОПУЛЯРНОСТЬ И ХАРАКТЕР - ЕГО МАЛЫЕ ПОЭМЫ, CULEX CIRIS MORETUM CORA И CATALECTA - ЕГО БУКОЛИКИ - ИТАЛЬЯНСКИЕ НРАВЫ, НЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПАСТОРАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ - ИДИЛЛИИ ФЕОКРИТА - КЛАССИФИКАЦИЯ БУКОЛИКОВ - ПРЕДМЕТ ПОЛЛИТИКИ - ТЕОРИЯ ХЕЙНА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.

Р. Вергилий Маро (родился в 70 г. до н. э.).

Период расцвета Вергилия был необычайно благоприятен для развития и признания поэтического таланта самого отточенного и культурного рода. Снисходительная либеральность императорского двора лелеяла и поощряла гений: разрушение республиканской свободы оставило интеллект эпохи без каких-либо других целей, кроме утонченности; воображение не было ущемлено заботами и реалиями жизни. Те же причины способствовали ограничению сферы применения прозы,^[527] и, следовательно, это поле было оставлено безраздельно Вергилию, Горацию и их друзьям; и как век Цицерона был, по существу, веком расцвета прозаической литературы, так век Августа был золотым веком поэзии. Среди современников Вергилий выделяется как представитель этого века. Он проявил все ее характерные черты: блеск, изобретательность и мастерство, а к ним добавились достоинство и возвышенность. Жизнь Вергилия, обычно прилагаемая к его произведениям, утверждает, что ее написал Тиберий Клавдий Донат, живший в пятом веке. Если, как полагал Хейн, основание принадлежит ему, то оно было обставлено баснями, подобными тем, что встречаются в *Gesta Romanorum*, и обязанными своим происхождением выдумкам темных веков. Из этой биографии, лишенной тех частей, которые явно сказочны, и из других источников можно почерпнуть следующие сведения о нем: -Р. Вергилий Маро родился в иды (15) октября^[528] до н. э. 70 года в небольшом поместье, принадлежавшем его отцу, в Андах (Питола), деревне Цизальпинской Галлии, расположенной примерно в трех римских милях от Мантуи. Спорно, как его звали - Вергилий или Вергилий. Скорее всего, обе орфографии верны, поскольку *Диана*, *Минерва*, *Либер* и другие латинские слова часто писались *Deana*, *Menerva*, *leber* и т. д.^[529]

По рождению Вергилий был гражданином Мантуи,^[530] но не Рима, поскольку полное право голоса было предоставлено *транспаданцам* лишь в 49 г. до н. э., хотя они пользовались правом латинской юрисдикции уже в 89 г. до н. э. Разнообразный багаж знаний, содержащийся в "Георгиках" и "Энеиде", убедительно доказывает, что Вергилий получил широкое образование. Говорят, что зачатки литературы он приобрел в Кремоне, где оставался до тех пор, пока не принял *toga virilis*.^[531] Это событие, если верить анонимному житию, произошло необычайно рано; ведь оно отнесено к консульствам Помпея Великого и Лициния Красса,^[532] в первом консульстве которого он родился. Из Кремоны он отправился в Милан, а оттуда в Неаполь, где изучал греческую литературу и философию под руководством Парфения, уроженца Вифинии. Мурет утверждает, что он прилежно читал историю Фукидида; но больше всего ему нравились медицина и математика - необычная дисциплина для внимания будущего поэта, но такая, которая своей точностью способствовала развитию и созреванию той рассудительности, которая отличает его поэзию. Философская секта, которой он посвятил себя, была эпикурейской; а несчастный полководец П. Квинтилий Вар, которому он адресует свою шестую эклогу,^[533] изучал эту систему вместе с ним у Сирона.

После этого, вероятно, он приехал в Рим, но вскоре сменил столичную суету, для которой его стыдливый нрав и слабое здоровье не подходили, на спокойное уединение в

наследственном поместье. Этого он лишился в 42 году до н. э. при обстоятельствах, связанных с большими трудностями, когда после битвы при Филиппах весь соседний округ был разделен между победившими легионерами Октавия и Антония. Город Кремона поддерживал Брута и старую республиканскую партию, и Мантуя вместе с прилегающим к ней районом пострадала из-за слишком близкого соседства.^[534] Асиний Поллион был в то время командующим войсками в Цизальпинской Галлии. В своем управлении он был жестким и деспотичным, но, будучи сам оратором, поэтом и историком, он покровительствовал литераторам. Благодаря своим вкусам он обратил внимание на Вергилия и проникся состраданием к заброшенному состоянию поэта. По его совету Вергилий отправился в Рим с представлением к Мекенасу. Через него он получил доступ к Октавию, и либо сразу до, либо после заключения Брундизийского мира^[535] ему было возвращено его небольшое хозяйство.

Теперь он стал преуспевающим человеком, входил в литературное общество, которое украшало стол Мекенаса, и грелся под солнцем придворной благосклонности. Гораций, Вергилий, Плутий и Варий были связаны с Мекеном самыми тесными узами дружбы и сопровождали его в той веселой экспедиции в Брундизий,^[536] когда он отправился туда, чтобы договориться о примирении между Октавием и Антонием. Отныне любимым местом жительства Вергилия был Неаполь.^[537] Его солнечный климат подходил его легочной слабости гораздо лучше, чем низкие и сырые берега его родного Минция (Менцо). Кроме того, у него была вилла на Сицилии, а когда он бывал в Риме, то жил в приятном доме на Эсквилине, расположенном рядом с домами его друзей Мекена и Горация. Трудно сказать, как Вергилий стал таким богатым: в те времена покровители были либеральны, и он, несомненно, был обязан частью своего богатства их щедрости. Либеральность Мекенаса хорошо известна; а Марциал приписывает процветание Вергилия благосклонности "тоscanского рыцаря". Август также имел в своем распоряжении огромное богатство и щедро распределял его между своими фаворитами.

В "Одах" Горация^[539] есть отрывок, который, кажется, намекает на то, что он в незначительной степени занимался меркантильными делами: Даже если это и было одним из источников его богатства, любовь к наживе (*studium lucri*) и беспокойство о средствах к существованию, похоже, не мешали ему посвящать часы серьезных занятий литературным трудам и прилежному использованию своей хорошо сохранившейся библиотеки, в то время как его досуг был отдан удовольствиям светского общения, для которого он был так хорошо приспособлен благодаря своему милому нраву и приветливому характеру.

Срок жизни поэта не превышал пятидесяти лет. Он никогда не был здоровым и крепким: иногда плевался кровью, часто страдал от головной боли и несварения желудка.^[540] Плохое здоровье было единственным недостатком в жизни, которая в остальном прошла в спокойном благополучии. В 19 году до н. э. он задумал совершить путешествие по Греции, намереваясь во время него окончательно довести до совершенства свою великую эпическую поэму. Греция и ее классические сцены, любимые места обитания муз, проверенные временем состязания в Олимпии, живые и дышащие статуи, которые он увидел в этом доме искусства, очевидно, вдохновили его на прекрасные образы, украшающие вступление к третьему "Георгику". Однако он добрался только до Афин: там он встретил Августа, который возвращался с Самоса, и оба вернулись вместе. По случаю этого путешествия Гораций написал нежную оду^[541], в которой он ласково называет его "половиной своей души".

Navis quæ tibi creditum

Debes Virgilium, finibus Atticis

Reddas incolumem precor

Et serves animæ dimidium meæ.

В пути его настигла смертельная болезнь, усугубленная движением судна, и он дожил только до высадки в Брундизиуме. Природные силы, и без того ослабленные, теперь были полностью истощены, и 22 сентября он скончался. Его похоронили более чем в миле от Неаполя, на дороге в ПUTEОЛИ (Поццуоли). Путешественникам до сих пор указывают на могилу, которая, как говорят, принадлежит поэту. Это также маловероятно, поскольку, хотя она и не расположена на нынешней скоростной дороге, вполне возможно, что первоначальное направление дороги могло быть изменено.^[542] Его эпитафия, как говорят, была продиктована им самим в его последние минуты жизни:...

Mantua me genuit; Calabri rapuere; tenet nunc

Парфенопея. Cecini Pascua, Rura, Duces.^[543]

Вергилий был заслуженно популярен и как поэт, и как человек. Его соперники в литературе не могли завидовать столь неприятязательному и незлобивому человеку в его заслуженном успехе, но любили его так же сильно, как восхищались его поэзией. Император почитал его, народ уважал. "Свидетель, - говорит Тацит,^[544] - письма Августа, свидетель поведения самого народа, который, когда в театре читали некоторые из его стихов, массово вставал и выказывал такое же почтение Вергилию, случайно присутствовавшему среди зрителей, какое он был склонен выказывать Августу". Он был чрезвычайно умерен в своем образе жизни; настолько чист душой^[545] и целомудрен посреди распутного и развратного века, что неаполитанцы дали ему имя Парфений (от παρθενος, девственник), бескорыстен, хотя окружен эгоизмом, добросердечен и отзывчив. Его таланты и популярность никогда не портили его природной простоты и скромности, как и его перемещение в вежливых кругах столицы никогда не могло полностью изжить его деревенскую застенчивость и немодную внешность.

По своей природе он был задумчив и меланхоличен и так не доверял собственным стихам, что Август не смог убедить его прислать ему для прочтения незаконченную часть "Энеиды". "Что касается моей "Энеиды", - пишет он императору^[546], отсутствуя во время Кантабрийского похода, - если бы у меня было что-нибудь достойное твоего прочтения, я бы с удовольствием послал это, но работа только начата, и я даже виню свою глупость за то, что решился на столь масштабную задачу. Но вы знаете, что я приложу все новые и новые усилия, чтобы осуществить свой замысел". С большой неохотой он впоследствии читал шестую книгу императору и Октавии. В последние минуты жизни он хотел сжечь всю рукопись; в своем завещании он поручил своим душеприказчикам, Варию и Тукке, либо улучшить ее, либо предать огню.^[547] Он был открытым и щедрым, но не экстравагантным в расходовании своего богатства, так как завещал брату, друзьям и императору значительное имущество.

Говорят, что самым ранним поэтическим произведением Вергилия была эпическая поэма, темой которой были римские войны; но невозможность ввести римские имена в гекзаметр заставила его отказаться от этой задачи почти сразу после того, как он ее начал. Небольшие поэмы, которые сохранились до наших дней, вероятно, были его первыми произведениями. Это "Кулекс", "Цирис", "Моретум", "Копя" и более короткие произведения в лирическом,

элегическом и ямбическом метрах,^[548] широко известные под названием "Каталекта". "Culex" ("Мошка") - буколическая поэма, имеющая что-то вроде насмешливо-героической окраски, суть которой такова:^[549] Пастух, одолеваемый жарой, засыпает под сенью дерева, а к нему незаметно приближается ядовитая змея из соседнего болота. На помощь ему летит мошка и жалит его в лоб. Пастух, проснувшись от резкого звука, раздавливает своего спасителя, но видит змею и убивает ее. Призрак мошки появляется, упрекает его в неблагодарности и рассказывает о приключениях, которые он пережил в мире мертвых. Пастух воздвигает в его честь памятник и изрекает следующую эпиграмму

Parve culex, pecudum custos tibi tale merenti

Funeris officium vitæ pro munere reddit.

Бедное насекомое, ты жизнь пастуха спас;

Ты жизнь отдал, а он тебе лишь могилу.

"Цирис", который некоторые приписывают Корну. Галлус, - это греческая легенда о Сцилле, которая была превращена в рыбу, а ее отец Нисус - в орла. Спенсер широко использовал эту поэму в разговоре между Бритомартом и ее кормилицей Глаусой, а также в заклинаниях Глаусы.^[550] "Моретум" был призван проследить за работой сельскохозяйственного рабочего в течение дня; но он описывает только ее начало и приготовление блюда *olla podrida* из садовых трав под названием *moretum*. Здесь же содержится гениальное описание огорода дачника. Копа" - элегическая поэма, не похожая по веселому духу на сколии или питейные песни греков: в ней изображена женщина-официант в таверне, выпрашивающая клиентов, заманчиво демонстрируя удобства и комфорт, приготовленные для незнакомцев. В ней описывается беспечное наслаждение сельским праздником: простая роскошь винограда и шелковицы, благоухающие розы, веселые кузнечики и робкие маленькие ящерицы Италии. Не воспеты ни азарт игры в кости, ни радости вина, ни прелести любви. Унылые заботы изгнаны прочь, а наслаждение текущим часом привито:...

Pereant qui crastina curant

Mors aurem vellens Vivite, ait, venio.

Среди лирических стихотворений Вергилия есть очень изящное, посвященное вилле его наставника в философии, Сирона.

Поэмы, которые впервые создали ему репутацию, - это его "Буколики" или "Эклоги". Это последнее название было дано им в более поздние времена, подразумевая либо то, что это были отрывки из большего числа стихотворений, либо подражания отрывкам, выбранным из произведений греческих поэтов.^[551]

Персонажи "Буколик" Вергилия - итальянцы, во всех их чувствах и настроениях, играющие нереальную и мнимую роль сицилийских пастухов. На самом деле итальянцы никогда не обладали элементами пастушеской жизни, а потому, естественно, не могли дать поэту оригиналы и модели, с которых он мог бы срисовывать свои портреты и характеры. Они были простым народом, но их простота была скорее аскерской, чем аркадской: домашние привычки и добродетели сельской жизни в Италии не отличались от тех, что были в Бетии, описанной Гесиодом. Поэтому Вергилий мудро взял его за образец и создал более естественную картину итальянских нравов в своих "Георгиках", чем в "Эклогах". Жители маленьких городов имели манеры и привычки городской жизни: их культурой была искусственная утонченность городской жизни, а не естественные чувства созерцательного

пастуха. Те, кто жил в деревне, были трудолюбивыми, простодушными крестьянами, добывавшими средства к существованию в поте лица своего - честными, простодушными, грубоватыми и без доли сентиментальности. Пасторальная поэзия обязана своим возникновением и развитием одиночеству; ее самые прекрасные отрывки носят медитативный характер. Пастух успокаивает свое одиночество общением с собственными мыслями. Его горести - это не тяжелая борьба жизни, а часто самосозданные и воображаемые, или, по крайней мере, преувеличенные. Когда Вергилий изображает их в своих "Буколиках", они маскарадные, а драма, в которой они являются персонажами, носит аллегорический характер. Связь с Италией носит скорее исторический, чем моральный характер: мы встречаем многочисленные аллюзии на современные события, но не точные описания итальянских характеров и нравов. Поэтому, не понимая описаний, мы не можем ни сочувствовать, ни восхищаться. Менакас, Коридон, Алексис и остальные так же неуместны, как джентльмены и леди в одежде пастухов и пастушек на английских семейных картинах. Даже декорации - сицилийские, и не могут правдиво описать умиротворенные окрестности Мантуи. Пока мы помним, что это подражания сиракузскому поэту, мы не замечаем их национальности и сразу видим, что они неправдивы и не соответствуют действительности; и Вергилий страдает в нашей оценке, потому что мы естественно сравниваем его с оригиналом, которому он исповедует подражание, и не можем не сознавать его неполноценности: Но если мы однажды избавимся от представления о внешней форме, которую он решил принять, и забудем о личности героев, мы сможем посочувствовать несчастным изгоям, изгнанным из счастливого, хотя и скромного дома, и будем тронуты простым рассказом об их разочарованной любви и детских горестях; сможем оценить деликатно завуалированные комплименты, которые поэт делает своему покровителю; сможем насладиться изобретательским гением и поэтической силой, которые они демонстрируют; и сможем возвыситься от возвышенных чувств, которыми они иногда дышат. Мы чувствуем, что все это иллюзия, но охотно позволяем себе перенестись из реальности сурового и прозаического мира.

Вергилий в своих "Эклогах" был слишком стеснен следованием своему греческому оригиналу, чтобы представить нам истинные картины итальянской деревенской жизни; хотя критика его друга Горация со справедливостью приписывает его сельским произведениям деликатность и изящное остроумие:...

molle atque facetum

Virgilio annuerunt gaudentes rure Camœnæ.^[552]

Идиллии Феокрита - это переложение на соответствующий греческий язык старых популярных сицилийских легенд, укоренившихся в стране и ставших неотъемлемой частью национального характера. Его сюжеты не всегда строго пасторальны, ведь его герои иногда жнецы и рыбаки.^[553] Его язык, характеры, настроения, пейзажи, привычки, происшествия - все сицилийское, и поэтому все находится в полной гармонии. Персонажи Феокрита обладают особой индивидуальностью и потому отличаются друг от друга; персонажи Вергилия - родовые, представители одного класса, и потому в них почти нет разнообразия. Но все же недостатки Вергилия не сильно умаляют удовольствие, получаемое от чтения его буколической поэзии. Аминта Тассо, пастор Фидо Гварини, Календарь Спенсера, Лицидас Мильтона, Пердита Шекспира, пасторали Дрейтона, Драммонда и Флориана - все это одинаково достойно возражений, и все же кто не восхищается их красотой?

Буколики можно разделить на два класса. Те, что находятся на сайте, написаны полностью по греческому образцу и содержат следующие стихотворения:...

I. Первая, в которой поэт, представляясь Титиром, выражает благодарность за восстановление своего имущества, в то время как Мелибеус, изгнанный мантуанцем, сетует на свою тяжелую судьбу.

II. Вторая, которая, как принято считать, была первой пасторалью, написанной им, и в основном скопирована с "Циклопа" Феокрита.

III. Третья - подражание четвертой и пятой идиллиям Феокрита, и, как и седьмая, представляет собой импровизационное испытание музыкального мастерства между пастухами.

V. Пятая, в которой два пастуха отдают последние почести ушедшему другу: один поет его эпитафию, другой - его апофеоз. Скалигер^[554] с полным основанием полагал, что эта поэма аллегоризирует убийство и обожествление Юлия Сезара. Ему часто подражали современные поэты: самые красивые подражания - плач Спенсера по Дидо, "Лицидас" Мильтона, шестая эклога Дрейтона и элегия Помфрета, посвященная королеве Марии.

VIII. Восьмая, имитирующая вторую и третью идиллии Феокрита, состоит из двух частей и, судя по теме второй части, называется "Pharmaceutria" (Чародейка). Два пастуха, Дамон и Алфесибей, соперничают с Орфеем в музыкальном мастерстве, ибо во время их пения телки забывают пастись, рыси впадают в оцепенение, а реки останавливают свой ход, чтобы послушать. Она была адресована Вергилием своему доброму покровителю Поллио, когда он был занят в экспедиции в Иллирик.^[555] Дамон, олицетворяющий неудачливого любовника, сетует на то, что ему предпочли соперника. Алфесибей, в образе чаровницы, проходит через формулу магических заклинаний, чтобы вернуть утраченную привязанность Дафниса. В этом стихотворении рефрен, или интеркалярный стих, повторяется через интервалы в несколько строк. В песне Дамона рефрен звучит так:...

Incipe Mænalios mecum, mea tibia, versus.

В песне его противника -

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

IX. В девятой два пастуха беседуют о бедах, постигших их окрестности, и один из них изображен несущим подарок из нескольких детей, чтобы заручиться благосклонностью нового владельца.

Второй тип рисунков более оригинален.

IV. Четвертая, под названием "Поллио", самая знаменитая из всех, не имеет никакого сходства с пасторальной поэзией. В экзордиуме поэт призывает муз сицилийской песни; но он исповедует настройку их сильванского напряжения на более благородную тему. Меланхоличная Перузианская война была завершена. Примирение Антония и Октавия было достигнуто благодаря Брундизийскому договору, и все, казалось, обещало мир и процветание. Это был действительно яркий контраст после хаоса и опустошения, которые война распространила по Италии. Мир, заключенный с Секстом Помпеем в ПUTEОЛАХ, открыл давно закрытые амбары Сицилии, и изобилие сменилось голодом. Энтузиазм поэтов приветствовал возвращение сказочного золотого века - царствования Сатурна. Песни, которым старые барды Италии, по их словам, научились у кумейской сивиллы и которым

легендарная традиция приписывала пророческий смысл, казалось, указывали на новую эру, которая теперь наступила в Римской империи.

Вера цивилизованного мира в это время, несомненно, была сосредоточена на ожидании какого-то великого события, которое должно принести мир и счастье человечеству. Божественное откровение, которым наслаждался народ Божий, учило его ожидать прихода Мессии; в то время как традиции, вероятно, полученные по развращающим каналам от истинного света пророчества, учили язычников, хотя и более смутно, ожидать прихода какого-то великого человека. Пророческая литература Востока могла попасть в Европу, а божественные пророчества Исайи и других священных писателей могли быть включены местными бардами в итальянские легенды.

Епископ Лоут даже предположил, что сивиллины предсказания произошли от греческой версии мессианских пророчеств.^[556] Вера в вдохновение сивиллинов преобладала в первые века христианства, и император Константин в одной из своих ораций^[557] цитирует их и перефразирует "Поллион" Вергилия в качестве доказательства истин Евангелия.

Некоторые отцы Церкви приписывали им сверхъестественную силу, а итальянские художники, действовавшие под покровительством Римской церкви, почитали четырех сивилл как причастных к знанию Божественных советов. Амвросий^[558] допускает, что они были вдохновлены, но духом зла. Иероним^[559] считает, что эта сила была дана им Богом в награду за девственность; а Августин^[560] полагает, что они предсказали многие истины, касающиеся Иисуса Христа. Юстин^[561] принимает легенду, которая объясняет сходство между сивиллиными оракулами и древнееврейскими пророчествами. Он говорит, что кумейская сивилла, прославленная Вергилием, родилась в Вавилоне и была дочерью Бероса, халдейского историка.

Если Вергилий в четвертой эклоге правильно перефразировал сивиллины стихи, то два параллелизма между ними и пророчествами Исайи просто поразительны:^[562] -.

Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;

Jam nova progenies cœlo demittitur alto-

Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri,

Irrita perpetua solvent formidine terras-.

Pacatumque reget patriis virtutibus orbem.-v. 6.

Вот дева зачнет и родит сына - Ис. vii. 14.

Не будет конца увеличению правления и мира Его на престоле Давида и на царстве Его, чтобы устроить его и утвердить его судом и правосудием отныне и во веки веков.- Ис. ix. 7.

At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu,

Errantes hederas passim cum baccare tellus,

Mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.-v. 18.

Пустыня и уединенное место будут радовать их; и пустыня будет радоваться, и расцветет, как роза.- Ис. xxxv. 1.

Было предложено множество теорий относительно ребенка, на которого делается ссылка в этой эклоге, ни одна из которых не удовлетворила Гиббона;^[563] , но Хейн принял следующую как наиболее вероятную. Брундизийский мир был скреплен браком между Антонием и сводной сестрой Цезаря Октавией. Она была вдовой Марцелла и, судя по всему, могла родить посмертного ребенка. К этому еще не рожденному ребенку поэт применяет все благословения, обещанные сивиллиными оракулами, и предсказывает, что под его покровительством мир и процветание, уже начатые, будут подтверждены.

VI. В шестом стихотворении Вергилий аллегорически представляет в образе Силена, воспитателя Вакха, своего собственного наставника Сирона, и таким образом делает его проводником краткого изложения эпикурейской философии. Вскоре после того, как та же тема была подробно рассмотрена красноречивым Лукрецием, говорят, что когда Цицерон услышал ее в исполнении мима Цитериса, он был настолько поражен восхищением, что воскликнул, что он "Magnæ spes altera Romæ". Эту эклогу пародирует Гей в "Субботе" своей "Недели пастуха".

X. Десятое стихотворение едва ли можно отличить от других аматорических поэм, разве что героический метр не столь обычен в этом виде поэзии, как элегический. Здесь воспеваются любовные чувства поэта Галла; местом его изгнания названа Аркадия; говорится, что она наложена на музыку сицилийской овсяной трубы; но у этой эклоги нет других претензий на звание буколической поэмы.

Один отрывок из этой эклоги, навеявший следующие прекрасные строки в "Лицидасе" Мильтона, иллюстрирует истину, что поэзия часто приобретает дополнительную красоту от того, что она является удачным подражанием:-

Quæ nemora aut qui vos saltus habuere, puellæ

Naiades, indigno cum Gallus amore periret?

Nam neque Parnassi vobis juga nam neque Pindi

Ulla moram fecere, neque Aonia Aganippe.

Ecl. x. 9.

Где были вы, нимфы, когда безжалостная глубина

Закрыли голову любимого Лицида?

Ведь и вы не играли на круче,

где лежат ваши старые барды, знаменитые друиды,

И не на лохматой вершине Моны,

И не там, где Дэва раскинула свой волшебный поток.

Мильтоновский Лисидас.

ГЛАВА IV.

КРАСОТА ДИДАКТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ - ТЩАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ГЕОРГИКОВ - РИМСКАЯ ЛЮБОВЬ К СЕЛЬСКИМ ЗАНЯТИЯМ - ГЕЗИОД ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА - СОСТОЯНИЕ ИТАЛИИ - ТЕМЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ГЕОРГИКАХ - НЕКОТОРЫЕ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ - ВЛИЯНИЕ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА АНГЛИЙСКУЮ ПОЭЗИЮ - ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ ВЗЯТЫ ПРОИСШЕСТВИЯ "ЭНЕИДЫ" - ХАРАКТЕР ЭНЕЯ - КРИТИКА НИБУРА.

Дидактическая поэзия - наименее привлекательная из всех видов поэзии. Поскольку ее цель - обучение, нет никаких причин, почему ее уроки должны передаваться поэтическим языком - ее цель, на самом деле, может быть лучше достигнута в прозе. Поэтому, претендуя на поэзию, она требует большого мастерства, тщательной отделки и таких изяществ и украшений, которые скроют ее сухой характер и привлекут внимание читателя.

Красота дидактической поэмы лишь отчасти зависит от справедливых взглядов и правильной дискриминации, которые она демонстрирует, а в основном от красоты языка, живописной силы и приятного характера описаний, а также от интереса, который вызывают эпизоды. На самом деле, именно вспомогательные части вызывают наибольшее восхищение, и отрывки, приводимые в качестве образцов этого вида поэзии, неизменно именно такого рода. Поэзия, естественно, имеет дело с красотами и ужасами внешней природы, с эмоциями и страстями, нежными или жестокими, а трезвые практические правила жизни едва ли входят в ее сферу. Правда, когда вся литература была поэтической, наставления моральной и физической философии и даже сухие предписания законов и институтов воплощались в метрической форме; но когда литература разделяется на поэзию и прозу, темы, отведенные друг другу, также спонтанно становятся отдельными. По этой причине Георгики Вергилия особенно ярко демонстрируют его способности как поэта, его правильный вкус, "труд *līmæ*", , который он прилагал к шлифовке и исправлению. Ни в одной из его поэм мы не можем составить лучшего представления об описании, которое он дает своему терпеливому труду, когда говорит, что "подобно медведице, он приводил свое поэтическое потомство в форму, постоянно облизывая его". Величие языка возвышает тему и избавляет ее от той доли домашности, которая была бы неуместна в поэзии, и в то же время она не слишком величественна и возвышенна.

Следующая критика Эддисона^[565] отнюдь не слишком благосклонна: "Я заключаю, что эта поэма - самое полное, продуманное и законченное произведение всей античности. Энейская поэма более благородна, но Георгическая более совершенна в своем роде. В "Энее" больше разнообразных красот, но в "Георгике" они более изысканны. Короче говоря, "Георгика" обладает всеми совершенствами, которые можно ожидать от поэмы, написанной величайшим поэтом в расцвете лет, когда его изобретение было готово, воображение разогрето, суждения устоялись, а все его способности находились в полной силе и зрелости".

Рим предлагал поэту благоприятное поле для создания поэмы о трудах и удовольствиях сельской жизни. Сельское хозяйство всегда считалось там благородным занятием: традиция украсила деревенские нравы атрибутами простоты и честности и избавила их от грубых представлений, обычно связанных с ними. Традиции тех веков национальной свободы и величия, к которым энтузиазм поэта с удовольствием возвращал мысли его читателей, связывали некоторые из благороднейших имен истории с сельским трудом. Курий и Цинциннат были призваны от плуга, чтобы защищать и спасать свою страну; после выполнения своей задачи они с восторгом возвращались к ней снова. Катон, представитель

старого и уважаемого поколения, и другие прославленные люди писали о занятиях и обязанностях сельской жизни. Сельское хозяйство никогда не было связано с идеями унижительной и нелиберальной выгоды, как, например, торговля и коммерция.

Кроме того, у поэта под рукой была готовая модель, по которой он мог строить свое произведение. Она была греческой, а значит, должна была быть приемлемой с точки зрения признанных принципов вкуса. В нем описывался вид сельской жизни, тяжелой, экономной и трудолюбивой, очень похожей на ту, которую вели земледельцы Италии. В ней нарисован эталон нравственности, который могли оценить даже развратные жители роскошной столицы, хотя они и выродились из нее. Проницательный Вергилий увидел, что сельская жизнь Италии действительно может быть представлена так же, как Гесиод изобразил жизнь Бетии, и он мудро решил: "По римским городам воспевать Аскр.

По римским городам петь аскерские песни".

Однако между Георгиками Вергилия и их образцом существует именно та разница, которую можно было бы ожидать. Гесиодова поэма относится к тому периоду, когда поэзия была случайной формой, а обучение - основным объектом; поэтому обучение систематическое, точное, подробное, домашнее, иногда грубое и неотшлифованное. Вергилий смотрит на свой предмет с поэтической точки зрения. Его наставления часто излагаются не в дидактической, а в описательной форме; они беспрерывно прерываются отступлениями и эпизодами, более или менее подходящими к делу; из огромной массы материала выбираются только те, которые подходят для пробуждения чувств.

Состояние Италии также способствовало тому, чтобы привлечь симпатии поэта к сельскому населению и посвятить его перо патриотической задаче возрождения старых сельскохозяйственных вкусов. Война опустошила землю; крестьянское население страшно поредело в результате военных призывов и конфискаций; обширные районы обезлюдели и остались без обработки. Вместо того чтобы меч превратился в лемех, а копье - в секатор, итальянский крестьянин стал свидетелем противоположного положения вещей. Поэт оплакивает печальную перемену, которая теперь обезобразила честный лик Италии:...

non ullus aratro

Dignus honos, squalent abductis arva colonis,

Et curvæ rigidum falces conflantur in ensem.

Geo. i. 507.

Заслуга в том, что Вергилий предложил эту тему, принадлежит его покровителю Мекенасу; ему же, следовательно, адресованы "Георгики"; но поэт, несомненно, с радостью принял это предложение. Когда и где она была начата, точно неизвестно, но завершающий штрих был нанесен в Неаполе^[566] через некоторое время после битвы при Актиуме.^[567] Хотя "Труды и дни" Гесиода, как утверждается, являются его образцом, все же он черпает свои материалы из других источников. Аратус снабжает его своими знаками погоды, а писатели *de Re Rustica* - практическими указаниями. Его система действительно совершенно итальянская; настолько, что многие из его правил можно проследить в современном итальянском земледелии, так же как описания орудий труда у Гесиода часто совпадают с теми, которые используются в современной Греции.

Первая книга посвящена земледелию, вторая - садам; предметом третьей, самой благородной и одухотворенной из них, является уход за лошадьми и крупным рогатым

скотом, а четвертая, самая приятная и интересная, описывает природные инстинкты, а также управление пчелами.

Но главное достоинство "Георгик" заключается в разнообразных отступлениях, интересных эпизодах и возвышенных всплесках описательной силы, которые перемежаются по всей поэме. Цитировать их нет необходимости, ведь Вергилий и его переводы есть у каждого. Достаточно будет перечислить некоторые из наиболее ярких. К ним относятся.

I.

Происхождение земледелия, Г. I. 125.

II.

Буря во время жатвы, I. 316.

III.

Знаки погоды, I. 351.

IV.

Приметы на смерть Юлия Цезаря, I. 466.

V.

Битва при Фарсалии, I. 489.

VI.

Панегирик на Италию, II. 136.

VII.

Похвала деревенской жизни, II. 458.

VIII.

Гонки на лошадях и колесницах, III. 103.

IX.

Описание зимы в Скифии, III. 349.

X.

Мурлыканье скота, III. 478.

XI.

Битва пчел, IV. 67.

XII.

История Аристея, IV. 317.

XIII.

Легенда об Орфее и Эвридике, IV. 453.

Римская поэзия была более общепонятной и более прилежно изучаемой в самые отшлифованные дни английской литературы, чем еще едва открытые хранилища греческой образованности. Отсутствие оригинальности не считалось недостатком в эпоху, вкус которой, несмотря на все ее достоинства, был очень искусственным; в то время как изысканная полировка и элегантность, составляющие очарование латинской поэзии, рекомендовали ее как для восхищения, так и для подражания. Поэтому английские поэты были в глубоком долгу перед римлянами за свои самые счастливые мысли, а наша родная

литература во многом пропитана вергилианским и гораццианским духом. Это обстоятельство придает особый интерес обзору римской литературы как источника, из которого вытекло так много потоков, оплодотворивших нашу поэзию.

Георгики часто брали за образец для подражания, и наши поэты-описатели во многом черпали из этого источника. Уортон^[568] считал "Сайдер" Филиппа самым удачным подражанием; "Времена года" нашего величайшего описательного поэта Томсона - это полностью вергилианская поэма. Можно привести множество ярких примеров вергилианского вкуса, особенно грозу в "Лете" и восхваление Великобритании в "Осени".

Из уже цитированного письма, сохраненного Макробием, ясно, что "Энеида" была начата, когда Август был в Испании,^[569] что она заняла всю последующую жизнь Вергилия и не была достаточно исправлена, чтобы удовлетворить его собственный привередливый вкус, когда он умер. Август поручил ее публикацию Варию и Тукке со строгими указаниями воздерживаться от интерполяций. Считается, что они переставили вторую и третью книги и опустили двадцать две строки^[570] как противоречащие другому отрывку о Елене в шестой книге.^[571] Поэтому во многих ранних рукописях эти стихи отсутствуют.

Идея и план "Энеиды" заимствованы из гомеровских поэм. Как гнев Ахилла - главная движущая сила всех событий "Илиады", так от гнева оскорбленной Юноны зависит единство "Энеиды", и с ней связаны все происшествия. Многие из самых великолепных пассажей, живописных образов и сильных эпитетов являются подражаниями или даже переводами из "Илиады" и "Одиссеи". Война с Турном обязана своим величием и интересом "Илиаде", странствия Энея, их дикие и романтические приключения - "Одиссее". Битвы Вергилия, хотя и не могут сравниться по силе с гомеровскими, сияют отраженным светом. Его Неция - копия той, что в "Одиссее". Его уподобления в большинстве своем подсказаны излюбленными украшениями Гомера. Щит Энея^[572] - подражание щиту Ахилла. Буря и речь Энея^[573] - почти перевод из "Одиссеи".^[574]

Мысли, заимствованные таким образом из великих героических поэм Греции, Вергилий переплетает с той изобретательностью, которая отличает августианскую школу, с помощью двойного характера, в котором он представляет своего героя. Повествование о его морских и сухопутных приключениях было обогащено чудесными случаями из "Одиссеи"; его войны, занимающие последние книги, имели своим прототипом "Илиаду". Греческая трагедия, в которой так часто изображались последующие судьбы греческих вождей,^[575] - многочисленные переводы, в которых использовался гений Энния, Аттия и Пакувия, - представляли собой богатый источник поэтического богатства. Вторая книга, почти слишком переполненная быстрой чередой патетических происшествий, почерпнула свои интересные детали - безвременную судьбу Астианакса, гибель Креусы, историю Синона, легенду о деревянном коне, смерть престарелого Приама, последующие судьбы Елены - из двух циклических поэм, "Разграбления Трои" и маленькой "Илиады" Арктина. За легенду о Лаокооне он был обязан александрийскому поэту Эвфориону. Циклические поэмы под названием "востои" во многом повторяют третью книгу, особенно истории Пирра, Елены и Андромахи. Четвертая книга черпала свои сказочные чары частично из гомеровской "Калипсо", частично из любовных приключений Ясона, Медеи и Гипсипила в "Аргонавтике" александрийского поэта Аполлония Родия, которая была представлена римлянам в переводе Варро.

Шестая подсказана одиннадцатой книгой "Одиссеи" и спуском Тесея в поисках Пирита в гесиодовских поэмах. Но, несмотря на силу и оригинальность яркой словесной живописи, украшающей эту книгу, она значительно уступает тем представлениям, которые греческий

гений сформировал о невидимом мире. В "Энеиде" легенды о мире духов кажутся лишь пошлыми диковинками и народными иллюзиями. Тартар и Элизиум слишком осязаемы и материальны, чтобы в них можно было поверить; их отчетливость рассеивает чары, которые они должны были произвести; вместо тусклой тени - дневной свет. Нам не хватает очертаний, которые кажутся гигантскими из-за их тусклости и тени, ужасающего величия, которого не достигал никто со времен Эсхила, кроме великого итальянского поэта, которому с тех пор не было равных.

К этому богатому запасу греческих знаний Италия добавила свои родные легенды. Приключения Энея в Италии, пророчество, исполнение которого обнаружил Иулус, беременная белая свинья, история Сибиллы, похожей на сильфиду Камиллы - все это были местные легенды, объединенные с греческой легендой о Трое. Макробий,^[576] в трех тщательно продуманных главах, показал, что Вергилий был в глубоком долгу перед старыми латинскими поэтами. В первой он цитирует более семидесяти параллельных оборотов выражения из Энния, Пакувия, Аттия, Невия, Луцилия, Лукреция, Катулла и Вария, состоящих из целых или половинных строк. Во втором он перечисляет двадцать шесть более длинных отрывков, которые Вергилий имитировал из поэмы Энния, Аттия, Лукреция и Вария, среди которых есть части "Похвалы сельской жизни" и "Мор". В третьей он упоминает несколько (среди них, например, известное описание коня^[578]), которые были заимствованы Вергилием у древнеримских поэтов, впервые взятых им из гомеровских поэмы. Ниже приведены примеры того, что в наше время считалось бы плагиатом, но что древние допускали без всякой неохоты.

Qui cœlum versat stellis fulgentibus aptum.

Энний.

Axem humero torquet stellis fulgentibus aptum.

V. Æn. vi. 797.

Est locus Hesperiam quam mortales perhibebant.

Est locus Hesperiam Graii cognomine dicunt.

Æn. i. 530.

Unus homo nobis cunctando restituit rem.

Unus qui nobis cunctando restituis rem.

Æn. vi. 846.

Quod per amœnam urbem leni fluit agmine flumen.

-- arva

Inter opima virum leni fluit agmine Tybris.

Æn. ii. 781.

Hei mihi qualis erat quantum mutatus ab illo.

Hei mihi qualis erat quantum mutatus ab illo.

Æn. ii. 274.

-- discordia tetra

Belli ferratos postes portasque refregit.

Belli ferratos rupit Saturnia postes.

Æn. vi. 622.

Разнообразие происшествий, мастерство их расположения, интерес, пронизывающий как сюжет, так и эпизоды, полностью компенсируют недостаток оригинальности - недостаток, о котором никто, кроме искушенных читателей, не знает. Что может быть слаще образцов нежного пафоса, чем легенда о Камилле и эпизод с Нисусом и Эвриалом? Где буйство необузданных страстей, соединенное с женской бескорыстной любовью и великодушием, подобным царице, изображено более мастерски, чем в образе Дидоны? Где, даже в "Илиаде", есть характеры более выдержанные и более счастливо контрастирующие, чем слабый Латин, воиноподобный Турнус, простодушный Эвандер, женственная и уединенная Лавиния, варвар Мезентий, который к дикости дикого зверя присоединил природный инстинкт, согретый сильнейшей привязанностью к своему сыну. Единственный персонаж, концепция которого несколько неудовлетворительна, - это сам герой: Инеас, несмотря на свои многочисленные достоинства, не вызывает у читателя ни симпатии, ни восхищения. Он полон веры в Божье провидение, с полной покорностью подчиняется его божественной воле, храбр, терпелив, послушен, но он холоден и бессердечен, и, если позволительно такое выражение, бесхитростен. В войне с Турнусом он так решительно не прав, а характер его обиженного противника сияет таким блеском и украшен такой галантностью, что человек склонен переносить на него интерес и симпатию, которые должны испытывать только к герою. Это, несомненно, недостаток, но он уравнивается бесчисленными достоинствами.

В олицетворении нет ничего прекраснее Вергилиева портрета Славы, за исключением, пожалуй, спенсеровского Отчаяния. В описании тот же гений, что блистал в "Георгиках", украшает и "Энеиду"; и предметы, и явления природы представлены языком столь же ярким и поразительным.

Несмотря на то, что этот вопрос много обсуждался, наиболее вероятно, что мнение Поупа было верным в отношении политической цели "Энеиды". Он утверждал, что это такая же партийная пьеса, как "Авессалом и Ахитофель" Драйдена; что ее главная цель - повысить популярность Августа, а вторая - польстить тщеславию его соотечественников пышностью и древностью их происхождения. Август, очевидно, типизирован под характер Энея: оба были осторожны и мудры в советах,^[579] оба были свободны от возмущений страстей; они были холодны, бесчувственны и неинтересны. Их мудрость и политика были расчетливыми и мирскими. Август, как показывают его последние слова, сознавал, что играет роль; контраст между чувствами и поведением Энея, где, как можно предположить, действовали теплые порывы привязанности, также создает впечатление неискренности. Характерной добродетелью, украшающей героя "Энеиды", как следует из постоянно применяемого к нему эпитета "Пий", было сыновнее благочестие; и не было добродетели, которую Август выставлял напоказ более демонстративно, чем покорную привязанность к усыновившему его Юлию Цезарю.

Другие персонажи, которые группируются вокруг центральной фигуры, аллегоричны, как и Клеопатра, смело нарисованная как Дидо, страстная жертва безответной любви. Обе

проявили благородные, великодушные качества и в то же время неконтролируемое своеволие женщины, которая не признавала и не признает никакого господина, кроме объекта своей привязанности: судьбы обеих были похожи, поскольку их братья стали их злейшими врагами, и судьбой обеих было самоубийство.

Турнус, чей характер, как уже говорилось, гораздо более рыцарский и привлекательный, чем у Энея, вероятно, представлял популярного Антония; и как последний нарушил мир, заключенный в Брундизии и Тарентуме, так и первый представлен как вероломный по отношению к своим обязательствам с Энеем. Считалось даже, и эта точка зрения была подкреплена многими хитроумными аргументами, что Иапис - это портрет врача Августа.^[580]

Вергилий особенно искусен в том виде подражания, который заключается в соответствующем выборе слов и уподоблении звука смыслу. Ряд дактилей выражает стремительную скорость лошадей и еще более стремительный бег времени:.

Quadrupedante putrem Sonitu quatit ungula campum.

Æn. viii. 591.

Sed fugit interea fugit irreparabile tempus.

Geo. iii. 284.

Достоинство и величие представлены необычным использованием спондеев:...

-- quæ Divum incedo regina.

Æn. i. 50.

-- penatibus et magnis Dîs.

Æn. viii. 679.

Ускоренное движение с соответствующим изменением метра:-

-- jamjam lapsura cadentique

Imminet assimilis...

Æn. vi. 602.

Усилие за счет заминки:-

Ter sunt conati imponere Pelio Ossam.

Резкость, или падение тяжелого тела, с помощью односложных слов:-

Insequitur cumulo præruptus aquæ mons.

Æn. i. 109.

-- procumbit humi bos.

Æn. v. 481.

Можно привести множество других примеров^[581] того, что, если бы это было искусством, то очень приятным, которое скорее исходит из естественных импульсов живого воображения и тонко настроенного слуха.

Данлоп хорошо подметил, что описания Вергилия больше похожи на пейзажную живопись, чем описания его предшественников, будь то греческих или римских, и что это замечательный факт, что пейзажная живопись была впервые введена в его время. Плиний в своей "Естественной истории"^[582] сообщает нам, что Лудий, процветавший при жизни Августа, изобрел самый восхитительный стиль живописи, композиции, представляющие портики, сады, рощи, холмы, пруды, реки и другие приятные объекты, оживленные каретами, животными и фигурами. Так, возможно, искусство вдохновляло поэзию.

Никто, кроме императора Калигулы, Дж. Маркленда и великого историка Нибура, не пытался опровергнуть репутацию Вергилия как самого высокого поэта среди римских поэтов. Последний без колебаний утверждает, что период расцвета римской поэзии закончился примерно в то время, когда умерли Цезарь и Цицерон.^[583] Несомненно, римская национальная поэзия тогда прекратилась, и на смену ей пришла новая эпоха греческого вкуса; но все же стихи новой школы были одинаково величественны и патетичны, и хотя менее естественны, обязаны своим греческим оригиналам несравненно большим блеском, изяществом и сладостью.

Трудно понять то низкое мнение, которое Нибур составил о Вергилии, и то превосходство, которое он приписывает Катуллу. Он не только заявляет, что ему противопоказано то обожание, с которым относились к нему поздние римляне, но и отрицает его плодovitость гения и изобретательские способности. Хотя он признает, что "Энеида" содержит много изысканных пассажей, он объявляет ее полным провалом, несчастливой идеей от начала до конца. Очевидно, что он смотрел на "Энеиду" взглядом историка, и его возражения против нее носили исключительно исторический характер.

Окрыленный римской национальностью и итальянскими традициями, он не простил Вергилию того, что тот испортил этот чистый источник антикварной информации греческими легендами. Он вполне справедливо полагает, что эпическая поэма, чтобы иметь успех, должна быть живым повествованием о событиях, известных и интересных массе народа, и в то же время признает, что, в то время как древние итальянские традиции уже канули в Лету, Гомер был в то время более известен, чем Невий. Конечно, если бы Вергилий опирался исключительно на итальянские источники, он бы упустил многое, что, по мнению слушателей, добавило бы интереса его поэме, и не соответствовал бы эпическим условиям, которые выдвигает сам Нибур. Кроме того, если традиции Невия были итальянскими, разве многие из греческих и итальянских традиций, составляющих основу "Энеиды", не идентичны? Невий, должно быть, в значительной степени опирался на циклические поэмы; и Нибур допускает, что Вергилий скопировал эти части своей поэмы у Невия.^[584] Он утверждает, что щит Энея у Вергилия был создан по образцу Невия, в поэме которого у Энея или другого героя был щит, изображающий войны гигантов; и все же никто не может сомневаться, что щит Невия должен был быть подсказан гомеровскими и гесиодовскими поэмами. Сервий также считал, что Вергилий позаимствовал из поэмы Невия план первых книг "Энеиды".^[585]

Некоторые из второстепенных поэм Вергилия, несомненно, очень красивы;^[586] , но нелепо утверждать, что даже величайшее изящество беглых произведений такого рода может затмить благородные и возвышенные пассажи, переплетающиеся во всей структуре "Энеиды". Порицание Нибура столь же преувеличено, как и пышный комплимент, сделанный Проперцием гению своего соотечественника: "Я не знаю, что это такое...

Cedite, Romani scriptores, cedite Graii,

Nescio quid majus nascitur Iliade.

ГЛАВА V.

ЛИБЕРТИНИ-РОМАНСКИЕ ЧУВСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОРГОВЛЕ-РОЖДЕНИЕ И МЛАДЕНЧЕСТВО ГОРАЦИЯ-ЕГО РАННЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РИМЕ-ЕГО ВОЕННАЯ КАРЬЕРА-ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ В РИМ-ЕГО ЗНАКОМСТВО С МЕКЕНОМ-НАЧАЛО САТИР-МЕКЕН ДАРИТ ЕМУ СВОЮ САБИНСКУЮ ФЕРМУ-ЕГО ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ-ЭПОДЫ-ЭПИСТОЛЫ-КАРМЕН СЕКУЛАРЕ-БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ.

Гораций Флакк (родился в 65 г. до н. э.).

Лирическая поэзия - самая субъективная из всех поэзий, а музыкант римской лиры^[587] был самым субъективным из всех латинских поэтов: поэтому полный очерк его жизни и обрисовка его характера могут быть выведены из его произведений. Они содержат элементы автобиографии и, являясь наиболее достоверным источником информации, передают подробности в наиболее живой и увлекательной форме.

В период рождения Горация *либертины*, или вольноотпущенники, быстро росли в богатстве и, соответственно, в положении. Римская конституция отстраняла сенаторское сословие от торговых дел и даже не разрешала им владеть судами со значительным грузом, чтобы их не использовали в торговле. Старое римское чувство было еще более исключительным, чем закон. Существовали определенные профессии, которыми не только никто из тех, кто претендовал на звание джентльмена, но даже никто из свободнорожденных не мог заниматься без ущерба для себя. Цицерон^[588] считает, что ростовщичество, мануфактуры, розничная торговля, особенно деликатесами, возбуждающими аппетит, - все это гнусно и нелиберально. Он даже не допускает, что профессии врача и архитектора почетны, за исключением тех, кто имеет соответствующее звание. Сельское хозяйство - единственный способ зарабатывания денег, который он считает, без сомнения, достойным свободнорожденных людей.

Преданные обязанностям общественной жизни в качестве солдат или граждан, римляне не понимали достоинства труда. Каким бы высокодуховным и бескорыстным ни казалось подлое отношение к труду, предпринимаемому только ради прибыли и корысти, политический результат этой гордыни был несомненным злом. Торговля оказалась в руках тех, чьи отцы были рабами, и кто сам унаследовал и овладел обычными пороками рабского нрава.

Средние классы обеднели и, как неизбежное следствие системы, в которой социальное положение зависело от собственности, быстро опустились в низшие слои населения. Возникла необходимость заполнить пробел - вопрос в том, какими средствами? Если бы римское чувство позволило свободнорожденному гражданину посвятить свою энергию труду и созданию капитала, он поднялся бы по социальной шкале, занял бы освободившееся место и принес бы с собой те рыцарские чувства свободы, которые, без сомнения, отличали Рим в прежние времена и продвигали его в шкале наций. Таким образом, циркуляция была бы полной и здоровой, а национальная система получила бы свежую жизнь и силу в своей самой важной части. Однако вместо этого к богатству пришли рабы и сыновья рабов: не те рабы, которые, получив хорошее образование и заняв высокое или, по крайней мере, достойное положение в завоеванных греческих государствах, были оценены завоевателями,

стали их друзьями и приближенными, благодаря своим достоинствам и умственным способностям, прониклись к своим господам утонченностью и вкусом и получили образование их детей, а рабы, составлявшие массу деградировавших народов. Их полчищами гнали в Рим. Они заволокли все государства Италии и Сицилии. Многие из них не были одарены способностями и энергией, и поэтому они возвысились; но у них было мало или совсем не было моральных принципов. Их дети смешивались с низшими слоями граждан, их кровь заражала кровь высших европейских рас, которая текла в их жилах, и таким образом массы Рима стали смешанной расой, но не в лучшую сторону. Характер изменился, но изменился он потому, что старая раса погибла, а ее место заняла новая раса с новыми характеристиками.

В таких условиях *Либертины* стали мощным и важным классом, как в социальном, так и в политическом плане: они были банкирами, купцами и торговцами Рима.

Отец Горация был одним из самых уважаемых представителей этого класса. Его бизнес был связан с *коактором*, или агентом, который собирал деньги с покупателей товаров на публичных аукционах. Он был человеком строго честным, довольным своим положением и не посчитал бы себя опозоренным, если бы его сын последовал своему призванию.^[589] Своим трудом он сколотил небольшое состояние, достаточное для покупки поместья близ Ветузии (Венузы) на границе Лукании и Апулии, но недостаточное, чтобы избавиться от прозвища "бедняк".

Здесь, 8 декабря (vi^{to} id. Decembr.) 65 года до н. э. родился Гораций Флакк; и на берегах упрямого Ауфиды,^[591] рев вод которого был слышен далеко,^[592] Гораций провел свои младенческие годы, играл и бродил в этом живописном районе. Природные красоты, среди которых он был вскормлен, вероятно, во многом способствовали формированию и развитию его поэтических вкусов. Он сам рассказывает в одной из своих лучших од^[593] о приключении, которое случилось с ним в детстве и которое напоминает читателю прекрасную детскую балладу "Дети в лесу": "Me fabulosæ Vulture in the Wood...

Me fabulosæ Vulture in Appulo

Altriciis extra limen Apuliæ

Ludo fatigatumque somno

Fronde nova puerum palumbes

Texere (mirum quod foret omnibus,

Quicumque celsæ nidum Acherontiæ,

Saltusque Bantinos, et arvum

Pingue tenent humilis Ferenti,)

Ut tuto ab atris corpore viperis

Dormirem et ursis; ut premerer sacra

Lauroque collataque myrto

Non sine Dîs animosus infans.

Утомленный сном и юношеской игрой,
Когда на лоне горы откинулся я,
Рядом с родной землей, вокруг моей головы
Голубей сказочных лесных расстиралась зеленая листва;
Материя, будьте уверены, из чудес глубочайших
Для всех, кто смотрит вокруг,
Кто обитает на воздушных полянах Ахеронтии,
В бантийских лесах или на лугах Ферентума.
От змей ядовито-черных и хищных зверей,
Я лежал невредимый в росистом сне;
Лавры и мирты вокруг меня росли,
Не без богов-хранителей, одушевленное дитя.

Франциск.

Он оставался среди родных гор до одиннадцати или двенадцати лет, когда его отец, мудро желая обеспечить ему преимущества либерального образования, которого не давала соседняя деревенская школа Флавиев, переехал с ним в Рим.^[594] Так он навсегда покинул Везувий, о которой многие места в его произведениях свидетельствуют, что он сохранил очень яркие воспоминания.^[595]

В Риме он поступил в обучение к Орбилию Пупиллу, грамматiku, служившему ранее в армии и переселившемуся из Беневента в столицу. Он прославился как школьный учитель, но еще больше - своей суровостью, так как в народе его называли Орбилием порки (Plagosus Orbilius.^[596]). При нем юный Гораций читал на своем языке поэмы Ливия Андроника и Энния, а на греческом - "Илиаду" Гомера, божественной поэзией которого он вскоре научился наслаждаться.^[597]

В то время как отец заботился о его интеллектуальном образовании, он позволил ему с помощью одежды и свиты рабов общаться на равных с мальчиками, намного превосходящими его по рангу и положению;^[598] и, что было еще важнее, он держал его под своей крышей и таким образом обеспечил сыну преимущества домашнего влияния, мудрые и благоразумные советы и бдительную заботу родительского глаза.^[599] За либеральность, добрый пример и постоянное внимание отца Гораций выражает глубочайшую благодарность,^[600] и признает себя обязанным ему за все положительные стороны своего характера. О практическом характере наставлений этого снисходительного и преданного отца, о том, как он любил учить примером, а не наставлениями, просто рассказывает сам Гораций^[601] в одной из своих сатир.

Вероятно, еще не достигнув мужского сословия, он лишился своего мудрого советчика, поскольку никогда не упоминает об отце, кроме как в связи с годами своего отрочества. Возможно, именно по этой причине в его ранней поэзии гениальная свобода так часто переходила в разнузданность, а любовь к удовольствиям склоняла его к беспутным манерам

развращенного века. Его нравственное чувство было точным и справедливым - он мог видеть полезное и одобрять его; он мог порицать пороки своих современников, но он утратил тот мудрый совет, который до сих пор сохранял его чистоту.

В тот период Афины были университетом Рима. Римская молодежь прибегала туда, чтобы научиться языку, искусству, наукам и философии.

Inter sylvas Academi quærere verum.^[602]

Искать истину в академических рощах.

Гораций начал жить там в период великого политического кризиса, и политика Рима вызвала живой интерес у молодых афинских студентов. Он прожил там недолго, когда Юлий Цезарь был убит, и многие из его сокурсников, как это было естественно для юных и пылких умов, рьяно примкнули к республиканской партии. Гораций, которому уже исполнилось двадцать два года, вступил в армию Брута и служил под его началом до битвы при Филиппах в звании военного трибуна.^[603] Он, должно быть, уже успел отличиться, поскольку ничто, кроме заслуг, не могло рекомендовать Бруту сына вольноотпущенника для столь высокого военного звания. Но случай доказал, что он, к сожалению, ошибся в своем призвании, так как был совершенно непригоден ни для должности офицера, ни для должности солдата.

Вместе с остальными побежденными он бежал с поля Филипп; а в прекрасной и нежной оде^[604] Помпею Вару он признается, что даже выбросил свой щит; он не был одним из тех, кто восстал, хотя его друг был снова втянут в кровавый конфликт прилива войны. Так, во всяком случае, он сам рассказывает эту историю. Однако, возможно, тщеславие побудило его притвориться похожим в этом отношении на своего любимца Алкея, а может быть, он хотел выразить завоевателю кусочек придворной лести. Вар был одним из его самых ранних друзей: вместе они проводили дни учебы и празднеств; и когда смутные времена разлучили их, ничто не может превзойти той бурной и неистовой радости, с которой Гораций ожидает воссоединения со своим другом.

По возвращении в Рим он обнаружил, что его отец умер, а имущество конфисковано.^[605] Чтобы добыть средства к существованию, он купил место клерка при квесторе.^[606] Для выполнения его обязанностей он, должно быть, был совершенно непригоден, так как ненавидел бизнес^[607] и любил удовольствия и литературную легкость. Но на доходы от этой должности и на доброту друзей он вел жизнь экономную и бедную.^[608] Возможно, что и тогда он получал какую-то прибыль от своих стихов, ведь он говорит:^[609] "Дерзкая бедность побудила меня писать стихи". Возможно, когда он стал более благополучным, он оставил свое место, поскольку он не упоминает о нем в рассказе Мекенасу об обычных, повседневных занятиях своей беспечной и бродячей жизни.^[610]

Вскоре, однако, его судьба начала улучшаться. Когда ему было около двадцати четырех лет, его таланты порекомендовали Вергилию и Варию.^[611] Они были тогда ведущими поэтами в Риме, а Мекенас, полированный, но несколько женоподобный друг Августа, был могущественным покровителем гениев и главой литературного общества. Эти два поэта были горячо привязаны к Горацию, чья привязанность к ним была столь же сильна,^[612] и именно им он был обязан своим знакомством с фавориткой императора.^[613] На собеседовании он чувствовал себя довольно робко: Мекенас говорил с ним в своей обычной сдержанной и отрывистой манере, не обращал на него внимания в течение девяти месяцев, а затем послал за ним и зачислил его в число своих друзей. С тех пор Гораций непрерывно

пользовался его дружбой и близостью, о чем свидетельствуют многочисленные поэтические произведения, которые Гораций адресовал ему.

По мере того как Мекенас повышал свое влияние и благосклонность к Августу, он также обеспечивал продвижение своего друга. Когда Август отправил его с деликатной миссией примирения с Антонием, Гораций сопровождал его;^[614] и не исключено, что его кораблекрушение у мыса Палинур произошло, когда он плыл с Мекенасом в экспедиции против Помпея.

В этот период жизни он начал писать свою первую книгу сатир.^[615] Знания о человеческой жизни, которые он начал приобретать, живя, так сказать, в городе, и познакомился с нравами, привычками и образом мышления масс, впоследствии были культивированы, утончены и созрели благодаря общению с лучшим литературным обществом. Его наблюдательный ум находил достаточно материалов для сатиры за столом придворного Мекенаса и в блестящем кругу, которым он был окружен. В этой, своей первой публикации, он также представляет себя читателю, рисует живую картину своей юности и описывает жизнь, которая соответствовала его вкусам и которую ему позволили вести изменившиеся обстоятельства.

Но не следует думать, что в то время он не писал ничего, кроме сатиры. Некоторые из его од, демонстрирующие силу юношеских страстей и самую распущенную мораль, вероятно, были написаны как отдельные беглые произведения и распространялись в частном порядке среди его друзей. Ода к Канидию повествует об одном из обстоятельств раннего периода его поэтической карьеры. Эподы дышат духом скорее сатирика, чем лирического поэта, и поэтому самая грубая из них^[616] также может относиться к тому же периоду,^[617] хотя книга, носящая это название, была завершена и опубликована в целом лишь несколько лет спустя.

Горечь некоторых "Эподов" больше подходит к его годам невзгод и тяжелой борьбы, в результате которой закаляется характер, чем к той жизни в легкости и комфорте, которую ему позволяло вести покровительство. Затем его нрав вновь обрел прежнее спокойствие, а моральный вкус утончился; архилоховские ямбы стали менее резкими, а идеи - менее грубыми; личная инвектива была отброшена, и его негодование вызывала лишь перспектива политических неурядиц и ужасы гражданских волнений.

Мекенас сопровождал свою дружбу существенными услугами. Он подарил ему или добился для него своего влияния, предоставив в общественное пользование его сабинскую ферму. Она располагалась в живописной долине близ Дигенции (Личенцы), примерно в пятнадцати милях от Тибура (Тиволи), и была достаточно близка к столице, чтобы удовлетворить переменчивого поэта, который, бывая там, часто сожалел о роскоши, сплетнях и блестящем обществе Рима, а находясь в Риме, тосковал по экономному столу, спокойному отдыху, сельской работе своей деревенской обители. Быстрое чередование городской и деревенской жизни, которым Гораций мог наслаждаться благодаря владению этим поместьем, придает особую прелесть его поэзии. Сцена постоянно меняется: в его мыслях отражается образ его жизни; простые картины сельской жизни и элегантно утонченности изысканного общества смягчают друг друга, предотвращают скуку и пресыщение. Имущество Горация не было ни обширным, ни плодородным, но его хватало на умеренные желания, которые так прекрасно выражены в его шестой "Сатире" - поэме, нашедшей множество современных подражателей.

В Риме Гораций занял дом на приятных и здоровых высотах Эсквилина. Здесь он жил всю зиму и весну, за исключением редких поездок в Байи или другие фешенебельные места на южном побережье Италии. Лето и осень он проводил на своей сабинской ферме, где был

очень любим своими простыми соседями и где находил все, что когда-либо желал, и даже больше.

Modus agri non ita magnus,

Hortus ubi, et tecto vicinus jugis aquæ fons,

Et paulum silvæ super his.^[618]

Он не жаждал поля ближнего своего,^[619] даже если оно уродовало его собственное. Он никогда не молился о том, чтобы случай бросил на его пути зарытую вазу с серебром.^[620] Спокойствие его жизни выгодно отличалось от сотни дел - не столько его собственных, сколько чужих, - которые мучили его в Риме;^[621] просьбы друзей, чтобы он использовал свое влияние в их интересах на Мекенаса;^[622] растущей зависти, которой подвергалась его удача;^[623] его единственной заботой было запастись провизией для своего экономного содержания в течение года,^[624] чтобы жить в сладком забвении о том, как он жил.^[625] Его дни были разделены между книгами древних,^[626] философией Платона и живыми сценами Менандра.^[627]

Приятная работа на ферме служила ему упражнением, хотя его городские привычки и неловкость, а также, возможно, его невысокая и крепкая фигура, пыhtящая и потеющая от жары и нагрузок, иногда вызывали добродушный смех.^[628] Иногда, хотя он и признавался, как опасен голос сирены лени, он проводил часы задумчивого безделья на берегу своего любимого ручья, слушая его журчание и музыку пастушьей дудочки, разносящуюся эхом по аркадской поляне.^[629] Вечера посвящались светским беседам с честными и добродетельными друзьями, из которых изгонялись скандалы и сплетни; разговор обычно сводился к моральным и философским дискуссиям,^[630] а его серьезность иногда разбавлялась остроумными анекдотами и остроумными баснями, примерами которых могут служить истории о городской и деревенской мыши и о безумце, который, вылечившись, жаловался, что друзья разрушили все счастье его мечтательной жизни. На этих *маленьких пирах*, которые он называл "ужинами богов", гости пили столько или меньше, сколько хотели, его старого вина и наслаждались полной свободой от абсурдных законов, которые римский обычай позволял навязывать председателю (*arbiter bibendi*) в таких случаях.

Иногда, в сильную летнюю жару, он удалялся в возвышенную Пренесте (Палестрину), где климат всегда был прохладным и освежающим.^[631] В какой-то период своей жизни он также стал владельцем виллы в Тибуре (Тиволи), тенистые рощи и шумные водопады которой служили ему прекрасным освежающим средством после "дыма, великолепия и шума Рима". Здесь он написал множество своих сатир и таким образом добился репутации сатирика, которую он уже заложил; он мог похвастаться, что, хотя он искренне желает мира со всем миром, лучше не провоцировать его; что тот, кто осмелится оскорбить его, должен уметь за это и стать посмешищем для всего города.^[632]

Составление и оформление второй книги "Сатир", вероятно, заняло тридцатый, тридцать первый и тридцать второй годы жизни поэта,^[633] и она была опубликована только в следующем году. Эта дата позволяет считать, что с момента начала его близости с Мекенасом прошло более семи или восьми лет.^[634] За "Сатирами" последовала публикация "Эподов", очень скоро после битвы при Актиуме,^[635] поскольку девятая, очевидно, является эпиникийской одой по случаю этой победы. Многие из них содержат благородные чувства, патриотические советы, горячее негодование против восточного самодурства Антония,^[636]

раболепия Рима, его гражданских распрей и вырождения эпохи; и напоминают нам, что, прежде чем Гораций стал эпикурейцем и придворным, он сражался против тирана в рядах свободы.^[637] Первый Эпод был написан незадолго до битвы при Актиуме; второй и третий - в тот период, когда он впервые сменил жизнь городского модника на жизнь деревенского джентльмена. В одном из них мы видим восторг, который он испытывал от сознания того, что его поместье принадлежит ему, что у него больше нет денежных затруднений; его предвкушение счастья, которым он будет наслаждаться в регулярно повторяющихся трудах сельской жизни, в отсутствии всех забот, в добросердечном предвкушении скромного домашнего благополучия, в превосходстве здоровой пищи над всей роскошью, которую может приобрести богатство. С другой стороны, несмотря на все эти признания в чувствах, он показывает, что его утонченный городской характер шокирован грубостью сельских привычек. Его нежный нос не выносит запаха чеснока: для него это не что иное, как яд, которым могли бы воспользоваться Канидия или Медея. Он более смертоносен, чем малярия Апулии или ядовитый халат, смоченный в крови Нессуса. В том же духе, в каком Джонсон сказал, что "тот, кто хочет сделать каламбур, будет ковыряться в кармане", он не побрезгует утверждать, что поедатель чеснока совершит отцеубийство.

Седьмой Эпод - это взрыв негодования против братоубийственного безумия, которое по велению беспринципной женщины вооружило римлян друг против друга в том трагическом эпизоде, Перуджинской войне, когда между мирными жителями и солдатами впервые развернулась борьба за политическое влияние и власть. В "Эподах" дух сатирика преувеличен. Внешняя форма, которую он смоделировал путем тщательного изучения архилоховского стиха, подготовила его к созданию той поэзии, в которой он занимает первое место. Это было переходное состояние, через которое он прошел, прежде чем стать лирическим поэтом.

С их публикацией заканчивается первый период литературной жизни Горация. Теперь она текла спокойно и мирно, не тревожась ни о себе, ни о своей стране. Хотя гражданские войны еще не закончились, и мир во всем мире не был торжественно и окончательно провозглашен, пока не был закрыт храм Януса,^[638] путь Октавия к всеобщей империи лежал перед ним открыто и ясно. Рим лежал у его ног и был обязан ему своей безопасностью и процветанием.

Общественное и частное благоденствие развило новую фазу гения Горация. Его муза взлетела на высоту, которую до него покоряли только Пиндар и другие греческие лирические поэты. Конечно, нельзя предположить, что он дожил до тридцати пяти лет, не написав многих из тех од, которые так полны юношеского задора и жгучей страсти; но несомненно, что гораздо больше было написано, а первые три книги опубликованы в течение восьми лет, включенных между его тридцатью пятью и сорок вторыми годами;^[639] некоторые, когда он приближался, другие, когда он уже прошел, свой восьмой блеск. В этих трех книгах, вероятно, Гораций хотел собрать все произведения своей лирической музыки: на это, по-видимому, указывает последняя ода третьей книги^[640]. Он считал свою работу законченной; и он не был равнодушен к тому, как успешно он ее выполнил. С осознанной гордостью и в пророческом духе он воскликнул.

Exegi monumentum ære perennius.

Он хотел, чтобы его любимый друг и покровитель Мекенас стал темой его последней, как и первой, песни. Его вступительная сатира - начало его опубликованных произведений - была обращена к нему; последняя ода в книге^[641] (кроме той заключительной, которая провозглашает его задачу законченной) - это благородное прощание, дышащее языком

ласковых комплиментов;^[642] , а во вступлении к новому произведению, труду зрелых лет, плоду тщательных суждений о людях и вещах, он заявляет о своем намерении завершить карьеру поэта и посвятить последние стихи своему покровителю.

Через несколько лет после выхода первых трех книг "Оды" Гораций опубликовал первую книгу "Посланий". Бентли относит появление этих законченных и тщательно продуманных композиций к 19 г. до н. э., Клинтон - к 20 г. до н. э. *Carmen Seculare*, появившаяся в 17 г. до н. э. по случаю празднования Светских игр, и четвертая книга "Оды", опубликованная в 13 г. до н. э., были написаны по личной просьбе императора. Он пожелал, чтобы он отпраздновал победы, одержанные над Винделицием его приемными сыновьями, Тиберием и Друзом. Выполнение пожеланий Августа было изящным ответом на уважение и привязанность, которые, судя по письмам императора, он испытывал к поэту. Горячее восхищение, которое выражают эти оды, похвалы, воздаваемые в них Августу и его приемным сыновьям Тиберию и Друзусу, могут показаться несовместимыми с прежним республиканизмом поэта; но кто мог противостоять предложенной дружбе, завоевательной вежливости, добродушной снисходительности своего покровителя?

Кроме того, опыт последних лет, должно быть, заставил его сознательно поверить, что правление Августа было действительно благословением для его страны и что его соотечественники были совершенно непригодны к настоящей свободе, поскольку они показали себя вполне довольными пустой тенью конституции. Он чувствовал, что мир и покой можно купить почти любой жертвой, кроме благородного принципа; что не только все жизненные блага были обеспечены ему самому в степени, равной, если не превосходящей, желания его удовлетворенного духа, но и что подобная мера счастья была распространена довольно широко. Он не мог сочувствовать политическим амбициям, которые были плодотворным источником гражданской анархии, и только амбициозные люди имели причины быть недовольными. Несомненно, чем старше он становился, тем сильнее чувствовал долг перед тем, кто своим возвышенным положением, которого он достиг, очевидно, предотвратил даже возможность революции или перемен. Несомненно, что вторая книга Посланий и книга, адресованная Пизонам, которая обычно называется "Искусство поэзии", были написаны и опубликованы в последние годы его жизни; но дата не может быть точно определена. Он уже давно распрощался с политическими волнениями; в этих последних произведениях нет и следа его пристрастия к обсуждению вопросов морали или глубоких спекуляций натурфилософии. Он ограничивает себя нейтральным полем литературы и пишет только как писатель, чьи суждения были бы неоспоримы, поскольку его произведения в нескольких своих отделах действительно сформировали вкус его современников.

В ноябре 8 года до н. э., 746 г., Гораций был охвачен внезапным приступом болезни и умер на пятьдесят седьмом году жизни. Его старый друг Мекенас скончался всего за несколько месяцев до этого. Они были похоронены рядом друг с другом на склоне Эсквилина.

Его смерть была столь внезапной, что он не успел написать завещание; он успел лишь назначить, согласно общепринятому обычаю, императора своим наследником.

Гораций никогда не был женат; он был слишком общим поклонником, а его вкусы и привычки были слишком холостяцкими, чтобы оценить счастье супружеской жизни. В этом отношении его чувства напоминали чувства сладострастного и эгоистичного общества его времени. Он был небольшого роста,^[644] но впоследствии вырос корпулентным.^[645] Энергичность, которой он наслаждался в ранней молодости^[646] , была ослаблена нездоровьем; он преждевременно

поседел,^[647] , а отрывок одной из его од, кажется, намекает на то, что он был валетудинарием в сорок лет.^[648]

ГЛАВА VI.

ХАРАКТЕР ГОРАЦИЯ - ОПИСАНИЕ ЕГО ВИЛЛЫ В ТИВОЛИ И САБИНСКОЙ ФЕРМЫ - МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БАНДУЗИЙСКОГО ФОНТАНА - ОКРУЖАЮЩИЕ ПЕЙЗАЖИ - ТЕМЫ ЕГО САТИР И ПОСЛАНИЙ - КРАСОТА ЕГО ОД - ПОДРАЖАНИЯ ГРЕЧЕСКИМ ПОЭТАМ - ПОДДЕЛЬНЫЕ ОДЫ - ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ.

Жизнь Горация особенно поучительна, как зеркало, в котором отражается верный образ нравов его времени. Он является представителем римского утонченного общества, как Вергилий - национального разума. Тот, кто понимает Горация и его произведения, может представить себе общество, в котором он жил и двигался. Нельзя сочувствовать Петrarке, когда он говорит: "Se ex nullo poeta Latino evasisse meliorem quam ex Horatio", или восклицать вместе с преданным Мекенасом,

Ni te visceribus meis Horati

Plus jam diligo, tu tuum sodalem

Ninnio videas strigosiores-

Но все же вряд ли можно не испытывать к нему симпатии. Несмотря на свое эгоистичное эпикурейство, он обладал теми элементами характера, которые составляют популярность людей в мире. Он был джентльменом по вкусу и чувствам. Он не отказал бы себе ни в одном удовольствии ради других; но он не желал причинять никому ни минуты беспокойства и никогда не был неблагодарен тем, кто был добр к нему. Он был приятным другом и добродушным собеседником, ловко пользовался языком комплиментов, но не был льстецом, потому что был откровенен и искренен. Он изменил свою политику, но для этого у него были веские причины. Обстоятельства времени предоставили ему достаточное оправдание. Его нравы были распушенными, но не хуже, чем у его современников: все, что можно сказать, это то, что он не опережал свой век. Его принципы не выдерживают сравнения с высокими моральными стандартами; но у него были хорошие качества, которые компенсировали его моральные недостатки. Он смотрел на добродетель и порок с житейской, а не с моральной точки зрения. Для него первое было благоразумием, второе - безрассудством. Поэтому порок вызывал у него насмешку, а не возмущение грехом или сострадание к грешнику; по той же причине он был неспособен испытывать священный энтузиазм по отношению к добродетели.

Добродушный, как человек, он, тем не менее, показывал, что принадлежит к *роду раздражительных людей*. Он ревностно относился к своей поэтической репутации; правда, не к своим современникам, а к поэтам прежних веков. Он либо не мог, либо не хотел видеть никаких достоинств в древнеримской поэзии. Его предубеждение нельзя объяснить только увлечением греческой литературой, ведь он не ценил даже тех достоинств, которые были присущи старой поэтической школе греков. В какой-то мере здесь сказался партийный дух, ведь вражда по этому вопросу разделила тогдашнее литературное общество^[649] , и поэтому Гораций горячо и бескомпромиссно встал на его сторону.

Но главной причиной была ревность - если бы он не игнорировал Луцилия и Катутла, он не мог бы претендовать на то, что был первым последователем Архилоха, которым мог похвастаться Рим; или, как представитель римской лирической поэзии, первым настроил свою лиру на эолову песню.

Сцены, в которых прошла жизнь Горация, настолько интересны для каждого читателя его произведений, что несколько слов о его вилле в Тиволи и сабинской ферме будут здесь неуместны. Тибур^[650] расположен на одном из отрогов Аппенин, примерно в пятнадцати или шестнадцати милях от Рима, на левом берегу реки Анио (Тевероне). Река плавно течет мимо города, отделяя его от виллы Горация, а затем, падая в водной глади на выщербленную скалу, исчезает под скалистой пещерой. Его гулкое эхо слышно далеко, и оно оправдывает эпитет (*resonans*), которым Гораций называет жилище Альбунеи, тибуртинской сивиллы. С виллы открывался прекрасный вид, а сад спускался от нее к берегу реки. С ее территории был виден дворец Мекенаса: на противоположном берегу с севера ее защищали поросшие лесом сабинские холмы, а западную границу составляли владения друга поэта, Квинтилия Вара.

Примерно в пятнадцати милях к северо-востоку от Тибура, среди корней горы Лукретилис, лежала Сабинская ферма. Найденные там фрагменты белого мрамора и мозаики показывают, что, несмотря на простую бережливость, которую с удовольствием описывает Гораций, она была построена и украшена с изяществом и вкусом. Со склона горы, возвышающейся за домом, стекает прозрачный ручей, исток которого сейчас называется Фонте Белло, а впоследствии он превращается в реку Дигенция (Личенца) и орошает прекрасную долину Устика (*Устика Кубантис*). Этот ручей, родитель любимой реки Горация, украститель этого "буйного угла земли", интересен тем, что, вероятно, является фонтаном Бандузии, "прозрачнее стекла", чьими свежими и искрящимися водами поэт закалял свое вино.

М. де Шопи^[652] предполагает, что Бандузийский фонтан, упоминаемый Горацием, находился недалеко от места рождения Горация, на лукано-апулийской границе. Его мнение опирается на слова гранта, выданного папой Паскалем II настоятелю Бантинского монастыря; а мистер Хобхаус^[653] считает этот документ решающим для выяснения его положения. Решающим является существование бандузийского фонтана вблизи Ветузии; но следует помнить, что Гораций никогда не видел его после дней своего детства, когда отцовское имение навсегда отошло к нему, в то время как он говорит о своем бандузийском фонтане как о близком ему, когда пишет и обещает принести в жертву гению-хранителю источника ребенка. Что же более вероятно, чем предположение г-на Данлопа,^[654] что те же приятные воспоминания о ранних годах, которые вдохновили его на рассказ о трогательном приключении, побудили его "назвать самый чистый и прекрасный поток своего сабинского убежища именем того фонтана, который находился в Апулии и на берегу которого он, без сомнения, часто купался в младенчестве?" В одной из своих од он упоминает об этом нежном желании увековечить воспоминания о родине - желании, которое иллюстрируется топографической номенклатурой, принятой колонистами всех эпох и стран.

Мистер Деннис, однако, в письме, написанном в Личенце,^[656] при виде приятных теней М. Лукретилиса, хотя и не сомневается в том, что бандузийский фонтан находится поблизости, не отождествляет его с "Фонте Белло". Он утверждает, что, хотя он проследил все ручьи в окрестностях, единственным, который соответствует классическому описанию, является тот, который сейчас называется "Фонте Бандузия". Он поднимается в узкой лощине,

разделяющей горы Лукретилис и Устику, которая, вероятно, получила свое современное название *Валле Рустика* от искажения классического названия. По мере подъема по склону он сужается в овраг с голыми скалами по обе стороны; ручей с трудом пробирается между мшистыми скалами (*musco circumlita saxa*), заслоненными густым лесом, который эффективно исключает жар палящей Собачьей звезды. Вода вытекает из скалы и стекает в два последовательных естественных бассейна. "Вода действительно *великолепна*; ничто, даже фракийский Гебрус, не может превзойти ее по чистоте, прохладе и сладости: "ее болтливые воды все еще бурлят"; сами иллисы все еще нависают над полыми скалами, откуда она берет начало".

Обращение к описанию Горация^[657] покажет современному путешественнику по этому классическому региону, с какой верностью и точностью поэт описал природные особенности пейзажа. Горная цепь непрерывна и непрерывна (*continui montes*), если не считать хорошо заросшей и потому тенистой долины Дигенции, которая пересекает ее в таком направлении, что...

Veniens dextrum latus aspiciat sol,

Lævum decedens curru fugiente vaporet.

Другая долина встречает его, и на открытой высоте, в точке соединения, стоит Бардела, во времена Горация Мандела, и хорошо описана им как *rugosus frigore pagus*.^[658] На солнечном поле растет кукуруза (*apricum pratum*), которая склоняется от фермы к реке: развалины других жилищ отмечают место, занятое пятью домашними очагами и посылающее пять честных представителей в муниципальный совет окрестностей: -

-- habitatum quinque focis, et

Quinque bonos solitum Variam dimittere patres.^[659]

Сравнение правдивых и описательных стихов Горация позволяет определить место, которое он любил. Природа сейчас та же, что и тогда; но человеческое мастерство и настойчивость украсили пурпурными гроздьями виноградной лозы тот "маленький уголок мира", который, по словам Горация, быстрее принесет перец и ладан, чем виноград.^[660]

Сатиры Горация занимают место комедии нравов и модного романа. Гораздо более уместно называть их проповедями (*Sermones*, *Discourses*). По сути, это неспешные дидактические эссе, в которых темы обсуждаются по мере их поступления. В них смело, но с добрым юмором набросана картина римской общественной жизни с ее пороками и глупостями. Его целью было (говоря его собственными словами)

Ut omnis

Votivâ pateat veluti descripta tabellâ

Vita.

Sat. II. i. 32.

Пороки, однако, рассматриваются как глупости; и человек остроумный и приятный редко пользуется оружием более острым, чем валы насмешек: - *Omne vafer vitium rétiū rétiū.*

Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico

Tangit et admissus circum præcordia ludit.

Persius, S. i. 116.

Арх Гораций, пытаюсь исправиться,
Исследовал все недостатки своего улыбчивого друга;
Легко разыгрывал похабные роли,
И завоевал неосязаемый вход в его сердце;
Хорошо умел уследить за глупостями толпы,
И насмехаться с веселым юмором ему в лицо.

Гиффорд.^[661]

Здесь нет ничего от политической горечи Луцилия,^[662] любви к чистоте и чести, которая украшает Персия, или жгучего негодования, которое Ювенал изливает на отвратительное разложение нравов. Гораций был политиком и горячим поборником свободы; но теперь борьба закончилась, как с ним самим, так и с его страной. Новый режим гарантировал обоим спокойствие и безмятежность, и его довольный нрав располагал к тому, чтобы смириться с таким положением вещей, которое давало Риму время отдохнуть от ужасов гражданской войны и не мешало независимости личности. Поэтому обстоятельства времени, а также его собственный нрав привели к тому, что его сатиры стали социальными, а не политическими. Луцилий писал, когда еще бушевали распри между вельможами и народом, а последний еще не уступил. Поэтому он дышал духом старых афинских комических поэтов, которым следовал и подражал; а война общественных мнений давала ему темы, схожие с теми, которые обсуждались в республиканском содружестве Афин.

Обстоятельства также в некоторой степени повлияли на тон строгих высказываний Горация о привычках общественной жизни. Каким бы безнравственным ни было общество, его самыми яркими чертами были роскошь, легкомыслие, экстравагантность и женоподобность. Порок еще не достиг той ужасающей высоты, которой он достиг во времена императора, сменившего Августа. Лишенный нравственной чистоты, эпикурец и развратник, он не считал ничего заслуживающим порицания, кроме успеха, который, в сущности, мог бы нанести ущерб цели, которую он себе поставил - а именно, максимальному наслаждению жизнью. Поэтому веления благоразумия должны были стать для него высшим стандартом и сильнейшим ограничителем. Он видел, что общественные нравы уже испортились и грозят стать еще хуже; но хотя они и были достаточно плохи, чтобы вызвать насмешки, они не шокировали и не возмущали того, кто был и исповедовал себя человеком мира. Если бы Гораций жил во времена Персия или Луцилия, даже его сатира, вероятно, была бы острой и суровой.

Часто его сатиры носят лишь случайный дидактический характер; он довольствуется наглядными обрисовками характеров и нравов, предоставляя им самим оказывать моральное воздействие на читателя. В одной^[663] он выставляет на посмешище суеверия римлян, подробно рассказывая о нелепых церемониях, совершаемых Канидией и другими колдуньями во время их заклинаний. В другом^[664] забавно описывается досада, которой он подвергся из-за назойливости сплетницы. В путешествии в Брундизий он, похоже, не преследовал никаких целей, кроме развлечения; хотя два случая дают ему возможность разоблачить напыщенность муниципального чиновника и суеверные глупости провинциального городка.^[665] В других случаях его темами являются пейзажи и общество соседей в его долине Сабин;^[666] то, как он обычно проводит свой день в Риме; его

собственная автобиография;^[667] смехотворный суд в Азии;^[668] эссе о кулинарии;^[669] и откровенное разоблачение его собственных недостатков и несоответствий. При этом он не забывает о своих моральных обязанностях сатирика. Он подвергает заслуженному презрению преобладающие беззакония современности. Подлость охоты за наследством; нелепость претенциозности и мотовства; глупость неумеренной страсти к накоплению богатства;^[670] опасность прелюбодеяния;^[671] несправедливость недоброжелательного истолкования поведения других.^[672]

Таковы разнообразные темы, содержащиеся в проповедях и сатирах Горация. Послания еще более пустынные и необузданные. Эпистолярное письмо - особенно римское достижение. Римляне считали, что их корреспонденты заслуживают того, чтобы над тем, что им адресовано, трудились не меньше, чем над тем, что предназначено для всеобщего обозрения; и в дополнение к тщательной полировке, пример которой подавал Цицерон, Гораций привнес в это дело поэтическое украшение. В Посланиях он отказывается от роли учителя нравственности или цензора. Он относится к своему корреспонденту как к равному. Он безоговорочно открывает свое сердце: он дает советы, но в добром и мягком духе, а не с насмешливой суровостью. Сатира произносится *ex cathedrâ*; послание - с той свободой, с какой он беседовал бы с близким другом.

Темы первых книг - мораль, вторых - критика. *Ars Poetica* - это поэтическое послание, адресованное Пизонам, которых охватила мания к трагической поэзии. Обычное название претендует на гораздо больший объем темы, чем предполагал поэт. Это не трактат о поэзии, а просто изложение истории греческой драмы и принципов критики, применимых к ней. Она хорошо гармонирует с литературными темами, рассматриваемыми во второй книге Посланий, и вполне может быть включена в нее. Она, действительно, длиннее и подробнее: синопсис столь обширной темы требовал более тщательной обработки; но невозможно составить правильную оценку вкуса и суждения, которые она демонстрирует, если не рассматривать ее не более чем Послание.

Стихосложение этих сочинений более гладкое, чем у сатир, но только в пропорции к превосходящей аккуратности стиля в целом. Ни в одном из них метрическая гармония не поднимается на высоту поэзии, если говорить правильно. Несомненно, это было сознательным намерением поэта. Невозможно предположить, что тот, кто смог так успешно внедрить все прекрасные греческие лирические метры, а в некоторых случаях и улучшить тонкость их структуры, был неспособен воспроизвести ритм греческого гекзаметра. Он считал, что в темах, относящихся к прозаическим реалиям жизни и до сих пор трактовавшихся с разговорной легкостью ямбической меры, некоторая видимость небрежности и даже грубости могла бы сделать величественный гекзаметр уместным, а значит, и терпимым. Но как бы ни были восхитительны Сатиры по своей художественной и драматической силе, а Послания по своему правильному вкусу, живому остроумию и критической элегантности, именно в неподражаемых Одах особенно ярко проявился гений Горация как поэта. Они никогда не были равны красоте чувств, изяществу языка и мелодичности стихосложения. Они охватывают всевозможные темы, подходящие для лирической музыки. Они без усилий поднимаются до самых возвышенных тем - величайших сюжетов истории, самых великолепных легенд мифологии, самых благородных стремлений патриотизма: они опускаются до самых простых радостей и печалей повседневной жизни. В одно время они пылают негодованием, в другое - изливают акценты самых нежных чувств. В них поочередно представлены все стороны характера автора: некоторые напоминают нам, что он был философом и сатириком; и хотя многие из них чувственны и самовлюбленны, они полны мягкости, доброты и духовности. Они не только свидетельствуют о полном владении

греческим метром, но и показывают, что Гораций был глубоко проникнут духом греческой поэзии и глубоко изучил греческую литературу, особенно труды Пиндара и лирических поэтов. Как бы ни были многочисленны случаи, когда он подражал им и вводил их идеи, эпитеты и фразы путем удачной адаптации, его подражания не являются простым плагиатом или пурпурным пятном - они настолько полностью принадлежат ему и наделены такой новизной и оригинальностью, что, сравнивая их с оригиналом, мы получаем дополнительное удовольствие от обнаружения сходства. Перефразированные чувства кажутся улучшенными, переведенные выражения настолько уместны и так точно гармонируют с контекстом, что поэт, в чьей памяти хранятся эти выражения, был бы виновен в дурном вкусе, если бы заменил их другими. Греческие чувства, настроения и образы так естественно сочетаются с римскими нравами, что, кажется, они претерпели переселение и одушевили римскую форму. Ниже приведены некоторые из наиболее ярких параллелей:^[673] -

Sunt quos curriculo, &c.

Carm. 1, 3, seq.

Ἀλλοποδῶν μὲν τινὰς εὐφραίνουσιν ἱππῶν τιμαὶ καὶ στεφάνοι-.

τοὺς δ' ἐν πολυχρυσοῖς θαλαμοῖς βιοτα-

τερπεται δὲ καὶ τίς ἐπ' οἰδμ' ἄλιον

ναὶ θοὰ σῶς διαστείχων.

Pind. Fragm.

Jam te premet nox, fabulæque Manes,

Et domus exilis Plutonia: quo simul mearis,

Nec regna vini sortiere talis, &c.

Carm. 1, 4, 16, seq.

Καθανοῖσα δὲ κείσ', οὐδέποτε μναμοσύνα σεθεν

εσσετ' οὐδέποτ' εἰς ὑστερον. οὐ γὰρ πεδεχεῖς βροδῶν

τῶν ἐκ Πιερίας. ἀλλ' ἀφανὴς κῆν Αἰδὰ δομοῖς

φοιτᾷσεις πεδ' ἀμαυρῶν νεκυῶν ἐκπεποταμένα.

Сanф. Fragm.

Vides, ut alta stet nive candidum

Soracte, nec jam sustineant onus

Silvæ laborantes, geluque

Flumina constiterint acuto?

Растворите фригус, лигна супер фоко

Large reponens; atque benignius

Deprome quadrimum Sabina,

O Thaliarche, merum diota.

Carm. 1, 9. seq.

Υει μεν ο Ζευς, εκ δ' ορανω μεγας

χειμων - πεπαγασιν δ' υδατων ροαι.

Καβαλλε τον χειμων', επι μεν τιθεις

πυρ, εν δε κινραις οινον αφειδεως

μελιχρον- αυταρ αμπι κορσα

μαλθακον αμπιτιθει γναφαλλον.

Alcæi Fragm.

Quem virum aut heroa lyra vel acri

Tibia sumis celebrare, Clio?

Quem Deum? cujus recinet jocosa

Nomen imago, &c.

Carm. 1, 12, seq.

Ἀναξιφορμιγγες υμνοι

τινα θεον, τιν' ηρωα, τινα δ' ανδρα κελαδησομεν.

Pind. Ol. 2, 1.

O navis, referent in mare te novi

Fluctus? O quid agis? fortiter occupa

Portum. Nonne vides, ut

Nudum remigio latus,

Et malus celeri saucius Africo

Antennæque gemant? ac sine funibus

Vix durare carinæ

Possint imperiosius

Æquor?

Carm. 1, 14, seq.

Το μὲν γὰρ ἐνθεν κύμα κυλινδεται,

Το δ' ἐνθεν- ἀμμες δ' ἀν τὸ μεσσὸν

ναὶ φορημέθα σὺν μελαίνα,

Χειμῶνι μοχθεύντες μέγανω καλῶν-.

παρ μὲν γὰρ ἀντλὸς ἰοτοπεδαν ἔχει,

λαίφος δὲ παν ζαδήλον ἤδη,

καὶ λακίδες μεγάλαι κατ' αὐτὸ

Χάλασι δ' ἀγκυραὶ ...

Alcæi Fragm.

Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborem.

Carm. 1, 18, seq.

Μηδὲν ἄλλο φυτεύσης προτερον δένδρεον ἀμπελῶ.

Alcæi Fragm.

Vitas hinnuleo me similis, Chloe,

Quærenti pavidam montibus aviis

Matrem, non sine vano

Aurarum et silvæ metu.

Carm. 1, 23, seq.

Ἀτὲ νεβρον νεοθηλεὰ γαλαθηνόν, ὅς ἐν ὕλῃ

Κεροεσσης ἀπολειφθεὶς ὑπὸ μητρος ἐπτοθη.

Anacr. Fragm.

O Venus, regina Gnidi Paphique,

Sperne dilectam Cypron, &c.

Carm. 1, 30, seq.

Κυπρον ιμερταν λιποισα και Παφον περιρρυταν.

Alcman. Fragn.

Quid dedicatum poscit Apollinem

Vates? quid orat, de patera novum

Fundens liquorem? &c.

Carm. 1, 31, seq.

Τι δ' ερδων, φιλος σοι τε,

καρτεροβροντα Κρονιδα,

φιλος δε Μοισαις, Ευθυμια τε

μελων ειην, τουτ' αιτημι σε.

Pind. Fragn.

Nunc est bibendum, nunc pede libero

Pulsanda tellus, &c.

Carm. 1, 37, seq.

Νυν χρη μεθυσκειν, και τινα προς βιαν

πινειν, επειδη κατθανε Μυρσιλος.

Alcæi Fragn.

Nullus argento color est avaris

Abdito terris, inimice lamnæ

Crispe Sallusti, nisi temperato

Splendeat usu.

Carm. 2, 2, seq.

Ουκ εραμαι πολυν εν μεγαρω πλουτον κατακρυψαις εχειν

αλλ' εοντων, ευ τε παθειν και ακουσαι, φιλοις εξαρκεων.

Pind. Nem. 1, 45.

Sæuius ventis agitur ingens

Pinus.

Carm. 2, 10, 9, seq.

Ου θρυον ου μαλαχην ανεμος ποτε, τας δε μεγαistas,
η δρυας η πλατανους οιδε χαμαι καταγειν.

Lucian. in Anthol.

Eheu fugaces, Postume, Postume,

Labuntur anni: nec Pietas moram

Rugis et instanti Senectæ

Adferet, indomitæque Morti.

Carm. 2, 14, seq.

Ἄλλ' ολιγοχροσιον γιγνεται, ωσπερ οναρ,
ηβη τιμηεσσα- το δ' αργαλεον και αμορφον
γηρας υπερ κεφαλης αυτιχ' υπερκρεμαται.

Mimnerm. Fragm.

Quid brevi fortes jaculamur ævo

Multa?

Carm. 2, 16, 17.

-- Ω κενοι βροτων,

οι τοξον εντεινοντες ως καιρου περα.

Eurip. Suppl. 754.

-- Nihil est ab omni

Parte beatum.

Carm. 2, 16, 27.

Ουκ εστιν ουδεν δια τελους ευδαιμονουν.

Eurip. Suppl. 281.

Dulce et decorum est pro patria mori.

Carm. 3, 2, 13.

Τεθναμεναι γαρ καλον επι προμαχοισι πεσοντα

ανδρ' αγαθον περι η πατριδι μαρναμενον.

Tyrtæi Fragm.

Mors et fugacem persequitur virum.

Carm. 3, 2, 14.

Ο δ' αυ Θανατος εκιχε και τον φυγομαχον.

СИМОНИД.

Ætas parentum, pejor avis, tulit

Nos nequiores, mox daturos

Progeniem vitiosiore.

Carm. 3, 6, 46, seq.

Οην χρυσειοι πατερες γενεην ελιποντο

Χειροτερην! υμεις δε κακωτερα τεξειεσθε.

Arati Phænom. 123.

Pulchris excubat in genis.

Carm. iv. 13, 8.

Ος εν μαλακαις παρειαις

νεανιδος εννυχευεις.

Soph. Antig. 779.

Dis miscent superis.

Ἀθανάτοις ἔμιχθεν.

Πινдар. Isthm. 2, 42.

Nube candentes humeros amictus.

Νεφέλῃ εἰ λυμένος ὤμους.

Hom. Il. ε' , 186.

Erycina ridens.

Φιλομειδῆς Ἀφροδίτη.

	Hom. Il. ν' , 424.
Officinas Cyclopum.	Ἡφαίστοιο καμίνοις. Callim. Fragm. 129.
Nitidum caput.	Λιπαρὸν ἔθειραν. Симонид. (Anth. Gr.)
Duplicis Ulixei.	Διπλοῦς ἀνήρ. Eurip. Rhes. 392.
Superis parem.	Δαίμονι ἴσος. Hom. Il. ε' , 438.
Aptum equis Argos.	Ἄργεος ἰπποβότοιο. Hom. Il. β' , 287.
Ditesque Mycenae.	Μυκήνας τὰς πολυχρύσους. Sophocl. Elect. 9.
Nil desperandum.	Ἄλπτον οὐδέν. Eurip. Fragm.
Deorum nuntium.	Ἄγγελον ἀθανάτων. Hom. Hymn in Merc. 3.
Marinae filium Thetidis.	Παῖς ὀλίας Θέτιδος. Eurip. Androm. 108.
Carpe diem.	Καιρὸν λάβε. Æsch. Sept. adv. Th. 65.
Дефициальная желчь.	Χόλου ἀργαλέοιο. Hom. Il. κ' , 107.
Melior patre.	Πατέρων ἀμείνονες εὐχόμεθ' εἶναι. Hom. Il. δ' , 405.
Mordaces solitudines.	Γυιοβόρους μελεδῶνας.

	Γεσιод. Ἔργ, 66.
Dulce ridentem.	Γελάσας ἰ μέροεν. Сапφο.
Dulce loquentem.	Ἄδῃ φωνοίσας. Сапφο.
Funera densentur.	Θνήσκον ἐπασσύτεροι. Hom. Il. α' , 383.
Fulgentes oculos.	Ορματα μαρμαίροντα. Hom. Il. γ' , 397.
Bellum lacrymosum.	Πόλεμον δακρυόεντα. Hom. Il. ε' , 737.
Вакуумная аэра.	Ἐρήμας δι' αἰ θέρος. Pind. Ol. α' , 10.
Loquaces lymphæ. Fulmine caduco.	Λαλὸν ὕδωρ. Καταιβάτης κεραυνός. Æsch. Pr. V. 359.
Vis consili expers.	Ῥώμη ἀμαθής. Eurip. Fragm.
Flagitio additis damnum.	Πρὸς αἰ σχύνη κακόν. Eurip. Rhes. 102.
Aquæ augur cornix.	Ἐτόμαντις κορώνη. Ἐβφοριον.
Lentus amor.	Βραδινὰ Ἀφροδίτα. Сапφο.
Aquosa Ida.	Πολυπίδακος Ἰδης. Hom. Il. ξ' , 157.

Obliquum meditantis ictum.	Δοχμῷ τ' ἄσσαντε. Hom. Il. μ' , 148.
Gelu acuto.	Χιόνος ὀξείας. Pind. Pyth. α' , 39.
Dulci fistula.	Γλυκὺς αὐλός. Pind. Ol. ι' , 114.
Testudinis aureæ.	Χρυσέα φόρμιγξ. Pind. Pyth. α' , 1.
Magnæ linguæ.	Μεγάλης γλώσσης. Sophocl. Antig. 12.
Morti atræ.	Μέλανος θανάτοιο. Hom. Il. β' , 834.
Aureo plectro.	Χρυσέῳ πλάκτρῳ Pind. Nem. ε' , 44.
Supremum iter.	Ὑστάτην ὁδόν. Eurip. Alcest. 686.
Nescios fari infantes.	Νήπια τέκνα. Hom. Il. β' , 311.
Noctilucam.	Νυκτιλαμπής. Симонид.
Purpureo ore.	Πορφυρέου ἀπὸ στόματος. Simonides.
Mens trepidat metu.	Δειματὶ πάλλει. Soph. Æd. Tyr.

Две следующие^[674] оды были приписаны Горацию, но нет сомнений, что они поддельные. Предполагалось, что они были обнаружены в Палатинской библиотеке в Риме Паллавичини: однако до сих пор не было найдено ни одной рукописи Горация, содержащей их:...

AD IULIUM FLORUM.

Discolor grandem gravat uva ramum

Instat Autumnus; glacialis anno

Mox Hiems volvente aderit, capillis

Horrida canis.

Jam licet Nymphas trepide fugaces

Insequi lento pede detinendas;

Et labris captæ, simulantis iram,

Oscula figi.

Jam licet vino madidos vetusto

De die lætum recitare carmen;

Flore, si te des, hilarem licebit

Sumere noctem.

Jam vide curas aquilone sparsas!

Mens viri fortis sibi constat, utrum

Serius leti citiusve tristis

Advolat aura.

AD LIBRUM SUUM.

Dulci libello nemo sodalium

Forsan meorum carior extitit;

De te merenti quid fidelis

Officium domino rependes?

Te Roma cautum territat ardua;

Depone vanos invidiæ metus;

Urbisque, fidens dignitati,

Per plateas animosus audi.

En quo furentes Eumenidum choros

Disjecit almo fulmine Jupiter!

Huic ara stabit, fama cantu

Perpetuo celebranda crescet.

Согласно Бентли, произведения Горация были написаны в следующем хронологическом порядке:-.

Сатиры	Книга	I.	в его	26-м, 27-м и 28-м годах.
Сатиры	"	II.	"	31-й, 32-й и 33-й годы.
Эподы			"	34-й и 35-й годы.
Оды	"	I.	"	36-й, 37-й и 38-й годы.
Оды	"	II.	"	40-й и 41-й годы.
Оды	"	III.	"	42-й и 43-й годы.
Послания	"	I.	"	46-й и 47-й годы.
Оды	"	IV.	} "	49-й, 50-й и 51-й годы.
Светский гимн				
Послание к Пизонам			}	неопределенно.
Послания	"	II.		

ГЛАВА VII.

БИОГРАФИЯ МЕКЕНАСА - ЕГО БЛИЗОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА АВГУРА - ЕГО ХАРАКТЕР - ВАЛГИЙ РУФ - ВАРИЙ КОРНЕЛИЙ ГАЛЛУС - БИОГРАФИЯ ТИБУЛЛА - ЕГО СТИЛЬ - КРИТИКА МУРЕТА - ПРОПЕРЦИЙ - ПОДРАЖАНИЕ АЛЕКСАНДРИЙСКИМ ПОЭТАМ - ЭМИЛИЙ МАКЕР.

С. Цильний Мекенас.

В истории литературы невозможно опустить рассказ об одном человеке, который, хотя его попытки в поэзии были весьма презренными, своим хорошим вкусом и щедростью оказал большое влияние на литературу, и которому литераторы Рима были очень обязаны тем, что он воспользовался своей доверительной дружбой с Августом.

С. Цильний Мекенас был членом конной семьи, которая, хотя и вела свое происхождение от старых этрусских царей,^[675] похоже, не произвела на свет ни одного выдающегося человека. Год его рождения неизвестен, но день рождения приходился на иды (13 апреля).^[676] У нас нет сведений о происхождении его близости с Августом. Вероятно, его культурный вкус, обширное знакомство с греческой и римской литературой, невозмутимый нрав и любовь к удовольствиям впервые рекомендовали его как приятного компаньона Октавию.

Его здравый смысл, активность и энергия в делах, решительный характер - качества, которых так не хватало его непостоянному и отчаянному покровителю, - позволили ему быстро перевести знакомство в интимную связь. Дион Кассий^[677] утверждает, что Август получил от Мекенаса полный план внутреннего управления только что приобретенной империей и что в нем проявились здравый смысл и политическая мудрость. Вполне вероятно, что в этом утверждении есть некоторое преувеличение; но, не будучи великим человеком, он был в этих отношениях более великим человеком, чем Август, и поэтому, когда ему требовалась его поддержка, он мог спокойно на него опереться. И все же его слабости были таковы, что не позволяли ни чувству ревности, ни видимости превосходства поставить под угрозу его дружбу с императором. Его любовь к удовольствиям, к спокойным и беспечным развлечениям частного лица оказалась, как оказалось, благословением для его страны. Его сердце было настолько переполнено прелестями изысканного и интеллектуального

общества, дворцами и садами, остроумием и поэзией, коллекциями произведений искусства и виртуозов, что в нем не осталось места для честолюбия. Его беспечная и разгульная праздность открыто проявлялась в его разваливающейся походке и тоге, волочившейся по земле. Никто не мог заподозрить в таком бездельнике достаточно энергии и целеустремленности, чтобы стать политиком и интриганом. Таковы были его характер, вкусы и привычки, и он не чувствовал искушения злоупотребить своим влиянием на Августа. Он не жаждал почестей и должностей, так как знал, что они должны принести неприятности, отвлечь от дел, а возможно, и привести к гибели. Он использовал свою власть, которая, несомненно, была велика, чтобы способствовать роскошной, но изысканной элегантности, в которой он сам был в восторге, и обеспечить благополучие своих друзей-литераторов. У него было достаточно богатства, чтобы удовлетворить все свои самые смелые желания. Августу, таким образом, больше нечем было одарить его, что он ценил, кроме личного уважения и почтения.

О доверии, которое питал к нему император, свидетельствует то, что он поручил ему несколько деликатных дел: сначала устроить брак со Скрибонией, а затем, в двух случаях, вести переговоры с Антонием.^[678] В до н.э. 36 г. он сопровождал Октавия в Сицилию, но был отправлен обратно, чтобы взять на себя управление Римом и Италией;^[679] и во время кампании в Актиуме^[680] Мекенас снова стал наместником, в этом качестве он подавил заговор младшего Лепида. Его власть была столь неограниченной, что ему даже доверили печатку Октавия и дали право вскрывать и даже изменять, если нужно, все письма, которые он писал в сенат во время своей кампании; а когда победоносный полководец по возвращении в Рим советовался с ним и Агриппой о целесообразности восстановления республики, Мекенас, вопреки рекомендации Агриппы, отговорил его от этого шага. Моральное влияние Мекенаса на Августа также очень поразительно. Пока оно продолжалось, мы не видим ничего из той бессердечной жестокости, того пренебрежения к счастью других, которые уродовали раннюю жизнь императора: если он и был бессердечен, то, по крайней мере, делал то, что было делом вкуса и что лучший человек сделал бы из принципа; а если он и был эгоистом, то добивался славы и известности мудрыми советами мира, а не блестящими триумфами войны: он примирял друзей вместо того, чтобы сокращать врагов.

Близость между Мекенасом и императором продолжалась не менее десяти лет после битвы при Актиуме: затем началась размолвка, а в 16 г. до н. э. он был лишен своего официального поста, и Тавру было поручено управление Римом и Италией. О его жене Теренции и императоре рассказывали скандальные истории, чтобы объяснить прерывание их близости; но для объяснения столь обычного события не требуется никаких особых причин. Слова Тацита^[681] являются достаточным решением проблемы: "Idque et Mæcenati acciderat; fato potentiæ, raro sempiternæ, an satias capit, aut illos, cum omnia tribuerunt, aut hos, cum jam nihil reliquum est, quod cupiant." Он сохранил внешнюю видимость императорской дружбы, хотя и утратил реальность. В день рождения он посещал двор, но перестал быть членом императорского совета. Его жизнь прошла в сладострастном уединении в своем дворце на Эсквилине, который он построил для себя. Этот холм, как правило, не считался полезным: вероятно, тот факт, что он служил местом погребения^[682], создал предубеждение против него; но возвышенность выбранного места, а также самого здания (*molem vicinam nubibus*) и ветерок, свободно гулявший по прекрасному саду, которым он был окружен, сделали его благоприятным. За его столом собиралось все самое блестящее общество Рима, и многие из лучших получали еще более существенные знаки его благосклонности.^[683] Вергилий, Гораций, Проперций и Варий были среди его друзей и постоянных соратников.

Мекенас был малодуховным инвалидом;^[684] в последнее время он не мог спать и тщетно пытался обрести покой, слушая тихую музыку.^[685] Во время своей последней тяжелой болезни он обычно жил на своей вилле в Тибуртине, где журчащий водопад Анио навевал сон, в котором ему было отказано в других местах. Он умер 8 г. до н. э. и был похоронен на Эсквилине. Будучи женатым, он не оставил детей и завещал свое имущество императору, которого в своем завещании просил не забывать своего любимого Горация. Его вкус критика, очевидно, намного превосходил его писательские таланты. Сохранились лишь немногие фрагменты его сочинений, и все античные критики единодушны в осуждении его стиля. Август^[686] смеялся над его поразительным жаргоном, состоящим из смешения этрусского и латинского языков. Квинтилиан^[687] приводит примеры его абсурдных инверсий и транспозиций; а Сенека^[688] на примере показывает его невразумительную неясность.^[689] Он был сладострастником и сладострастником,^[690] и неверным мужем; и все же он преданно любил свою жену, красивую, но вспыльчивую Терентию, которая имела на него большое влияние. Он разводился с ней в один день, чтобы на следующий восстановить ее в супружеских правах; Сенека говорил, что, хотя у него была только одна жена, он был женат тысячу раз. Он ненавидел жестокость и суровость, не позволяя им оставаться безнаказанными даже в императоре; и хотя он кичился своей женоподобностью, в экстренных случаях он был готов от всего сердца посвятить себя делу. В сущности, он был образцом человека удовольствий и общества: либеральный, добросердечный, умный, утонченный, но роскошный, самовлюбленный, ленивый и непостоянный, с хорошими инстинктами и порывами, но без принципов.

С. Вальгий Руф.

Среди поэтов эпохи Августа, чьи произведения вызывали восхищение современников, но не выдержали проверки временем, был Вальгий Руф. О его жизни не сохранилось никаких записей, но он, вероятно, принадлежал к тому классу авторов, о которых Плиний говорит: "Quibus nos in vehiculo, in balneo, inter cœnam, oblectamus otium temporis." Они были легкими и приятными, рассчитанными на то, чтобы развлечь праздные полчаса или снять тоску во время путешествия. Они отвечали назначению железнодорожной литературы наших дней. Эти писатели обладали скорее правильным вкусом и критическим восприятием поэтической красоты, чем гением стихосложения. Вероятно, их личные качества имели отношение к их репутации: они были членами литературного кружка; они жили, думали и чувствовали вместе; они защищали друг друга от злобной критики; и узы дружбы, которыми они были объединены, склоняли более великих поэтов относиться к их произведениям с доброй, но неоправданной пристрастностью. Вальгий Руф был большим любимцем Горация,^[692] но из его стихов сохранилось лишь несколько коротких, изолированных отрывков.^[693] Квинтилиан^[694] приписывает ему перевод риторических наставлений Аполлодора. Сенека^[695] упоминает его по имени: Плиний^[696] восхваляет его эрудицию. Вряд ли стоит доверять свидетельству о его выдающихся достоинствах как эпического поэта, содержащемуся в Панегирике Мессалы, поскольку почти наверняка это произведение является подделкой.^[697]

Varius.

О Л. Вариусе Руфе, который был одним из постоянных гостей за столом Мекенаса, почти ничего не известно. Гораций^[698] говорит нам, что ему не было равных в эпической песне, когда Вергилий еще только обращался к деревенской поэзии. Квинтилиан уже упоминал о высокой оценке, которой удостоились его "Тиесты". Ему, а также Вергилию, мы видели, что Гораций был обязан своим представлением Августу, и все трое были в партии, сопровождавшей

Мекена в Брундиций. Сохранились названия двух его поэм: I. De Morte; II. Панегирик на Августа. Из первой поэмы Макробий сохранил четыре фрагмента, все из которых Вергилий считал достойными подражания. Из последнего сохранились две строки, содержащие нежный комплимент Августу, которые Гораций целиком ввел в одно из своих Посланий.^[699] Отрывок ни в коей мере не удовлетворяет современному вкусу, сформированному гекзаметрическим ритмом Вергилия; но Сенека хвалит его стиль как свободный от обычных недостатков латинской декламационной поэзии - напыщенности, с одной стороны, и чрезмерной миниатюрности - с другой. Нибур полагает, что его "Тиест" был слишком декламационным, и что, как и поздние римские трагедии Сенеки и других, он был подражанием не аттической драме, а вырожденным трагедиям александрийского периода.

С. Корнелий Галл (родился в 66 или 69 году до н. э.).

Галлус был больше известен как полководец, чем как поэт. Кроме одной строчки из одной из его элегий, от его поэзии не осталось и следа; приписываемые ему короткие произведения^[700], несомненно, не являются подлинными. Своей славой он обязан, вероятно, доброму вердикту современников, чьей дружбе и дружескому расположению друг к другу, кажется, никогда не угрожала ни малейшая искра ревности.

Он родился во Фрежюсе, из низкого рода, и был соучеником по философии Вергилия^[701] и Ария - так началась его дружба, которая продолжалась всю жизнь. Благодаря покровительству Асиния Поллио^[702] он стал известен как поэт в раннем двадцатилетнем возрасте. Он одним из первых присоединился к делу Октавия и, будучи назначен комиссаром по распределению земель для военных колоний, имел возможность подружиться с Вергилием и разграбленными мантуанцами. В Актиуме он командовал бригадой, сжег корабли Антония в гавани Парэтония, был одним из похитителей Клеопатры и был вознагражден Октавием, став первым префектом Египта. Как столь ценный слуга потерял расположение императора, точно неизвестно. Овидий намекает, что его преступление заключалось в словах, а не в делах

Linguam nimio non tenuisse mero.

Он был отозван, его имущество конфисковано, а сам он сослан. У него не хватило душевных сил перенести свое падение, и он покончил с собой на сорок первом или сорок третьем году жизни.^[703]

Из противоречивой критики древних нельзя составить никакого суждения о его достоинствах. Овидий отдает ему пальму первенства среди элегических поэтов^[704], а Вергилий, как говорят, воспел ему хвалу в своем четвертом Георгике, но затем опустил этот отрывок и заменил его историей Аристея; Квинтилиан^[705] применяет эпитет *durior* к его стихосложению. Возможно, последний придавал слишком большое значение изяществу и сладости дикции, но пренебрегал красотой чувств; а первый, возможно, был слишком пристрастен в своем сочувствии к товарищу по изгнанию. Он был автором четырех книг элегий, в которых под вымышленным именем Ликорис воспевал свою любовь к любовнице Китерис. Он также перевел греческие поэмы Эвфориона.

Альбий Тибулл.

Тибулл родился в семье конника, вероятно, в 54 году до нашей эры. Он был современником Вергилия и Горация;^[706] и, как и они, во время бедствий гражданских войн пострадал от конфискации отцовского имения, которое находилось в Педуме, недалеко от Тибура. После

окончания борьбы ему была возвращена часть имущества - правда, небольшая, но достаточная, чтобы удовлетворить его умеренные потребности и довольный нрав.

Не склонный, как по любви к покою, к трудам и опасностям военной жизни, так и по нежности и мягкости своего характера к ужасам войны, обстоятельства, тем не менее, вынудили его невольно отправиться в поход. Мессала был его покровителем, перед которым он, очевидно, был в большом долгу.^[707] Поэтому, когда Октавий послал его подавить восстание в Аквитании, Тибулл сопровождал его. Этот поход и успехи Мессалы дали поэту темы для его музыки.^[708] Тибулл также намеревался продолжить свои услуги Мессале на востоке в течение следующего года; но болезнь заставила его остановиться в Корцире, откуда он вернулся в Рим.^[709]

Любовницы, красоту, непостоянство и жестокость которых Тибулл воспекает в своих элегиях, были, в отличие от Горация, реальными людьми. Настоящее имя Делии, как говорят, было Плаутия или Планиа;^[710] кем была Немезида, неизвестно. Это единственные две, упомянутые им самим или упоминаемые Овидием;^[711] но Гораций адресует ему оду о его страсти к любовнице, которую он называет Гликерой. Вероятно, он говорит об одной из любовниц Тибулла под вымышленным именем, в соответствии со своей привычной практикой, поскольку имена, вводимые им в свои поэмы, как правило, не имеют никакого отношения к реальности. Они, за редким исключением, подсказаны ему изучением греческих лирических поэтов. Хлорис, Ликорис, Необула, Лидия, Талиарх, Ксанфий, Фолоэ - все это греческие персонажи, перенесенные на римские сцены и вынужденные играть искусственную роль в римской жизни. Цинара^[712] была, возможно, реальным человеком, как и Басс, Новый Мевий и Нумида, несомненно. Иногда, когда объектом сатиры является человек, он говорит о предмете своей иронии под именем, несколько похожим на реальное; например, когда он высмеивает Мекенаса под именем Мальтина,^[713] Сальвидия Руфа под именем Насидиана,^[714] и высмеивает колдунью Гратидию под именем Канидии. Но в поэзии Тибулла, как и в поэзии Катулла и Проперция, одни и те же имена встречаются в каждом из ряда стихотворений. Апулей^[715] утверждает, что настоящее имя Лесбии Катулла - Клодия, а Синтии Проперция - Хостия, и что она была уроженкой Тиволи.

Стиль и тон мыслей Тибулла, как и его характер, лишены энергичности и мужественности, но сладки, гладки, отполированы, нежны и никогда не обезображены дурным вкусом. Он не заслуживает порицания Нибура, который клеймит его как "неприятного поэта, из-за его тоскливой и плаксивой меланхолии и сентиментальности, возникшей в результате непонимания древних элегий Мимнермуса"

После возвращения с Корсиры Тибулл провел остаток своей короткой жизни в мирном уединении в отцовском имении. Он умер молодым, вскоре после Вергилия, если верить эпиграмме, приписываемой Домицию Марсу, содержащейся в "Латинской антологии":^[717] -

Te quoque Virgilio comitem non æqua, Tibulle,

Mors juvenem campos misit in Elysios,

Ne foret, aut elegis molles qui fleret amores,

Aut caneret forti regia bella pede.

Стихи, обычно приписываемые Тибуллу, состоят из четырех книг, но подлинными являются только две, причем вторая из них была опубликована посмертно. Две строки в третьей книге, которые фиксируют дату рождения поэта в консульство Гирция и Пансы,^[718] обычно считались поддельными, потому что такая дата не согласуется с остальной хронологией; но Восс отверг всю эту книгу; и нет сомнений, что дух и характер элегий, а также гармония метра, сильно уступают предшествующим поэмам. Та же неполноценность отличает и четвертую часть, за исключением небольших стихотворений, носящих имена Сульпиция и Коринфа. Они, как верно замечает Нибур, демонстрируют большую энергию и смелость, чем были у Тибулла, и являются произведениями какого-то поэта, намного превосходящего его.

Этот изящный ученый и рассудительный критик Мурет^[719] хорошо описал его главные черты, простоту, естественный и незатронутый гений: "*Illum (m. e. Тибулл) iudices simplicius scripsisse quæ cogitaret; hunc (m. e. Проперций) diligentius cogitasse quæ scriberet. In illo plus naturæ, in hoc plus curæ atque industriæ perspicias*".

Секст Аврелий Проперций.

О жизни и личной истории Проперция известно очень мало, за исключением нескольких фактов, которые можно почерпнуть из его стихов. Он был уроженцем пограничной Умбрии и родился, вероятно, не ранее 703 г. н. э.,^[720] или позднее 700 г.^[721] Этот период в достаточной степени согласуется с утверждением Овидия об их относительном возрасте.^[722] Его семья не произвела на свет ни одного выдающегося члена, но обладала значительным состоянием. Подобно Вергилию и Тибуллу, он страдал от последствий войны, ибо основание военной колонии привело его из комфорта в стесненные обстоятельства.^[723]

Как и большинство молодых римлян, обладавших гением и образованием, он собирался стать адвокатом;^[724] но поэзия прельщала его больше, чем суровые занятия, и он стал не более чем литератором. Он поселился в доме в модном ныне квартале Эсквилин и был в близких отношениях с Галлом, Овидием, Бассом и Вергилием. Синтия, его возлюбленная, вдохновившая его на столь значительную часть элегий, была не только красивой, но и опытной женщиной. Она была его первой любовью; и, похоже, прошло некоторое время, прежде чем она уступила его просьбам,^[725] и даже тогда она не всегда была ему верна.^[726] Она умела писать стихи и играть на лире,^[727] и была изящной танцовщицей.^[728] Она обязана ему, говорит Марциал, своим бессмертием; а он обязан своей любви к ней тем вдохновением, которое обессмертило его самого:...

Синтия, факунди кармен ювенил Проперти,

Accepit famam nec minus illa dedit.

Дата смерти поэта неизвестна, но есть вероятность, что он умер молодым.

Хотя Проперций был современником и другом поэтов Августа, его можно считать представителем несколько иной поэтической школы. Его вкус, как и их вкус, был воспитан изучением греческой литературы; но греческие поэты, чьи произведения он брал за образец, принадлежали к более поздней эпохе. Гораций, Вергилий и Тибулл подражали и пытались соперничать с греческими классическими поэтами самых благородных веков: они перенесли на свой родной язык идеи Гомера, Пиндара и старых лирических поэтов. Их вкус формировался по самым чистым и совершенным образцам. Проперций, напротив, довольствовался более низким уровнем. Он пытался лишь подражать изящным, но слабым строфам александрийских поэтов и стать вторым Каллимахом или Филетом.^[729] Римская

настойчивость в стремлении к знаниям и дух исследования широкой области греческой литературы подняли этот новый стандарт вкуса, который ни в коей мере не был улучшением того, что было установлено до сих пор.

Подражания Проперция слишком изучены и очевидны, чтобы позволить ему претендовать на великий природный гений. Только природа могла бы дать ему трогательную нежность Тибулла или сложность Овидия - и в том, и в другом, несмотря на изящество и элегантность, ему недостает. Отсутствие оригинальной фантазии скрывается внимательным отношением к внешним формам поэзии, которой он восхищался. Его пентаметры часто негармоничны, потому что в них постоянно используются греческие правила построения; неловкие греческие идиомы и тщательная демонстрация своей образованности, которая, несомненно, была велика, разрушают это величайшее очарование стиля, пронизательность.

По словам Квинтилиана,^[730] критики его времени несколько переоценивали его заслуги, поскольку с трудом могли решить вопрос о превосходстве между ним и Тибуллом. Впрочем, этого следовало ожидать в эпоху уязвленной риторики и грамматического педантизма, когда в поэзии не считалось прекрасным ничего, кроме того, что соответствовало произвольным правилам холодной критики. Они оценили его правильность и не упустили горячее сердце его соперника. Его поэзия не так загрязнена бестактностью, как поэзия Овидия, но все же она часто чувственна и развратна.

Стоит отметить, что четвертая элегия третьей книги, озаглавленная "Аретуза к Ликоту", лишает Овидия чести быть изобретателем элегического послания.

ЭМИЛИЙ МАКЕР.

Поэма Эмилия Мацера известна только по двум стихам в "Tristia" Овидия,^[731] в которых говорится, что в ней рассказывалось о птицах, змеях и лекарственных травах:

Sæpe suas volucres legit mihi grandior ævo

Quæque necet serpens; quæ juvet herba Macer.

Он родился в Вероне и умер в Азии в 16 г. н. э.; уже процитированный отрывок доказывает, что он был старше Овидия.

Его поэма была парафразом или подражанием "Териакам" Никандра - врача-поэта, который процветал в Этолии во времена правления Птолемея Эпифана. Квинтилиан объединяет его имя с именем Лукреция, награждает его похвалой за элегантность, но добавляет, что его стиль лишен достоинств.

ГЛАВА VIII.

РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ОВИДИЯ - ЕГО РИТОРИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ - АНЕКДОТ, РАССКАЗАННЫЙ СЕНЕКОЙ - ЕГО ПОЭТИЧЕСКИЙ ГЕНИЙ - РАЗВРАТНАЯ ЖИЗНЬ - ПОПУЛЯРНОСТЬ - ИЗГНАНИЕ - МЕСТО ССЫЛКИ - ПОСЛАНИЯ И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ГРАЦИЙ ФАЛИСК - ПЕДО АЛЬБИНОВАН - АУЛУС САБИН - МАРК МАНИЛИЙ.

Овидий Назо (родился в 43 г. до н. э.).

Овидий, как он сам утверждает,^[732] родился в Сульмо (Сульмоне), городе Пелины (Абруцци), в девяноста милях от Рима. Год его рождения пришелся на тот, когда консулы Гирций и Панса пали на поле Мутины (Модены). Его семья была конной, и так было на протяжении нескольких поколений. Его отец дожил до девяноста лет, а поскольку его мать была жива, вероятно, она также достигла преклонного возраста. У него был брат, который был старше его самого ровно на двенадцать месяцев. Их общий день рождения приходился на первое число Квинкватрии, или праздника Минервы (20 марта).

Еще в нежном возрасте оба мальчика были отправлены в Рим для получения образования и отданы под опеку выдающихся наставников. Старший учился красноречию и был доведен до адвокатуры, но умер в раннем возрасте двадцати лет. Сам Овидий тоже некоторое время изучал риторику у Арелия Фуска и Порция Латро, и результаты его обучения заметны в его поэмах;^[733] например, в речах Аякса и Улисса.^[734]

Сенека оставил интересный рассказ о его риторических способностях.^[735] "Я помню, - говорит он, - как слышал, как Назо декламировал в присутствии Арелия Фуска, учеником которого он был; ведь он был поклонником Латро, хотя его стиль отличался от его собственного. Стиль Овидия в то время можно было назвать не иначе как поэзией в прозе: тем не менее, он был настолько старателен, что перенес многие из его чувств в свои стихи. Латро сказал.

Mittamus arma in hostes, et petamus.

Назо писал

Arma viri fortis medios mittantur in hostes

Inde iubete peti.

Другую идею он позаимствовал из одной из суазорийских ораций Латро:...

Non vides uti immota fax torpeat et exagitata reddat ignes?

Овидий перефразировал эту иллюстрацию следующим образом.

Vidi ego jactatas mota face crescere flammam,

Et rursus, nullo concutiente, mori.

Когда он был студентом, считалось, что он хорошо декламирует".

На трогательную тему о муже и жене, которые поклялись не пережить друг друга, Сенека утверждает, что превзошел своего учителя в остроумии и таланте и уступал ему только в расположении тем. Затем он цитирует длинный отрывок, в котором Овидий анализирует принципы любви с мастерством и изобретательностью, достойными того, кто, будучи

поэтом, сделал любовь предметом своей песни, и с чистотой чувств, которая, если бы можно было пожелать, украсила сладость его стихов. Овидий предпочитал *спорам suasoriae* и этические темы;^[736] все споры были ему неприятны. В ораторском искусстве он был очень осторожен в употреблении слов: в поэзии он сознавал свои недостатки, но слишком любил их, чтобы исправлять". Затем он добавляет следующий забавный и характерный анекдот: "Когда однажды друзья попросили его стереть три строки, он согласился при условии, что сам будет волен сделать исключение в пользу трех. Он записал три, которые хотел сохранить, а его друзья - те, которые хотели стереть. Бумаги были изучены, и оказалось, что обе содержат одни и те же стихи. Педо Альбинован говорил, что один из них -

Semibovemque virum semivirumque bovem.

Другие...

Egelidum Borean, egelidumque Notum.

Таким образом, очевидно, что не хватало не только рассудительности, но и склонности к исправлению. Он защищался, говоря, что случайная родинка улучшает красоту. Первое из этих жалких измышлений теперь не встречается в его стихах. Вторая встречается в "Аморесе", но обычно ее читают так: "Et gelidum Borean.

Et gelidum Borean, egelidumque Notum;

или -

Et gelidum Borean, praeipitemque Notum.^[737]

Отец Овидия, придерживавшийся утилитарного взгляда на жизнь, как говорят, не поощрял развитие его поэтических талантов и клеймил служение Музам как бесплодное и невыгодное. Даже сам Гомер, по его словам, не оставил после себя никакого имущества. Овидий попытался выполнить пожелание отца; он покинул Геликон и попытался писать простую прозу. Все было напрасно; его слова спонтанно перетекали в числа, и все, что он пытался сказать, становилось поэзией. Его природный гений и способности проявились, когда он был еще совсем мальчиком; ведь он еще не надел *тогу вирилиса*. Когда он принял этот знак зрелого возраста, он был окаймлен широкой пурпурной полосой, обозначающей патрицианский орден; но, будучи неамбициозным и ленивым, он никогда не занимал места в сенате, хотя и занимал несколько магистратских и судебных должностей.

Его звание, состояние и таланты позволяли ему наслаждаться обществом людей с близкими вкусами. Он познакомился с лучшими поэтами своего времени. Мацер и Проперций читали ему свои сочинения. Понтий и Басс были гостями за его столом. Он сам слышал, как ему читали стихи Горация. Вергилия он только видел, а безвременная смерть Тибулла не позволила ему познакомиться с этим поэтом. Он был очень молод, когда его юношеские стихи стали очень популярны, и написал гораздо больше, чем опубликовал; он сжигал все, что ему не нравилось; а когда его приговорили к изгнанию, он с отвращением предал огню "Метаморфозы".

Сам он признается в своей природной восприимчивости и амурном темпераменте, но утверждает, что никогда не давал повода для скандалов. Он был трижды женат. Его первая жена была неподходящей и оказалась недостойной его, поэтому он развелся с ней. Со второй он тоже развелся, хотя на ее добродетель не возлагалось никаких обвинений. С третьей, которую, несмотря на ее непостоянство и неверность, он искренне любил, его разлучило только изгнание. Она принадлежала к роду Фабиев и родила ему одну дочь.

Эпикурец по своим вкусам, скептик, если не сказать неверующий в будущее государство, он вел жизнь в постоянном самообольщении и интригах. Он был всеобщим поклонником и столь же всеобщим любимцем женского пола в сладострастной столице; ведь тон женских нравов в ту эпоху был низок и развратен, и женщины поощряли разврат мужчин. Хотя его любимая любовница, которую он прославил под вымышленным именем Коринна, неизвестна, а все предположения относительно ее личности беспочвенны, нет сомнений в том, что она была дамой знатной и состоятельной.

Овидий был популярен как поэт, успешен в обществе и обладал всеми благами, которые может дать богатство. У него были вилла и поместье в родном Сульмо, дом на Капитолийском холме и пригородные сады, славившиеся своей красотой. В какой-то период своей жизни он путешествовал вместе с Матером по Азии и Сицилии; и в своем изгнании с печальным удовольствием вспоминает великолепные города первой, возвышенные пейзажи и классические места обитания второй.^[738] Эта солнечная жизнь в конце концов подошла к концу. Последним лучом счастья, о котором он говорит как о луче, озарившем его, стало известие о том, что его любимая дочь Перилла, которая была дважды замужем, во второй раз сделала его дедом. Когда его волосы поседел, и он достиг пятидесяти лет, то за какую-то провинность или неосмотрительность навлек на себя гнев Августа и был сослан в Томи (Томосвар или Баба).

Причина его изгнания покрыта мраком. Она не была неизвестна в Риме; но в своем изгнании он воздерживается от упоминания о ней, за исключением темных намеков, из опасения нанести дополнительную обиду императору.^[739] Он говорит об этом как о неосторожности (*ошибке*), а не преступлении (*scelus, facinus*;^[740]), как о чем-то, чему он случайно стал свидетелем,^[741] возможно, неосторожно рассказал - обстоятельство, которое глубоко и лично задело Августа и нанесло рану, которую он не желал разрывать заново. Он также намекает, что стал жертвой вероломства друзей и прислужников,^[742] обогатившихся за счет его гибели.

На этот сложный вопрос было выдвинуто множество догадок^[743]. Некоторые предполагают интригу со старшей Юлией, распутной дочерью Августа; но это едва ли согласуется с тем, как сам Овидий говорит о своей вине; кроме того, Юлия была изгнана в Пандатарию за восемь лет до этого. Изгнание младшей Юлии в Тимеру, примерно в то же время, что и изгнание Овидия, делает гораздо более вероятным, что его падение было связано с падением этой столь же распутной принцессы. Тирабоски предполагал, что он застал одного из членов царской семьи за каким-то неблагоприятным поступком; а некоторые даже воображали, что он мог стать свидетелем такого поведения самого императора. Драйден считал, что он случайно увидел Ливию в бане; а автор статьи в *Biographie Universelle*, а также Шелл,^[744] предполагают, что он был каким-то образом замешан в судьбе Агриппы Постума и тем самым навлек на себя ненависть Ливии и Тиберия.

Какова бы ни была причина, наказание было жестоким, если не считать преступления глубочайшего подтекста, и никогда бы не было применено мягким Августом, пока он находился под благотворным влиянием Мекенаса и его партии. Но в старости он подчинился пагубному правлению мрачного Тиберия и непримиримой Ливии. Поэтому любой предлог был достаточен, чтобы удалить того, кто по той или иной причине вызывал их вражду. Предполагаемой причиной была безнравственность его сочинений; но они не более безнравственны, чем сочинения Горация, и, кроме того, худшие из них были опубликованы за десять лет до этого. Да и нравственность самого императора была не настолько высока,

чтобы наказать столь сурово развратного поэта в развратный век. Исключение его произведений из библиотеки Палатина^[745] было заслуженным и более уместным наказанием. Тем не менее, это стало предлогом для изгнания, страдания которого утешались пустой насмешкой над сохранением его гражданских прав.

Томи находился на самой границе Римской империи, населенной гетами, которые были грубыми и нецивилизованными. Сама страна, бесплодная и безлесная пустошь, холодная, сырая и болотистая, от природы не дающая ничего, кроме полыни, и приносящая скудные урожаи неумелым трудом невежественных земледельцев, становилась еще более пустынной из-за частых набегов соседних диких племен, которые использовали отравленные стрелы и приносили в жертву своих военнопленных.^[746] Овидий, который при всех своих недостатках был ласков и нежен, был оторван от всех сладострастных удовольствий столицы, от симпатий единомышленников, которые могли оценить его таланты, и от объятий плачущей жены,^[747] среди голосов стенаний и молитв, которые наполняли каждый уголок его опустевшего жилища. Удар обрушился на него внезапно, как удар грома,^[748] и настолько ошеломил его, что он не мог сделать никаких приготовлений к путешествию. Время его отплытия было глубокой зимой, и он подвергся некоторой опасности из-за бури в Ионическом заливе. Климат его новой обители был таким же суровым, как и в Скифии. Не только Дунай, но даже море вблизи его устья было до некоторой степени покрыто льдом: даже вино замерзло в глыбах и разбивалось на куски, прежде чем его можно было использовать. Он прожил в изгнании всего десять лет; постоянные тревоги подтачивали его телесное здоровье; он страдал от томления, но не испытывал боли; он ненавидел любую пищу; то немного, что он ел, не переваривалось; сон подводил его; его тело стало бледным и истощенным, и так он умер. Томиты выразили свое уважение, воздвигнув гробницу в память о нем.

На фоне такого контраста между настоящим и прошлым неудивительно, что его жалобы кажутся почти жалкими и нечеловеческими, а его настоятельные прошения к Августу облечены в слишком пышную форму восхваления. Неудивительно, что он в самых ярких красках описывает историю своих бед и лишений. Однако он не был лишен ни терпения, ни стойкости: он полагался на независимость и бессмертие гения; и хотя удручающее воздействие роскошной и легкой жизни и нежная конституция сделали его жертвой печали, и он постепенно впал в уныние, все же у него хватало душевных сил облегчить свои горести преданностью Музе, и он страдал со спокойствием и покорностью. Поэзия была его помощницей во время бурного плаванья. Поэзия снискала ему любовь и уважение его новых сограждан, несмотря на их варварство^[749] и обеспечила ему почетную могилу.

Все дошедшие до нас поэмы Овидия, за исключением "Метаморфоз", элегические. Это был самый популярный в то время метр. Все мелкие поэты, его современники, писали в нем. Одно из самых ранних его произведений - "Аморы", сборник элегий, большинство из которых адресовано его любимой любовнице Коринне. Некоторые из них, однако, были написаны позже его "Посланий" и "Искусства любви".^[750] В предисловии к эпиграмме говорится, что первоначально книг было пять, но впоследствии автор сократил их до нынешнего числа - трех. Распушенность обезображивает эти летописи его походов; но они полны свежести и оживленности молодости, сверкают изяществом и изобретательностью.

Двадцать один *Epistolæ Heroidum*, то есть Послания к женщинам и от женщин героического века, представляют собой серию любовных писем: их характерная черта - страсть, пылкость которой иногда сдерживается чересчур вымученными представлениями и чрезмерной утонченностью. По сути, это самые отточенные усилия того, чья природная леность часто не позволяла ему тратить время и силы на работу по исправлению и корректировке, которая отличала Вергилия. Их большое достоинство заключается в удивительной аккуратности, с

которой выражены чувства, и сладости стихосложения; их большой недостаток - отсутствие разнообразия. Предмет неизбежно ограничивает темы. Их диапазон ограничивается сетованиями на отсутствие любимого объекта, муками ревности, опасениями непостоянства, выражениями горячей привязанности, описанием радостей и горестей любви.

За исключением "Метаморфоз", "Послания" стали более любимыми, чем любое из произведений Овидия. Некоторые из них были переведены Дрейтоном и лордом Херви. Прекрасный перевод Поупом послания Сапфо к Фаону знаком всем; а его трогательная картина борьбы между страстью и принципом в письме Элоизы к Абеляру частично обязана своим вдохновением Посланиям Овидия.

Во времена Овидия в любви не было ничего рыцарского или чистого - она была плотской, чувственной. Эпоха, в которую он жил, была нравственно загрязнена, и он был не лучше и не хуже своих современников. Каким бы великим и благородным ни был характер римской матроны, очарование образованной женщины было почти такой же редкостью, как и в Афинах. Она обладала безупречными достоинствами, но ей не часто удавалось очаровать тех, кто считал женщину служительницей мужских удовольствий. Она была мудрой, самоотверженной, патриотичной, мужественной, преданной матерью, ласковой женой, и мужчина героического склада ценил такую спутницу своей судьбы, как она. Но те, кто искал лишь соблазнов страсти, стремились лишь к меркантильным удовольствиям и чувственным наслаждениям. Отсюда грубость, характерная для "Искусства любви" Овидия. Наставления, содержащиеся в первых двух книгах, обращенных к мужчинам, подходят только для обольстителя. Привороты, изложенные в третьей, подходят только для брошенных особ другого пола.

За "Искусством любви" в одной книге последовали "Средства любви": "Пусть тот, - говорит он, - кто научил вас любить, научит вас и лечению; одна рука нанесет рану, а другая - бальзам. Земля производит вредные и полезные травы; роза часто соседствует с крапивой".

Его "Метаморфозы" были только что закончены и еще не исправлены,^[752] когда произошло его падение. В отчаянии он сжег их, но, к счастью для мира, появилось несколько копий. После этого он молился, чтобы они сохранились, чтобы напоминать читателям о несчастном авторе. Метаморфозы" состоят из пятнадцати книг и содержат ряд мифологических повествований от древнейших времен до переселения души Юлия Сезара с земли на небо и его метаморфозы в звезду. Эта поэма - самое благородное произведение Овидия: она настолько близка к эпической форме, насколько это возможно при таком количестве естественно не связанных между собой эпизодов. Во многих частях, особенно в описаниях, мы не просто восхищаемся его природной ловкостью в создании стихов, но живописной правдивостью и силой - богатейшая фантазия сочетается с величием и достоинством. Среди самых прекрасных частей можно перечислить историю Фаетона, включая великолепное описание Дворца Солнца;^[753] золотой век;^[754] историю Пирама и Этобы;^[755] домик и деревенские привычки Бауциса и Филемона,^[756] Нарцисс у фонтана;^[757] мощно набросанная картина пещеры сна,^[758] Дедал и Икар,^[759] Цефал и Прокрис,^[760] и солилок Медеи.^[761] В этой поэме, в особенности, можно проследить то изучение и усвоение, благодаря которому римские поэты сделали все сокровища греческой литературы своими. Фактически, из нее можно почерпнуть более обширные знания о греческой мифологии, чем от самих греков, потому что книги, которые были источниками его информации, к сожалению, больше не сохранились.

Фасты" - античная поэма о римском календаре. Первоначально предполагалось, что она будет состоять из двенадцати книг, по одной на каждый месяц года, но завершены были только первые шесть:^[762] --...

Sex ego Fastorum scripsi totidemque libellos

Cumque suo finem mense volumen habet.

Это прекрасный образец простого повествования в стихах, и в большей степени, чем другие его произведения, демонстрирует его способность рассказывать историю без малейших усилий, как в поэзии, так и в прозе. Как глубокое изучение греческой мифологии и поэзии послужило материалом для его "Метаморфоз" и других поэм, так и в этом произведении он черпал в основном из легенд, которые сохранили старые поэты и летописцы его собственной страны.

Пять книг "Тристий" и четыре книги "Посланий из Понта" были излияниями его скорбного сердца в мрачный вечер его дней. Лишенные блеска, остроумия и гениальности, которые исходили от его радостного духа в пору его процветания, лишенные изящной и вдохновенной плаксивости античных образцов, они, тем не менее, задуманы в духе греческой элегии - они произносят голос жалобы и заслуживают горацанского эпитета *miserabiles*.^[763] Для него было естественно выражать свои надежды и отчаяние в песнях: он резвился, как насекомое под солнцем процветания. Он был слишком хрупким, нежным и женственным, чтобы выдержать бурю невзгод, - его бабочковый дух был сломлен; но, при всех его недостатках, это разбитое сердце было способно на самые нежные чувства, и его письмо к дочери Перилле^[764] полно чистоты и сладости. Небрежность того, кто не взял на себя труд исправиться и сознавал свою опасную способность, компенсируется сочувствием, которое вызывают его естественные жалобы, и сильными описаниями, которые иногда оживляют монотонность, неотделимую от скорби.

Его небольшие стихотворения состоят из элегической поэмы "Nux", в которой ореховое дерево сетует на свою тяжелую судьбу и плохое обращение, которое оно получает; длинной и горькой сатиры под названием "Ибис" на какого-то врага или, возможно, неверного друга; поэмы о косметике (*Medicamina faciei*;^[765]) и о рыбалке (*Halieutica*;^[766]) и обращения с соболезнованием к Ливии Августе. Однако ни одно из этих трех последних произведений не признано подлинным. Другие произведения, ставшие плодом его плодовитого гения, погибли. Во время своего изгнания он приобрел достаточное знание гетского языка, чтобы написать на нем несколько стихотворений; они были так же популярны среди варваров, как и его латинские произведения в Риме. Наконец, он был автором "Медеи", трагедии, о которой Квинтилиан говорит, что она показывает, на какие великие произведения он был способен, если бы был готов обуздать, а не дать волю пышности своего гения.^[767] Сохранились только две строки; но мы можем судить о концепции, которую он сформировал о характере Медеи, по эпистоле в "Героидах" и ее необычайно трагическому солилоквию в "Метаморфозах".

Овидий был сладострастником, но не бессердечным. Век, в котором он жил, был столь же безнравственным, как и он сам, и гораздо более грубым; поэтому он не был ни развратителем, ни соблазнителем. Его поэзия была популярна не только благодаря своей красоте, но и потому, что в точности соответствовала духу времени. Его остроумие иногда противоречило хорошему вкусу, но оно не было вынужденным и неестественным. Он был предан видимости, а не реальности жеманства, пышности, требующей обрезки, на которую у него не было ни терпения, ни склонности. Он набирался знаний у древних и черпал их вдохновение; но их суровый вкус был для него путями, которым он был слишком своеволен и самодоволен, чтобы подчиниться. Распространенный вкус к элегической поэзии указывал

на стиль, который подходил ему по калибру; ведь нельзя не чувствовать, что его гений был неспособен овладеть гигантскими пропорциями настоящего эпоса и, несмотря на благосклонную критику Квинтилиана, взлететь до возвышенности трагедии.

Граций Фалиск.

Цинегетика Гратия, которого обычно, хотя и без всяких оснований, называют Фалиском, может претендовать на место рядом с Галиэтикой Овидия по своему сюжету, но не по гениальности, поэтичности или языку. Об этом авторе ничего не известно, кроме того, что Овидий говорит о нем как о современнике.^[768] Поэма героическая, состоит из 536 строк: стиль ее жесткий и прозаический; в ней описываются оружие и искусство погони, лошади и гончие; но наука скорее греческая, чем итальянская, а сведения, содержащиеся в ней, в основном заимствованы у Ксенофонта.^[769]

Педо Альбинован.

Другим поэтом овидиевой эпохи был его верный друг К. Педо Альбинован. Он был всадником,^[770] и, в отличие от большинства своих современников, эпическим поэтом.^[771] Овидий в своих Посланиях из Понта,^[772] которые адресованы ему, применяет к нему эпитет "Сидерей", либо потому что он написал астрономическую поэму, либо потому что его возвышенный язык взмывал в звездные небеса. Марциал говорит о нем как о писателе эпиграмм длиной в две страницы.^[773] Фрагмент эпической поэмы, описывающей путешествие Германика, о котором рассказывает Тацит, сохранился у Сенеки.^[774] Ему обычно приписывают три элегии; но их стиль относится к более современным временам, а авторитет их подлинности весьма подозрителен.

А. Сабинус.

Другим современником Овидия был А. Сабин; все, что известно о нем, почерпнуто из двух отрывков в произведениях первого поэта.^[775] В одном из них,^[776] он сообщает, что Сабин написал ответы на шесть посланий Героиды. Ни одно из них, однако, не сохранилось. Три, которые утверждают, что написаны им, под названием "Улисс к Пенелопе", "Демофон к Филлиде" и "Парис к Сенеке", являются работой Ангелуса Сабинуса,^[777] филолога и поэта XV века.

Овидий приписывает ему еще два произведения в отрывке, где он говорит о своей смерти.^[778] Одно из них, озаглавленное Træzen, вероятно, было эпической поэмой, героем которой был Тесей;^[779] другое, Dierum Opus, было продолжением "Фастов" Овидия. В этот период процветали и другие элегические поэты, такие как Прокул и Монтан; но их поэтические таланты были слишком заурядны, чтобы заслуживать особого упоминания. Они не налагают никаких обязательств на литературу и не вносят никакого вклада в иллюстрацию литературного характера своего времени.

М. Манилий.

Астрономическая и астрологическая поэма Манилия представляет собой ряд тех исторических проблем, которые еще никогда не были удовлетворительно решены. Автора поочередно путают со всеми, кто упоминается в римских записях как носитель этого имени, и во всех случаях с одинаково малым основанием. Никто не знает, когда он процветал, где

жил и из какой местности был уроженцем. Бентли определил, что он был азиатом; Гюэ - карфагенянином. Внутренние свидетельства делают наиболее вероятным, что он жил в царствование Тиберия;^[780] и все же ни он, ни его поэма никогда не упоминаются ни одним древним автором. Его произведение было обнаружено лишь в начале пятнадцатого века; вероятно, оно никогда не публиковалось, а было сделано лишь несколько копий, некоторые из которых прекрасно сохранились.

Философские принципы поэмы относятся к стоическому пантеизму. Поскольку единый принцип жизни пронизывает всю вселенную, существует тесная связь между небесными и земными вещами. Вследствие этой связи астролог может определить ход последних, наблюдая за небесными телами. Вместе со всеми предположениями и нелепостями астрологии здесь смешаны обширные знания о состоянии астрономической науки в его время: отблески истины, как метеоры, пробиваются сквозь тьму. Тема, которую он выбрал, столь же бесперспективна для поэтического эффекта и приукрашивания, как и тема Лукреция; но он не справляется с ней так успешно: у него нет ни смелости мысли, ни достоинства языка, ни образного величия, которыми отличался старый поэт-философ. Поэма не закончена, и, вероятно, своей грубостью и неясностью она обязана тому, что ее никогда не исправляли для публикации.

ГЛАВА IX.

ПРОЗАИКИ - ВЛИЯНИЕ ЦИЦЕРОНА НА ЯЗЫК - ЕГО ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ - ЕГО РАННЯЯ ЖИЗНЬ - ЕГО ПЕРВОЕ ДЕЛО - КВЕСТОР, ЭДИЛ, ПРЕТОР И КОНСУЛ - ЕГО ИЗГНАНИЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОВИНЦИЕЙ - ЕГО КОЛЕБЛЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ - ОН ПРОИЗНОСИТ СВОИ ФИЛИППИКИ - ЕГО ПРЕСЛЕДУЮТ И УБИВАЮТ - ЕГО ХАРАКТЕР.

Поскольку ораторское искусство придало латинской прозе элегантность и достоинство, Цицерон - не только представитель периода расцвета языка, но и главная причина его доведения до совершенства. Обстоятельства могли благоприятствовать его влиянию. Возможно, национальный ум находился на той стадии прогресса, для развития которой нужен только гений-мастер; но все же именно он придал языку определенный характер, показал своим соотечественникам, что такое красноречие в его сочетании с предписаниями искусства и принципами естественной красоты; что такое энергичность латыни и к какому изяществу и блеску она способна.

Его век не был веком поэзии; но он проложил путь для поэзии, наделив язык теми достоинствами, которые необходимы для его совершенства. Он освободил его от грубости и резкости и приучил образованные классы даже в повседневном общении использовать язык, который никогда не вызывал грубых мыслей, но был пригоден для чистых и благородных чувств. До его времени латынь была просторечной и, следовательно, энергичной; но наказанием за это было то, что она иногда была грубой и даже непристойной. Во времена Цицерона разговорный язык высших классов стал в высшей степени изысканным: он почти не допускал оскорбительных выражений. Истинность этого утверждения очевидна из тех его произведений, которые носят привычный характер: из его наглядных "Диалогов", в которых он описывает обстоятельства так естественно, как если бы они действительно имели место; из его писем к Аттику, в которых он открывает тайные мысли своего сердца своему самому близкому другу, своему второму "я". Цицерон очистил язык как морально, так и эстетически. Именно развратная распущенность поэтов унизила

удовольствия воображения, потворствуя страстям сначала деликатно завуалированным языком, а затем открытой и отвратительной чувственностью.

Возможно, нам, для которых религия рассматривается как откровение, отделенное от философии, и которые считают философское исследование моральных вопросов отличным от религиозного взгляда на мораль, трудно составить адекватное представление о чистой и почти святой природе бесед Цицерона и его выдающихся современников. Для них философия была созерцанием природы и атрибутов Высшего Существа. Метафизический анализ внутренней природы человека был исследованием бессмертия и доказательством существования другой жизни. Катон, например, в последние минуты жизни читал "Федота" Платона в том же серьезном духе, в каком христианин читает слова вдохновения. Этика изучала санкции, с помощью которых Бог поддерживал долг и просвещал совесть. Это были самые высокие темы, в которых мог разбираться человеческий разум. Если бы люди собирались вместе, как это было принято у Цицерона и его друзей, и проводили часы досуга в подобных дискуссиях, это было бы то же самое, как если бы христиане сделали великие истины Евангелия предметом общественных бесед.

Опять же, если мы рассмотрим характер их легких бесед, когда они переходили от философии к литературе, - это были не просто сплетни о популярной литературе того времени - они не ограничивались произведениями, написанными на родном языке, - они охватывали всю область литературы чужого народа. Они говорили о поэтах, ораторах, философах и историках, которые были для них древними, как и для нас. Тогда они не считали тему иностранной и древней литературы скучной или педантичной. Они не считали необходимым, чтобы разговор был пустяковым или несерьезным, чтобы быть развлекательным.

Влияние, которое Цицерон оказал на литературу своего времени, было не просто обширным, но и постоянным. Великие люди, для которых он был лидером и проводником, уловили его дух. Его влияние сохранялось до тех пор, пока внешние политические причины не уничтожили красноречие, а на его место не пришла холодная и формальная риторика: оно ощущалось почти до тех пор, пока язык не испортился от примеси варваризмов. Ее можно заметить в солдатской простоте Сезара, в иродотеанском повествовании Ливия, а ее сладость без рассеянности иногда украшает рефлексивные страницы Тацита.

В ограниченном пространстве трудно отдать справедливость Цицерону, даже как литератору; такова многогранность его гения, такова его неутомимая деятельность, таков обширный круг тем, которых он касался и которые украшал. Конечно, поэтому невозможно сделать больше, чем беглый взгляд на главные события его политической карьеры или на его общественный характер, поскольку его история - это, по сути, история его бурных и критических времен.

М. Туллий Цицерон (родился в 106 году до н. э.)

На берегу бесшумной и плавно текущей^[781] Лирис (Гарильяно), недалеко от Арпинума, родины Мария,^[782] жил римский рыцарь по имени М. Туллий Цицерон. Знатное наследственное имение позволяло ему посвящать свое время литературным занятиям. У него было два сына: старший, носивший имя отца, родился 3 января 106 года до нашей эры. Второй, Квинт, был примерно на четыре года младше. Поскольку оба, а Марк особенно, проявляли быстрые таланты и живой нрав, а также подавали надежды унаследовать вкус отца к учебе, он переехал в Рим, когда Марку было около четырнадцати лет. Мальчики получили образование вместе со своими двоюродными братьями, молодыми Акулеями.^[783] К. Илий^[784] обучал их грамматике; ученые греки наставляли их в философии; а поэт Архиас

упражнял их в технических правилах стихосложения, хотя ему и не удалось привить им поэтическое вдохновение. Квинт гордился своим поэтическим мастерством; до наших дней сохранилась его поэма о двенадцати зодиакальных знаках.^[785] Цицерон в юности также обладал поэтическим вкусом; в переводах с греческого, которые мы встречаем в его произведениях, есть большое изящество. Он написал поэму в гекзаметрах, озаглавленную "Понтий Глаук", в качестве своего рода юношеского упражнения, которая сохранилась во времена Плутарха; также в молодости он восхвалял Мария.

Приняв тогу virilis в шестнадцать лет, М. Т. Цицерон усердно посещал форум и, тщательно упражняясь в сочинении, перенял красноречие знаменитых ораторов, которых он слышал, а из лекций и советов К. Муция Сцевола он почерпнул принципы римской юриспруденции.

Он мало служил в армии своей страны: его единственная кампания^[786] была совершена при отце Помпея Великого во время социальной войны. В течение оставшегося периода родосский ритор Моло обучал его ораторскому искусству, а стоик Диодот, эпикурец Федр и Филон, возглавлявший Новую академию в Афинах, были его учителями в области философии. Различные школы, принципы которых он таким образом усвоил, привели к эклектизму, который характеризует его философское вероучение. Кровавая эпоха Марианской и Сулланской войны прошла для него в учебе: он не вмешивался в политику, и плоды его отшельничества сохранились в трактате de Inventione Rhetorica.

В двадцать пять лет он впервые выступил в суде^[787] и в следующем году защищал С. Росия Америкоского; но его телосложение было недостаточно крепким, чтобы выдержать большие нагрузки. Поэтому друзья убедили его отправиться в путешествие, и он решил провести некоторое время в Афинах.^[788] Была и другая причина для такой рекомендации. Его мужественная защита Росция вызвала враждебность Хрисогона, сторонника Суллы, и поэтому ему было опасно оставаться в Риме. В сопровождении своего брата Квинта^[789] он нашел проживающего там Помпония Аттика, который впоследствии стал его самым близким другом. Из Афин он отправился в Азию и на Родос, посвятив свое время ораторскому искусству, поскольку в Афинах он изучал в основном философию. Из Азии он вернулся в Рим^[790] с улучшенным здоровьем и окрепшим организмом; там он нашел мощного соперника в качестве оратора в лице Гортензия, который тогда находился в зените своей популярности.

Как только он стал достаточно взрослым,^[791] его избрали квестором, и ему была выделена провинция Сицилия. Во время исполнения этой должности необычайная мягкость и честность его управления расположили к нему провинциалов, а рассудительность, с которой он регулировал поставки кукурузы из римской житницы, снискала ему равный авторитет среди соотечественников. Именно во время пребывания на Сицилии его любовь к античности была удовлетворена открытием гробницы Архимеда.^[792] По возвращении домой^[793] он возобновил свою судебную практику: в 70 г. до н. э. он стал защитником своих старых друзей, сицилийцев, и подверг Верреса, который был претором Сиракуз, импичменту за притеснения и злоупотребления в управлении. В следующем году^[794] он триумфальным большинством голосов был избран курульным эдилом. В праздновании игр, которые относились к компетенции этого магистрата, он проявил большое благоразумие, избегав пышных расходов, которым многие привыкли предаваться, и в то же время никто не мог обвинить его в подлости и нечистоплотности.

В 67 году до н. э. он получил должность претора и, несмотря на судебные обязанности, защищал Клуентия. До этого его речи носили исключительно судебный характер. Теперь он впервые проявил себя как оратор-рассуждатель и поддержал Манилийский закон, по

которому Помпей, к огорчению аристократической партии, получил главнокомандующего в Митридатской войне.

Теперь главной целью его честолюбия было консульство, которое казалось почти недоступным *для нового человека*. Поскольку все трудности и предрассудки были на стороне аристократической партии, единственной надеждой преодолеть их было горячо поддержать дело народа.

Катилина и К. Антоний, которые были его главными конкурентами, образовали коалицию, их поддержали Цезарь и Красс, но влияние Помпея и народной партии взяло верх, и Цицерон и Антоний были избраны. Он вступил в должность 1 января 63 года до н. э. В этот период, пожалуй, моральные качества его характера наиболее высоки, а его гений сияет самым ярким блеском.

Заговор Катилина стал великим событием его консульства; заговор, который его историк без колебаний назвал войной. Однако эта война была подавлена в беспрецедентно короткий срок, и великолепный триумф был одержан над столь грозным врагом тем, кто носил мирную *тогу*, а не генеральские одеяния. Благоразумие и такт гражданского человека сослужили такую же хорошую службу, как смелость и решительность солдата. Аплодисменты и благодарность его сограждан были беспредельны, и все в один голос называли его отцом своей страны. Один только поступок сделал его открытым для нападков и, по сути, стал причиной его гибели. Нет сомнений в том, что он был неконституционным, хотя в сложившихся обстоятельствах его можно было оправдать и, возможно, едва ли можно было избежать. Этот акт заключался в казни Лентула, Цетегуса и других зачинщиков без вынесения им приговора комицией. Сенат, видя, что опасность неминуема, наделил Цицерона и его коллег полномочиями сделать все, что потребуют обстоятельства государства (*videre ne quid res publica detrimenti caperet*); и хотя именно Цицерон рекомендовал эту меру и приводил доводы в ее пользу, именно сенат вынес приговор и решил, что, будучи предателями, заговорщики лишились своих прав граждан.

Благодарный народ ясно видел это; и когда Метелл Целер, один из трибунов, хотел помешать Цицерону дать отчет о своем правлении в конце консульского года, он поклялся, что спас свою страну, и его клятва была подтверждена рукоплесканиями толпы. Это был великий триумф, и в более печальные времена он вспоминал о нем с оправданным самодовольством.^[795] Теперь он, как будто его миссия была выполнена, отказался от всех общественных званий, кроме звания сенатора: но он не избежал опасности; вскоре он подверг себя непримиримой мести могущественного и беспринципного врага. Печально известный П. Клодий Пульхер вторгся в женском наряде на обряд *Vona Dea*, который праздновался в доме Цезаря. Подозрение пало на жену Цезаря, и в результате последовал развод.^[796] Клодий был привлечен к суду по обвинению в святотатстве и заявил о своем алиби. Однако Цицерон доказал его присутствие в Риме в тот самый день, когда, по утверждению обвиняемого, он находился в Интерамнуме.

Хотя вина Хлодия была полностью доказана, его влияние на коррумпированные римские суды оказалось достаточно сильным, чтобы добиться оправдательного приговора. Отныне он никогда не мог простить Цицерона и решил погубить его. Он усыновил себя в плебейской семье и, получив право на участие в трибунате, был избран в эту магистратуру в 59 году до н.э. Не успели его назначить, как он предложил законопроект о признании вне закона любого, кто стал причиной казни гражданина без суда. Цицерон сразу же понял, что этот удар направлен против него самого. Он отвратил Сезара своим политическим кокетством; лживый и корыстный Помпей отказался помочь ему в беде; сломленный духом, он бежал в

Брундизий,^[797] и оттуда в Фессалонику. Перед бегством он имел беседу с Помпеем, но она не привела ни к каким результатам.^[798] Он поклялся помогать ему, пока чувствовал опасность, чтобы не присоединиться к партии Цезаря; но когда он увидел, что его враги добились успеха, он покинул его.

В его отсутствие было принято решение о его изгнании, а его городские и деревенские дома были отданы на разграбление. Нельзя отрицать, что во время изгнания он проявлял слабость и слабоволие: неудачи так действовали на его разум, что его даже считали сумасшедшим.^[799] Его великим недостатком было тщеславие, этот порок он сам признавал и признавал;^[800] и разочарование тщеславие было причиной его несчастий. Он мог вынести все, что угодно, лучше, чем потерю народных аплодисментов; и в этом случае, как ни в каком другом, он дал основание утверждать, что "ни одно из своих бедствий он не переносил как человек, кроме своей смерти". Рим, однако, не мог забыть своего хранителя; в следующем году он был отозван и с триумфом въехал в Рим под громкие возгласы собравшегося народа.^[801] Однако ему пришлось обеспечивать восстановленное процветание с помощью политических тергиверсий. Меры триумvirата, на которые он раньше нападал с особой яростью, он теперь без колебаний одобрял и защищал.

После возвращения^[802] он получил место в Коллегии авгуров; сан, которого он страстно желал до своего изгнания и для получения которого предлагал почти любые условия Цезарю и Помпею.^[803] В следующем году, вопреки его желанию, ему была выделена провинция Киликия. Обвинитель Верреса действовал строго в соответствии с высокими и благородными принципами, которые он исповедовал. Его управление было образцовым: коррупция была пресечена, обиды исправлены, правосудие беспристрастно отправлено. Те великие случаи, когда он был вынужден действовать под свою ответственность и прислушиваться к велениям своей прекрасной души, "*seine schöne seele*", его чистого, честного и неподкупного сердца, являются яркими моментами в карьере Цицерона. Чрезвычайная ситуация преодолела его конституционную робость.

В 49 году до н. э. он вернулся в Рим и, оказавшись в положении, когда мог спокойно наблюдать за течением дел и беспристрастно определять, какое участие ему следует в них принимать, и следует ли вообще принимать какое-либо участие, его слабый, колеблющийся, неустойчивый нрав снова одержал над ним верх. Он не хотел поступать бесчестно, но и не был настолько рыцарским, чтобы сразу отбросить то, что было бесчестным. Теперь между Цезарем и Помпеем шла открытая война, и он не мог решить, к кому примкнуть.^[805] Он чувствовал, вероятно, что энергия, способности и твердость Сезара увенчаются успехом; и все же его друзья, его партия и его собственное сердце были на стороне Помпея, и он боялся презрения, которое обрушится на него, если он откажется от своих политических взглядов. В нем не было суровых, непреклонных принципов Катона, но страх перед тем, что скажут о нем люди, делал его тревожным и несчастным. Долго шла борьба между осторожностью и честью, но в конце концов честь победила осторожность. Приняв решение, он отправился в лагерь Помпея, но никак не мог воспрянуть духом и не надеялся на результат. Он сразу понял, что Фарсалия навсегда решила вопрос, и поспешил в Брундизий, где ожидал возвращения завоевателя. Долго пришлось ему оставаться в напряжении, но наконец великодушный Цезар освободил его от него полным и бесплатным помилованием.

И вот теперь его характер снова возвысился, а его хорошие качества получили возможность проявиться. Больше не было равновесных партий, чтобы возродить раздоры, которые раньше отвлекали его ум, и обстоятельства времени не требовали его активного вмешательства в дела своей страны; но он был так же велик в упражнении своих созерцательных способностей, как и в самый яркий период своей политической жизни. Те

же недостатки, возможно, можно обнаружить и в его философских рассуждениях: та же нерешительность, которая сделала его неспособным быть государственным деятелем или патриотом, привела его к скептическому эклектизму в философии. Истина была для него столь же изменчива, как и политическая честность; но он всегда выступает защитником и сторонником смирения, стойкости, чистоты и добродетели.

До сих пор он страдал как государственный человек, теперь его подкосили домашние невзгоды. Ссора с женой Теренцией закончилась разводом:^[806] так легко в Риме можно было разорвать брачные узы. Его второй женой стала его собственная подопечная - молодая женщина с большим состоянием; но несходство лет и нравов не позволило этой связи продлиться долго. В 45 году до н. э. он потерял свою дочь Туллию. Удар был ошеломляющим: он тщетно пытался успокоить свое горе в лесистых уединениях своей приморской виллы в Астуре, и прошло немало времени, прежде чем убитый горем отец нашел утешение в философии.

Политический кризис, разразившийся после убийства Цезаря, заставил его опасаться за свою личную безопасность: он задумал отправиться в Грецию, но, будучи привязанным к ветру в Регию, надежды на соглашение между Антонием и сенатом (надежды, которым не суждено было сбыться) побудили его вернуться. Антоний покинул Рим, а Цицерон выступил с потоком возмущенных и красноречивых инвектив - своими двенадцатью филипповскими орациями.^[807] Он снова стал народным кумиром - толпы аплодирующих и восхищенных сограждан сопровождали его на Форуме в виде триумфальной процессии, как и при его возвращении из изгнания. Но вскоре образовался второй триумвират. Каждый из членов с готовностью отказался от друзей, чтобы удовлетворить месть своих коллег, и Октавий пожертвовал Цицероном.

История его смерти коротка и печальна. Он наслаждался литературным отдыхом на своей тускуланской вилле, когда друзья предупредили его о приближающейся судьбе. Он был слишком великим философом, чтобы бояться смерти, но слишком высокопринципиальным и покорным Божественной воле, чтобы совершить самоубийство. Тем не менее он едва ли считал жизнь достойной сохранения: "Я умру, - говорил он, - в своем отечестве, которое я так часто спасал". Однако по просьбе брата, к которому он был нежно привязан, он попытался бежать. Сначала он отправился через всю страну в Астуру, а там сел на корабль. Погода была бурной, и так как он сильно страдал от морской болезни, он снова высадился в Гаэте. Вероломный вольноотпущенник предал его, и когда его несли в санях, его настигли преследователи. Он не позволил своим сопровождающим оказать сопротивление, но терпеливо и мужественно подчинился мечу убийц, которые отрубили ему голову и руки и отнесли их Антонию. Дикая радость сверкнула в глазах триумвира при виде этих кровавых трофеев. Его жена, Фульвия, с нечеловеческим восторгом любовалась бледными чертами лица и в мелкой злобе пронзила иглой этот некогда красноречивый язык. Голова и руки были прикованы к трибуне, которая так часто была свидетелем его непревзойденного красноречия. Все, кто проходил мимо, оплакивали его смерть и давали волю своим нежным чувствам.

Хотя невозможно не замечать многочисленные недостатки Цицерона, немногие люди были более опошлены и искажены, а суждения античности в целом были неблагоприятны. Он был тщеславен, непостоянен, непостоянен, конституционально робок и жертва болезненной чувствительности; но он был откровенен, правдив, справедлив, великодушен, чистосердечен и сердечен. Его приветливость, под влиянием робости, привела к тому, что он стал придавать слишком большое значение общественному признанию и благосклонности; это ослабило его нравственное чувство и инстинктивную любовь к добродетели. То, что он

обладал героизмом, доказывает его защита Росция, хотя его противником был фаворит грозного Суллы. Он не был полностью лишен решительности, иначе не стал бы так быстро выражать свое одобрение убийцам Сезара как тираноубийцам. У него хватало решимости бороться со своей чрезмерной чувствительностью и мудрости, чтобы понять, что умственное занятие - лучшее средство от нее; в разгар рассеянности и тревог того насыщенного событиями и критического года, который предшествовал консульству Гирция и Пансы, из-под его пера вышло почти невероятное количество произведений.^[808]

Его политическую непоследовательность и нерешительность можно объяснить многими обстоятельствами. С самого начала он склонялся к аристократической партии, но увидел, что они узко мыслят и отстают от своего века. Все патриции, за исключением Суллы и его небольшой партии, были на стороне народа. Он гордился своей связью с Марием, а его друг Сульпиций Руф, которым он очень восхищался, присоединился к марианцам. По этим причинам Цицерон был непоследователен как политик. Кроме того, в периоды революционных потрясений умеренные люди вызывают отвращение у обеих сторон; и все же для философского характера, способного спокойно и беспристрастно взвесить достоинства и недостатки обоих, было невозможно горячо сочувствовать ни одному из них. Цицерон видел, что оба неправы: он был слишком умерен, чтобы одобрять, слишком честен, чтобы изображать рвение, которого не чувствовал, и поэтому не мог определиться.

Кроме того, обладая большой доброжелательностью и твердой верой в добродетель, сам не признавал коварства и не думал зла о других. Поэтому он принимал лесть за искренность, а комплименты за доброту. Он был тщеславен, но тщеславие - слабость, не свойственная великим умам, а в случае с Цицероном его подпитывал единодушный голос общественного одобрения.

Как адвокат он с удовольствием защищал, а не обвинял.^[809] Только в трех из двадцати четырех своих ораций он выступал в роли обвинителя.

Нежный, сочувствующий и ласковый, он жил как патриот и умер как философ.

ГЛАВА X.

ЦИЦЕРОН НЕ ИСТОРИК - ЗАЩИТА ЕГО ОРАТОРСКОГО СТИЛЯ - ЕГО ГЛАВНАЯ ПРЕЛЕСТЬ - ЗАМЕЧАНИЯ О ЕГО СУДЕБНЫХ ОРАТОРСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ - ЕГО ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО В ОСНОВНОМ СУДЕБНОЕ - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРАТОРСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ - РИТОРИЧЕСКИЕ ТРАКТАТЫ - ПРЕДМЕТ ЕГО ФИЛОСОФСКИХ ТРУДОВ - ОСОБЕННОСТИ РИМСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - ФИЛОСОФИЯ ЦИЦЕРОНА - ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ - ПИСЬМА - ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ - ВАРРО.

Таковы были жизнь и характер Цицерона. Место, которое он занимает в истории римской литературы, - это место оратора и философа. Уже говорилось, что у него был некоторый вкус к поэзии: в самом деле, без воображения он вряд ли смог бы стать таким выдающимся оратором; но хотя власть, которой он обладал над прозой, была неодолимой, у него не хватало фантазии, чтобы придать поэтический характер языку.

Несмотря на разносторонность своих талантов, он также не обладал вкусом к историческим исследованиям. Он с удовольствием читал греческих историков, с той же целью, с какой изучал аттических ораторов, - просто как инструмент интеллектуального воспитания; но он был невежественен в римской истории, потому что не проявлял интереса к оригинальным исследованиям. Его соотечественники^[810] ожидали от него исторического труда, но он оказался непригоден для этой задачи. Из его "Республики" ясно видно, как мало он знал как антиковед.

Величайшая похвала стилю оратора - сказать, что он был успешен. Цель и задача ораторского искусства - убеждать и уговаривать, приковывать внимание слушателя и овладевать умами людей. Поэтому, если кто-то, изучая речи Цицерона в шкафу, найдет недостатки в его стиле, он должен помнить, что сами эти недостатки соответствовали цели, которую он претворял в жизнь. В процессе возведения общественного вкуса на высшую ступень, он своих слушателей с собой: он не слишком опережал события; он не направлял свои стрелы слишком высоко; они попадали в голову и сердце. Сенат, судьи, народ понимали его аргументы и чувствовали его страстные призывы. По сравнению с достойной энергией и величественной силой афинского оратора, азиатская пышность некоторых его ораций может утомить трезвый и уравновешенный вкус современного классического ученого; Но чтобы сформировать справедливую оценку, он должен мысленно перенестись в волнение переполненного Форума, в сенат, состоящий не из пожилых, почтенных людей, а из государственных деятелей и воинов в расцвете сил, обезумевших от партийного духа революционных времен, в присутствии присяжных *заседателей*, столь же многочисленных, как и совещательное собрание, чья должность заключалась не просто в спокойном вынесении вердикта о виновности или невиновности, но которые были наделены как представители суверенного народа прерогативой помилования или осуждения.

При таком рассмотрении его самые яркие пассажи покажутся свободными от жеманства - это естественный поток оратора, увлеченного потоком своего энтузиазма. Мелодичные подъемы и спады его периодов - результат не искусного эффекта, а истинного и музыкального слуха. Несомненно, среди его ранних ораций можно найти отрывки, несколько излишне декламационные и не соответствующие тем принципам, которые он изложил впоследствии, когда его вкус стал более зрелым, и когда он взялся за научное изложение теории красноречия. Не стоит также скрывать, что некоторые степенно и сурово настроенные римляне его времени, несмотря на его популярность и успех, осмеливались находить в нем те же недостатки. "*Suorum temporum homines*", - говорит Квинтилиан, - "*incessere audebant eum ut tumidiorem et Asianum^[811] et redundantem et in repetitionibus nimium et in salibus aliquando frigidum et in compositione fractum et exultantem et pene viro molliorem*".

Но не только блеск и разнообразие выражения, тонко модулированные периоды составляли главное очарование цicerоновского ораторского искусства и делали его столь эффективным. Его эффективность объяснялась главным образом знанием великим оратором человеческого сердца и национальных особенностей своих соотечественников. Его обаяние было обусловлено обширным знакомством с запасами литературы и философии, которые его энергичный ум приводил в порядок по своему усмотрению, разнообразной образованностью, которую его непедантичный ум сделал такой приятной и популярной, его фондом иллюстраций, одновременно интересных и убедительных. Даже если его знания, поскольку они распространялись по столь широкой поверхности, были поверхностными, в данном случае углубление было излишним.

В такой работе, как настоящая, можно посвятить лишь несколько кратких замечаний самым важным из его многочисленных ораций, в которых, по словам Квинтилиана, он соединил силу Демосфена, пышность Платона и элегантность Исократы. Знания в области права, намного превосходящие те, которыми обладали великие ораторы того времени,^[812] отличают его самую раннюю из сохранившихся ораций, защиту П. Квинкция.^[813] Гортензий был адвокатом подсудимого. Ответчик Нэвий, несправедливо завладевший имуществом умершего брата истца, был дезертиром из марианцев и, следовательно, ставленником Силлы; но, несмотря на эти недостатки, Цицерон выиграл его дело. В мастерской защите С. Росция,^[814] Цицерон снова бросил вызов Сулле. Его клиента обвинили в отцеубийстве: не было ни тени доказательств, и Цицерон спас жизнь невиновному человеку. Благородный энтузиазм, с которым он выступает против тирании в этой оратории, поразительно контрастирует с языком, полным сладострастия, в котором он описывает римскую сельскую жизнь. Пассаж об отцеубийстве был слишком светлым и азиатским на вкус его зрелых лет, и он без колебаний сделал его предметом суровой критики.^[815] Переходя к речам, представляющим меньший интерес, мы приходим к шести знаменитым орациям Верриана. Из этих *шедевров* был произнесен только первый.^[816] Остальные были просто опубликованы, так как добровольное изгнание преступника сделало дальнейшие мольбы излишними. Первая из них озаглавлена "Divinatio", т. е. расследование о том, кто должен иметь право обвинения: Цецилий, который был квестором обвиняемого, требовал этой привилегии, желая сделать иск дружеским и тем самым отменить судебное разбирательство. Ничто не может превзойти ироничное и саркастическое разоблачение этой мошеннической попытки нанести ущерб целям правосудия. Благородные пассажи последующих ораций цикла хорошо известны: очерк предшествующей карьеры нечестивого проконсула, изящный панегирик той провинции, в благополучии которой Цицерон сам испытывал столь горячий интерес; со вкусом описанные статуи и древности, которые искушали более чем римскую щедрость Верреса; интересная история античного искусства, которая сопровождает это; взрыв патетического негодования, с которым он рисует ужасные пытки, которым подвергались не только провинциалы, но даже римские граждане. По всей Сицилии пронеслась волна радости по поводу успеха Цицерона, а сицилийцы выбили медаль с надписью: "Prostrato Verre Trinacria". Оратория в защиту Фонтея^[817] - искусная защита непопулярного правителя; оратория в защиту Клуентия^[818] - одна из самых замечательных *вызывающих речей* античности; И сложная сцена злодейства, которую рисует Цицерон своим жестоким и душераздирающим языком, заставляет содрогнуться от ужаса, в то время как мы восхищаемся ясностью ума, с которой он распутывает паутину вины, сотканную Оппиаником и Сасием. Эту замечательную ораторию проанализировал доктор Блэр.^[819]

И снова, минуя другие судебные оратории, мы приходим к той, на которую он, очевидно, потратил все свои ресурсы искусства, вкуса и мастерства, - к речи в защиту поэта Архияса.^[820] Если возможно, она даже слишком замысловата и отполирована для столь изящной темы. Хотя целью адвоката было просто утвердить право своего клиента на римское гражданство, гений поэта из Антиохии предоставил возможность не пренебрегать отступлением в область литературы и произнести поистине академическую хвалебную речь о поэзии. Поклонникам Цицерона будет приятно узнать, что нападки на подлинность этой приятной оратории беспочвенны и необоснованны.^[821]

Оратория "За Селию"^[822] - самая занимательная во всем сборнике. Она содержит богатый фонд анекдотов, приправленных остроумными наблюдениями; знание человеческой природы, проиллюстрированное в пикантном и юмористическом стиле, выраженное в тоне самого джентльменского, но игривого красноречия, и перемежающееся пассажами большой красоты. Она представляет собой заметный контраст с грубыми личными оскорблениями,

которые портят в остальном мощную инвективу против Л. Пизона, произнесенную в следующем году.^[823]

Список, хотя в него не вошли многие другие замечательные образцы, должен быть завершен орацией в защиту Т. Анния Милона. По этому случаю Цицерон потерял свое обычное самообладание. Когда суд открылся, на скамье подсудимых председательствовал Помпей, а Форум был занят солдатами. Это зрелище, дополненное, возможно, сознанием того, что он отстаивает дурное дело, повергло Цицерона в тревогу; голос его дрожал, язык отказывался выразить возникшие у него представления. Судьи остались безучастны, и Мило остался в своей самозванной ссылке в Марселе. Когда Цицерон покинул суд, к нему вернулись мужество и спокойствие. Он написал орацию, которая сохранилась до наших дней. У него не было почти никаких доказательств или свидетельств, и поэтому как аргументация она неубедительна; но по силе, пафосу и внешним признакам красноречия она заслуживает того, чтобы быть отнесенной к числу его самых замечательных работ. Говорят, что изгнанный Милон, прочитав ее, воскликнул: "О, Цицерон, если бы ты так рассуждал, я бы не ел здесь такую великолепную рыбу!" Сам автор и его современники считали, что это его лучшая оратория; вероятно, ее недостатки были скрыты ее красноречием и изобретательностью. Похоже, что оратория, которую он произнес на самом деле, была записана репортерами и сохранилась во времена Аскония Педиана, древнейшего комментатора ораций Цицерона.^[824] Ее слабость доказала правильность суждения античности.

Ораторское искусство Цицерона было в основном судебным: он сам признавал, что его таланты лежат в этом направлении, и видел, что в этой области есть наилучшие возможности для проявления ораторской силы. Даже его политические ораторские выступления скорее судебные, чем совещательные. Он не был рожден для политики. Он не обладал ни тем аналитическим складом ума, который проникает в отдаленные причины человеческих поступков, ни той синтетической силой, которая позволяет человеку проследить их до самых отдаленных последствий; он не обладал тем всеобъемлющим умом, который может сразу отбросить все малозначительные моменты и бесполезные спекуляции и, ухватив все существенные моменты, свести их к вопросам практической целесообразности. Из трех качеств, необходимых для государственного деятеля, он обладал только двумя - честностью и патриотизмом: политической мудрости у него не было.

Поэтому в лучших образцах его политических речей - "Катилинах" и "Филиппиках", а также в речи в поддержку манилийского закона - мы тщетно ищем спокойное, практическое взвешивание предмета, которое необходимо при обращении к совещательному собранию. Это не было привычкой его ума. Его побуждали к действию только чрезвычайные обстоятельства; но и тогда он оставался адвокатом - все в нем было возбуждено, в нем были личные чувства и партийный дух: он занимался инвективами, панегириками и обличением врагов своей страны; и те части, которые особенно вызывают наше восхищение, ничем не отличаются от тех, которыми мы восхищаемся в его судебных орациях. Тем не менее, влияние, которое он оказывал на умы слушателей, было настолько неотразимым, что все его политические речи были триумфальными. Его панегирик Помпею,^[825] в речи в поддержку Манилийского закона, принес ему назначение главнокомандующим армиями Востока. Последствия оратории "Провинции консулов" продолжили для Сезара его управление Галлией. Он сокрушил в Катилине одного из самых грозных предателей, когда-либо угрожавших безопасности республики. Падение Антония последовало за полным разоблачением его распутства в частной жизни и фактичности его государственной карьеры.^[826]

Из катилинариев первый и четвертый были произнесены в сенате, второй и третий - в присутствии народа. Всем известен взрыв негодования, который консул, встав на свое место, направляет на дерзкого заговорщика, осмелившегося осквернить своим присутствием храм божества и августейшее собрание римского народа. Менее чем через двадцать четыре часа Катилина покинул Рим, и заговор превратился в войну. В четырех словах Цицерон объявил об этом собравшимся римлянам на следующий день после своего выступления в сенате. Третье - это самодовольный, но простительный эгоизм. Успех захлестнул его, он видит, что все взоры обращены на него, он герой собственной истории; и все же он не требует никакой награды, кроме одобрения сограждан, и напоминает им, что только богам они должны быть благодарны.

Проходит два дня, и после разговора Цезаря и Цицерона Цицерон снова обращается к сенату и рекомендует ту меру, которая стала началом его бед, - осуждение заговорщиков. Рвение сената сделало это действие их собственным, но Цицерон понес наказание. Положение, которое Цицерон занимает в этот раз, придает его речи больше достоинства, чем в любой из предыдущих. Он - главный магистрат республики, исполняющий обязанность оглашения смертного приговора виновному. Волнение, вызванное кризисом, спадает, и он тем более спокоен, что знает, что на его стороне симпатии сената и народа.

Филиппики, названные так в честь ораций Демосфена, состоят из четырнадцати частей. Цицерон начал свою атаку^[827] на объект своей непримиримой ненависти с защиты законов Сезара, которые Антоний хотел отменить. За ней последовала знаменитая вторая оратория, в которой он разрушил характер Антония; речь, которую Ювенал назвал своим *chef-d'œuvre*, но которая, по мнению Нибура, не заслуживает столь высокой оценки. Остальные двенадцать он произнес в течение следующего года; они стали последними памятниками его красноречия; больше он не выступал. Четырнадцатая - блестящий панегирик, но не более того; доблестная армия Октавия получила заслуженные аплодисменты; но в этом политическом кризисе оратор не смог разглядеть или даже уловить проблеск будущей судьбы своей страны.

В своих риторических произведениях Цицерон оставил потомкам практические наставления. Трактат "Об изобретениях", хотя в нем и проявляется гений, интересен лишь как юношеское произведение будущего великого человека; сам автор говорит о нем как о грубом и незаконченном произведении.^[828] О "Руководстве по риторике" в четырех разделах, адресованном Гереннию, нет необходимости говорить, поскольку оно теперь повсеместно признано поддельным.^[829] "De Oratore", "Brutus sive de claris Oratoribus" и "Orator ad M. Brutum",^[830] являются результатом его зрелого опыта. Они составляют единую серию; сначала закладываются принципы, их развитие осуществляется и иллюстрируется, и, наконец, в "Ораторе" он ставит перед глазами Брута образец идеального совершенства. В своей трактовке этой темы он демонстрирует ум, проникнутый духом Платона: он наделяет ее драматическим интересом и переносит читателя на сцену, которую он так наглядно описывает. Разговор, содержащийся в первой из этих работ, уже был описан. Действие второго происходит на лужайке дворца Цицерона в Риме: Цицерон, Атик и М. Брут - действующие лица; их вкус вдохновляет статуя Платона, украшающая сад. В третьей части сам Цицерон, по просьбе Брута, пишет, как это сделал бы Платон, портрет безупречного оратора.

Следует добавить еще три коротких трактата: (1.) Диалог "De Partitione Oratoria",^[831] - элементарная книга, написанная для его сына. (2.) "De Optimo Genere Oratorum",^[832] - краткое предисловие к переводу греческой оратории "De Corona". (3.) Топпика,^[833] т. е. трактат об общих местах судебного ораторского искусства.

Философия Цицерона.

Цицерон несколько самонадеянно претендует на то, что первым пробудил вкус к философии и осветил тьму, в которой она скрывалась, светом римского письма.^[834] Он не признавал обязательств, которые лежали на нем по отношению к его предшественникам, потому что никогда не мог забыть, что он был оратором.^[835] Он не мог отрицать, что некоторые из них думали справедливо; но он отрицал, что они обладали способностью выражать то, что они думали. Он чувствовал, что в уже существующих философских трудах нет ничего, что могло бы склонить его соотечественников к изучению предмета: они были сухими, не украшенными, не отшлифованными. Требовался оратор, чтобы облечь философию в заманчивые одежды. Поэтому он предложил успокоить свои тревоги - отдохнуть от изнурительных забот политики^[836] - сделав своих соотечественников независимыми от греческой философской литературы.

Это было все, что он предлагал себе: это было все, что пытался сделать его предшественник; он не претендовал на оригинальность. Периоды, которые он посвятил этой задаче и к которым относятся все философские работы, были теми, в течение которых он был отстранен от политической жизни. Первый из них пришелся на триумвират Сезара, Помпея и Красса; второй совпал с диктатурой Сезара и консульством Антония. Его созерцательный дух не только наслаждался такими занятиями, но, в то время как все пути к отличию были закрыты для него, его честолюбие искало этот путь к славе, а его патриотизм побуждал его использовать этот способ принести пользу своей стране. Но поскольку он не был первым, кто представил философию римлянам, необходимо вкратце описать ее развитие до того времени, когда началась его деятельность.

Римская философия не была ни результатом оригинальных исследований, ни постепенным развитием греческой системы. Она возникла скорее из изучения античной философской литературы, чем из исследования философских принципов. Римский интеллект не обладал способностью к абстрагированию в достаточно высокой степени для проведения исследований, а латинский язык не был способен удовлетворительно представлять абстрактные мысли. Цицерон прекрасно осознавал бедность своей научной номенклатуры по сравнению с греческой. В одном из трактатов,^[837] он пишет: "Equidem soleo etiam, quod uno Græci, si aliter non possum, idem pluribus verbis exprimere." Плиний^[838] и Сенека^[839] утверждают тот же факт. "Magis damnabis, - пишет последний, - angustias Romanas si scieris unam syllabam esse, quam mutare non possim. Quæ hæc sit quæris? to ov". Практический характер людей также побуждал их пользоваться материалом, уже предоставленным другими, и выбирать те доктрины, которые он одобрял, не обращая внимания на их связь друг с другом.

Поэтому римский философ, или, правильнее сказать, студент-философ, не бросался на умозрения своего века, не следовал им, не выводил из них новые результаты. Он возвращался к более ранним эпохам греческой философии, изучал, комментировал и объяснял работы лучших авторов, а некоторые из их доктрин принимал как незыблемые схоластические догмы. Следовательно, дух, в котором римляне занимались философией, был литературным, а не научным. Пробудился вкус к литературе, а философия рассматривалась лишь как один из видов литературы, хотя ее важность признавалась как имеющая отношение к практическим обязанностям, высшим интересам и счастью человека. Практический взгляд Цицерона на философию и то обширное влияние, которое он ей приписывал, явствует из многочисленных отрывков его произведений^[840] и запечатлен в следующей прекрасной апострофе в "Тускуланских диспутах":^[841] "O vitæ Philosophia dux! O virtutis indagatrix, expultrixque vitiorum! Quid non modo nos, sed omnino vita hominum sine te

esse potuisset? Tu urbes peperisti; tu dissipatos homines in societatem vitæ convocasti; tu eos inter se primo domiciliis, deinde conjugiiis, tum literarum et vocum communione junxisti; tu inventrix legum, tu magistra morum et disciplinæ fuisti; ad te confugimus, a te opem petimus; tibi nos, ut antea magna ex parte, sic nunc penitus totosque tradimus."

Таким образом, очевидно, что главными характеристиками римской философии были: (1.(1.) Обучаемость, поскольку она состояла в объединении доктрин и мнений, разбросанных по широкому полю; (2.) В целом, этическая цель и объект, поскольку римляне не были склонны ценить любой предмет изучения, который не имел конечной ссылки на политические и социальные отношения человека; (3.) Эклектизм, поскольку, хотя существовали определенные школы, такие как эпикурейская и стоическая, которые были явно любимыми, догмы различных учителей собирались и объединялись вместе часто без учета последовательности.

Недостатки такой системы фатальны для того, чтобы она могла считаться философской; ведь научная связь ее частей упускается из виду, а результаты представляются независимо от цепи причин и следствий, с помощью которых они связаны с принципами. Такая система обязательно должна быть нелогичной и бессодержательной. Даже та либеральность, с которой был принят принцип "Nullius jurare in verba magistri", и которая, таким образом, кажется главным достоинством, была абсурдной; а готовность, с которой с готовностью принимались все мнения, привела к скептицизму, или сомнению в том, что такая вещь, как абсолютная истина, имеет реальное существование.

Греческая философия, вероятно, была впервые введена в Рим ахейскими изгнанниками, одним из которых был Полибий.^[842] Через шесть лет после этого в Рим прибыло посольство Карнеада Академика, Диогена Стоика и Критолая Перипатетика. Напрасно суровый М. Порций Катон добивался их увольнения; ведь некоторые из самых прославленных и опытных римлян, такие как Африкан, Лелий и Фурий, уже извлекли пользу из их лекций и наставлений.^[843] В то время как образованные римляне получали историческое представление о доктринах этих школ, стоик Панэтий, которого принимали в доме Сципиона Африканского, раскрывал таинственные и трансцендентные доктрины великого объекта своего почитания, Платона. Но хотя римляне могли оценить величественное достоинство и поэтическую красоту его стиля, им было не под силу проникнуть в его скрытый смысл; поэтому они довольствовались глоссами и комментариями его толкователей. Они склонялись скорее к Новой Академии, чем к Старой: в ее скептическом духе они сравнивали и уравнивали противоположные вероятности и не шли дальше рекомендации принимать мнения, по которым они не могли высказаться с уверенностью. Перипатетические доктрины также не встретили особого одобрения, хотя труды Аристотеля были привезены в Рим диктатором Суллой, отчасти, как говорит Цицерон, из-за обширности рассматриваемых вопросов, отчасти потому, что они казались неспособными удовлетворительно доказать неумелым и неопытным умам.^[844]

Философская система, которая впервые привлекла внимание римлян и оказала влияние на их умы, была эпикурейской.^[845] Но несколько примечательно, что, хотя эта философия в целом носила этический характер, народ, который по своему складу ума был исключительно практичным, должен был особенно посвятить себя изучению физических умозрений этой школы.^[846] Единственным очевидным исключением из этого утверждения является Катий, но даже его основные работы, хотя он и написал одну, "*de Summo Bono*", посвящены физической природе вещей.^[847]

Цицерон объясняет популярность эпикурейства тем, что оно было легким, что оно обращалось к приманкам удовольствия; и что его первые профессора, Амафаний и Рабирий, не использовали ни изысканности искусства, ни тонкости диалектики, но облакали свои рассуждения в домашний и популярный стиль, подходящий для простых и необучаемых. У Амафания было много преемников, и доктрины, которые они преподавали, быстро распространились по всей Италии. Среди приверженцев этого модного вероучения было немало выдающихся государственных деятелей, среди которых наиболее известны К. Кассий, соратник Брута, и Т. Помпоний Атик, друг Цицерона. Однако все памятники и записи эпикурейской философии, опубликованные на латинском языке, исчезли, за исключением бессмертного труда Т. Лукреция Каруса "De Naturâ Rerum".

Стоицизм, суровые принципы которого гармонировали с суровыми древнеримскими добродетелями, не имел выдающихся учеников, таких как непоколебимый М. Брут, ученый Теренций Варро, юрист Сцевола, несгибаемый Катон из Утики и великолепный Лукулл - стоик по убеждениям, но не по жизни и поведению. Характер Цицерона позволял ему участвовать в философском обучении своих соотечественников, но это была лишь роль проводника: он мог привить им живой интерес к предмету, познакомить их с открытиями и догадками других, но не мог сформировать их убеждения и научить их работать над оригинальными исследованиями. Сам не будучи приверженцем какой-либо системы философских убеждений, он остерегался оскорбить философские предрассудки других. Он любил учиться, но его характер был нерешительным и колеблющимся: хотя он с удовольствием накапливал запасы греческой эрудиции, его ум был склонен, среди разнообразия противоречивых доктрин, оставлять вывод неопределенным. Хотя он слушал различных наставников - эпикурейца Федра, стоика Диодота и академика Филона, - эклектизм последнего оказался более подходящим для его вкуса. Его предпочтение вероятности перед определенностью подходило тому, кто боялся ответственности за принятие решений.

Именно эта личность придает особый интерес цicerоновской философии. Рефлексия его личного характера, пронизывающая ее, спасает ее от обвинения в том, что она является простой транскрипцией его греческих оригиналов. Цицерон приводит все, насколько это возможно, к практическому стандарту. Если возникает вопрос между изучением морали и политики и физики или метафизики, он решает его в пользу первой на том основании, что последняя превосходит возможности человеческого интеллекта;^[848] что в морали и политике мы связаны обязательствами, от которых в физике мы свободны; что мы обязаны оторваться от этих абстрактных занятий по зову долга перед нашей страной или нашими собратьями, даже если бы мы были способны сосчитать звезды или измерить величину Вселенной.^[849] В дидактического метода, которого он придерживается, он помнит, что имеет дело не с созерцательными философами или умами, которые были логически обучены, а с государственными деятелями и людьми мира; поэтому он не требует слишком многого, не делает свои уроки слишком трудными, и всегда готов пожертвовать научной системой ради метода популярного обучения. Его цель, кажется, состоит в том, чтобы рекомендовать предмет, сглаживать трудности и иллюстрировать неясности. Он явно восхищается возвышенной чистотой стоической морали; принципы этой секты он старается внушить своему сыну.^[850] Единственное, чего он опасается, - что их система неосуществима.^[851]

Цицерон верил в существование единого верховного Творца и правителя вселенной, а также в Его духовную природу;^[852] но его вера - скорее результат инстинктивного убеждения, чем доказательств, полученных из философии; ибо в отношении их он, как и в других вопросах, неуверен и колеблется. Он не верит в популярную мифическую религию; но, не зная, что является истиной, он не хотел бы, чтобы та нарушалась, на которую он смотрел как на

политический двигатель.^[853] Среди сомнительных и противоречивых доводов, касающихся человеческой души и вечной судьбы человека, несомненно, что, хотя он не находит удовлетворительных доказательств, он верит в бессмертие.^[854] Нет необходимости продолжать рассмотрение его философского вероучения, поскольку оно не является системой, а лишь собранием предписаний, а не исследований. Его материалы заимствованы, одни лишь иллюстрации новы. Но, тем не менее, изучение философских трудов Цицерона бесценно, чтобы понять умы тех, кто пришел после него. Не следует забывать, что не только вся римская философия после Цицерона, но и большая часть философии средних веков была греческой философией, пропущенной через латынь, и в основном основанной на философии Цицерона. Работы Цицерона по умозрительной философии обычно состоят из: (1.) "Академики", или история и защита убеждений Новой Академии. (2.) *De Finibus Bonorum et Malorum*, диалоги о высшем благе, цели всех моральных действий. (3.) "Тускуланские диспуты", содержащие пять независимых трактатов о страхе смерти, терпении боли, власти мудрости над печалью, болезненных страстях, отношении добродетели к счастью. В этих трактатах преобладает стоицизм, хотя мнения приводятся из всего спектра греческой философии. (4.) Парадоксы, в которых в легкой и забавной манере затрагиваются шесть знаменитых стоических парадоксов. (5.) Диалог в похвалу философии, названный в честь Гортензия. (6.) Переводы "Тимея" и "Протагора" Платона. От этих трех последних трактатов сохранилось лишь несколько фрагментов.

Его моральная философия включает в себя: (1.) "*De Officiis*", стоический трактат о моральных обязательствах, адресованный его сыну Марку, который в то время был студентом в Афинах. (2) Непревзойденные маленькие эссе о дружбе и старости. Сохранилось также несколько слов из двух книг о славе, адресованных Аттику, и одна, которую он написал об облегчении горя, когда лишился любимой дочери.^[855] Он оставил один теологический труд в трех частях: первая часть - "О природе богов", вторая - "О науке прорицания", третья - "О судьбе", от которой сохранился лишь незначительный фрагмент. Вероятно, написание этих трактатов подсказала ему должность авгура.

Политических сочинений у него два - *De Republica*^[856] и *De Legibus*; оба несовершенны. От первого сохранились лишь фрагменты, от второго - три из шести книг, да и те не полностью. Тем не менее, от обеих книг осталось достаточно, чтобы мы могли составить некоторое представление об их философском характере. Хотя он и не претендует на оригинальность, а признается, что они являются подражанием двум трактатам Платона, которые носят то же название, все же они более индуктивны, чем любые другие его трактаты. Его цель, как и у Платона, - дать в одном идеальную республику, а в другом - набросок образцового законодательства; но новизна трактата состоит в том, что его принципы заимствованы из римской конституции и римских законов.

Вопросы, на которые он предлагает ответить, заключаются в том, что такое наилучшее правительство и наилучший кодекс: но пределы, в которых он ограничивает себя, - это институты его страны. В "Республике" он, подобно греческим философам, сначала обсуждает достоинства и недостатки трех чистых форм правления и в целом принимает решение в пользу монархии^[857] как наилучшей. Вместе с Аристотелем^[858] он соглашается с тем, что все чистые формы способны вырождаться,^[859] и приходит к выводу, что идея идеального государства - это сочетание всех трех.^[860] Для доказательства и иллюстрации своей теории он исследует, хотя, надо признать, скудно и несовершенно, конституционную историю Рима и обнаруживает монархический элемент в консульстве, аристократический - в сенате, народный - в народном собрании и трибунской власти.

Римляне продолжали ревностно сохранять тень своей конституции даже после того, как отказались от ее сути. Номинально титулы и должности старой республики никогда не исчезали - император по имени был не более чем (Imperator) главнокомандующим армиями республики, но в нем сосредотачивалась вся власть: он был абсолютным, самодержавным, вождем военной деспотии.^[861] Цицерон, как явствует из трактата *De Legibus*, с одобрением наблюдал, что такое положение вещей быстро приближается; что народу нельзя доверять свободу, но он будет довольствоваться ее подобием и названием.

Метод, которого он придерживается, заключается, во-первых, в абстрактном рассмотрении вопроса и исследовании природы права, а во-вторых, в предложении идеального кодекса, ограниченного принципами римской юриспруденции. Таким образом, полития и кодекс Цицерона не были утопией - модели, на основе которых они были созданы, имели реальное осязаемое существование. Его система была системой практичного человека, как римская конституция была системой практичного народа. Она не была, как греческая свобода, воплощением одной-единственной идеи; она была, как английская, ростом веков, развитием длинного ряда обстоятельств, и целесообразностей, и экспериментов, и чрезвычайных ситуаций. Цицерон благоразумно смирился с гибелью свободы как с суровой необходимостью; но он, очевидно, считал, что Рим достиг зенита своего национального величия непосредственно перед волнениями Гракхов.

Оба эти произведения написаны в увлекательной форме диалогов. В одном из них Сципион Эмилиан, Лелий, Сцевола и другие собираются вместе на латинских праздниках (*Feriae Latinae*) и обсуждают вопрос о правлении. В другом - сам писатель со своим братом Квинтом и Аттиком беседуют о юриспруденции, прогуливаясь на маленьком островке близ Арпинума у слияния Лириса и Фибрены.

Наконец, мы должны рассмотреть Цицерона в качестве корреспондента. Это общение разнородных умов, отделенных друг от друга и вынужденных в силу обстоятельств переваривать и упорядочивать свои мысли в процессе общения, составляет одну из самых восхитительных и интересных и в то же время одну из самых характерных частей римской литературы. Римлянин считал, что всякий раз, когда он кладет перо на бумагу, его долг - в определенной степени избежать небрежности и нарушений хорошего вкуса, а также одарить своего друга некоторой долей того тщательного внимания, которое он, как автор, должен был уделять общественному вниманию. На самом деле автор письма обращался почти к тем же лицам, что и автор; ведь последний писал для одобрения своих друзей, круга близких людей, в котором он жил: одобрение публики было второстепенным объектом. Греки не писали писем: те немногие, которыми мы располагаем, были всего лишь письменными посланиями, содержащими такую необходимую информацию, какой требовал перерыв в общении. Не было никакого обмена надеждами и страхами, мыслями, настроениями и чувствами.

Объем переписки Цицерона почти невероятен: даже те послания, которые сохранились, представляют собой очень объемную коллекцию - их более восьмисот. Письма к друзьям и знакомым (*ad Familiares*) занимают шестнадцать книг; письма к Аттику - еще шестнадцать; кроме того, у нас есть три книги писем к Квинту и одна - к Бруту; но подлинность последнего сборника вызывает некоторые сомнения. Совершенно ясно, что ни одно из них не предназначалось для публикации, как это было у Плиния и Сенеки. Они элегантны, но не чопорны, это естественные излияния ума, который не мог родить ни одной некрасивой идеи. Когда речь идет об опасной и критической политике дня, проявляется больше или меньше сдержанности и резерва, в зависимости от близости с человеком, к которому он обращается, но никаких попыток напыщенности. Его стиль настолько прост, что читатель

забывает, что Цицерон когда-либо писал или произносил ораторские речи. Это красноречие сердца, а не школы риторики. Затрагиваются все темы, которые могут заинтересовать государственного деятеля, литератора, ценителя изящных искусств или человека мира. Писатель раскрывает в них собственные мотивы, тайные пружины поступков, любовь, ненависть, силу и слабость. Они охватывают более четверти века, самый интересный период его собственной жизни и один из самых переломных в истории его страны. Письма к Квинту - это письма старшего брата к тому, кто очень нуждался в добром совете. Хотя Квинт не заслуживал привязанности своего брата, Цицерон был горячо привязан к нему и интересовался его благополучием. Квинт был пропретором Азии и не подходил для этой должности, и Цицерон не скупился на наставления, хотя и делал их с добротой и деликатностью. Подробности его семейных забот составляют не самую интересную часть этой переписки. Как и следовало ожидать, в письмах *ad Familiares* больше сдержанности, чем в тех, что адресованы Аттику. Они написаны самым разным корреспондентам, всех оттенков и взглядов, многие из них просто знакомые, а не близкие друзья; но, хотя по этой причине они менее ценны с исторической точки зрения, они наиболее приятны в коллекции благодаря изысканному изяществу их стиля. Они являются образцами чистого латинства. В письмах к Аттикусу, напротив, он обнажает тайны своего сердца; он вверяет свою жизнь в его руки; он не только его друг, но и его доверенное лицо, его второе "я". Если бы не письма Цицерона, мы бы имели лишь поверхностное представление об этом периоде римской истории, а также о внутренней жизни римского общества.

Изящный поэтический комплимент, сделанный Цицерону Лавром Туллом, одним из его вольноотпущенников, сохранился у Плиния.^[862] Предметом его является целебный источник в окрестностях Академии.

Quo tua Romanæ vindex clarissime linguæ

Silva loco melius surgere jussa viret

Atque Academiæ celebratam nomine villam

Nunc reparat cultu sub potiore Vetus:

Hic etiam adparent lymphæ non ante repertæ

Languida quæ infuso lumina rore levant.

Nimirum locus ipse sui Ciceronis honori

Hoc dedit hac fontes cum patefecit opes

Ut quoniam totum legitur sine fine per orbem

Sint plures oculis quæ medeantur, aquæ.

Отец красноречия в Риме,

Рощи, что некогда принадлежали тебе

Теперь свежей зеленью цветут

Вокруг твоей прославленной Академии.

Vetus, наконец, это благосклонное место

Восстановлено со вкусом и заботой;

И вновь в твоём любимом приюте

Излился фонтан.

Эти воды лечат больное зрение;

И так родник, что бьет на глазах

В грядущие века воздаст

Славу, которую это место снискало у Талли. *Элтон.*

Среди корреспондентов Цицерона было немало выдающихся людей. Атик был наименее интересен, поскольку его политическая осторожность делала его неустойчивым и неискренним; но были Кассий-тираноубийца, стоический Катон из Утики, Цецина, горячая сторонница Помпея, оратор Целий Руф, Гирций и Оппий, литературные друзья Цезаря, историк Луций, мимиамбический поэт Матий и покровитель искусств и литературы^[863] С. Асиний Поллион.

Поллион был отпрыском знатного дома и родился в Риме 76 г. до н. э.^[864] Уже в юности он отличался остроумием и энергичностью;^[865] а в возрасте двадцати двух лет был прокуратором К. Катона. Он был с Цезарем при Рубиконе, в Фарсалии, в Африке и в Испании; в конце концов ему было поручено ведение войны в этой провинции против Секста Помпея. После установления первого триумvirата Поллион, после некоторых колебаний, заявил о своей поддержке, и Антоний поручил ему управление Транспаданской Галлией, включая распределение конфискованных земель между солдатами-ветеранами. Таким образом, у него появилась возможность защитить Вергилия и спасти его имущество. В 40 г. до н. э. Октавиан и Антоний примирились в Брундизиуме при его посредничестве. Успешная кампания в Иллирии завершила его военную карьеру славой триумфа,^[866] после чего он удалился от общественной жизни на свою виллу в Тускулуме и посвятил себя учебе. Он наслаждался жизнью до последнего и умер на восьмидесятом году жизни. Он оставил троих детей, один из которых, Асиний Галл,^[867] написал сравнение между своим отцом и Цицероном, на которое ответил император Клавдий.^[868]

В ораторском искусстве, поэзии и истории Поллио пользовался высокой репутацией среди современных критиков, но ни одна из его работ не сохранилась. Решение этой проблемы, возможно, следует искать в следующих обстоятельствах:-1. Его покровительство литераторам сделало его популярным, а критики вынесли несколько пристрастный вердикт. Его доброта заставила Горация восхвалять его^[869], а Вергилия - адресовать ему свою самую замечательную эклогу.^[870] 2. Его вкус сформировался еще до возникновения новой литературной школы. Он всегда глубоко восхищался старыми писателями и часто цитировал их. Его стиль, вероятно, казался устаревшим и педантичным, и поэтому так и не стал общепринятым. Более поздний автор^[871] говорит, что он был настолько суров и сух, что, кажется, воспроизводил стиль Аттия и Пакувия не только в своих трагедиях, но и в орациях. Квинтилиан замечает,^[872] что он, похоже, принадлежал к до-цицероновскому периоду. Нибур, который мог составить свое мнение только на основании небольших фрагментов, сохранившихся у Сенеки, поскольку три письма в сборнике Цицерона^[873] являются лишь депешами, утверждает, что он, кажется, стоит между двумя различными поколениями,^[874] а именно литературными периодами Цицерона и Вергилия. Его великим произведением была история гражданских войн в семнадцати книгах. Он претендовал на роль критика, но его критика была придирчивой и несколько недобродушной. Он находил недостатки в Цицероне, неточности в Сезаре, педантизм в Саллюсте и провинциализм (Patavinitas) в

Ливии. Правильность его суждений относительно очаровательных повествований великого историка передается из поколения в поколение, но никто не может понять, в чем заключается эта *патавинистичность*. Легче было найти ошибку, чем написать правильно; ведь в то время как все труды критика погибли, Цицерон, Цезарь, Саллюстий и Ливий бессмертны. Вероломство и страстность развили его характер.

Тем не менее он был одним из величайших благодетелей литературы своей страны; тем более что он первым основал публичную библиотеку. В Рим уже привозили книги и формировали коллекции. У Эмилия Павла была библиотека, была она и у Лукулла, к которой он разрешил доступ ученым людям. Сулла обогатил Рим за счет разграбления афинских библиотек; в его время грамматик Тираннис был обладателем трех тысяч томов. Юлий Цезарь нанял ученого Варро для сбора книг с целью создания национальной коллекции, но смерть пресекла его намерения.^[875] Поллио потратил добычу из Далмации на основание храма Свободы на Авентине и оснащение его библиотекой, ядром которой стали коллекции Суллы и Варро. После этого работа продолжалась за счет императорских средств. Август основал библиотеку Октавиана в храме Юноны, а Палатинскую - во дворце. Тиберий расширил последнюю. Веспасиан разместил ее в храме Мира. Траян создал Ульпийскую, Домициан - Капитолийскую, Адриан - великолепную на собственной вилле, а при Константине число публичных библиотек превысило двадцать.

М. Теренций Варро Реатин (родился в 116 г. до н. э.).

На старинной медали изображено изображение Юлия Цезаря с книгой в одной руке и мечом в другой,^[876] с легендой "Ex utroque Cæsar". Это изображение отражает гений многих выдающихся граждан республики, и Варро в их числе, поскольку он был солдатом и в то же время самым ученым из своих соотечественников. Он родился^[877] в Реате (Риети), сабинском городе, расположенном в Темпе Италии, по соседству со знаменитым Тернийским каскадом. Антиквар Илиус Стило был его наставником в ранние годы^[878], от него он получил свою жажду знаний и горячую преданность оригинальным исследованиям. Впоследствии он изучал философию у Антиоха, профессора академической школы.^[879] В политике он был горячо привязан к партии Помпея, под началом которого служил в Пиратской и Митридатской войнах. Он также был одним из трех *легатов* Помпея в Испании и не слагал с себя командования до тех пор, пока города на юге этой провинции не покорились Цезарю. После битвы при Фарсалии он испытал на себе милость завоевателя, но не настолько быстро, чтобы спасти свою виллу от нападения и разграбления.^[880]

Цезарь оценил обширную образованность Варро и доверил ему создание большой публичной библиотеки.^[881] Отныне он избегал опасностей политической жизни,^[882] и в уединении своих вилл ревностно посвящал себя занятиям литературой. Тем не менее ему не удалось избежать неумолимых преследований со стороны политической партии; ведь в том проскрипции, жертвой которого стал Цицерон, его имя было в списке до тех пор, пока его не стер Антоний.^[883] Хотя ему было уже семьдесят лет, его деятельность не ослабевала, и он продолжал свои литературные труды до самой смерти, которая наступила на восемьдесят девятом году его жизни.^[884] Варро был человеком огромной эрудиции и неутомимой деятельности,^[885] без искры вкуса и гения. Ни один римский автор не писал так много, как он, никто не читал так много, кроме Плиния; но, несмотря на всю эту практику и учебу, он так и не приобрел приятного стиля. Он препарировал и анатомировал латинский язык со всей силой критического анализа; но он никогда не был проникнут его элегантным блеском или нервным красноречием.

Там, где, как в случае с его трактатом о сельском хозяйстве, он имел доступ к достоверной информации и авторитету, его привычки к расположению, четкость, с которой он классифицировал, и тщательное суждение, с которым он приводил факты, делают его работы ценными. Немногие люди обладали большими способностями к комбинированию и систематизации: его ум был, как бы, полон отсеков, в которых каждый вид знаний занимал свое место, но не более того. Всякий раз, когда он покидал проторенную дорожку чужих открытий и предавался свободным догадкам или оригинальным мыслям, как в его грамматических работах, его образованность, кажется, покидала его; а этимология, которая искушала стольких простых догадливых людей сбиться с пути, приводила его также к абсурду.

Одна из его работ, *Antiquitates Divinarum Rerum*, приобретает особый интерес благодаря тому факту, что она была хранилищем, из которого святой Августин, который был большим поклонником его знаний, почерпнул большую часть своего трактата *De Civitate Dei*. Как пропал этот трудоемкий сборник, сказать невозможно. Мы можем лишь оплакивать несчастный случай, лишивший нас работы, которой автор особенно обязан своей репутацией. В трактате, который вместе с этим составляет одно произведение, а именно *Antiquitates Rerum Humanarum*, он исследовал раннюю историю и хронологию Рима,^[886] и установил дату строительства города в 753 году до н. э., дату, которая теперь обычно принимается лучшими историками.^[887]

Каталог его многочисленных книг и трактатов почти по всем предметам, которые в то время привлекали внимание литераторов, - по истории, биографии, географии, философии, критике и морали - был бы неинтересен, но его главные работы были следующими: - I.

I.

De Re Rustica, Libri III.

II.

De Lingua Latina, Libri XXIV., из которых сохранилось только шесть, да и те в изуродованном состоянии.

III.

Antiquitates Rerum Humanarum, Libri XXV. *Antiquitates Rerum Divinarum*, Libri XVI.

IV.

Субботы, частично в прозе, частично в стихах; состоят из нравоучительных эссе и диалогов, разоблачающих пороки и глупости того времени и преподающих свои уроки скорее в легкой и забавной, чем в дидактической форме.

V.

Стихи, из которых сохранилось восемнадцать коротких эпиграмм, не отличающихся особыми достоинствами.

ГЛАВА XI.

РИМСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ГЛАВНЫЕ ИСТОРИКИ - ЛУЦИЙ ЛУКУЛЛ - КОРНЕЛИЙ НЕПОС - МНЕНИЯ О ПОДЛИННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НОСЯЩИХ ЕГО ИМЯ - БИОГРАФИЯ И. СЕСАРА - ЕГО КОММЕНТАРИИ - ИХ СТИЛЬ И ЯЗЫК - ЕГО СКРОМНОСТЬ ПЕРЕОЦЕНЕНА - ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ХАРАКТЕР СЕСАРА.

Исторические писатели.

Только в исторических сочинениях римляне могут претендовать на оригинальность; и в их исторической литературе особенно ярко проявляется точная транскрипция их ума и характера. История сразу же удовлетворила их патриотизм, а ее исследования соответствовали их любви к реальному и практическому. Таким образом, те природные способности, которые были пробуждены и культивированы знакомством с греческой литературой, с наивной простотой применялись к изложению событий и украшали их всеми грациями изысканного стиля. Практический здравый смысл и политическая мудрость, которые римская социальная система была прекрасно приспособлена для воспитания, находили пищу для размышлений: проницательный взгляд на характер и пристальное изучение человеческого сердца давали им власть над материалом; и поэтому в этой области литературы они могли не просто подражать грекам, а быть их соперниками, а иногда и начальниками. Изящная простота Сесара столь же привлекательна, как и Геродота; ни один из греческих историков не превзошел Ливия в таланте живописца и в очаровании, которым он наделяет свои одухотворенные и живые истории; а по сгущению мыслей, краткости выражений, политической и философской проницательности Тацит не уступает Фукидиду.

Тематика исторических исследований была настолько специфически национальной, настолько отвечала характеру ума римлян, что они, кажется, отбросили свои греческие оригиналы и выделили для себя независимую линию.

Каталог римских историков горд. Во главе его стоят четыре великих имени - Сезар, Саллюст, Ливий и Тацит; все они, за исключением последнего, принадлежат к эпохе Августа. Она охватывает имена Корнелия Непоса, Трога Помпея, Кремутия Корда, Ауфидия Басса и Саллюста в золотом веке; Веллея Патеркула, Валерия Максима, К. Курция, Суэтония и Флора в последующем; не должны быть пропущены без упоминания Л. Луций и Л. Лициний Лукулл.

L. Lucceius.

Л. Луций, друг и корреспондент Цицерона,^[888] был оратором, поддерживавшим партию И. Цезаря, и, полагаясь на его влияние, стал вместе с ним кандидатом в консулы.^[889] Потерпев неудачу, он оставил политику ради спокойного наслаждения литературной жизнью. Его право называться историком основано на том, что он начал историю социальных и гражданских войн, но она так и не была завершена или опубликована. Цицерон^[890] просит его говорить о событиях, которые он записывал, а также о своем характере и поведении бесстрастно; поэтому нельзя доверять хвалебным отзывам, сопровождающим эту просьбу, поскольку они, вероятно, были продиктованы желанием купить его благосклонное мнение. Период его отхода от государственных дел был недолгим, так как после этого он снова включился в гражданские распри, будоражившие Рим, и присоединился к партии Помпея, который высоко ценил его.^[891] После своего падения он разделил с другими помпеянами милость диктатора.

L. Licinius Lucullus.

Л. Лициний Лукулл,^[892] прославленный, но роскошный покоритель Митридата, не гнушался посвящать свой досуг сочинению истории, хотя его труды не отличаются такими достоинствами, чтобы претендовать на выдающееся место среди историков своей страны. Волнующие события социальной войны побудили его записать их.^[893] Часть своего огромного состояния он потратил на великолепную библиотеку: поэту Архиасу он был добрым другом;^[894] и покровительствовал литераторам, особенно тем философам, которые придерживались доктрин его любимой Академии. Как и большинство тех, кто совмещал любовь к литературе с активной деятельностью на государственной службе своей страны, он был оратором недюжинных способностей.^[895] Его любовь к греческому языку и привычка общаться с греческими философами заставили его написать свою историю на греческом языке, а также выбрать и переписать отрывки из историй Целия Антипатра и Полибия.

Корнелий Непос.

Корнелий Непос был современником Катулла и жил до шестого года правления Августа.^[896] Авсоний говорит, что он был галлом,^[897] Катулл - что италийцем.^[898] Оба, вероятно, правы, поскольку преобладает мнение, что он родился либо в Вероне, либо в соседней деревне Хостилия в Цизальпийской Галлии. Кроме Катулла, он причислял к числу своих друзей Цицерона^[899] и Аттика.^[900] Эти обстоятельства составляют все, что известно о его личной истории.

Все его труды, упоминаемые древними, к сожалению, утрачены; но в подлинности тех, с которыми каждый ученый знаком с детства, есть сильные сомнения. К числу его утраченных произведений относятся: (1) Три книги Хроник, или краткое сокращение Всеобщей истории. Их упоминает А. Геллий,^[901] и на них ссылается Катулл.^[902] (2.) Пять книг анекдотов под названием "*Libri Exemplorum*", а также "*Книга К. Непоса де Вирис Иллюстрибус*". (3.) Жизнь Цицерона,^[904] и собрание писем к нему.^[905] (4.) "*De Historicis*", или Мемуары историков.^[906] Сохранившийся труд, носящий его имя, называется "*Жизнь выдающихся полководцев*". Но кроме биографий двадцати полководцев, в ней содержатся краткие рассказы о некоторых знаменитых монархах, жизни Гамилькара и Ганнибала, а также Катона и Аттика. Прозимий книги адресован некоему Аттику, а к первому изданию было приложено посвящение императору Феодосию, из которого следовало, что автора звали Пробус. Эти биографические очерки продолжали приписывать этому неизвестному автору вплоть до второй половины XVI века.

В это время знаменитый ученый Ламбинус, профессор изящной словесности в Париже, утверждал, основываясь на чистоте стиля, что это произведение классической древности, и, исходя из отрывка из жизни Катона, что Аттик, которому оно посвящено, был известным корреспондентом Цицерона, а автор - не кто иной, как Корнелий Непос. Аргумент, вытекающий из латинства, неопровержим; аргумент же, вытекающий из жизни Катона, является "*petitio principii*", поскольку доказательства в пользу того, что жизнь Катона была написана Непосом, не больше, чем в пользу других биографий. Жизнь Аттика, которая является полным образцом биографического сочинения, приписывается ему по имени в некоторых из лучших MSS. В отношении остальных биографий нельзя утверждать с уверенностью ничего, кроме того, что они являются произведением или эпитомой произведения, относящегося к эпохе Августа.

Самое сильное свидетельство в пользу авторства К. Непоса заключается в том, что Иероним Магиус, современник Ламбинуса, который также опубликовал аннотированное издание "*Vitae Illustrium Imperatorum*", нашел MS. со следующим заключением: "*Completum est opus*

Æmīlii Probi Cornelii Nepotis". Эти слова, по-видимому, утверждают авторство Непота и в то же время признают, что Проб был редактором или эпитоматором, и таким образом поддерживают теорию Ламбинуса, не обвиняя Проба в литературной подделке.

С. Юлий Цезарь (родился в 100 г. до н. э.).

Биографический очерк о Сезаре означал бы, по сути, не что иное, как проследить современную историю Рима; ведь римская история теперь стала историей тех властителей, которые захватили или получили от своих соотечественников верховную власть. Хотя быстрые и энергичные таланты Сезара никогда не позволяли ему терять ни дня, его активная преданность истинно римским занятиям - политике и войне - оставляла ему мало времени для сидячих занятий. Поэтому его литературная биография поневоле займет совсем немного места по сравнению с другими великими событиями его карьеры.

С. Юлий Цезарь происходил из рода Юлиев, одного из древнейших патрицианских родов Рима, из которого к этому времени вымерли все, кроме немногих. Семья Сезара была не только патрицианской, но и насчитывала среди своих членов в течение века, предшествовавшего рождению Диктатора, многих, кто с большим успехом занимал курульные должности. Он родился 4 июля (12 июля) 100 г. до н. э. и по политическим и брачным связям принадлежал к народной партии: его хороший вкус, большой такт и приятные манеры способствовали, наряду с талантами, его популярности. Он стал солдатом на девятнадцатом году жизни, и поэтому в его работах проявились все лучшие качества, которые воспитываются военным образованием и которые, следовательно, характеризуют военную профессию - откровенность, простота и краткость. Свою первую кампанию он провел в конце первой Митридатской войны, во время которой присутствовал при осаде и взятии Митилены,^[907] и удостоился чести получить гражданскую корону за спасение жизни одного из граждан.

Его первым литературным триумфом стал ораторский талант. Кн. Долабелла был заподозрен в деспотичных поборах при управлении своей провинцией Македония, и Сезар выступил в качестве его обвинителя. Адвокатом обвиняемого выступил знаменитый Гортензий; и хотя Сезар не выиграл дело, мастерство и красноречие, которые он продемонстрировал в качестве адвоката, давали основания надеяться, что в будущем он станет непревзойденным оратором. В следующем году он укрепил свою репутацию, выступив в защиту провинции Ахайя против К. Антония, обвиненного в том же преступлении, что и Долабелла; но в итоге он снова не добился успеха.

Впоследствии он отплыл на Родос, чтобы продолжить изучение ораторского искусства под руководством Аполлония Молона,^[908] который был не только учителем риторики, но и способным и красноречивым оратором в судах. Цицерон^[909] свидетельствует, что он был искусным преподавателем и красноречивым оратором, и получил от него наставления, когда прибыл в Рим в качестве посла с Родоса.^[910] Цезарь во время своего путешествия попал в плен к пиратам; но, получив выкуп, он осуществил свое намерение и на короткое время отдал себя в обучение Молону. После его возвращения в Рим^[911] было предложено отозвать из ссылки тех из партии Лепида, кто присоединился к Серторию, и он высказался в пользу этой меры. Через два года после этого он произнес погребальные оратории в честь своей жены Корнелии, дочери Цинны, и своей тети Юлии, вдовы Мария.

Заговор катилинариев, в участии в котором его безосновательно подозревали, предоставил ему еще одну возможность проявить свои ораторские способности. Его речь в сенате на знаменитых нонах декабря, возможно, спасла бы жизнь заговорщикам, если бы не влияние Катона. Цезарь утверждал, что неконституционно предавать римских граждан смерти по

решению сената без суда; но его доводы были отвергнуты, и мера, которая впоследствии привела к падению и убийству Цицерона, была принята. В следующем году,^[912] когда Метелл сделал это предметом обвинения против Цицерона, Цезарь снова поддержал то же мнение своим красноречием, но безуспешно.

Поэтому, хотя и говорят, что его ораторские таланты были велики, он так и не смог убедить своих слушателей. Возможно, это объясняется не недостатком мастерства, а неудачным характером причин, за которые он брался, или превосходящими силами его противников, ведь несомненно, что его манера говорить была очень увлекательной и популярной. Тацит говорит о нем не только как о величайшем из авторов^[913], но и как о сопернике самых искусных ораторов;^[914] а Суетоний восхваляет его красноречие и приводит свидетельство самого Цицерона в поддержку своей благосклонной критики.^[915]

До сих пор, за исключением первой кампании, жизнь Сезара носила гражданский характер. Его литературный талант принимал окраску общественных занятий, которыми он занимался. Как истинный римлянин, он подчинял литературу общественному долгу, а свой вкус направлял в русло, которое было наиболее сродни и отождествлялось с его жизнью. Однако его интеллектуальные способности требовали такого же применения, как и его практические таланты в бизнесе; по этой причине, как мы уже видели, он посвятил себя изучению ораторского искусства; и главные произведения, которые до сих пор занимают для него место в истории римской литературы, - это именно оратории.

Следующее официальное назначение открыло перед ним новое поле для размышлений. В 63 году до н. э. он получил должность понтифика Максима и так тщательно исследовал историю и природу римской веры в авгуры, официальным хранителем которой он являлся, что его исследования были опубликованы в труде, состоящем по меньшей мере из шестнадцати книг (*Libri Auspiciozum*).^[916] Чтобы подготовиться к исполнению своих обязанностей, он изучал астрономию и даже написал трактат по этой науке^[917] под названием "*de Astris*", а также поэму, несколько напоминающую "*Феномены Аратуса*". Знание этой науки позволило ему с помощью александрийских астрономов осуществить через несколько лет^[918] реформу календаря.

Вышеупомянутые работы не имеют философской и научной ценности, но любопытны и интересны; но теперь мы должны рассмотреть Сезара в том качестве, которое стало основой его литературной репутации. Он получил провинцию *Hispania Ulterior*;^[919] и с этого поста началась его карьера полководца. Как и во время его предыдущей карьеры, так и теперь почти непрерывные требования к его мыслям и времени не отвлекали его от литературных занятий, но определяли русло, в котором его вкусы должны были искать удовлетворения, и давали темы для его пера. Очевидно, что он питал горячую любовь к литературе ради ее собственного блага. Это было не жалкое стремление показать, что он может добиться успеха и даже превосходства в любом деле, за которое решит взяться, хотя разносторонность его таланта позволяла рассчитывать на успех, а настоящая привязанность к литературному труду. Поэтому все свободное время, которое позволяли ему обязанности полководца, он посвящал, как любимому делу, написанию своих "*Мемуаров*" или "*Комментариев к Галльским и гражданским войнам*".

Его всеобъемлющий и либеральный ум был также убежден в неудобных формальностях, которые мешали применению римского права. Его толкование ограничивалось немногими, кто изучал его педантичные тайны; а законы, которые регулировали *dies fasti* и *nefasti*, изначально отдавали управление им в руки жрецов и патрициев. Аппий Клавдий уже начал работу по разрушению ограждений, которые для широких слоев населения были

неприступными; а Цезарь вынашивал грандиозный замысел свести принципы и практику к регулярному кодексу.^[920] Свои взгляды он изложил в трактате,^[921] который, как это часто бывает с памфлетами, исчез, когда перестал существовать объект, для которого он предназначался.

Говорят, что он также задумал составить полный обзор и карту Римской империи.^[922] Но самым большим его благодеянием, возможно, для дела римской литературы было создание публичной библиотеки.^[923] Материалы для нее были собраны Асинием Поллионом в Италии, так же как парижские музеи были обогащены великим современным завоевателем за счет награбленного в Европе; тем не менее, это была великая и патриотическая работа; и он повысил ее полезность, поручив сбор и организацию библиотечного дела ученому Варро.

Кроме уже названных произведений, Цезарь оставил после себя различные письма, некоторые из которых сохранились среди писем Цицерона; оратории, которые, если панегирики Цицерона, Тацита и Квинтилиана^[924] не преувеличены, вызывают глубокое сожаление, что сохранились только их названия;^[925] короткий трактат или памфлет, называемый "Антикато"; работа по аналогии латинского языка; сборник апофегм; и несколько стихотворений.

Именно на этих основаниях основываются претензии великого завоевателя на литературную славу в различных качествах оратора, историка, антиквара, философа, грамматика и поэта; но, безусловно, самым важным из его произведений являются "Комментарии". К счастью, они дошли до нас в довольно совершенном виде, хотя многое еще предстоит сделать, прежде чем можно будет говорить о том, что мы обладаем точным изданием.^[926] Семь книг содержат историю семи лет Галльской войны, а три - историю гражданской войны вплоть до начала Александрийской. Это труды самого Сезара. Восьмая книга "De Bello Gallico", завершающая тему, и три дополнительные книги "De Bello Civili", содержащие Александрийскую, Африканскую и Испанскую войны, по-разному приписывались друзьям Сезара, А. Гирцию, К. Оппию и даже Пансе. Утверждения последнего, однако, совершенно беспочвенны. Заметное сходство между стилем восьмой книги Галльской войны и Александрийской войны доказывает, что они написаны одним и тем же автором; а благодаря элегантности и чистоте латинского языка и доверительным отношениям, на которых автор, должно быть, находился с Цезарем, существует вероятность, почти равная уверенности, что "История Александрийской войны" должна быть работой А. Гиртия. Можно также отметить, что это мнение совпадает с мнением Суетония.^[927]

Гирций был единственным из трех, кто объединил в себе оба этих важных качества. К. Оппий действительно в равной степени пользовался доверием Сезара; он был его неразлучным спутником.^[928] Но, тем не менее, Оппий не был столь высокообразованным, как Гиртий. Поэтому Нибур, вероятно, прав, приписывая ему, "без колебаний", книгу об африканской войне. Ум и информация, представленные в ней, достойны здравомыслящего солдата и конфиденциального друга, с которым он переписывался шифром и которому он доверил написать введение к своей защите в "Антикварии"; в то время как неполнота языка свидетельствует о менее умелой и опытной руке, чем утонченный Гиртий. Книга об испанской войне написана каким-то неизвестным автором: она основана на дневнике, который вел кто-то из участников войны; но ни язык, ни настроения в ней не соответствуют либерально образованному человеку.^[930] Греческий термин "Эфемериды" иногда применялся к "Комментариям", хотя Бейль^[931] считал, что это разные произведения.

Эти мемуары - именно то, чем они себя объявляют, и написаны в самом подходящем стиле. Мало кто хотел бы, чтобы они были не такими, как есть. Это зарисовки, сделанные на месте, в

разгар действия, в то время как ум был полон: в них есть вся графическая мощь мастера-мыслителя и энергичные штрихи мастера-руководителя. Возьмем, к примеру, описание галльского характера и сравним его с некоторыми чертами, которые все еще можно найти в смешанной расе, их преемниках, и никто не сможет усомниться в его точности или в глубоком и пронизательном понимании человеческой природы, которое обычно указывает на мощный и практичный интеллект. Их элегантность и полировка - это то, что всегда отличает даже самые незначительные усилия утонченного и образованного вкуса, а не то, что является результатом тщательной правки и исправления. "Комментарии" - это материалы для истории, заметки для будущих историков. Очевидно, что на них было потрачено не больше времени, чем естественно было бы посвятить подобной работе тому, кто использовал бездействие зимних кварталов для переваривания воспоминаний, накопленных в ходе кампании; и по этой причине в "Комментариях" было найдено мало недостатков, даже самыми придирчивыми критиками. Сами недостатки, которые можно справедливо найти в стиле Сезара, отражают самого человека. Величие его характера в основном заключается в невозмутимом спокойствии и уравновешенности его нрава. У него не было внезапных всплесков энергии, чередования страсти и бездействия: возвышенность его характера была высокой, но это была ровная столовая земля. Это спокойствие и уравновешенность пронизывают его труды, и по этой причине считается, что они лишены жизни и энергии, тогда как на самом деле в них не хватает лишь контраста, света и тени. Однообразие его активного характера интересно как один из главных элементов его успеха; но однообразие стиля, возможно, кажется некоторым читателям снижающим интерес, с которым читаются его работы.

Простая красота его языка, как говорит Цицерон, скорее статуарна, чем живописна. Простой, строгий, обнаженный - *"omni ornatu orationis tanquam veste detracto"*; и в то время как, подобно статуе, он передает идею совершенной и хорошо пропорционированной красоты, он изгоняет все мысли о человеческих страстях. Именно эта безупречная спокойная правильность, возможно, отсутствие всякой декоративности не позволили ему стать успешным оратором, а его ораторским выступлениям - сохраниться, хотя он обладал всеми внешними качествами оратора^[932] - прекрасным голосом, грациозной поступью, благородной и величественной внешностью, откровенной и блестящей речью.

Очень немногие случаи сомнительного латинства, которые может обнаружить гиперкритичный дух, едва ли являются недостатками, и их меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из замечания Гиртиуса: *"Ceteri quam bene atque emendate, nos etiam, quam facile ac celeriter eos perscripserit, scimus."* Когда А. Поллио^[934] назвал его "Комментарии" поспешными, его критика была справедливой; но он едва ли был справедлив, обвиняя автора в неточности и легковерии. Эти недостатки, насколько они существовали, были вызваны обстоятельствами, а не им самим. Его наблюдательный ум хотел собрать информацию о чужих землях, которые были полем его подвигов, и о привычках их жителей, в той же мере, что и описать свою собственную тактику и победы. Естественно, он принимал на веру рассказы, даже если у него не было возможности проверить их правдивость. Поэтому он не виноват в том, что записал те из них, которые, как показали последующие открытия, не соответствуют действительности.

Его отступления такого характера не уступают по интересности ни одной части его работы; и хотя некоторые из его рассказов о галлах и германцах неверны, многие из них были впоследствии подтверждены исследованиями Тацита. Единственное качество в характере Сезара, которое иногда преувеличивают, - это скромность. Он действительно не добавляет себе репутации, умаляя заслуги тех, кто служил под его началом. Он честен, щедр и

откровенен не только по отношению к ним, но и к своим храбрым врагам-варварам. Не повинен он и в эгоизме в строгом буквальном смысле этого слова. Однако этого едва ли достаточно, чтобы оправдать хвалебные отзывы, которые некоторые на нем основывают. У него слишком хороший вкус, чтобы рассказывать о своих успехах с претензией и высокомерием; но он, очевидно, не возражает против того, чтобы быть героем своей собственной истории. Он умело скрывает свои эгоистические, непатриотические и честолюбивые мотивы; его цель, очевидно, состоит в том, чтобы оставить такие мемуары, чтобы будущие историки могли передать потомкам наиболее благоприятную характеристику Цезаря.

Несмотря на то, что предметом изучения является он сам, его мемуары не являются исповедью. В них нет ни одной записи о слабости, ни одного недостатка, кроме того, который римляне охотно простили бы, - жестокости. О своих диких тратах на человеческие жизни он рассказывает с совершенным самодовольством. Тщеславие было его коронной ошибкой в карьере государственного деятеля; и хотя оно скрыто сдержанностью, с которой он говорит о себе, оно иногда обнаруживает себя в историке.

Комментарии" Цезаря иногда сравнивают с работой великого историка-солдата Греции Ксенофонта. Оба они необычайно просты и незамысловаты, но на этом параллели заканчиваются. Суровое презрение к орнаменту, характерное для сурового римлянина, совершенно не похоже на мягкую сладость аттического писателя.

Антикатоны" - две книги в ответ на панегирик Цицерона в адрес Катона, написанный им сразу после смерти философа. Сначала Гирций, по просьбе Цезаря, написал ответ и отправил его Цицерону из Нарбонны. Хотя он отрицал справедливость хвалебного отзыва Цицерона, он заручился доброй волей самого оратора, выразив ему лирические похвалы.^[936] Это подготовило почву для собственного памфлета Цезаря.

Его филологический труд, *de Analogia*, или *de Ratione Latine Loquendi*, был высоко оценен Цицероном^[937] за его исключительную точность, а также высоко ценился римскими грамматиками. Вероятно, по живости и оригинальности она намного превосходила все их труды. Интересно сказать, что она была написана во время трудностей и занятий, связанных с путешествием через Альпы. Из цитат из него, приведенных в трудах грамматиков, мы узнаем, что он предложил писать букву *V* *ī*, чтобы обозначить ее связь с греческой дигаммой; и что новая орфография, заменившая *lacrimæ* на *lucrumæ*, *maximus* на *maximus* и т. д., была создана благодаря его авторитету.

Говорят, что "Апофтегмата" была собранием мудрых и остроумных изречений его самого и других, хотя примечательно, что ни одного остроумного изречения Цезаря не зафиксировано.^[938] Он начал ее в раннем возрасте и постоянно дополнял ее.

Его поэтические попытки состояли из трагедии под названием "Œdipus"; небольшого произведения, темой которого было восхваление Геракла (оба эти произведения, а также "Апофтегмата" были подавлены Августом;^[939]) "Итер", рассказ о его походе в Испанию; уже упомянутая астрономическая поэма; и несколько эпиграмм, из которых сохранились три, хотя их подлинность несколько сомнительна.^[940]

Характер Цезаря полон противоречий; но это те противоречия, которые естественны для человека и иногда встречаются у людей с сильной волей и выдающимися талантами, лишенных моральных принципов. Его недостатки и достоинства, его способности и таланты были результатом его природных способностей, а не трудов или учебы. Он был одним из величайших, а также одним из худших людей, которые когда-либо жили. Он был

эпикурейцем по убеждениям, но при этом ему были присущи все суеверия, которые так часто сопровождают неверность. Его привычная гуманность и милосердие по отношению к согражданам прерывались случаями суровой и безжалостной жестокости. Он проливал слезы при убийстве Помпея, но при этом мог расправиться с усипетами и тенктерами, а по отношению к своему рыцарскому врагу Верцингеториксу вел себя как дикий варвар. Он наслаждался чистыми и изысканными удовольствиями литературы, а его близкими друзьями были люди со вкусом и гением; и все же он был рабом своих чувственных страстей и предавался самому грубому распутству. Он был откровенен, дружелюбен, доверчив, щедр; но его привлекали блестящие таланты и качества головы, а не привязанности сердца. В основе его поведения как полководца и государственного деятеля лежат сильная воля и совершенная уверенность в себе; и точно так же он обязан энергией своего стиля письма и убедительной силой своего ораторского искусства не влиянию других умов: они являются естественным плодом ясного восприятия, пронизательного интеллекта, наблюдательного ума, способного широко и всесторонне взглянуть на свой предмет. Говорят, что люди с разнообразными познаниями и обширными знаниями, но с педантичным вкусом, разговаривают как книги; труды же Сезара, напротив, напоминают живой и ничем не ограниченный разговор: в них есть вся та реальность, которая составляет великое очарование его характера.

Он был выше жеманства, ибо его ум был рожден для того, чтобы вести за собой век, в котором он жил, а не для того, чтобы думать с другими только в соответствии с установленными обычаями и традициями; и хотя его природное тщеславие и самоуверенность заставляли его выставлять свой собственный характер в самом выгодном свете, его тщеславие было честным: он не имел намерения умышленно обманывать. Его прекрасная память позволяла ему с точностью записывать события, в которых он сам был участником; а его сила внимания и абстракции, позволявшая ему одновременно писать, разговаривать и диктовать, показывает, насколько ценной должна быть работа, на которой были сосредоточены сразу все силы его пронизательного ума.

ГЛАВА XII.

ЖИЗНЬ САЛЛЮСТА - ЕГО НЕИСКРЕННОСТЬ - ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРУДЫ - ОН БЫЛ ЯРЫМ ПРОТИВНИКОМ НОВОЙ АРИСТОКРАТИИ - РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО ОРДЕНА - ЕГО СТИЛЬ В СРАВНЕНИИ С ФУКИДИДОМ - ЕГО ЦЕННОСТЬ КАК ИСТОРИКА - ТРОГ ПОМПЕЙ - ЕГО HISTORIÆ PHILIPPICÆ.

С. Саллюстий Крисп (родился в 85 г. до н. э.).

С. Саллюстий Крисп был на пятнадцать лет младше Цезаря: он родился в Амитернуме^[941] на территории сабинов, 669 г. до н. э., 85 г. до н. э. Он происходил из плебейской семьи, но, занимая должности трибуна и квестора, достиг сенаторского звания. В 704 году до н. э. он был исключен из сената^[942] цензорами Ап. Клавдий Пульхер и Л. Кальпурний Пизон.^[943] Говорят, что, хотя он был "самым строгим порицателем разврата других", он сам был распутным человеком, и что причиной его деградации стал скандал, связанный с интригой с Фаустой, дочерью Суллы и женой Милона.

Благодаря влиянию Сезара, чью партию он поддерживал, он был восстановлен в своем звании, а впоследствии стал претором. Он сопровождал своего покровителя в африканской войне и был назначен губернатором Нумидии. Находясь в этой должности, он накопил путем хищничества и вымогательства огромное богатство,^[945] которое он расточал на дорогу, но

со вкусом подобранную роскошь. Сады на Квиринале, носящие его имя, славились своей красотой; под их аллеями и портиками, окруженный лучшими произведениями искусства, он избегал бурных сцен гражданских распрей, которые положили начало империи, и посвятил свой отдых составлению исторических записей, которые дошли до наших дней. Его смерть наступила в 35 году до нашей эры.

Те, кто хотел защитить характер Саллюста от обвинений в безнравственности, на которые уже делались ссылки, приписывали их беспочвенной клевете Ленэя, вольноотпущенника великого соперника Цезаря Помпея. Не исключено, что его недостатки могли быть преувеличены злобой партийного духа в те развратные времена; но в его работах нет никаких чувств, которые могли бы служить его защитой. Если историк отличается высоким моральным тоном чувств, это качество не может не проявляться в его трудах без умысла или замысла. Но у Саллюста всегда присутствует жеманство и притворство морали без реальности. Его философские размышления в начале Югуртинской и Катилинской войн пусты, холодны и бессердечны. В них есть проявление обыденных чувств, выраженное восхищение старыми римскими добродетелями ушедших дней, но нет ни малейшего проявления искренности. Язык может быть достаточно острым, чтобы произвести эффект на слух, но чувства всегда не способны проникнуть в глубины сердца. Саллюст жил в безнравственный и развращенный век; и хотя, возможно, он не принадлежал к числу худших из своих современников, у него не было достаточной силы принципа, чтобы противостоять силе примера и искушения.

Почти наверняка Саллюст, будучи правителем провинции, был не более беспринципен, чем другие представители его класса; но такое богатство, каким он обладал, можно было приобрести только путем вымогательства и злоупотребления служебным положением. Как политик он был столь же неудовлетворителен: он был простым приверженцем Цезаря и, следовательно, ярким противником высших классов как сторонников Помпея; но он не был честным защитником народных прав и не был способен понять значение патриотизма. Если, однако, сделать некоторую поправку на политическую предвзятость Саллюстия, которая очевидна во всех его произведениях, его истории обладают не только очарованием исторического романа, но и являются ценными политическими исследованиями. Его персонажи прорисованы энергично и естественно, как будто он не только лично знал их, но и точно понимал. Чем больше читаешь его истории, тем больше убеждаешься, что он всегда пишет с целью. Он отказывается от идеи простого сухого изложения фактов, а использует факты как средство преподнесения великого политического урока.

По этой причине, как и Фукидид, которого он, очевидно, взял за образец, не только в стиле, но и в использовании материалов, его речи являются его собственными сочинениями. Даже когда у него была возможность, как в случае с речами Сезара и Катона в "Bellum Catilinarium", он довольствовался изложением их сути, облакая ее в свой собственный язык и впитывая в нее свои собственные чувства. По его собственному утверждению, в этой практике есть одно исключение. Он утверждает, что речь Меммия, народного трибуна,^[946] - это та самая речь, которую произнес он. Если это действительно так, то она представляет собой ценнейший пример стиля, в котором народный лидер обращался к своей аудитории. Но следует опасаться, что это не совсем так: стиль действительно несколько отличается от стиля других речей, но не демонстрирует достаточной свободы, чтобы мы могли быть уверены, что он действительно передал ее в том виде, в каком она была произнесена. Возможно, это лишь образец того непревзойденного мастерства, которое составляет главное очарование манеры Саллюстия и делает его полным мастером композиции. Саллюст никогда не пытался писать что-то большее, чем отдельные фрагменты римской

истории. "Я решил, - говорит он, - писать только отдельные фрагменты римской истории" (*carptim perscribere*).^[947] Он сам объясняет свои мотивы,^[948] когда жалуется на то, как пренебрегают этим разделом литературы. Там, где уже имелся удовлетворительный отчет, он считал излишним проходить по той же самой местности второй раз.

Первой его работой, в соответствии с хронологическим порядком событий, является Югуртинская война, которая началась до 111 г. до н.э. и закончилась до 106 г. до н.э. Следующий период, включающий социальную войну и войну Суллы, простирающийся до консульства М. Эмилия Лепида в 78 г. до н. э., уже был описан Сисенной, другом Цицерона.^[949] На месте Сисенны начались "Истории" Саллюстия (*Historiarum Libri V.*) началась и продолжалась без перерыва до преторства Цицерона.^[950] Эта работа, к сожалению, утрачена, за исключением некоторых писем и речей, а также нескольких фрагментов, относящихся к войне Спартака. Нибур^[951] считает это одной из самых прискорбных потерь в римской литературе; впрочем, не столько из-за его исторической важности, сколько как совершенный образец исторического сочинения. После этого следует двухлетний перерыв, а затем "*Bellum Catilinarium*", или история заговора катилинов в год консульства Цицерона.^[952]

На этом список произведений, которые, несомненно, являются подлинными, заканчивается. Не было достигнуто удовлетворительного мнения относительно авторства двух писем к Цезарю, "*De Republicâ Ordinandâ*"; и теперь безоговорочно признается, что декламация против Цицерона должна была быть, как и ее аналог, декламация против Саллюста, произведением какого-то риторического писателя более позднего периода. Тема этого воображаемого диспута была естественно подсказана известным фактом, что Саллюст не был другом Цицерона.

Уже говорилось, что Саллюст был ярым противником принципов и политики аристократической партии, но следует тщательно объяснить, что подразумевается под этим утверждением. Объектом его ненависти была не старая патрицианская кровь Рима, а новая аристократия, которая в последние годы стремительно поднималась и вытесняла ее.

Эта новая аристократия была полностью развращена; ее развращенность поощрялась продажностью масс, чья бедность и нищета склоняли их к тому, чтобы стать орудием беспринципных амбиций. Все в Риме, как сказал Ювенал в более поздние времена, имело свою цену. Саллюст усиливает суровость своих строк к соотечественникам силой контраста; он представляет даже Югурту, утверждающего, что республику можно купить, если найти покупателя, и рисует варвара более честным и порядочным, чем его завоеватели. Разоренные и брошенные соратники Катилина представляли собой многочисленный класс среди молодых представителей высших классов, которые, посвятив жизнь незаконным удовольствиям, стали разоренными, безрассудными и деморализованными. Они созрели для революции, потому что им нечего было терять: они не могли удовлетворить свои порочные наклонности без богатства; у них не было никаких принципов или угрызений совести относительно средств его приобретения; их лучшие перспективы заключались в анархии, запретах и конфискации. Развратный и разорившийся дворянин и вульгарный распутник из низшего сословия забыли о своих взаимных различиях, и таким образом образовалось объединение, членами которого стали отбросы и аутсайдеры общества.

Такое вырождающееся распутство вполне оправдывает ненависть Саллюстия к новой аристократии, и целью всех его работ, очевидно, было выставить эту партию в неблагоприятном свете, которого она заслуживала. В "Югуртинской войне" он описывает недостойность внешней политики Рима под его недобросовестным управлением. Его

"Истории", по утверждению Нибура, описывают народное сопротивление революционной политике Суллы, распутного лидера той же партии; а в "Катилинианской войне" он в ярких красках рисует развращенность тех слоев общества, которые, разорившись на богатстве и лишившись всяких благородных чувств, все еще превозносили себя над своим рангом и исключительностью. Тем не менее, несмотря на правдивость картины, которую рисует Саллюстий, эгоизм, а не патриотизм был главной движущей силой его политики; и едва ли можно не заметить, что он стремится выставить себя с наилучшей стороны. Его пустота - это черты тщеславного и самодовольного человека, который оценивает себя по слишком высоким стандартам и, кажется, досадует и разочаровывается, что другие не оценивают его так же высоко, как он сам.

Это пятна на его характере как человека и гражданина; но мы не должны забывать о его реальных заслугах как историка. Ему следует отдать должное за то, что он первым придумал понятие истории в истинном смысле этого слова. Он видел прискорбные недостатки неудачных попыток, предпринятых его предшественниками;^[953] и модель была хорошей, которую он оставил своим преемникам для подражания. Вряд ли стоит полагать, что если бы не Саллюстий, Ливий не смог бы разработать свой обширный и всеобъемлющий план. Он был первым римским историком и руководством для будущих историков. Опять же, его стиль, хотя и почти показно изощренный и искусственный, и не без жеманства, в целом приятен и почти всегда прозрачно ясен. Предостережение Квинтилиана относительно его известной краткости ("*vitanda est illa Sallustiana brevisitas*") вполне уместно в его работе, поскольку адресовано ораторам, ведь публичные выступления неизбежно требуют более расплывчатого стиля; и вполне вероятно, что Квинтилиан не оценил бы его достоинств, поскольку сам он был ритором, а его вкус сформировался в риторическую эпоху. Сенека по тем же причинам находит подобные недостатки не только в Саллюсте, но и в любимой литературе своего времени. "Когда Саллюст процветал, резкие предложения, неожиданные каденции, неясные выражения считались признаками культурного вкуса" Но краткость Саллюста не производит эффекта грубой или неприятной резкости, в то время как она заставляет внимание бодрствовать и запечатлевает факты в памяти. Например, как сильны и убедительны, как богаты материалом для размышлений те несколько слов, в которых он описывает Помпея как "*oris probi, animo inveterescendo*". Однако есть разница между краткостью Саллюста и его предполагаемого образца, Фукидида. У греческого историка она была естественной и непроизвольной, у римского - намеренной и являлась результатом подражания. Фукидид думал быстрее, чем мог писать: его тесно скомпонованные идеи и сжатые конструкции, таким образом, представляют собой некую стенографию, с помощью которой он только и мог поспевать за быстротой своего интеллекта. Поэтому его изложение всегда энергично и убедительно, а необходимость дела заставляет читателя с готовностью простить трудности его стиля.

Краткость Фукидида - результат конденсации, Саллюста - эллиптического выражения. Он дает намек, а читатель должен дописать остальное; в то время как Фукидид ожидает от своих читателей только разворачивания и развития идей, которые уже существовали в концентрированном виде. Саллюст требует дополнения, Фукидид - разбавления и расширения. Краткость Саллюстия не похожа ни на краткость Цезаря, ни на краткость Тацита: первый был прямым и деловым, не требующим ни дополнений, ни расширения, потому что он хотел изложить свои мысли настолько ясно, насколько они были способны, без украшений и преувеличений. Он был краток, потому что никогда не хотел сказать больше, чем было абсолютно необходимо, и поэтому его краткость является причиной доходчивости. Ум Тацита, благодаря своей вдумчивости и философскому характеру, был аналогом ума Фукидида: поэтому его краткость была естественной и являлась результатом тех же причин.

Есть одна точка зрения, в которой Саллюстий бесценен как историк. У него всегда была цель, к которой он хотел свести все свои факты: он приводил свои факты как иллюстрации и развитие принципов. Он анализировал и разоблачал мотивы партий и тайные пружины, определявшие поведение отдельных людей, и обнажал внутреннюю жизнь этих великих актеров на общественной сцене, в интересных исторических сценах, которые он берется описать.

Трогус Помпейс.

Трог Помпей был объемным историком эпохи Августа, чей отец был личным секретарем Юлия Цезаря.^[956] Его труд был столь обширен и охватывал такое разнообразие тем, что Юстин, опубликовавший большое собрание выдержек из него, даже назвал его *"Всеобщей историей"*. Однако его название *"Historiæ Philippicæ"* доказывает, что главной целью писателя была история македонской монархии вместе с царствами, возникшими на ее основе после смерти Александра, а все остальные сведения, содержащиеся в нем, были отступлениями, к которым он естественно пришел, и эпизодами, случайно введенными в основной поток истории.

Материалами, содержащимися в его труде, состоящем из сорока четырех книг, он был обязан греческим историкам, особенно Теопомпу Хиосскому,^[957] из главного труда которого он взял название *"Филиппика"*, а также практику разветвления на длинные и частые отступления. Легко представить, насколько обширна была история Македонской империи. Покорение Востока завоеваниями Александра, естественно, сделало быстрый очерк Ассирийской, Мидийской и Персидской империй подходящим введением к работе: связь Персии с Грецией и Египтом предоставила возможность воплотить записи греческой истории, а также описание Египта и его жителей. Взявшись за греческую историю, писатель продолжал ее до тех пор, пока она не переплелась, благодаря вмешательству Филиппа, с делами Македонии. Александр и его преемники добиваются успеха: походы Пирра выводят на сцену римлян; Карфаген и Сицилия на некоторое время занимают сцену; и основную часть работы завершает очерк постепенной консолидации этой огромной империи, провинцией которой стала покоренная Македония. И это еще не все - другие менее значимые нации, государства и города то и дело вводятся в повествование по мере того, как они играют свою роль в великой драме истории.

ГЛАВА XIII.

ЖИЗНЬ ЛИВИЯ - ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ ИСТОРИИ - ЕЕ ДУХ И ХАРАКТЕР - ЖИЗНЬ, ТОЧНО СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕГО ЭПОХЕ - НЕ УМЫШЛЕННО НЕТОЧНАЯ - ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИСТРАСТИЯ - МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ОН МОГ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ - ИСТОЧНИКИ ЕГО ИСТОРИИ - ЕГО НЕДОСТАТКИ КАК ИСТОРИКА - ЕГО СТИЛЬ - ГРАММАТИКИ - ВИТРУВИЙ ПОЛЛИЙ, АВГУСТЕЙШИЙ ПИСАТЕЛЬ - СОДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ.

Т. Ливий Патавин (родился в 59 году до н. э.).

Биографические сведения о многих великих литераторах Рима весьма скудны и неудовлетворительны. Современные критики, писавшие их жизни, в значительной степени

опирались на собственное воображение; в то время как вся информация, которую можно почерпнуть у древних писателей, часто сводится к нескольким смутным упоминаниям и заметкам. Некоторые из них были неправильно поняты, а из других были сделаны необоснованные выводы. Эти замечания особенно применимы к тому, кто является единственным прославленным римским историком в эпоху Августа.

Всеобщая традиция приписывает Патавию (Падуге) честь быть местом рождения Тита Ливия; но, несмотря на общее мнение, эпиграмма Марциала ставит этот факт под сомнение.^[958] Он приехал в Рим в царствование Августа, где жил, пользуясь императорской благосклонностью и покровительством.^[959] Он был горячим и открытым поклонником древних институтов страны и почитал Помпея как одного из ее величайших героев; но Август, со свойственной ему либеральностью, не позволил политическим взглядам помешать тому уважению, которое он питал к историку. Ливий очень любил ораторское искусство и советовал своему сыну изучать труды Демосфена и Цицерона.^[960] По его рекомендации глупый Клавдий писал историю;^[961] и даже утверждалось, хотя на недостаточных основаниях, что он был его учителем. Его слава быстро распространилась за пределы Италии, так как Плиний Младший^[962] сообщает, что житель Кадикса прибыл в Рим с явной целью увидеть его; этот факт святой Иероним^[963] расширяет до утверждения, что многие знатные галлы и испанцы были привлечены в столицу гораздо больше репутацией Ливия, чем великолепием императорского города.

Его великий труд - история Рима, которую он скромно называет "Анналы", в ста сорока двух книгах, предваряемая кратким, но тщательно написанным предисловием^[964] и охватывающая период от самых ранних традиций до смерти Друза.^[965] Из этой истории сохранилось тридцать пять книг, которые были обнаружены в разные периоды.^[966] Из остальных мы имеем только сухие и скудные эпитомы, составленные каким-то неопределенным автором, и две из них утрачены.^[967]

Кроме "Истории", Ливий, как говорят^[968], написал книги, претендующие на философию, и диалоги, темы которых отчасти философские, а отчасти исторические. В конце жизни он вернулся в Патавиум и там умер 18 г. н. э., на семьдесят седьмом году жизни.^[969] Он оставил одного сына и одну дочь, которая вышла замуж за Л. Магиуса, учителя риторики, не обладавшего большими талантами, который был обязан своей репутацией главным образом связи с историком.^[970] Ливий имел одну великую цель при написании своей "Истории", а именно - воспеть славу своей родины, к которой он был преданно привязан. Он был патриотом: его симпатии были связаны с Помпеем, вызванные бескорыстием этого великого человека и, возможно, его печальным концом, после того как он так долго пользовался всеобщей популярностью. Характер историка заставляет нас предположить, что его привязанность была скорее личной, чем политической, ибо общий дух его работы показывает, что он был человеком чистого разума и нежных чувств. Он начал свой великий труд примерно за девять или десять лет до начала христианской эры - период, необычайно благоприятный для такого замысла. Отрывки, в которых он особенно любит проявлять свои способности и на которых он останавливается с величайшим усердием, показывают истинность известной критики Квинтилиана, "что он особенно историк привязанностей, особенно мягких чувств". Проигранная битва для него - несчастье; он трепещет перед задачей рассказать о ней. Не похоже, чтобы он был суровым республиканцем. Он мог с энтузиазмом восхищаться и описывать благородные качества и самоотверженность, которым способствовала старая республиканская свобода; но его цель - скорее нарисовать героев и дать графическое представление о борьбе, которую они вели, защищая свободу, чем показать любовь к свободе в абстрактном смысле или пристрастие к какой-либо конкретной форме конституции. Для Ливия политическая борьба была не более чем

предметом для живописных описаний, мораль которых заключалась в возвышении национального величия, так же как успешные внешние войны были рекордами национальной славы. Поэтому он является биографом в той же мере, что и историком: он анатомирует нравственную природу своих героев, показывает их внутренний мир и побудительные причины их благородных подвигов. Это придает его повествованиям очарование исторического романа и компенсирует недостаток точных исследований и политической наблюдательности. Его персонажи предстают перед нами объективно, как эпические герои; таким образом, он является "Гомером римского народа", а очарование его повествований делает его "Геродотом римских историков".

Рим теперь был владычицей мира: его борьба с чужеземными народами была вознаграждена всеобщим господством, так что, когда говорили о Римской империи, национальное тщеславие не могло удовлетворить никакое более всеобъемлющее название, чем "мир" (*orbis*). Ужасы гражданской войны прекратились, и на смену им пришла амнистия горьких распр и кровавой вражды. Свобода действительно погибла, но народ больше не был приспособлен для ее использования; она была заменена на мягкое и отеческое правление, под которым поощрялись все утонченности цивилизации, а подданные могли спокойно наслаждаться благами мира и безопасности.

Рим, таким образом, получил отдых и передышку, чтобы заглянуть в прошлое и проследить последовательные шаги, с помощью которых было построено это чудесное сооружение - Римская империя. Она могла делать это с полным самодовольством, потому что не было никаких признаков упадка, которые могли бы сдержать ее ликование или омрачить славу, которую она созерцала.

Ливий, добрый, ласковый, романтичный, был именно тем популярным историком, который был нужен в такие времена. Его соотечественники, естественно, искали панегирик, а не критику. Они были не в том состоянии, чтобы вынести того, кто мог безжалостно вскрыть и выставить на всеобщее обозрение все недостатки и изъяны, которыми испещрены страницы их истории; кто мог угрюмо и жалобно восхвалять ушедшие времена, которые никогда не вернутся, за счет их нынешнего величия и процветания. Он жил в счастливые времена, когда Рим еще не познал на печальном опыте, чем на самом деле является тирания абсолютизма. Он рассказывает свою историю, как бард, поющий свой гимн на радостном и праздничном собрании, в котором чередуются успехи и поражения, процветание и невзгоды, но все в конце концов приводит к счастливому концу. Эти черты его характера и эта цель его работы, хотя и составляют его особое очарование как рассказчика, очевидно, делают его менее ценным как историка. Хотя он не был безвкусным и бездуховным, как Дионисий, он не был столь надежным. Он не был умышленно неточен и не говорил неправду; но если легенда, которую он собирался рассказать, была увлекательной и интересной, он не останавливался, чтобы узнать, правда это или нет. Он принимал на веру традиции, передававшиеся из поколения в поколение, и чем более лестными и популярными они были, тем более подходящими считал их для своей цели. Не будучи сам суеверным, он видел, что суеверные чудеса приукрашивают его историю, и, следовательно, принимал их, не высказывая своего мнения об их истинности или ложности.

Умышленная несправедливость никогда не может быть приписана Ливию: он был предубежден, но не был партийным. Он любил свою страну и своих соотечественников и с трудом мог убедить себя в том, что они могут поступать неправильно. Он не мог поверить ни во что, что унижает национальную славу. Когда (в качестве яркого примера) в случае с договором с Порсеной было две противоположные истории, его побудило это пристрастие проигнорировать хорошо подтвержденный факт взятия Рима и принять тот рассказ, который

был наиболее выгоден его соотечественникам.^[972] Всякий раз, когда Рим был неверен в договорах, немилосерден в победах или неудачлив в оружии, он всегда стремился найти оправдание. Его пристрастия явно аристократические; и хотя он честно излагает факты, ему хочется, чтобы читатель сочувствовал патрициям.

Плебеи тех дней, в которые он жил, не были честными представителями того предприимчивого класса в ранние века республики, который был рожден так же хорошо, как и патриции, хотя и другой крови; сила и сухожилия государства в его изнурительных войнах зависели от них только по суровой необходимости, потому что они были стерты в пыль бедностью, долгами и угнетением, но самостоятельно поддерживали себя своей собственной промышленностью, постепенно приобретая богатство, поднимаясь до положения среднего класса, настойчиво, шаг за шагом, завоевывая себе политические привилегии.

Низшие слои Рима во времена Ливия - поскольку термин "плебей" в его первоначальном смысле уже не применялся - были развращены и деградировали; их не волновали ни свобода, ни политическая власть, ни самоуправление; в их груди не пульсировало сочувствие к старым плебеям, которые ушли на гору Сакер и проливали кровь за свои принципы. Поэтому ему было трудно не поверить, что народные вожди былых времен были беспринципными людьми, стремившимися поправить свое состояние с помощью искусства демагога. В его глазах сопротивление тирании было изменой и мятежом.^[973] Но когда, как в истории с Виргилием, были задействованы его более мягкие привязанности, сердце Ливия согревалось щедрым восхищением перед поборниками прав народа, и его политические пристрастия уступали место его чувствительности. Обращаясь к истории почти современников, Тацит признается в своей либеральности. Хотя он мог бы стать более приемлемым при дворе своего покровителя, если бы очернял своих политических врагов, однако даже императорская благосклонность, действующая на той же стороне, что и политические предрассудки, не склонила его к несправедливости.^[974] Он мог видеть и признавать благородные качества и бескорыстный патриотизм, отдавать должное искренним мотивам даже тех, кто расходился в политических взглядах.

От такого персонажа, как описанный, не стоит ожидать большой осторожности в отношении источников, из которых черпались исторические сведения. В его время, должно быть, существовало множество оригинальных документов, с которыми он, очевидно, не удосужился ознакомиться. Богатая сокровищница оригинальных памятников, касающихся внешних и внутренних дел, была под рукой, и их можно было изучить без особого труда.^[975] Большие Анналы Понтифика Максима были собраны в восемьдесят книг; в них содержались имена магистратов, все памятные события дома и за границей - даже сами дни, в которые они происходили, были отмечены. Комментарии не только жрецов и авгуров, но и гражданских магистратов велись с точностью и регулярностью. Нет никаких оснований полагать, что Libri Linte^[976] были утеряны во времена Ливия, хотя он цитирует Лициния Мацера^[977] вместо того, чтобы обратиться к ним самому. Три тысячи медных табличек, на которых были выгравированы акты сената и плебеев, простирающиеся назад (говорит Суетоний^[978]) почти до постройки города, существовали в Капитолии, пока не были сожжены в царствование Веспасиана. Свод гражданского права, который, как известно, существовал во времена Цицерона,^[979] был полон античных знаний; а двенадцать таблиц содержали бесценную информацию не только о языке, но и о нравах и привычках ушедших времен. Тем не менее фрагменты Leges Regiæ и законы двенадцати таблиц были более тщательно изучены критиками нового времени, чем Ливий, когда они существовали в более совершенном состоянии.

Лахманн^[980] удовлетворительно показал, что утверждения Ливия не основаны на личном расследовании, но что он доверился анналам и воспользовался исследованиями предшествующих историков. Это все, что он сам исповедует, и даже эти свои обещания он не всегда выполняет удовлетворительно. Похоже, что он не воспользовался "Анналами" Варро или "Истоками" Катона - трудами, которые, по свидетельству Цицерона, должны были быть бесценными для историка; и хотя "Археологии" Дионисия были опубликованы примерно в то время, когда Ливий начал свою историю,^[981] нет никаких доказательств того, что он ими пользовался; конечно, он никогда не признает себя обязанным неутомимым исследованиям греческого историка. По его собственному признанию,^[982] римская история - это полный мрак до захвата Рима галлами; и хотя затем начинается тусклый свет, наступает сумеречный период, который продолжается до первой Пунической войны. Но нельзя утверждать, что он подготовился к своей трудной задаче как следует или воспользовался всеми имеющимися в его распоряжении средствами, чтобы прояснить ту неясность, в которой находился его предмет. Авторитеты, на которые он в основном опирается при изложении содержания первой Декады, были такими, как Энний, Fab. Пиктор, Цинций и Пизон. Очевидно, что он также консультировался с греческими писателями. В третьей части, которая содержит самые красивые и продуманные пассажи во всем произведении, он следует за Полибием. В этой части своей истории он также не мог следовать более надежному источнику. Римляне, несмотря на все свои практические наклонности, мало способствовали развитию географической науки. Именно среди греков мы находим самых точных и неутомимых географов, таких как Полибий, Страбон и Птолемей.

Полибий подготовился к рассказу об италийском походе Ганнибала путем личного осмотра. Ливий ничего подобного не делал. Первый путешествовал через альпийские перевалы, и его авторитет считался настолько высоким, что Страбон беспрекословно следовал за ним. К сожалению, он редко упоминает названия мест, поскольку писал для своих соотечественников; вероятно, он думал, что они не станут мудрее от перечисления неизвестных варварских имен. Но его точность в датах и расстояниях позволяет нам с точностью проследить маршрут Ганнибала. Они доказывают, что Ганнибал прошел через *Alpis Graia*, Малый Сен-Бернар; утверждение, которое было сделано этим правдивым^[983] историком, Целием Антипатром, а также Корнелием Непосом.^[984] С тех пор оно было подтверждено исследованиями современных путешественников, таких как генерал Мелвилл, М. де Люк, Крамер и Уикхем. Как ни странно, Ливий, хотя и следует почти шаг за шагом по маршруту, намеченному Полибием, в конце концов заканчивает его у Альпийской котты (М. Женевр.) Отсутствие имен оставило путешественника у костра. Цезарь^[985] пересек Альпы через этот перевал; и, возможно, Ливий назвал его в авантюре, как наиболее знакомый ему. В последующих частях своего труда Ливий настолько доверяет указаниям Полибия, что четвертая и пятая декады представляют собой не более чем пересказанную историю Полибия.

Niebuhr,^[986] на основе внутренних свидетельств, дает интересный отчет о том, как, вероятно, Ливий писал свою историю. Он предполагает, что, как и большинство древних, он нанял секретаря, который зачитывал ему из существующих источников события одного года. Эти события историк мысленно упорядочивал, а затем диктовал свое собственное повествование. Работа, таким образом, составлялась по частям; связь событий одного года с событиями предыдущего была упущена из виду, и поэтому они кажутся изолированными; а завершение ряда событий иногда необъяснимым образом синхронизируется с завершением года.

К его недостаткам в привычке к тщательному и точному расследованию добавились и другие, которые в высшей степени дисквалифицируют его для выполнения задачи верного историка. Он скорее читал книги, чем изучал людей и вещи; он принимал на веру то, что говорили ему другие люди, вместо того чтобы приобретать знания практическим путем. Он был плохо знаком с историей зарубежных стран. Он не был, как Сезар, солдатом, и поэтому его описания военных дел часто туманны и неясны, так как он не понимал тактики, которую пытался описать. Он не был, как Фукидид, политиком или философом; отсюда и мало достоверной информации, которую мы получаем от него по вопросам, связанным с конституционными изменениями. Он не занимался, как Геродот, путешествиями, и поэтому он часто не знает местностей, которые описывает, даже если они находятся в пределах Италии. Отсюда трудности в понимании маршрута Ганнибала и его армии через Альпы, битвы при Фрасимене и поражения при Каудинских развилках. Он не был ни философом, ни юристом, ни политиком: он мог охватить взглядом и изобразить рукой художника все внешнее и осязаемое; но он не мог проникнуть в тайные мотивы, движущие человеческой волей, и составить ясное представление о фундаментальных, правовых и политических принципах, которые одушевляли институты и порождали особенности римской конституционной истории.

Что касается речей, которые он приписывает своим главным героям, то здесь нельзя ожидать большей точности, чем у Фукидида. Но они не обладают той правдоподобностью, которая так восхищает греческого историка. Как произведения искусства они безупречны, но Ливий не придерживается принципа, которого придерживался Фукидид, что они должны быть такими, какими их, скорее всего, произносили ораторы в тех случаях, о которых идет речь. Его великий авторитет, Полибий, вообще не одобряет воображаемых речей;^[987] но следует помнить, что без некоторого ораторского искусства он бы не понравился римскому народу. Речи Фукидида, хотя и несут на себе отпечаток мысли писателя, в определенной степени характерны для оратора и, кажется, вдохновлены случаем. Если говорит спартанец, то он лаконичен, если генерал, то по-солдатски, если государственный деятель или демагог, то он логичен, аргументирован или апеллирует к чувствам и страстям афинского народа. Последовательность порождает разнообразие. Речи Ливия приятны и красноречивы,^[988] но они всегда, так сказать, ливийские; они часто не такие, как говорили бы римляне во времена, когда красноречие было грубым, хотя и силовым. В них присутствует риторический и декламационный дух, который уже начал проникать в римскую литературу; и часто, будучи неподходящими для времени, места и лица, они уменьшают, а не усиливают драматический эффект.

Таковы основные недостатки, которые заставляют нас сожалеть, что, в то время как Ливий очаровывает нас своими романтическими рассказами и почти безупречным стилем, он слишком часто оказывается неверным проводником как историк и придает, не намеренно или нечестно, но в силу характера своего ума и цели, которую он себе предложил, ложную окраску или смутные и неточные очертания событиям, о которых он рассказывает. Никто не может не наслаждаться живостью, свежестью и "lactea ubertas" увлекательного стиля Ливия; но его главное достоинство выражается выражением Квинтилиана: "*clarissimus candor*" (яркость и ясность.^[989]). По авторитету Асиния Поллио, цитируемого тем же писателем,^[990] ему приписывается некий недостаток, называемый "патавинством", *то есть* некоторые особые идеи, недопустимые в чистейшей латыни, которые отмечают место его рождения. Люди так мало заботятся о выяснении истины и так готовы принять на веру то, во что до них верили их предшественники, что поколение за поколением полагают, будто ясный, красноречивый и прозрачный стиль Ливия обезображен тем, что мы называем провинциализмами.^[991] Проницательный ум Нибура не находит оснований верить этой истории. Если в ней и есть

доля правды, он полагает, что критика должна была относиться к его речи, а не к письму.^[992] Его стиль всегда остается классическим, даже в поздние десятилетия: хотя он проличен и тавтологичен, его неизменно отличают идиоматическая чистота и грамматическая точность.

Грамматики.

Грамматиков можно обойти вниманием, ограничившись простым упоминанием их имен, поскольку, хотя они пополнили литературный фонд своей страны, они практически ничего не добавили к ее литературной репутации. Наиболее заметными среди них были Аттей Филолог, вольноотпущенник и друг Саллюста; Стаберий Эрос, учивший Брута и Кассия; К. Цецилий Эпирота, корреспондент Цицерона; К. Юлий Гигин, испанец, друг Овидия и хранитель Палатинской библиотеки; Веррий Флакк, воспитатель внуков Августа; К. Корнифиций, который был авгуром одновременно с Цицероном; П. Нигидий Фигул, оратор и философ, а также грамматик.

М. Витрувий Поллион.

Выдающееся имя Витрувия Поллио претендует на место в каталоге августовских писателей. Его тема, правда, относится к области изящных искусств; но его разнообразные приобретения и обширные знания, а также манера, в которой, несмотря на некоторые недостатки, он обращается со своим предметом, проливают некоторый блеск на римскую литературу и ставят его в ряд дидактических писателей своей страны.

Об этом знаменитом архитекторе сохранилось мало сведений, и это обстоятельство привело к тому, что его путают с другим профессором того же искусства, Л. Витрувием Сердо. Имя последнего начертано на арке, которая была его работой, в Вероне:^[993] "Q. Vitruvius L. L. Cerdo, Architectus". То, что Сердо не был автором трактата, сохранившегося под именем Витрувия, может быть удовлетворительно доказано: - Во-первых. Буквы L. L. означают, что он был Луцием Либертом (вольноотпущенником Луция), тогда как М. Витрувий Поллио родился свободным. Во-вторых. Арка, на которой изображено его имя, относится к эпохе, когда римляне, вопреки наставлениям Поллиона, начали пренебрегать принципами греческой архитектуры.^[994]

Место и дата его рождения неизвестны. По одним данным, он родился в Вероне, по другим - в Формизе,^[995] но сам он утверждает, что получил хорошее гуманитарное образование; истинность этого утверждения подтверждается знаниями, которые он демонстрирует в греческой и римской литературе, и его знакомством с работами, которые касаются не только архитектуры, но и учености и даже философии^[996] - трудами, например, Лукреция, Цицерона и Варро. Но главной целью его занятий была, несомненно, профессиональная деятельность, и для этого он сделал литературу своей служанкой.

Витрувий служил при Юлии Цезаре в Африке в качестве военного инженера, а затем был нанят одним из императоров, которому посвящен его трактат, для руководства и контроля над этим отделом государственной службы. Благодаря его благосклонности и доброте сестры он оказался если не в достатке, то, по крайней мере, в компетентном состоянии. О том, кто был его императорским покровителем, спорят; но широкомасштабные завоевания, увеличение империи, политические институты и, более того, вкус к архитектуре, который Витрувий приписывает ему, делают наиболее вероятным, что это был Август, государь, который основал город из кирпича и оставил его из мрамора. Очевидно, что его труд был написан после смерти Юлия Цезаря, а не позже смерти Тита, поскольку к первому он приставляет слово *Divus*, а о Колизее не упоминает; и, хотя он говорит о Везувии,^[997] ему, очевидно, неизвестно, что извержения происходили только в древние времена. Несмотря на

аргументы, приведенные У. Ньютоном^[998] в доказательство того, что он писал в царствование Тита, сейчас общепризнанно, что Витрувий был писателем эпохи Августа. Недостаток его стиля по сравнению со стилем его современников, его иногда неясность и отсутствие метода, нередкое появление неуклюжих и даже варварских выражений, несмотря на его классическое образование, может быть объяснено тем, что уже было сказано о профессиональной цели всех его занятий. Сам он просит снисхождения на этот счет,^[999] и заявляет, что пишет как архитектор, а не как литератор. Те трудности, которые возникают из-за краткости, он считает поводом для хвастовства, а не для извинений.

При оценке латинства такого автора, как Витрувий, не следует забывать, что наш вкус формируется авторитетом и изучением лучших образцов. Новизна исключительна, а потому вызывает неприятие. Но технические предметы требуют не только введения новых терминов, но и, в силу бедности языка, неловких перифраз и неясной фразеологии. Тем не менее, в целом, язык Витрувия энергичен, описания смелы и кажутся работой верной и правильной руки, а также опытного рисовальщика.

Его труд состоит из десяти книг, в которых он систематически и упорядоченно рассматривает весь предмет.

Его основное содержание заключается в следующем: -Общий взгляд на науку и образование, подходящее для архитектора; выбор места; расположение зданий и укреплений города;^[1000] интересный очерк о древнейших человеческих жилищах, строительных материалах,^[1001] храмах, алтарях,^[1002] форумах, базиликах, сокровищницах, тюрьмах, зданиях судов, банях, палестрах, гаванях, театрах, вместе с их акустическими принципами, и теорией музыкальных звуков и гармоний.^[1003] Частные жилища, как в городе, так и в деревне;^[1004] украшение;^[1005] вода, и средства снабжения;^[1006] хронометрические инструменты;^[1007] геодезия^[1008] и инженерное дело, как гражданское, так и военное.

Его работа ценна как конспект принципов греческого архитектурного вкуса и красоты, преданным поклонником которых он был и от которых он не допустил бы никаких отклонений. Но ему явно не хватало знаний о принципах греческого архитектурного строительства.^[1009] Его вкус был чист, слишком чист, вероятно, для римлян; ведь, несмотря на его теоретическое превосходство, у нас нет свидетельств того, что он работал практически в качестве архитектора, за исключением базилики^[1010] в Колонии Юлия Фанестриса, ныне Фано, близ Анконы.

КНИГА III. ЭПОХА УПАДКА.

ГЛАВА I.

УПАДОК РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - ОНА СТАЛА ДЕКЛАМАЦИОННОЙ -
БИОГРАФИЯ ФЕДРА - ГЕНИАЛЬНОСТЬ ЕГО БАСЕН - МОРАЛЬНЫЕ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УРОКИ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В НИХ - ОБРАЗЦЫ БАСЕН - БАСНИ,
ПОДСКАЗАННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ - ЯНУС И ТИБЕРИЙ - ЭПОХА,
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ - ГЕНИАЛЬНОСТЬ ФЕДРА -
ПРЕВОСХОДСТВО ЭЗОПА - КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ФЕДРА.

Со смертью Августа^[1011] начался упадок римской литературы, и только три прославленных имени, Федр, Персий и Лукан, спасли первые годы этого периода от обвинений в испорченности и порочности вкуса. Через некоторое время, правда, политические обстоятельства снова стали более благоприятными - опасности, парализовавшие гений и талант и препятствовавшие их свободному проявлению при Тиберии и его тиранических преемниках, уменьшились, и при Веспасиане и Тите установилась более либеральная система управления. Тогда Ювенал и Тацит выступили как представители старой римской независимости; бодрость мысли передалась языку; вкус к возвышенному и прекрасному в некоторой степени возродился, хотя и не достиг того совершенства, которое пролило блеск на эпоху Августа.

Характерной чертой первой литературы этой эпохи были декламация и риторика. По мере того как свобода уменьшалась, истинное природное красноречие постепенно приходило в упадок. Когда уже нет необходимости или даже возможности убеждать людей, то красноречие, успокаивающее страсти, завоевывающее привязанности или вызывающее к здравому смыслу и рассудочным способностям, не имеет возможности проявиться. Его цель - новая - угодить и привлечь аудиторию, которая слушает его в простом критическом духе: оружие, которое оно использует, - новизна и изобретательность; новизна вскоре становится странностью, а странность - преувеличением; в то время как изобретательность подразумевает неестественное изучение и демонстрацию педантичной эрудиции, нацеленность на поразительные и сногшибательные эффекты и в конце концов заканчивается жеманством.

Если при ближайших преемниках Августа преобладал именно такой ложный вкус, то неудивительно, что он затронул как поэзию, так и прозу, и что главный талант поэта заключался в пышных и рассеянных описаниях, в то время как его главным недостатком был стиль, перегруженный орнаментами. Трагедии, приписываемые Сенеке, - это театральные декламации, сатиры Персия - философские декламации, а поэмы Лукана и Силия Италика, хотя и эпические по форме, являются не более чем описательными стихами, и их стиль скорее риторический, чем поэтический.

Phædrus.

Басни были давно известны и популярны среди римлян еще до времени Фэдра. Ливий не мог бы приписать известную басню Менению Агриппе, если бы она не была давно известной традицией. Басни развлекали гостей Горация и служили сюжетом для Овидия. В этой, как и в других областях литературы, Рим был подражателем Греции; но все же римский баснописец проложил новую для себя линию, и в его руках басня стала не только нравоучительной, но и суровой политической сатирой. Федр, родоначальник и единственный автор римской басни,

процветал на общих границах золотого и серебряного века. Его образ мыслей, а также события, которые послужили источником оригинальных иллюстраций и адаптаций эзоповых историй, относятся к той переходной эпохе. Его работы как бы изолированы: у него нет современников. Хотя он родился в царствование Августа, писал он уже тогда, когда эпоха Августа ушла в прошлое. Тем не менее его одинокий голос возвышался, когда смолкали голоса поэтов, историков и философов.

Федр, как и Гораций, сам себе биограф, и единственное, что мы знаем о его жизни, - это его басни. В прологе к третьей книге он сообщает нам, что был уроженцем Фракии: "Я, - говорит он, - которого моя мать родила на Пиерийском холме.

Ego quem Pierio mater enixa est jugo".

И снова он восклицает: "Зачем мне, более близкому к Греции, покидать из-за лени чести своего отечества, когда Фракия может похвастаться своими поэтами, а Аполлон - родитель Линуса, муза Орфея, который своей песней придал скалам движение, укротил диких зверей и остановил стремительный Гебрус с желанной задержкой?

Ego literatæ qui sum propior Græciæ,

Cur somno inertī deseram patriæ decus;

Threïssa cum gens numeret auctores suos,

Linoque Apollo sit parens, Musa Orphea

Qui saxa cantu movit, et domuit feras,

Hebrique tenuit impetus dulci morâ?".

Из названия "Augusti Libertus", приложенного к его басням, ясно, что он добавляет еще одно выдающееся имя к списку вольноотпущенников, прославленных в анналах литературы. Хотя в предисловии к своему произведению он скромно называет себя лишь переводчиком Эзопа,

Æsopus auctor quam materiam repperit

Hanc ego polivi versibus senariis,^[1012]

Тем не менее, многие из его басен заслуживают похвалы за оригинальность. Вероятно, он расширил и удлинил свой первоначальный план; ведь впоследствии он говорит, что просто перенял стиль, а не суть эзоповской басни.^[1013]

Судя по всему, он не снискал особой славы или популярности; античные авторитеты упоминают его лишь дважды, а именно Марциал^[1014] и Сенека.^[1015] Последний, обращаясь к Полибию, любимому вольноотпущеннику Клавдия, призывает его вступить на поле, которое уже занял Федр, утверждая, что басни в стиле Эзопа представляют собой произведение, до сих пор не начатое римским гением (*intentatum Romanis ingeniis opus.*) Либо басни Федра были малоизвестны и мало оценены, либо Сенека намеренно скрыл от фаворита императора факт их существования, чтобы польстить ему надеждами на то, что он станет первым римским писателем в его стиле. Гонения, которым подвергались литераторы при худших императорах, на которые неясно намекает Федр, что он был жертвой^[1016] - опасности, которым он мог бы подвергнуться из-за обвинений в адрес власть имущих, которые, скрытые под покровом вымысла, кажутся сейчас темными и загадочными, но которые могли бы ясно говорить с совестью самих действующих лиц - вероятно, сделали мудрой

предосторожностью сокрытие его произведений при жизни; Поэтому они были малоизвестны, за исключением избранных, а небольшое количество копий, сделанных с них, объясняет редкость сохранившихся рукописей.

Из-за недостатка древних свидетельств подлинность басен оспаривалась, но чистота стиля и естественные аллюзии на современные события делают почти несомненным их принадлежность к эпохе, в которую они, как предполагается, были написаны. Никто, кроме современника, не мог написать басню, начинающуюся словами

Narrabo memoria quod factum est mea. ⁽¹⁰¹⁷⁾.

В прологе к третьей книге, очевидно, говорится о собственных бедствиях автора; а то, как имя Сеяна связано с этим событием, намекает, хотя и неясно, что этот премьер-министр тирании был автором его страданий. Маловероятно, что он решился бы напасть на Сеяна при жизни. Поэтому можно предположить, что Федр жил после восемнадцатого года правления Тиберия, в котором умер Сеянус.

Оригинал рукописи, использованной в ранних изданиях Phædrus, был обнаружен в X веке: он содержал девяносто семь басен, разделенных на пять книг. Но Н. Перотто, архиепископ Манфредонии, в пятнадцатом веке издал разнородный сборник латинских басен, и среди них было тридцать две новые басни, приписываемые Федрусу, которых не было в старых изданиях. Сначала предполагалось, что их написал сам Перотто; но явная некачественность некоторых стихотворений, которые, как известно, принадлежали архиепископу, и августовская чистота стиля, которой отличаются новооткрытые басни, не оставляют сомнений в их подлинности. Поэтому они были опубликованы Анджело Май в качестве дополнения к уже появившимся.

Обстоятельства времени, в котором он жил, подсказывали моральные и благоразумные уроки, которые преподносили его басни. В период империи бичом Рима стал государственный доносчик (*delator*), как подхалим был вредителем в Афинах. Жизнь и поведение, как частные, так и общественные, подвергались полной системе шпионажа: никто не был защищен от этой грозной инквизиции; знакомый человека мог быть втайне его злейшим врагом. Но главными жертвами становились богатые люди: их намечали для уничтожения, чтобы конфискация их имущества могла утолить жадность императора и доносчиков. По этой причине сам Федр утверждает, что всегда видел опасность приобретения богатства.

Periculosum semper reputavi lucrum.

И нас не удивляет, что опасность богатства и сравнительная безопасность безвестности и бедности иногда становятся моралью его басен.

Басня "Мул и вор", полностью принадлежащая ему, преподносит такой урок

Muli gravati sarcinis ibant duo;

Unus ferebat fiscos cum pecuniâ,

Alter tumentes multo saccos hordeo.

Ille, onere dives, celsâ cervice eminet,

Clarumque collo jactat tintinnabulum;

Comes quieto sequitur et placido gradu.

Subito latrones ex insidiis advolant,

Interque cædem ferro mulum sauciant,

Diripiunt nummos, negligunt vile hordeum.

Spoliatus igitur cum casus fleret suos,

Equidem, inquit alter, me contemptum gaudeo,

Nam nihil amisi nec sum læsus vulnere.

Hoc argumento tuta est hominum tenuitas;

Magnæ periclo sunt opes obnoxiaë.^[1018]

"Два мула, нагруженные тяжелой ношей, ехали вместе: один вез мешки с деньгами, другой - мешки, наполненные ячменем. Первый, гордясь своим богатым грузом, высоко поднял голову, и колокольчик на его шее весело звенел; его спутник шел тихим и мягким шагом. Вдруг из засады выскочили разбойники, ранили мула-сокровищницу, отобрали у него мешки с деньгами, но оставили нетронутым бесполезный ячмень. Когда же страдалец стал сетовать на свой печальный случай, он ответил: "А я радуюсь, что со мной обошлись пренебрежительно, ведь у меня нет ран, и я ничего не потерял". Сюжет этой басни доказывает, что бедность безопасна, в то время как большое богатство подвержено опасности".

Басня о человеке и ослице преподносит полезный урок другому классу богачей - любимцам императора и его приближенных, которые были обязаны своим богатством грабежу и конфискации. Опыт каждого дня доказывает, что те, кто в один прекрасный день наживался добычей угнетенных, на следующий день сами становились жертвами той же тиранической системы. Как и в случае с премьер-министром Сеянусом, солнцу их процветания было суждено зайти, а их незаконно нажитым трофеям - обогатить других, таких же недостойных, как они сами. Эти состояния действительно были построены на гнилом фундаменте, который та же система была в силах поднять и свергнуть:...

Quidam immolasset verrem quum sancto Herculi,

Cui pro salute votum debebat sua,

Asello jussit reliquias poni hordei.

Quas aspernatus ille sic locutus est:

Tuum libenter prorsus appeterem cibum

Nisi, qui nutritus illo est, jugulatus foret.

* * * * *

Majorem turbam punitorum reperies;

Paucis temeritas est bono, multis malo.^[1019]

"Один человек, принесший в жертву Гераклу кабана, которого он поклялся отблагодарить за свое выздоровление от болезни, приказал отдать остатки ячменя своему ослу. Осел с

презрением отверг их и сказал: "Я бы с удовольствием ел пищу, которую ты мне даешь, если бы тому, кто на ней откормился, не перерезали горло".

"Вы увидите, что большинство тех, кто разбогател путем насилия и грабежа, наказаны; дерзость удастся немногим, но губит многих".

Непрерывная череда тиранических императоров должна была научить угнетенных подданных, что им нечего надеяться на смену тех, кто носит пурпур. Эта истина запечатлена в басне о старом крестьянине и его ослице:...

In principatu commutando civium

Nil, præter domini nomen, mutant pauperes.

Id esse verum parva hæc fabula indicat.

Asellum in prato timidus pascebat senex.

Is, hostium clamore subito territus,

Suadebat asino fugere, ne possent capi.

At ille lentus; quæso, num binas mihi

Clitellas impositurum victorem putas?

Senex negavit. Ergo quid refert mea

Cui serviam, clitellas dum portem meas?^[1020]

"При смене князей бедняки не меняют ничего, кроме имени своего господина. Истину этого доказывает следующая маленькая басня. Робкий старик кормил своего осла на лугу. Встревоженный криками наступающего врага, он уговаривал осла бежать, боясь, что их возьмут в плен. Но осел остановился и сказал: "Молись, как ты думаешь, завоеватель наденет мне на спину два вьючных седла?" "Нет", - ответил старик. Тогда какая мне разница, на чьей я службе, лишь бы груз свой нести?"

Известная басня о волке и ягненке (i. 1) иллюстрирует беспринципность доносчиков, а басня о волке и домашней собаке (iii. 7) учит, насколько предпочтительнее свобода, даже при самых больших лишениях, чем роскошь и комфорт, купленные подчинением капризам хозяина.

Таковыми были моральные и политические уроки, которые Фэдрус преподносил в привлекательной форме басен. Они носили общий характер, навеянный пороками времени, в которое он жил.

Другой класс был подсказан историческими событиями: они, тем не менее, были суровыми сатирическими строгостями в отношении отдельных людей. В качестве примера можно привести два, которые явно направлены против Тиберия и Сеяна. Это "Лягушки, требующие царя" (i. 2) и "Лягушки и солнце" (i. 6). Ни одна из этих басен не является оригинальной; они представляют собой подходящее применение двух басен Эзопа.

Римляне,^[1021] подобно лягушкам в первой из этих басен, променяли свою свободу на рабство империи. В лице Тиберия, теперь уже слабоумного тупицы, полностью отдавшего себя чувственному наслаждению в своем уединении в Капрее, они получили идеального короля

Бревна. Он был совершенно безразличен к страданиям своих подданных и управлению королевством.

Своему одиозному министру Сеяну он поручил все заботы по управлению страной, к которым сам был неспособен. Вся тирания и жестокость приписывались министрам, а женоподобное распутство императора делало его, даже в ту деморализованную эпоху, объектом скорее презрения и оскорбления, чем отвращения и страха. Л. Сеянус, родственник Юлия,^[1022] использовал лысых людей и детей с обритыми головами в процессии на Цветочных играх, чтобы выставить на посмешище лысого императора, и тот не посмел обратить внимание на оскорбление. Печально известный Фульциний Трио в своем последнем завещании заявил, что Тиберий в старости стал ребенком и что его дальнейшая отставка - не что иное, как изгнание.^[1023] Пакувиан был автором пасквинад против императора. Точно так же Фэдрус описывает лягушек, которые относятся к "царю Бревну" с презрением и оскверняют его самым оскорбительным образом.

Но после смерти Сеяна в поведении императора, хотя и не в его характере, произошли перемены. Он на время покинул Капрею и поселился в Ватикане, недалеко от самых стен Рима. Теперь он дал волю своему дикому нраву и проявил нрав водяной змеи из басни. Его природная жестокость была уравновешена его активностью. "Его острый зуб хватал одну за другой не сопротивляющиеся жертвы: тщетно они бегут от смерти; страх не позволяет им произнести ни слова в защиту или в оправдание". Между тираном и его жертвами больше не было огромного пространства моря и суши. Не было ничего, что могло бы задержать напыщенные и многословные послания о его кровавых целях: его рескрипты могли дойти до консулов в тот же день или, по крайней мере, после ночного перерыва: он мог, как бы воочию, увидеть вонючие руки палачей и волны крови, заливавшие каждое жилище.^[1024] Мечь обрушилась не только на провинившегося Сеяна и его невинную семью: по приказу тирана в Риме лилась и самая мерзкая, и самая благородная кровь. Басня о лягушках и солнце была скрытым нападением на честолюбивые замыслы Сеяна. Она достаточно коротка, чтобы ее можно было процитировать:

Uxorem quandam Sol quum vellet ducere,

Clamorem Ranæ sustulere ad sidera.

Convicio permotus, quærit Jupiter

Causam querelæ. Quædam tum stagni incola,

Nunc, inquit, omnes unus exurit lacus

Cogitque miseras arida sede emori;

Quidnam futurum est, si creârit liberos?^[1025]

"Однажды Солнце решило жениться, и лягушки подняли тревогу на небесах. Юпитер, тронутый их жалобами, спросил, в чем их причина. Один из обитателей пруда ответил: "Сейчас Солнце само по себе высушивает все озера и заставляет нас умирать жалкой смертью в наших разбросанных жилищах. Что же будет с нами, если у него есть дети?"

Теперь давайте рассмотрим применение. Снисходительный и в то же время честолюбивый Сеянус всегда стремился к союзу с императорской семьей. Первой попыткой, которую он предпринял для осуществления своего замысла, стала помолвка его дочери с Друзом, сыном Клавдия, впоследствии императора. Этот принц умер молодым, и, следовательно, брак так и

не состоялся,^[1026] но это впервые открыло глаза римлянам на дерзкие проекты фаворита. Позднее^[1027] он аналогичным способом попытался проложить себе путь к императорскому пурпуру. Он соблазнил Ливиллу, сестру любезного Германика, отравил ее мужа, развелся с собственной женой и попросил у Тиберия разрешения на брак с вдовой убитого. Император, со свойственной ему ловкостью и изворотливостью, отказал. Это требование пробудило подозрения двора и послужило началом той прохлады между Сеяном и его покровителем, которая в конце концов закончилась падением последнего. Влияние одного Сеянуса было достаточно пагубным, а что будет, если его умножит целый род принцев, происходящих от него? Сама вероятность такого события, естественно, наполняла Рим тревогой и беспокойством, и Федр попытался подбодрить его басней, которая, если бы не имела такой цели, едва ли была бы понятна.

Приведенных цитат из басен Федре достаточно, чтобы показать его изобретательность в подражании и адаптации, а также его оригинальный гений, когда он доверяет своим способностям к изобретению. Некоторые из его произведений, хотя, как и остальные, они озаглавлены баснями, на самом деле являются рассказами о реальных событиях, и показывают, что он обладал очаровательным талантом рассказывать анекдоты, а также мастерством баснописца в собственном смысле этого слова. Его стиль обладает большими достоинствами: он сочетает в себе простую аккуратность и изящную элегантность золотого века с энергичностью и строгостью серебряного. Фэдрус обладает удобством Овидия и краткостью Тацита. Стоя в эпоху между двумя литературными периодами, он, насколько позволяет скромная природа его прогулки, объединяет достоинства обоих. Между эпохой Горация и Ювенала, Цицерона и Тацита был промежуток, и долгий, не менее полувека: это был период, когда римский гений дремал. Фэдрус доказывает, что этот сон не был сном смерти. Тацит частично объясняет этот холодный и мрачный период. Он рассказывает нам^[1028] - "что, хотя дела древней Римской республики, будь то в процветании или в несчастье, описывались прославленными писателями - и даже во времена Августа не было недостатка в историках с талантом и гением, - тем не менее постепенный рост духа преклонения удерживал всех, кто был пригоден для этой задачи, от попыток ее выполнения. Страх при жизни Тиберия, Кая, Клавдия и Нерона и ненависть, еще свежая после их смерти, сделали все рассказы об их правлениях ложными".

Таким образом, по его словам, именно страх и ненависть, а также дух лести заглушили голос истории. Несомненно, то, что он говорит об истории, с равной силой относится и к поэзии, и к ораторскому искусству. Та же причина, которая сокрушила политическую свободу, сделала правдивость историка чреватой опасностью, а всю поэзию, если только она не говорила на языке преклонения, - изменой; преступление, которое больше не было преступлением против величия народа, но было перенесено на личность императора. Сам термин *παρρησία* (смелость речи) был словом, произносить которое было так же опасно, как говорить о свободе.^[1029] Опасность едва миновала, когда Ювенал, несмотря на свое бесстрашие, написал: "Unde illa priorum..."

Unde illa priorum

Scribendi quodcunque animo flagrante liberet,

Simplicitas, cujus non audeo dicere nomen.

Juv. i. 153.

Где простые времена, простые, когда наши предки

Наслаждались свободой, которую я не смею назвать,
И придавали общественный грех общественному позору,
Не обращая внимания на то, кто улыбался или хмурился.

Гиффорд.

Но была и негативная, и позитивная причина - отказ от покровительства. Литература, чтобы процветать, нуждается в гениальном солнечном свете человеческих симпатий: ей необходимо либо покровительство великих, либо благосклонность народа. В Греции она в высшей степени пользовалась последним; в Риме, со времен Сципионов до правления Августа, ее поддерживало первое. Сразу после его смерти покровительство было отменено, а общественная поддержка не пришла на смену. Тиберий был сначала солдатом, затем мрачным и замкнутым политиком, а в конце концов - кровожадным и суеверным чувственником. Наслаждения Гая Калигулы были экстравагантностями безумца, хотя он сам был виновен в своем моральном безумии, так как порочными потворствами разрушал свои нравственные принципы; он не только не поощрял литературу, но даже ненавидел Гомера и Вергилия. Наконец, глупый и дремучий Клавдий писал книги^[1030], такие же глупые, как и он сам, и был одновременно и задницей, и орудием своих придворных. Поэтому только при Нероне литература возродилась, ибо, хотя он и был самым кровавым из тиранов, он стремился превзойти всех в утонченности и имел вкус к искусству и поэзии.

В построении своих басен Федр проявляет наблюдательность и изобретательность. Ничто не ускользает от его бдительного взора, который может быть использован в его маленьких поэмах. Грубый набросок углем на стене низкой таверны^[1031] подсказал ему идею битвы между Крысами и Ласками. Его животные сгруппированы и расставлены по местам так, как их расположил бы художник. Его меткий глаз подметил и зафиксировал повадки грубых существ, и он с величайшей изобретательностью приспособил их для передачи благородных и мудрых чувств. Но на этом его гений останавливается. Ему не хватает воображения. Он делает своих животных проводниками своей мудрости, но он не погружается в них и не отождествляет себя с ними. Настоящий поэт теряется в своих героях: увлеченный энтузиазмом вдохновенного воображения, его дух переливается в его героев; вы забываете о его существовании. Персонажи Phædrus выглядят и ведут себя как животные, но говорят как люди: моралиста и философа всегда можно обнаружить говорящим под маской и в маскировке.

В этом заключается огромное превосходство Эзопа над его римским подражателем. Его животные - высшая раса, но они все равно остаются животными. Читателю может показаться, что баснописец жил среди них как один из них, перенял их образ жизни и разговаривал с ними на их языке. В "Федре" человеческие чувства переведены на язык зверей, в "Эзопе" звери выражают те чувства, которые были бы естественны для них, окажись они на месте людей. Умелая адаптация и счастливая обрисовка - это триумф изобретательности и наблюдательности: творческая сила - это сила воображения.

Стиль Федра, несмотря на несколько провинциализмов,^[1032] чист и классичен. Он не часто прибегает к метафорам, но те немногие, что встречаются, поразительны и уместны. Он не совсем свободен от некоторого надуманного жеманства, которое характеризует упадок римской литературы. Но его вина заключается в преувеличенной краткости и концентрации многих идей в коротком пространстве, а не в риторических украшениях, которые теперь стали вызывать восхищение и популярность. Его стремление к краткости привело к тому, что он стал использовать абстрактные субстантивы гораздо более обильно, чем это было

принято у лучших классических писателей. Эти недостатки, однако, не мешают той ясности и простоте, которые, как и темы, сделали басни Федра популярной книгой для молодого студента, и радуют даже тех, кто имеет возможность сравнить его ямбики с живостью Гея, вежливостью Флориана, философией Лессинга, сладостью Каупера и непревзойденной универсальностью Лафонтена.

ГЛАВА II.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЭПОХУ АВГУСТА - ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИ НЕРОНЕ - НЕДОСТАТКИ ТРАГЕДИЙ, ПРИПИСЫВАЕМЫХ СЕНЕКЕ, - ВНУТРЕННИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИХ АВТОРСТВА - СЕНЕКА-ФИЛОСОФ, СТОИК, НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ И НЕУСТОЙЧИВЫЙ - НАСТРОЕНИЯ ЕГО ФИЛОСОФСКИХ ТРУДОВ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В ЕГО ТРАГЕДИЯХ - СРАВНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОТРЫВКОВ - ФРАНЦУЗСКАЯ ШКОЛА ТРАГИЧЕСКИХ ПОЭТОВ.

О римской трагедии в ее ранний период, насколько сохранившиеся фрагменты позволяют судить о ней, уже было сказано; и если обстоятельства не позволяли ей процветать тогда, то еще меньше можно было ожидать, что смелость и независимость греческой трагедии будут найдены при империи.

Тем не менее, не обошлось без подражателей Греции в этой благороднейшей ветви греческой поэзии, как бы она ни была неподходящей для гения римского народа и вряд ли могла быть им оценена.

Но их произведения были скорее литературными, чем драматическими; они предназначались для чтения, а не для представления. Это были поэмы, написанные в драматической форме, потому что Афины подавали пример этой формы своим преданным подражателям. Поэтому, несмотря на то, что они содержат благородные философские чувства, живые описания, энергичные концепции и обрисовки характеров, а также отрывки, полные нежности и пафоса, они лишены драматического эффекта и положительно противоречат тем законам хорошего вкуса, которые, не произвольно принятые, а основанные на принципах человеческого разума, регулировали афинскую сцену.

Мы видели, что в эпоху Августа несколько писателей достигли некоторого совершенства в трагедии, по крайней мере, по мнению античных критиков. Помимо Овидия и Вария, чьи трагедии уже упоминались, Асиний Поллион приобрел высокую репутацию трагического поэта, а Вергилий^[1033] заявляет, что он единственный, кто достоин сравнения с Софоклом:...

Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno.

После возрождения литературы при этом профессоре любви к поэзии,^[1034] тиранине Нероне, драматическая литература появилась вновь, и прекрасные образцы сохранились в десяти трагедиях, приписываемых Сенеке. Относительно их достоинств высказывались различные и противоположные мнения; но несомненно, что гений автора никогда не может постичь во всей полноте характеры, которые он пытается скопировать; это искаженные образы греческих оригиналов; ужасное и теневое величие богоподобных героев Эсхила предстает в телесной необъятности и кажется детским и неестественным, как гиганты из сборника рассказов. Чудеса греческой трагедии и греческой мифологии, хотя и являются всего лишь нереальными представлениями воображения, не кажутся преувеличенными, потому что

связь между теорией и результатом, причинами и следствиями поддерживается так искусно; но в этих римских трагедиях легенды Греции выглядят экстравагантными и абсурдными: они так же нереальны и поэтому кажутся такими же аффектированными, как классические одежды, в которые облачилась английская поэзия в эпоху Анны. Греки верили в богов и героев, чьи действия и подвиги составляли механизм трагедии, а римляне - нет; и поэтому мы не можем им сочувствовать, так как видим, что они неискренни. Кроме того, стиль трагедий, носящих имя Сенеки, испорчен тем раздутым языком и избытком украшений, постоянным следствием которых является, как замечает Аристотель, фригидность. В них заметны следы эпохи, когда гений уступил место искусственной и схоластической риторике, а автор, похоже, стремился не столько к трагическому пафосу, сколько к блестящей декламации. Особенно в женских персонажах римский трагический поэт терпит неудачу, ибо, хотя он и способен понять героизм, он не в состоянии выполнить эту сложнейшую из всех задач - соединить его с женской деликатностью. Возможно, лучшие и благороднейшие из его соотечественниц не давали ему таких идеалов. Римская матрона была аналогом своего воинственного повелителя. Лукреции, Порции, Корнелии, Аррии, хотя и были преданными и нежными, были более суровыми, чем Антигона и Деянира.

Трагедии, носящие имя Сенеки, были приписаны философу Л. Аннею Сенеке еще во времена Квинтилиана^[1035], который цитирует стих из "Медеи" как сенекианский. Невероятность этого уменьшается еще и тем, что и Тацит^[1036], и Плиний Младший^[1037] говорят о нем как о поэте. Тем не менее, их авторство считается весьма сомнительным вопросом. Отрывок из эпиграммы Марциала, в котором он говорит о Кордове как о родине двух Сенек и одного Лукана...

Duosque Senecas unicumque Lucanum

Facunda loquitur Corduba^[1038] -.

было истолковано как намек на то, что Сенека-философ был другим человеком, нежели Сенека-трагик. Однако едва ли можно сомневаться в том, что речь идет о риторе М. Аннее Сенеке и его сыне Луции-философе. Сидоний Аполлинарий,^[1039] зять императора Флавия Авита и епископ Клермонта,^[1040] в последние годы Римской империи, безоговорочно проводит различие между ними. Он перечисляет трех представителей кордовской семьи: - Quorum unus colit hispidum.

Quorum unus colit hispidum Platonem,

Incassumque suum monet Neronem,

Orchestram quatit alter Euripidis

Pictum fæcibus Æschylum sequutus,

Aut plaustris solitum sonare Thespim

Pugnam tertius ille Gallicanam

Dixit Cæsar.

Carm. ix. 231.

Но, несмотря на славу, которой пользовался Сидоний как поэт при императорском дворе, его мнение не имеет никакого авторитета, если сопоставить его с внутренними

доказательствами, полученными из самих трагедий. Это делает почти морально уверенным, что они принадлежат не кому иному, как философу Сенеке.

Хотя римляне, будучи подражателями греков, а не оригинальными мыслителями, были эклектиками в философии, их любимыми доктринами были доктрины стоиков. Они соответствовали жесткой суровости их характера: в них был заложен тот дух самоотверженности и самоотречения, с которым римский патриот в старые времена простой республиканской добродетели отдавался своим общественным обязанностям; и Сенека, при всех своих недостатках, был настоящим римлянином: при всей своей тонкости и искусной политике он сохранил, посреди развратного века и распутного двора, значительную часть старого римского характера. В жизни и в смерти он был истинным образцом стоического вероучения.

Однако он отнюдь не был последовательным человеком: его теория была совершенна, но его практика часто не соответствовала ей. Уроки нравственности, содержащиеся в его философских трудах, превосходны, убедительны и носят видимость честности и искренности; но, тем не менее, в его философии, как и в его жизни, мы можем обнаружить, что его моральные принципы были неустойчивыми и колеблющимися. Эти две черты прослеживаются в его трагедиях: они изобилуют философскими догмами и моральными чувствами, и в них проявляется тот же стоицизм, смешанный с периодически возникающими привычками к непоследовательности. Самоубийство рисуется в самых привлекательных красках: смерть встречается не только мужественно, но и с тем же безразличием, с которым сам Сенека, вместе с другими жертвами императорской тирании, встречал ее в свое время. Она не приветствуется, как у греческих трагиков, как избавление от бремени земных печалей; но происходит явный отход от греческой модели: естественная красота этой модели нарушается, а черты оригинального характера приносятся в жертву стоической холодности и бесчувственности.

Но не только философскими размышлениями наполнены эти трагедии; в них переносятся даже настроения, высказанные в признанных произведениях Сенеки, в его "Эссе" и "Посланиях", а своеобразные обороты речи, использованные философом, повторяются поэтом. Блестящий французский автор^[1041] гениально собрал и сравнил параллельные отрывки, которые иллюстрируют это сходство чувств и стиля. Достаточно привести несколько из них в качестве примера. Две фразы в "Фениссах", в которых Эдип настаивает на "свободе умирания", воплощают ту же доктрину, что и две другие, одна в посланиях к Луцилию, другая в трактате о Провидении.

Тот (говорит Œdipus), кто принуждает того, кто не хочет умирать, делает то же самое, что и тот, кто препятствует тому, кто жаждет смерти; но я считаю, что последний относится ко мне хуже из двух. Я бы предпочел, чтобы смерть была навязана мне, чем чтобы привилегия умереть была отнята у меня.

Qui cogit mori

Nolentem, in æquo est, quique properantem impedit.

Nec tamen in æquo est; alterum gravius reor,

Malo imperari quam eripi mortem mihi.

Phœnis. 98.

И снова появляется то же самое излюбленное чувство:...

Мне нельзя помешать умереть; к чему все эти твои заботы? Смерть повсюду. Бог мудро предусмотрел это. Никто не может лишить человека жизни, но никто не может лишить его смерти; к этому открыты тысячи дорог.

Morte prohiberi haud queo.

Quid ista tandem cura proficit tua?

Ubique mors est. Optime hoc cavit Deus.

Eripere vitam nemo non homini potest;

At nemo mortem; mille ad hanc aditus patent.

Phœnis. 146.

С ними можно сравнить следующие предложения философа, в которых не только доктрины, но и язык, на котором они выражены, настолько поразительно параллельны, что едва ли можно сомневаться в идентичности авторов: "Жизнь по принуждению - это жизнь по принуждению.

Жить по принуждению - зло; но нет никакого принуждения жить по принуждению. К свободе со всех сторон открыто множество дорог, коротких и легких. Давайте благодарить Бога за то, что никто не может быть удержан в жизни".

И снова Божественное Провидение заявляет человечеству: "Прежде чем все случится, я позабочусь о том, чтобы никто не был удержан в жизни".

Прежде всего я позаботился о том, чтобы никто не задерживал вас против вашей воли - выход для вас открыт.

Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. Patent undique ad libertatem viæ multæ, breves, faciles. Agamus Deo gratias, quod nemo in vitâ teneri potest.-Ep. xii.

Ante omnia cavi, ne quis vos teneret invitos, patet exitus.

De Provident. vi.

Как точно соответствуют этим чувствам, выраженным в поэзии или прозе, заключительные сцены жизни Сенеки; почти деловая манера, с которой он вступил на путь, предназначенный вывести его из-под власти необходимости к наслаждению свободой; невозмутимое спокойствие, с которым он мог созерцать смерть своей жены, которую любил с величайшей нежностью!^[1042] Как рассчитано, кроме того, что они вызовут симпатии его современников! Это была эпоха, в которой среди различных пороков единственной сохранившейся добродетелью было умение мужественно встретить смерть, в которой многие лучшие и благороднейшие люди охотно умирали от собственных рук по императорскому мандату, чтобы спасти свое имя от позора, а наследство своих детей - от конфискации.

Опять же, ужасная вера в судьбу и безнадежная, но терпеливая борьба великого и доброго человека с этой всепобеждающей силой - вот основная суть греческой трагедии. Она не перешла в подражания римлянам. Ее место занял суровый фатализм стоиков. Принцип судьбы, которым руководствуются греческие поэты, - мифологический, даже религиозный: это непреодолимая воля Бога. Бог находится в начале цепи причин и следствий, благодаря

которым происходит событие, предначертанное Богом; его вдохновенные пророки имеют власть предсказывать, а смертные не могут сопротивляться или избегать. Это скорее предопределение, чем судьба. Эта доктрина подразумевает наличие разумного агента, а не просто абстрактного принципа.

Фатализм стоиков, с другой стороны, является доктриной практической необходимости. Она игнорирует всемогущество Высшего существа, хотя и не отрицает его существования. Она лишает его атрибутов морального правителя вселенной. Эти доктрины встречаются как у философа, так и у трагического поэта. Переведите приложенный прозаический отрывок на обычный язык поэзии, примите в качестве приукрашивания басни греческой мифологии, персонифицируйте стоический принцип необходимости греческими судьбами, и он станет хором в латинской трагедии *Cædipus*. Оба эти отрывка цитируются Нисардом:...

Nihil cogor nihil patior invitus; nec servio Deo, sed assentior; eo quidem magis, quod scio omnia certa et in æternum dicta lege decurrere. Fata nos ducunt, et quantum cuique restat, prima nascentium hora disposuit. Causa pendet ex causa; privata ac publica longus ordo rerum trahit. Ideo fortiter omne ferendum est; quia non, ut putamus, incidunt cuncta, sed veniunt. Olim constitutum est quid gaudeas, quid fleas; et quamvis magna videatur varietate singulorum vita distingui, summa in unum venit; acceperimus peritura perituri.

De Provid. v.

Я не вынужден делать или страдать против своей воли. Я не раб Божий, но склоняюсь перед Его волей. Тем более что я знаю, что все вещи фиксированы и происходят по вечному закону. Судьба - наш проводник, и час нашего рождения распоряжается всей дальнейшей жизнью. Каждая причина зависит от предыдущей; длинная цепь обстоятельств связывает воедино все вещи, как общественные, так и личные. Поэтому мы должны переносить все со стойкостью, ведь все *происходит*, а не так, как мы предполагаем. Наши радости или горести были определены уже давно; и хотя жизнь отдельных людей отличается большим разнообразием, итог один и тот же. Мы сами - тленные создания, и то, что мы получили, тоже тленно.

Сравнение вышеизложенного со следующим отрывком демонстрирует сходство, которое могло исходить только от одного и того же ума и одного и того же пера; ибо следует помнить, что хотя римляне и были подражателями греков, они не копировали друг друга; и во всей римской литературе не найти примера, чтобы поэт перенес в свои произведения точные настроения, тон мысли и оборот выражения другого латинского автора:...

Fatis agimur, cedite fatis:

Non sollicitæ possunt curæ

Mutare rati stamina fusi.

Quicquid patimur, mortale genus,

Quicquid facimus, venit ex alto;

Servatque suæ decreta colus

Lachesis, dura revoluta manu.

Omnia certo tramite vadunt

Primusque dies dedit extremum.

Non illa Deo vertisse licet

Quæ nexa suis currunt causis.

It cuique ratus, prece non ulla

Mobilis, ordo.

Œdip. 980.

Нас ведет судьба - отдайтесь ее власти. Тревожная забота не может изменить нить, спряденную дестафом судьбы. Все, что мы, смертные, делаем или страдаем, приходит свыше, и Лахесис следит за постановлениями колеса, вращающегося под ее безжалостной рукой. Все идет своим чередом, и первый день жизни определяет последний. Бог не властен изменить цепь причин и следствий. Каждое из них имеет свой фиксированный порядок, который не в силах изменить никакие молитвы.

Даже философские несоответствия^[1043], прослеживаемые в прозаических трактатах, повторяются в трагедиях. В одном письме^[1044] он подтверждает свою веру в то, что душа Сципиона Африканского вознеслась на небо в награду за его добродетель и благочестие; в другом^[1045] он утверждает мрачную доктрину, что смерть - это уничтожение: "Mors est non esse". Подобным образом в "Троаде" хор заявляет, что счастливый Приам бродит среди благочестивых душ в "безопасных Елисейских тенях"; и, однако, с непоследовательностью, которую можно объяснить только письмами философа, в другом отрывке той же трагедии заявляет, что дух исчезает как дым, что после смерти - небытие, а сама смерть - ничто.^[1047]

На таких внутренних свидетельствах, как это, основывается вероятность, почти равная уверенности, что Сенека-философ и автор десяти трагедий - одно и то же.^[1048]

Несмотря на ложный риторический вкус и отсутствие идеала и творческого гения, трагедии Сенеки нашли много поклонников и подражателей в современную эпоху. Французская школа трагических поэтов взяла их за образец: Корнель, очевидно, считал их идеалом трагедии, а Расин раболепно подражал им. Их философия пленила эпоху, считавшую, что ничто не может быть столь возвышенным, как языческая философия; и все же та же эпоха черпала свои представления об античной философии у римлян, а не из оригинальных греческих источников; ее поэтический вкус, насколько он был классическим, сформировался на основе изучения римской драматической литературы, прежде чем превосходство аттической драмы было достаточно известно, чтобы быть оцененным.

ГЛАВА III.

БИОГРАФИЯ ПЕРСИЯ - ЕГО ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ - ЕГО ДРУЗЬЯ - ЕГО ЧИСТОТА И СКРОМНОСТЬ - ЕГО НЕДОСТАТКИ КАК САТИРИКА - ТЕМЫ ЕГО САТИР - НЕЧИСТОТА ЕГО СТИЛЯ - СРАВНЕНИЕ С ГОРАЦИЕМ - БИОГРАФИЯ ЮВЕНАЛА - ПОРЧА РИМСКИХ НРАВОВ - КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О САТИРАХ - ИХ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ - СТИЛЬ ЮВЕНАЛА - ОН БЫЛ ПОСЛЕДНИМ ИЗ РИМСКИХ САТИРИКОВ.

Аулус Персий Флакк (родился в 34 г. н. э.).

Римская сатира после Горация представлена Аулом Персием Флакком и Децимом Юнием Ювеналием. Персий принадлежал к конной семье и родился, согласно Евсевийской хронике, в 34 году н. э. в Волатерре в Этрурии. Он был связан с лучшими семьями Италии, а среди его родственников числилась Аррия, благородная жена Пета. Его отец умер, когда ему было шесть лет, а мать, Фульвия Сисенна, вышла замуж во второй раз за римского рыцаря по имени Фузий. Через несколько лет она снова стала вдовой. Начальное образование Персий получил в родном городе, но в двенадцать лет его привезли в Рим, и он прошел обычный курс грамматики и риторики под руководством Реммия Палемона^[1049] и Виргиния Флава.^[1050] Первый из них был, как и многие литераторы, вольноотпущенником и сыном рабыни. По словам Суетония, он был^[1051] человеком распутного нрава, но одаренным большой беглостью речи и потрясающей памятью. Он был скорее версификатором, чем поэтом, и, как многие современные итальянцы, обладал талантом импровизации. Он был преуспевающим школьным учителем, учитывая очень маленькие гроши, которые обычно зарабатывали представители этой профессии, ведь его школа приносила ему сорок сестерциев в год (около 325 л.^[1052]). Виргиний Флавий известен только как автор трактата "Риторика".

Сам Персий дает^[1053] забавную картину своего школьного безделья, любви к игре и ухищрений, чтобы избежать ненавистной декламации, которая в римских школах была еженедельным упражнением:^[1054] -.

Sæpe oculos, memini, tangebam parvus olivo,

Grandia si nollem morituri verba Catonis

Discere non sano multum laudanda magistro,

Quæ pater adductis sudans audiret amicis.

Jure; etenim id summum, quid dexter senio ferret,

Scire erat in voto; damnosa canicula quantum

Raderet; angustæ collo non fallier orcæ;

Neu quis callidior buxum torquere flagello.

Часто, я еще помню, портилось мое зрение,

Часто, когда я был мальчиком, я заливал глаза маслом:

И в какое время я желал, чтобы мои занятия пошли на убыль,

И предсмертные речи великого Катона мне не нужны;

Речи, что мой учитель до небес вознес,

Бедный педагог! Не зная, что он восхвалял;
И которые мой государь, в напряжении надежды и страха,
С порочной гордостью, привел своих друзей послушать.
И тогда, увы, мне было в высшей степени приятно
Изучать шансы и верно вычислять.
Какую сумму принесут удачные кости в игре,
И что сметут роковые тузы;
Не допуская, чтобы соперник, претендующий на славу.
Не попадет в длинношей кувшин с лучшим прицелом;
И пока кружащаяся верхушка не завораживала глаз,
С более счастливым мастерством не применял бы звучный бич.

Гиффорд.

В шестнадцать лет Персий сблизился со стоическим философом Аннеем Корнутом, от которого он получил суровые философские принципы, занимающие столь видное место в его "Сатирах". Дружба, которую он завязал в раннем детстве, продолжалась до самой его смерти. Молодой Лукан был также одним из его близких соратников, чьи философские и поэтические вкусы были схожи с его собственными, и кто глубоко восхищался его трудами. Он был знаком с Сенекой, но не питал большого уважения ни к нему, ни к его произведениям. Сесий Басс, которому он адресовал свою шестую "Сатиру", также был одним из его близких друзей.^[1055] К его чести можно отнести то, что он пользовался дружбой Пета Фразея, одного из самых благородных образцов римской добродетели.^[1056] Персий умер преждевременно от болезни желудка, в возрасте двадцати восьми лет. Он оставил большое состояние матери и сестре, а свою библиотеку, состоящую из семисот томов, вместе со значительным денежным наследством - своему любимому воспитателю Корниту. Философ, однако, бескорыстно отдал деньги сестре своего умершего друга.

Чистый душой и целомудренный в жизни, Персий был свободен от порока безнравственного века. Он демонстрировал самоотречение, контроль над страстями и суровые бескомпромиссные принципы философии, которой он восхищался, но не ее лицемерие. Стоицизм не был в его случае, как во многих других, прикрытием для порока и распутства.

Хотя Лукреций в определенной степени был его образцом, он не нападает на порок с язвительной суровостью старого сатирика. Он скорее принимает едкую иронию старой греческой комедии, как более соответствующую тому стилю нападения, который он сам называет

petulanti splene cachinno.^[1057]

Мы также не находим в его сочинениях той пламенной пылкости, того восторженного негодования, которые пылают в стихах Ювенала; но это проистекает из нежности его сердца и мягкости его нрава, а не из какой-либо непригодности к обязанностям нравоучителя, например, слабости моральных принципов или непоколебимой робости.

Хотя он, должно быть, сознавал, что опасные времена, в которые протекала его короткая жизнь, делали необходимой осторожность, все же гораздо более вероятно, что чистота его ума и доброта сердца не позволяли ему изображать порок в его отвратительных и мерзких формах и предаваться горькой инвективе, которой заслуживали распространенные в его время злодеяния. Можно усомниться в том, что непристойности, подобные тем, что писал Ювенал, несмотря на чистоту намерений, лучше всего способствуют интересам добродетели. Следует опасаться, что часто описания порока возбуждают страсти и делают человеческое сердце еще более развращенным, в то время как моральный урок игнорируется.

Персий, очевидно, считал, что сдержанность и молчание, или те мерзости, которые заставляют чистых людей содрогаться от ужаса и вызывают румянец на щеках невинности, более надежно сохраняют достоинство и чистоту добродетели, чем лишение себя той девственной скромности (*virgineus ille pudor*), которая составляла великое очарование его характера. Его прямота и любовь к добродетели проявляются в бескомпромиссной суровости, с которой он обличает грехи не столь глубокой смерти; и сердце, способное лепиться на его примере и под влиянием его чистоты, уклонилось бы от тех страшных преступлений, которые оскверняют страницы Ювенала.

Самый большой недостаток Персия как сатирика заключается в том, что философия, в которой он был воспитан, сделала его слишком равнодушным к делам, которые происходили в окружающем мире. Политика его мало интересовала: он жил в себе, размышляя; богатство и роскошь он презирал. Его созерцательные привычки заставляли его критиковать, как свои любимые темы, ложный вкус в поэзии и пустые претензии на философию. Его скромная и уединенная натура не находила сочувствия в страстях, волнениях, делах и удовольствиях, которые будоражили Рим. Он был скорее учеником чулана, чем человеком мира. Гораций жил в обществе распутников; он считал их глупцами и смеялся над их глупостью. Ювенал взирал на разврат века с высоты своего положения, где, будучи причастным к добродетели, он был защищен от морального загрязнения, и карал его, как божество-мститель. Персий, чистый сердцем и бесстрастный по воспитанию, в то время как он абстрактно бичует зло, почти не замечает его существования и скромно избегает обнажать тайные пороки человеческого сердца и докапываться до его дна. Доброжелательность и, прежде всего, бескорыстие, характеризующие его "Сатиры", полностью объясняют популярность, которой они достигли сразу после публикации Корнутом, и панегирики, которым он подвергался в более поздние времена. "Персий", - пишет Квинтилиан,^[1058] "*multum et veræ gloriæ, quamvis uno libro meruit*". Многие раннехристианские писатели считали, что его достоинства полностью компенсируют неясность его стиля; а Гиффорд^[1059] замечает: "Добродетели, которые он рекомендовал, он практиковал в полной мере; и в возрасте, когда немногие приобретают определенный характер, он оставил после себя репутацию гения, образованности и достоинства".

Произведения Персия укладываются в рамки шести сатир, содержащих в общей сложности около 650 строк. И, судя по уже приведенному выражению Квинтилиана, подкрепленному отрывком из Марциала, есть основания полагать, что все написанное им сохранилось до наших дней. К его "Сатирам" приложено короткое, но энергичное вступление в холиямбике, *то есть* хромом ямбике, в котором вместо ямба на шестом месте стоит спондей.

Этот проэгий имеет мало отношения к его работе; но он привык к подобной неуместности в парабазах старой аттической комедии, которую он изучал. В первой сатире он разоблачает и объясняет ложный и безнравственный вкус, который повлиял на поэзию и судебное красноречие, нападает на косноязычие публичных декламаций и пародирует стиль

современных писателей, языком, который наше незнание их не позволяет нам оценить. Во втором, поздравительном обращении к своему дорогому другу Макринусу по случаю его дня рождения, он имитирует тему второго Алкивиада Платона;^[1060] диалог, который Ювенал также имел в виду при написании своей десятой Сатиры. В этой поэме за унижительными идеями, которые люди сформировали в отношении Божества, за эгоизмом и даже нечестивостью их молитв следуют рассуждения об истинной природе молитвы, которые даже христианин может читать с восхищением: - Quin damus id superis, quin damus id superis.

Quin damus id superis, de magna quod dare lance

Non possit magni Messalæ lippa propago;

Compositum jus fasque animo sanctosque recessus

Mentis et incoctum generoso pectus honesto:

Нæс cedo, ut admoveam templis, et farre litabo.^[1061]

Нет, позвольте мне возвестить бессмертным, что род

Великого Мессалы, ныне развращенного и низкого,

На своих огромных колесницах не может, - Принести разум

Где закон и где нравственный смысл соединены

С чистой сущностью; святые мысли, что обитают

В самой уединенной и священной келье души;

Грудь, окрашенную в благороднейшие зерна чести.

Глубоко окрашенное; с этим позвольте мне подойти к фейну,

И Небеса услышат смиренную молитву мою,

Хоть все мое подношение - ячменная лепешка.

В третьей части он пытается пристыдить бесхитростного юношу за праздное отвращение к поискам мудрости и противопоставляет удовольствия хорошо контролируемого ума невежеству и чувственности: картина, которую он рисует о судьбе сладострастника, очень сильна: - Turgidus hic epululus.

Turgidus hic epulis atque albo ventre lavatur,

Guttare sulfureas lente exhalante mephites;

Sed tremor inter vina subit, calidumque trientem

Excutit e manibus; dentes crepuere relecti;

Uncta cadunt laxis tunc pulmentaria labris.

Hinc tuba, candelæ; tandemque beatulus, alto

Compositus lecto, crassisque lutatus amomis,

In portam rigidos calces extendit; at illum

Hesterni capite induto subiere Quirites.^[1062]

Теперь в баню, наевшись досыта,
И бледный несчастный несет свою вздутую тушу;
Пока из его легких, что слабо играют приступами,
Его задыхающееся горло испускает сернистый пар!
Холодная дрожь охватывает его, когда он просит вина,
Хватка его предает, и кубок падает!
Из разжатых зубов губы, сведенные судорогой, вылетают,
И богатые яства падают из его безвольных челюстей.
Затем звучат трубы, факелы, торжественное состояние;
И мой прекрасный юноша, столь уверенный в себе в последнее время,
На роскошном одре и с эссенцией,
Лежит, окоченевший труп, пятками вперед у двери;
Вчерашний римлянин, с покрытой головой,
На плечах его к костру, и - все сказано. *Гиффорд.*

Следует привести еще одну цитату из этой благородной сатиры, на которую ссылается святой Августин,^[1063] и в которой Персий излагает возвышенную истину, что самое страшное наказание, которое может постигнуть распутника, - это сознание того, что он потерял, отвергнув добродетель:...

Magne pater divûm, sævos punire tyrannos

Haud alia ratione velis, quum dira libido

Moverit ingenium ferventi tincta veneno;

Virtutem videant intabescantque relict!^[1064]

Ужасный сир богов! Когда ядовитые жала похоти
Возбуждают свирепые натуры королей-тиранов.
Когда в их груди бушуют бури ярости,
И громом взывают к твоему справедливому контролю.
О, тогда ослабь болт, приостанови удар,
И так, и только так, прояви свое возмездие.
Во всех ее прелестях, в глазах их добродетель,
И пусть они увидят свой проигрыш, отчаяние и смерть. *Гиффорд.*

В четвертой сатире Нерон представлен в образе Алкивиада, а первый диалог Платона, носящий имя афинского либертина, послужил основой и источником многих чувств.

Пятое произведение - самое замысловатое из всех произведений поэта. Она адресована Корнуту и написана в форме диалога между философом и его учеником. Стиль поэта более закончен, чем обычно, и более украшен изяществом поэзии; его приятная натура излучает всю теплоту благодарного сердца; и хотя он не демонстрирует никаких оригинальных философских изысканий, он показывает большую образованность и точное знакомство со стоической философией.

Если пятая "Сатира" - самая продуманная, то шестая, без сомнения, самая восхитительная из всех работ Персия. Она адресована его дорогому другу Цезию Бассу и переполнена сердечной добротой. Поэт говорит об обязанностях довольства и помощи другим, о ненависти к зависти, о подлости скупости, под какой бы маской она ни скрывалась, о своей решимости использовать свое состояние, а не злоупотреблять им, и в то же время во всем этом прослеживается предчувствие, но радостное, что его изнурительный путь скоро закончится и что его наследник скоро унаследует его владения.^[1065]

Таков был характер Персия, отраженный в его маленьком томе. Мрачная угрюмость стоицизма не смогла уничтожить природную приветливость и безмятежную жизнерадостность его нрава. Мрачность стоицизма повлияла на его стиль, но не на его нрав. Недостатком стиля Персия, который повсеместно находят, является сложность и неясность. Это естественное следствие его стоического воспитания. Стоики были, как говорят, неясны и темны в своем учении; и Персий, не впитавший всей глубины их философии, все же уловил их язык и манеру выражаться, и, заразившись их недостатками, он приобрел также их живописность и живость иллюстраций. Не похоже также, что современники считали его стиль достаточно туманным, чтобы помешать его популярности. Вероятно, его неясность не абсолютна, а лишь относительна по отношению к знанию языка, которым владеют в наше время. Это была разговорная латынь тех времен, в которые он жил; и поскольку произошли большие изменения от латыни Цицерона и Ливия к латыни Тацита и Сенеки, несомненно, разговорная латынь Горация и даже Ювенала будет отличаться от латыни Персия. Если это так, то сатиры Персия представляют собой единственный пример такой латыни, и у нас нет других, сравнивая которые мы могли бы объяснить и проиллюстрировать его способы выражения. Поэтому все, что необычно, сразу же становится источником трудностей и неясностей.^[1066] Краткое описание, которое Персий дает своему наставнику о своем стиле, подтверждает это утверждение:...

Verba togæ sequeris junctura callidus acri

Ac teres modico, pallentes radere mores

Doctus et ingenuo culpam defigere ludo.^[1067]

Замкнутый в обычной жизни, твой поток,

И не взлететь слишком высоко, и не опуститься слишком низко;

Там сила и легкость в изящном союзе встречаются,

Хоть отшлифован, утончен, и хоть острый, сладок;

И все же могущественны, чтобы смять фронт преступлений,

И пунцовые щеки ошибок спортивной рифмой.

Гиффорд.

Поскольку *тогу* со времен Августа носили только высшие чины, а простые люди довольствовались *туникой*, очевидно, что слова *verba togæ* означают язык полированного общества. Поэтому одной из причин сложности стиля Персия может быть наше незнание разговорной латыни, на которой в его время говорили представители высших сословий. Чрезмерная тонкость могла быть принята за изысканность; а напускная философия и загадочный стиль могут вызвать у нас неясности, которые были вполне понятны его современникам.

Очевидно, что Персий тщательно изучал и был хорошо знаком с сатирами Горация; но влияние, которое Гораций оказал на его ум, не пошло дальше того, чтобы запечатлеть в его памяти некоторые фразы, которые он воспроизвел в более запутанной форме, более в унисон с модной латынью своего времени. Выражение Горация...

-- naso suspendis *adunco*

Ignotos,^[1068]

становится в "Сатирах" Персия

Excusso populum suspendere naso.^[1069]

Si vis me flere, dolendum est

Primum ipse tibi --,^[1070]

становится, если перефразировать его подражателя -

Plorabit qui me volet incurvasse querela.^[1071]

Простота Горация в словах-

Totus teres atque rotundus

Externi ne quid valeat per læve morari,^[1072]

заменена на более сложную фразу -

Ut per læve severos

Effundat junctura ungues.^{[[1073]]}

Он принимает пожелание Горация,^[1074] сохраняя все идеи отрывка.

-- O si

Sub rastro crepet argenti mihi seria dextro

Herculæ.^[1075]

Приобретения Горация в геометрии.

Scilicet ut possem curvo dignoscere rectum,^[1076]

таким образом, неловко переданы.

-- rectum discernis, ubi inter

Curva subit.^{[[1077]]}.

И не стоит множить примеры, которые, хотя и показывают, что Персий был поклонником Горация, доказывают, что то, что было чистым, естественным вдохновением у последнего, требовало усилий у первого. Идея Горация...

Clamant periisse *pudorem*

Cuncti pene patres,^[1078]

заменена Персием на вынужденную метафору.

Exclamet Melicerta perisse

Frontem de rebus.^[1079]

Риторическое жеманство заразило всю литературу этой эпохи; поэтому мы вряд ли можем удивляться тому, что оно является одной из характерных черт сатир Персия. Уже началась эпоха публичных декламаций, о которой Ювенал расскажет несколько лет спустя. Когда в одном месте он описывает пыл и энтузиазм, охватившие Рим, при объявлении нового произведения популярного автора^[1080] -...

Curritur ad vocem jucundam et carmen amicæ

Thebaidos lætam fecit cum Statius urbem

Promisitque diem!

Когда Статий назначил утро, чтобы прочесть

Свою "Фиваиду" городу, с каким восторгом

Они стекались к нему!

В другом^[1081] он, как и Гораций, жалуется на назойливость этих декламаций; а в третьем^[1082] он считает это одной из причин, сделавших самое пустынное и уединенное место предпочтительнее Рима.

Поэтому стиль письма, подходящий для этой практики, был декламационным, так как сама практика соответствовала ораторским вкусам римского народа.

Ювенал.

Децим Юний Ювеналий, согласно нескольким строкам биографии, обычно приписываемой Суетонию, был сыном или приемным сыном богатого вольноотпущенника. До середины жизни он развлекался риторикой и декламацией, но, написав однажды короткую сатиру на Париж, пантомиму, он почувствовал искушение обратиться к этому виду сочинительства. Через некоторое время он с таким успехом продекламировал свою пьесу перед многочисленной аудиторией, что вставил ее в одно из своих поздних сочинений.^[1083] Таким образом, он подверг себя вражде двора, поскольку его строки, как предполагалось, фигурально относились к актеру, который был придворным фаворитом, и был сослан в Египет под предлогом назначения на должность командира когорты. Там он через некоторое время умер от горя в возрасте восьмидесяти лет.

Время его рождения неизвестно, но он, должно быть, процветал в царствование Домициана, ближе к концу первого века после Рождества Христова; и обычно предполагается, что он либо родился, либо жил в вольском городе, который впоследствии дал жизнь выдающемуся школяру Фоме Аквинскому.^[1084] Таким образом, большая часть жизни Ювенала прошла в период политического ужаса и несчастья. Короткое правление Веспасиана, несомненно, было благословением для Рима, но это была лишь краткая временная передышка: мрачный период последних десяти цезарей ознаменовался полной моральной деградацией народа и самой кровавой тиранией и угнетением со стороны его правителей. Если, что наиболее вероятно, он дожил до правления Нервы, Траяна и Адриана, дух благородного сатирика должен был воспрянуть, когда он вновь увидел обещание национальной славы и процветания. В ушедший период, богатый материалом для его пера, было смертельно опасно давать волю своему жгучему негодованию; но возможность, которую нельзя было упустить, представилась тогда, когда правили императоры, отличавшиеся способностями и добродетелью, когда справедливость и законы соблюдались конституционно, а империя, управляемая мудро, наслаждалась безопасностью и спокойствием.

Картина римских нравов, нарисованная сияющим карандашом Ювенала, поистине ужасает. Структура общества лежала в руинах. Народная религия была с презрением отвергнута, а ее место не заняло даже вероучение естественной религии. Не осталось ничего, кроме пустой помпезности, пышности и церемониала. Управление государством было сплошной коррупцией: вольноотпущенники и иностранцы, полные искусной хитрости, но лишенные принципов, пользовались вниманием государя и наполняли его казну взятками и конфискациями. Серьезная и благопристойная сдержанность, присущая каждому римлянину в былые времена, была отброшена даже высшими сословиями; императоры принимали публичное участие в сценах безрассудства и распутства, выставляя себя возницами, танцорами и актерами. Ничто не вызывало уважения, кроме богатства, ничто не вызывало презрения, кроме бедности.^[1085] Голос ценился только за его стоимость в деньгах; люди, чья власть когда-то была абсолютной, теперь продавали душу за хлеб и цирцеи.

Игроки и танцоры получали в свое распоряжение все почести и должности. Город кишел доносчиками, которые делали богатых своей добычей: каждый человек боялся даже своего самого близкого друга. Быть благородным, добродетельным, невинным - не было никакой защиты: единственным узам дружбы было быть соучастником преступления. Философия была обманом, а нравоучения - лицемерием. Моралисты "проповедовали как курии, а жили как вакханки". Сам учитель сделает все возможное, чтобы развратить своего ученика: опекун обманет своего подопечного. Роскошь и расточительность доводили людей до разорения, которое они пытались исправить, лстя бездетным, охотясь за наследством и играя в азартные игры; и даже патриции побирались ради куска хлеба. Высшие классы были эгоистичны и жестоки, жестоки и наглы к своим подчиненным и иждивенцам.^[1087] Обжорство было настолько отвратительным, что за кефаль давали шесть тысяч сестерций (50 л.); и обжора искусственно освобождал свой желудок от груза, чтобы подготовиться к новой трапезе.^[1088] Преступления, которые невозможно назвать, были обычным явлением: мужчины, для худших целей, старались сделать себя похожими на женщин; и даже император переоделся в женщину и был отдан в жены одной из своих греческих фавориток.^[1089] Улицы Рима были так же опасны, как Помптинские болота или итальянские леса, из-за постоянных грабежей, нападений и убийств.

Нравы женского пола были столь же развратными, как и мужские: дамы знатных и королевских кровей заводили себе любовников, а когда те теряли привлекательность личного обаяния, заменяли их соблазном золота. Одна императрица публично

отпраздновала бракосочетание с прелюбодеем в отсутствие своего повелителя; другая удовлетворяла свое распутство проституцией. Даже те, кто не был столь распутным, подражали манерам и привычкам мужчин и даже сходились в шуточных поединках; и не было такого безнравственного или жестокого общественного развлечения, которое не было бы омрачено присутствием женского пола. Разврат приводил к убийствам, а отравления женщин были столь же распространены, как во Франции и Италии в XVI веке.^[1090]

Такие времена потрясли бы даже утонченного и мягкого Горация. Если бы он жил в то время, он, вероятно, счел бы такой порок не подлежащим осмеянию, а его тон, возможно, приблизился бы к громовому негодованию Ювенала. "Общество в эпоху Горация становилось развращенным, в эпоху Ювенала оно находилось в состоянии гниения"

В этот период морального упадка пересохли фонтаны гения и литературы. Оратор не смел обличать продажного политика или защищать жертву тирании, когда каждый считал, что лучший способ обеспечить свою безопасность - это растоптать павшего фаворита, ставшего врагом Сезара.^[1092] Историк не смел высказывать свои истинные чувства. Поэзия остыла без теплого, ободряющего участия благородных и любящих сердец. Были критика, грамматика, декламация, панегирик и стихосложение, но не ораторское искусство, не история и не поэзия. Ювенал, хотя и сам не был свободен от декламационного жеманства того времени, нападал на ложный литературный вкус своих современников так же бесстрастно, как и на их развращенную мораль. От Сеяна до Клавения он не позволил никому уйти от ответа.

Но как ни благородна ненависть Ювенала к пороку, как ни бесстрашны его обличения, мы тщетно ищем в его поэзии признаки приветливого и добросердечного нрава. Он не был тем, кто мог бы вернуть заблудших и ошибающихся к любви к добродетели или внушить им чистый и восторженный вкус к литературе. Его предрассудки были жестоки; он не видел ничего хорошего ни в греке, ни в вольноотпущеннике: он ненавидел новую аристократию такой же лютой ненавистью, как и Саллюст. Как критик он недобродушен, как моралист - суров и мизантропичен. Обратите внимание, например, на мрачную горечь, с которой он говорит о старости,^[1093] и противопоставьте ее светлой стороне картины, нарисованной нежным Цицероном в его несравненном трактате.

Однако, как бы ни был он ограничен в мягких привязанностях, его шестнадцать "Сатир" представляют собой просвещенный, правдивый и всеобъемлющий взгляд на римские нравы и на неизбежный результат такого развращения. Те, чей нравственный вкус полностью уничтожен, читали бы и слушали без пользы, но они не могли бы не трепетать: его слова - истина. Заключение тринадцатой сатиры почти христианское. Нет необходимости приводить цитаты из автора, который находится в памяти каждого ученого: даже слишком много места заняла бы честная подборка из стольких прекрасных отрывков. Одиннадцатая сатира - самая приятная, в ней больше всего игривости Горация. Седьмая демонстрирует наибольшую разносторонность и богатейший фонд анекдотов. Двенадцатая - самая приятная. Описание происхождения гражданского общества в заключении пятнадцатой полно здравого смысла и справедливых чувств; в то время как способ, которым он говорит о безумном фанатизме египтян, демонстрирует его способность сочетать приятность с достоинством. Но две лучшие сатиры - это те^[1094], которые наш Джонсон счел достойными подражания: одну из них (десятую) епископ Бернет в своем пастырском наставлении рекомендовал своему духовенству; а самый благородный отрывок в них - тот, где описывается падение позорного Сеяна.^[1095] Мало кто мог бы так хорошо перенести дух Ювенала на английский, как доктор Джонсон. Он обладал той же грубой, прямолинейной, бескомпромиссной ненавистью к пороку; и, хотя он не был нелюбезен, он делал все возможное, чтобы скрыть свою приветливость под запретной внешностью. Он не был лишен веселости и живости, но

скрывал их под той статностью и декламационным величием, которые приписывают Ювеналу.

Не следует забывать и об историческом значении "Сатир" Ювенала. Тацит жил в те же опасные времена, что и он; и когда они подошли к концу, и говорить стало небезопасно, он написал их публичную историю. Ювенал иллюстрирует эту историю, показывая социальную внутреннюю жизнь римлян.^[1096] Их произведения параллельны, и каждое является комментарием к другому. Когда такова жизнь отдельных людей, не приходится удивляться судьбе нации.

Стиль Ювенала, в общем, является рефлексом его ума: его взгляды были сильны и ясны: его стиль также энергичен и ясен. Его мораль была чиста в развращенный век: его язык сияет классической элегантностью посреди образцов упадка и вырождения вкуса. Его стиль декламационен, но не искусственно риторичен. Он не мог сдержаться, чтобы не последовать примеру Луцилия: он не мог сдержать поток своего пылкого и естественного красноречия. Будь его тема благородной или отвратительной, его словесная живопись совершенна: мы чувствуем его возвышенность, мы содрогаемся от его верности. В силу характера предмета его язык часто бывает грубым и оскорбительным; но его цель всегда состоит в том, чтобы обнажить уродство порока и сделать его отвратительным. Он никогда не потакает непристойностям, чтобы потворствовать испорченному вкусу или удовлетворить развращенное воображение. По этой причине его страницы менее опасны, чем страницы более элегантных и менее непристойных писателей, которые набрасывают вуаль на непристойность, оставляя при этом те качества, которые ослепляют нравственное зрение и разжигают страсти. Следует также помнить, что ни одежда, ни манеры, ни разговор древнего Рима не были столь благопристойными и скромными, как в наше время, и поэтому римский вкус не был бы так шокирован откровенными высказываниями, как в эпоху большей социальной утонченности. Ювенал замыкает список римских сатириков, если говорить правильно: сатирический дух оживляет пикантные эпиграммы его друга Марциала; но их цель не мораль или дидактика: они жалят человека, делают его объектом презрения и отвращения, но они не выставляют сам порок на посмешище и отвращение.

ГЛАВА IV.

БИОГРАФИЯ ЛУКАНА - НАДПИСЬ В ПАМЯТЬ О НЕМ - ЧУВСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ В ФАРСАЛИИ - ЛУКАН НЕРАВНЫЙ ПОЭТ - НЕДОСТАТКИ И ДОСТОИНСТВА ФАРСАЛИИ - ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЭПОХИ - ТРУДНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ - ЛУКАН ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ПОЭТ - ОБРАЗЦЫ ЕГО ПОЭЗИИ - БИОГРАФИЯ СИЛИЯ ИТАЛИКА - ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА У ПЛИНИЯ - ЕГО ПОЭМА СКУЧНА И УТОМИТЕЛЬНА - ЕГО ОПИСАНИЕ АЛЬП.

М. Анней Лукан (родился в 39 г. н. э.).

Во главе эпических поэтов, процветавших в серебряный век, стоит Лукан. Он принадлежал к тому же роду, что и Сенека, так как дедом его был ритор того же имени, а дядей - стоический философ. Другой его дядя, Л. Юний Галлий, также упоминается в Евсевийской хронике как знаменитый ритор. Этот Галлион получил свою фамилию от того, что был приемным сыном

Юния Галлиона, который, по некоторым данным, был одним из самых знаменитых риторов. Галлия, который, как полагают некоторые, был проконсулом Ахайи, упоминаемым в Деяниях апостолов.^[1097]

Отец Лукана, М. Анней Мела, был римским рыцарем, нажившим большое состояние в качестве сборщика императорских доходов. Некоторые предполагают, что он был идентичен географу Помпонию Меле, который был автором краткого описания в трех книгах берегов Европы, Азии и Африки. Стиль этого писателя лаконичен, как и подобает простому очерку или сокращению; а его сведения, хотя и почерпнутые из других источников, а не из личных наблюдений, точны и интересны. Поэт родился в Кордубе (Кордова), на прекрасных берегах Бетиса (Гвадалквивера). О месте его рождения изящно упоминает Стаций в стихотворении, адресованном его вдове в годовщину его рождения: - Vatis Apollinei magnus

Vatis Apollinei magno memorabilis ortu

Lux redit, Aonidum turba favete sacris.

Hæc meruit, cum te terris Lucane dedisset

Mixtus Castaliæ Bætis ut esset aquæ.

Stat. Genethl.

Плиний рассказывает, что на его младенческих губах, как и на губах Гесиода, поселился пчелиный рой, предвещая тем самым его поэтическую карьеру; эта история полностью обязана своим происхождением греческой традиции. К сохранившимся житиям Лукана примешано многое, не имеющее под собой никакой основы; например, благосклонность, оказанная ему в детстве Нероном; его последующее возведение в ранг сенатора; его поражение от императора в поэтическом конкурсе на пятилетних играх, учрежденном последним, в который никто не вступал ни с какой другой целью, кроме как для того, чтобы их царственный антагонист мог получить заслугу шуточной победы.^[1098] Враждебность ревнивого императора можно объяснить, не прибегая к столь безумному состязанию.

Вероятно, Лукан был очень молод, когда приехал в Рим; его литературная репутация вскоре утвердилась; и Нерон, который не мог смириться с мыслью о сопернике, запретил ему декламировать свои стихи, что было обычным способом публикации. Он не только заставил его замолчать как поэта, но и не позволил ему выступать в качестве адвоката.^[1099] Уязвленный этой провокацией, он поспешно присоединился к заговору против жизни императора и продемонстрировал всю горечь своей ненависти к его могущественному врагу. Зачинщиком заговора был Пизон,^[1100] трагический поэт с некоторым талантом, искусный оратор и щедрый человек. Но ему не хватало решительности и целеустремленности, поэтому заговор провалился. Когда пыл Лукана остыл, он так же быстро раскаялся и был помилован при условии, что укажет на своих единомышленников. В тщетной надежде спастись от мести чудовища он фактически выдал свою мать. Праведный историк противопоставляет это пятно на характере поэта мужеству, которое проявила Эпихарис. Эта благородная женщина была неспособна на измену. Тацит описывает, с какой решимостью она отмахнулась от вопроса.^[1101] "Бич, пламя, ярость палачей, которые пытали ее еще более жестоко, чтобы не презирать женщину, были бессильны вырвать ложное признание". Лукан так и не получил награду, которую приобрел предательством. Ордер на его смерть был выдан, и он приказал

перерезать себе вены. Когда кровь его жизни вытекала, он повторил из своей собственной поэмы описание солдата, умирающего от ран.^[1102] Он умер на двадцать седьмом году жизни, и Нерону приписывают следующую надпись в память о нем:...

M. Annæo Lucano Cordubensi Poetæ

Beneficio Neronis. Fama servata.

Чувства, содержащиеся в "Фарсалии", насколько он осмелился их выразить, дышат любовью к свободе и привязанностью к старому римскому республиканизму. Хотя императорское покровительство, которым он пользовался вначале, и, возможно, лучшие перспективы начала правления Нерона, склоняли его к придворной лести; но даже в то время его восхваления свободы, очевидно, исходили от сердца. По ходу поэмы его чувства становятся все более возвышенными, добродетельное негодование постепенно нарастает, пока не выливается в поток жгучей сатиры на бесчеловечного тирана. Эта поэма, единственная из сохранившихся его работ, представляет собой эпос в десяти книгах; ее тема - гражданская война между Сезаром и Помпеем. На ней явно видны следы того, что она осталась незавершенной и не получила последних штрихов от руки автора. Ей предшествовали четыре другие короткие поэмы: первая - о смерти Гектора; вторая - о посещении Орфеем адских областей; третья - о сожжении Рима; четвертая обращена к его жене Полле Аргентарии. Он также написал несколько прозаических произведений, а Марциал приписывает ему несколько стихотворений на легкие темы.^[1103]

Лукан - поэт неравноценный: его "Фарсалия" испещрена большими недостатками и изъянами, но в то же время она обладает особыми красотами. Его тема благородна и полна исторического интереса, и она трактуется с духом, блеском и оживлением. Она построена по принципу летописи, и поэтому ей не хватает единства эпической поэмы: в ней нет связности истории, потому что поэт, естественно, выбрал только самые яркие и романтические происшествия; и все же, несмотря на эти недостатки плана, сами исторические картины нарисованы великолепно. Например, характеры Сезара и Помпея - шедевры. Кроме того, некоторые отрывки не обладают ни достоинством прозы, ни мелодичностью поэзии, в то время как другие едва ли уступают произведениям лучших латинских поэтов. Это неравенство стало причиной большого разнообразия мнений, которых придерживались критики относительно достоинств Лукана. Одни несправедливо обесценивали его, другие, столь же безосновательно, превозносили до небес. Квинтилиан высоко оценил его пылкий энтузиазм и ясность выражений,^[1104] но оговорил свою похвалу, добавив, что им будут восхищаться скорее ораторы, чем поэты. Корнель предпочел его Вергилию, чьим горячим поклонником он, очевидно, был. Его поэма дает материал и причину для такого разнообразия суждений; но можно с уверенностью утверждать, что его недостатки обусловлены эпохой, в которой он жил, в то время как его красоты были плодами и развитием его собственного гения. Его главное достоинство - оригинальность: хотя он не был достаточно велик, чтобы возглавить вкус эпохи и превзойти ее ложные принципы, он не снизошел до подражания даже тем поэтам, чья репутация была прочно установлена. Между его поэзией и поэзией Вергилия существует множество параллелей, но это параллели ученика, а не плагиатора.

Не принимая несанкционированных предположений, встречающихся в некоторых биографиях, что он получил образование под непосредственным руководством своего дяди Сенеки, что Реммий Палемон обучал его грамматике, Виргиний Флакк - риторике, а Корнут - философии, ясно, что его вкус сформировался и таланты проявились в эпоху, характерными чертами которой были педантичная эрудиция, раздутая риторика и догматическая

философия. Ясно также, что, хотя Сенека и не был его наставником, все же тщеславие и жеманство, которые затемняли трансцендентные способности философа, оказывали пагубное влияние на литературный вкус его современников. Среди этих влияний воспитывался Лукан, и по этой причине его поэма обезображена банальными сентенциями, напыщенной дикцией, напускной ученостью, риторическим изобилием, опережающим свои темы, и поэтому производит эффект фригидности. В поэме, персонажи и события которой историчны, реальное слишком сильно контрастирует с идеальным, поэтому эффект от обоих омрачается. Верность, ожидаемая от историка, ограничивает творческие возможности поэта. Для поэта, который строит свое произведение из материалов эпох, недоступных истории, открыто все поле прошлого. Единственные пределы, в которых он должен сдерживать свой гений, - это пределы вероятного: в этих пределах он может создавать самые великолепные идеальные формы; он может использовать самые великолепные образы, самые сверхъестественные механизмы: все это носит атмосферу исторической правды; поскольку нет реальности, с которой можно было бы сравнить и проверить его идеал, правда никогда не нарушается.

Но в истории, почти современной эпохе поэта, каждое обстоятельство зафиксировано, каждый персонаж хорошо известен и оценен. Если акт храбрости преувеличивается до сверхчеловеческого героизма, или тот, кто, как известно, был человеком, хотя и великим человеком, переделывается в героическую форму, мы сразу же поражаемся фальши: и поэтому поэт не может отважиться на такие усилия гения. В череде событий, которую страница истории позволяет нам проследить от начала до конца, не может возникнуть никаких трудностей, заслуживающих сверхъестественного механизма, никакого *dignus vindice nodus*; и поэтому вместо олимпийского пантеона Гомера и Вергилия Лукан может лишь обожествлять популярный, но непоэтический принцип случайности и олицетворять Фортуна.

Эта позиция может показаться несовместимой с очарованием, которое, по общему признанию, присуще современному историческому роману; но тогда следует помнить, что интерес, который мы проявляем к историческим частям, является чисто историческим, оживленным событиями, группирующимися вокруг героя: по сути, интерес биографии объединяется с интересом истории. Поэтому строжайшая точность в вопросах, относящихся к истории, вполне допустима. Романтический интерес зависит от внутренней или социальной жизни персонажей, которая не является частью истории и в которой, поскольку нет стандарта для сравнения, воображение поэта совершенно свободно и раскрепощено. Но это совершенно не тот план, по которому построена такая поэма, как "Фарсалия". Видение гения Рима, явившееся Сезарю у рокового Рубикона, видения, преследующие дремлющих сесарейцев в разграбленном лагере Помпея, и сон Помпея, в котором тайны inferнальных областей открываются тенью его ушедшей жены Юлии, - это ближайшие подступы к тому невидимому миру, который раскрыло воображение Гомера и который воспроизвел Вергилий;^[1105] Но это лишь отдельные отрывки.

Невозможно быть одновременно историком и поэтом: в одном образе автор должен сдерживать полеты своего воображения, в другом - жертвовать правдой. Нет сомнений и в том, какой характер мы требуем сохранить, когда речь идет об истории. Мы желаем правды: мы хотим, чтобы спорные вопросы были решены, а сомнения устранены. Все воображаемые картины мы рассматриваем как помехи и отбрасываем их в сторону, как искажающие суждения и дающие предвзятые взгляды. Поэтому мы восхищаемся Луканом не из-за того, что рассматриваем его поэму как эпос, а из-за отдельных сцен, таких как морская победа у Марселя; великолепных описаний, например, жестокости Мариуса и Суллы; удачных

сравнений, например, Помпея с состаренным дубом; эпиграмматической краткости, которая придает силу, а также красоту его изречениям. В одной строке, например, -

Pauperiorque fuit tunc primum Cæsare Roma-

он описывает богатство и скупость завоевателя, а в известном стихотворении

Victrix causa Diis placuit sed victa Catoni-

он изображает бескорыстие Катона. К этому можно добавить, что тема Фарсалии, хотя и представляет собой период глубочайшего исторического интереса, плохо приспособлена для поэзии. События, столь близкие к современности, больше подходят для истории и панегирика, чем для поэзии; и хотя они дают простор для описательной силы и смелой образности, им не хватает того таинственного и романтического характера, который необходим для эпической поэмы. Его воображение было богатым, его энтузиазм не поддавался обузданию. Они были такими, какие, как мы можем предположить, были возвращены теплым и солнечным климатом Испании. В его чувствах часто проявляется тот рыцарский тон, который отличает испанских поэтов нового времени. Мы можем различить благородство, либеральность, мужество, которые когда-то отличали высокородного испанского джентльмена; а также серьезную и вдумчивую мудрость, благодаря которой испанская литература так богата пословицами, и которая проглядывает даже из-под нереальных условностей современной римской философии.

Описание составляет главную особенность поэзии Лукана; оно занимает более половины "Фарсалии", так что ее можно назвать почти столь же уместной описательной, как и эпической поэмой. Описание, по сути, является одной из характерных черт римской литературы в период ее упадка, потому что поэзия более чем когда-либо стала искусством, а эпоха - эпохой эрудиции; и, таким образом, были накоплены сокровища образов, пригодных для описательного приукрашивания. Лучшие части Персия описательны: даже Марциал, хотя его произведения и кратки, восхищается ими; и мастерство в этой области - сильная сторона Силия Италика и единственная заслуга Валерия Флакка. Благодаря энтузиазму, с которым Лукан бросается в этот вид письма, он изобилует мельчайшими подробностями. Он напоминает описательный талант, которым в столь выдающейся степени обладает наш Томсон. Ни одна черта не ускользает от его внимания, независимо от того, навеивает ли она мысли о прекрасном, возвышенном или ужасном. Он не довольствуется, как Вергилий, набросками, широким освещением и тенями; он восхищается законченной картиной; он обладает способностью ставить свой предмет перед глазами, не оставляя воображению почти ничего. Он не упускает ни одного средства для достижения описательной правды;^[1106] внутреннее состояние чувств, характер каждой страсти, представленный не столько в его моральном и психическом, сколько в физическом развитии; то, что является внутренним, выставлено в его внешних симптомах, с рукой художника и мастерством физиогномиста. Вергилий делает наброски, Лукан рисует; последний описывает физически, первый - философски. Следующие отрывки, описывающие переход Рубикона и смерть Помпея, являются прекрасными образцами стиля Лукана:...

Jam gelidas Cæsar cursu superaverat Alpes,

Ingentesque animo motus, bellumque futurum

Ceperat. Ut ventum est parvi Rubiconis ad undas,

Ingens visa duci patriæ trepidantis imago,

Clara per obscuram vultu mœstissima noctem
Turrigero canos effundens vertice crines,
Cæsarie lacera, nudisque adstare lacertis,
Et gemitu permixta loqui! Quo tenditis ultra?
Quo fertis mea signa, viri? Si jure venitis,
Si cives, huc usque licet. Tunc perculit horror
Membra ducis, riguere comæ, gressumque coercens
Languor in extrema tenuit vestigia ripa.

* * * * *

Cæsar ut adversam superato gurgite ripam
Attigit, Hesperiaë vetitis et constitit arvis,
Hic, ait, hic, pacem, temerataque jura relinquo;
Te, Fortuna, sequor; procul hinc jam fœdera sunt.
Credidimus fatis, utendum est judice bello.
Теперь, Сезар, марширует быстро, с крылатой поспешностью,
Вершины застывших Альп миновал;
С огромными событиями и предприятиями,
И будущие войны вращались в его мыслях.
Теперь он стоял у берегов Рубикона;
И вдруг, оглядев узкий поток,
Среди сумрачных ужасов ночи,
Чудесное виденье предстало перед ним.
На ее ужасной голове возвышался преподобный образ Рима,
Трепетно и печально предстала матрона;
Возвышающийся венец сковал ее хриплые виски,
И рваные локоны грубо свисали вокруг;
Она подняла обнаженные руки, прежде чем заговорить,
И, застонав, скорбную тишину нарушила:
О, куда вы бежите?
О, куда вы несете эти мои знамена?
Если друзья правые, если граждане Рима,

Вы здесь, на пределе своих возможностей.

Сказала она и опустилась в тени.

Удивление и ужас охватили вождя;

Жесткие волосы встали дыбом; он стоял в ужасе,

И на берегу затихли шаги его.

* * * * *

Вождь перешел через поток,

И дошел до запретного берега Италии;

И, встав на враждебном берегу, он сказал,

Здесь прощай мир и оскорбленные законы! сказал он:

Раз вера нарушена, и лиги отменены,

Отныне ты, богиня Фортуна, моя невеста!

Пусть судьба и война решат великое событие. *Ρου.*

Jam venerat horæ

Terminus extremæ, Phariamque ablatus in alnum

Perdiderat jam jura sui. Tum stringere ferrum

Regia monstra parant. Ut vidit cominus enses

Involvit vultus; atque indignatus apertum

Fortunæ præbere caput, tunc lumina pressit,

Continuitque animam, ne quas effundere voces

Posset et æternam fletu corrumpere famam.

At postquam mucrone latus funestus Achilles

Perfodit, nullo gemitu consensit ad ictum.

Теперь в лодке сидел беззащитный Помпей,

окруженный и брошенный на произвол судьбы.

Недолго держали они его в своей власти на борту,

Каждый злодей выхватил свой безжалостный меч:

Вождь быстро понял их замысел и расстелил

И с терпением накрыл голову римским платьем;

И когда проклятый Ахиллас пронзил его грудь,

он подавил свой гнев.

Ни знаки, ни стоны не осквернили его достоинства,

Ни одна слеза не омрачила его славы.

Неподвижно и твердо он застыл на своем месте,

И умер, как жил и побеждал, великий.

C. Silius Italicus.

С. Силий Италик родился в царствование Тиберия, 25 г. н.э. Место его рождения неизвестно. Его фамилия - Италик - заставила некоторых предположить, что он был уроженцем Италики, в Испании. Но вряд ли, если бы это было так, его друг и соратник Марциал, сравнивая его красноречие с Цицерона, а его поэзию - с поэзией Вергилия,^[1107] называя его славой кастилийских сестер,^[1108] и радуясь его политическим заслугам, забыл бы назвать его своим соотечественником. Другие, проявляя больше благоразумия, полагают, что местом его рождения был город Корфиний в Пелигнии, который назывался Италика,^[1109] потому что там находилась штаб-квартира конфедератов в социальной войне; а Стивенс упоминает маленький городок в Сицилии с тем же названием, который мог быть его родным местом.^[1110]

Силий прославился как адвокат; но в тот век аффектации и риторики высокая репутация не доказывает, что его красноречие, хотя оно могло демонстрировать такое же изящество языка, было более живым и волнующим, чем его поэзия. Он был консулом в 68 году н. э.; этот пост также занимал его сын^[1111] и еще один член его семьи.^[1112] После этого он был проконсулом Азии; обязанности этой прибыльной должности он, похоже, выполнял с честью для себя. Он был очень богат и, состарившись, отошел от опасностей общественной жизни, чтобы насладиться своим достатком и литературным покоем на своих многочисленных виллах. Не приходится удивляться, что оратор и поэт особенно любил дом Вергилия под Неаполем и Академию Цицерона, счастливым обладателем которых он был. Он дожил до семидесяти пяти лет, а затем уморил себя голодом, потому что не мог вынести мук болезни. "Мне только что сообщили, - пишет Плиний Младший своему другу Канинию,^[1113] - что Силий Италик покончил с жизнью от голода на своей неаполитанской вилле. У него был неизлечимый карбункул, от досады на который он укрылся в смерти с твердым и бесповоротным постоянством. Он наслаждался счастьем и благополучием до самой смерти, если не считать потери младшего из двух сыновей; но старший и старший пережил его, наслаждаясь благополучием и даже консульским званием. Вера в то, что он добровольно выступил в качестве публичного обвинителя, повредила его репутации в царствование Нерона; но, как друг Вителлия, его поведение было мудрым и учтивым. Его карьера в проконсульстве Азии была почетной, поскольку он смыл пятна своей прежней деятельности похвальным воздержанием от государственных дел. Он не имел влияния на великих людей, но зато был защищен от зависти. Все ухаживали за ним и усердно выражали ему свое почтение; а поскольку нездоровье приковало его к постели, в его покои стекалось множество посетителей, чего нельзя было ожидать от его звания и положения. Всякий раз, когда ему удавалось выкроить время для письма, он проводил его в ученой беседе. Его стихи демонстрировали скорее тщательность, чем гениальность: иногда он приглашал критиков для чтения. Поддавшись внушению преклонного возраста, он в конце концов удалился из Рима и поселился в Кампанье; воцарение нового императора (Траяна) не смогло вывести его из затворничества. Высокая похвала монарху, под властью которого он мог так действовать, - высокая похвала тому, кто имел мужество воспользоваться этой свободой! Любовь к virtù вызвала в нем предосудительную страсть к покупкам: он был владельцем нескольких вилл в одних и тех же местах; и он так восхищался новым приобретением, что пренебрегал тем, в котором жил раньше. У него была огромная коллекция книг, а также статуи и бюсты,

которыми он не только владел, но и почти поклонялся. День рождения Вергилия он отмечал более религиозно, чем свой собственный, и имел больше его бюстов, чем кто-либо другой, особенно в Неаполе, где он имел привычку посещать его гробницу, как будто это был храм. В этой безмятежной старости он перешагнул семидесятипятилетний рубеж, причем его телосложение было скорее нежным, чем слабым. Как он был последним консулом, назначенным Нероном, так и умер последним из тех, кого он назначил. Стоит также отметить, что консул, в год правления которого умер Нерон, умер последним из консулов Нерона. Когда я вспоминаю об этом, я чувствую сострадание к человеческой слабости: ведь так короток самый длинный отрезок человеческой жизни!"

Мало интереса вызывает биография того, кто был обязан непрерывным процветанием своей любимой и близкой жизни двум императорам: одному - кровожадному тирану, другому - грубому сладострастнику.^[1114] Сохранился его громоздкий труд - самая скучная и утомительная поэма на латинском языке. Его название - "Пуника": он состоит из семнадцати книг и содержит историю второй Пунической войны в героических стихах. Образцом для него послужила "Энеида" Вергилия, а материалом - повествования Ливия. Нибур утверждает, что он прочел все свои произведения с большим вниманием и был совершенно убежден, что взял все из Ливия, чей труд является лишь парафразом.^[1115] Критика Плиния Младшего в целом справедлива: "*Scribebat carmina majori cura quam ingenio*"; ибо, хотя его поэму невозможно читать с удовольствием в целом, его стихосложение гармонично и часто, по плавности, может сравниться с Вергилием. Следующий отрывок цитируется К. Бартиусом как один из наиболее благоприятных образцов его чувств и стиля; а Целлариус, чья похвала необычайно полна, дает ему эпитет "Aurea": "*Ipsa quidem virtus*".

Ipsa quidem virtus sibimet pulcherrima merces;

Dulce tamen venit ad manes quem gloria vitæ

Durat apud superos, nec edunt oblivia laudem.

Некоторые из его эпизодов, если рассматривать их как отдельные фрагменты, окупают затраты на прочтение; и следующий отрывок, который Аддисон счел достойным перевода, можно принять за образец его описательных способностей: -

АЛЬПЫ.

Cuncta gelu canâque æternum grandine tecta,

Atque ævi glaciem cohibent: riget ardua montis

Ætherii facies, surgentique obvia Phœbo

Duratas nescit flammis mollire pruinas.

Quantum Tartareus regni pallentis hiatus

Ad manes imos atque atræ stagna paludis

A supera tellure patet; tam longa per auras

Erigitur tellus et cœlum intercipit umbrâ.

Nullum ver usquam, nullique æstatis honores;

Sola jugis habitat diris sedesque tuetur

Perpetuas deformis hyems: illa undique nubes

Huc atras agit et mixtos cum grandine nimbos.

Nam cuncti flatus ventique furentia regna

Alpinâ posuere domo caligat in altis

Obtutus saxis, abeuntque in nubila montes.

Скованный вечным льдом и скрытый в снегах,

что выпали тысячу веков назад,

Гора стоит; и восходящее солнце не может

И не может восходящее солнце Ослабить ее морозы и научить их бегать:

Глубоко, как темные адские воды, лежат

От светлых областей веселого неба,

Так далеко гордые восходящие скалы вторгаются

В верхние царства небес и наводят ужасную тень.

Ни весны, ни лета не видно на горе,

ни весна, ни лето не радуют глаз плодами или восхитительной зеленью,

Но хмурая зима, неубранная и голая,

Обитает в суровом укрытии и замирает там,

Там она собирает все свои самые черные бури,

И грубый град, и грохочущие бури;

Туда устремляются буйные ветры,

И на горе ведут свой шумный суд,

Что густыми ливнями окутывает ее скалистую вершину,

И тучами темнеет весь изломанный вид. *Аддисон.*

ГЛАВА V.

С. ВАЛЕРИЙ ФЛАКК - НЕДОСТАТКИ АРГОНАВТИКИ - ПАПИНИЙ СТАТИЙ - КРАСОТА ЕГО НЕБОЛЬШИХ ПОЭМ - НЕСПОСОБНОСТЬ К ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ - ДОМИЦИАНСКАЯ ЭПИГРАММА - ВОЕННАЯ БИОГРАФИЯ - ПОРОЧНОСТЬ ЭПОХИ, В КОТОРОЙ ОН ЖИЛ - НЕЗРЕЛОСТЬ ЕГО СОЧИНЕНИЙ - УДАЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЕГО ПОЭЗИИ.

C. Valerius Flaccus.

С. Валерий Флакк процветал в царствование Веспасиана; согласно эпиграмме Марциала, в которой поэт советует своему другу оставить муз ради более сухой, но более прибыльной

профессии адвоката, он родился в Патавиуме^[1116] (Падуя.) Частое добавление фамилии Setinus Balbus привело к предположению, что он был уроженцем Сетии, в Кампании (Сеццо;), но невозможно составить сколько-нибудь удовлетворительное предположение относительно их значения, а утверждение Марциала слишком определенно, чтобы допускать сомнения. Квинтилиан^[1117] утверждает, что, когда он писал, В. Флакк *недавно* умер: следовательно, он, вероятно, был прерван преждевременно около 88 г. н.э.

Его единственная сохранившаяся поэма называется "Аргонавтика" и является подражанием, а в некоторых частях и переводом, греческой поэмы Аполлония Родиуса на ту же тему. Она адресована императору, и в проэмии он делает комплимент Домициану за его поэзию и Титу за его победы над иудеями.

Очевидно, он не дожил до завершения своего первоначального замысла: даже восьмая книга осталась незавершенной; и, судя по событиям, о которых еще предстоит рассказать, он, вероятно, планировал эпическую поэму такой же длины, как у Вергилия, стилю и стихосложению которого он старался подражать. Итальянский поэт Иоанн Баптиста Пий продолжил эту тему, дополнив восьмую книгу и присовокупив к ней еще две, события которых были частично заимствованы у Аполлония.

Квинтилиан положительно отзываясь о его заслугах в уже упоминавшемся отрывке и говорит, что в его лице литература понесла тяжелую утрату. Более суровая критика Скалигера более точна и более рассудительна: "Immaturâ morte præreptus acerbum item poëma suum nobis reliquit. Est autem omnino duriusculus, penitus vero nudus Gratiarum comitate." Недостатки "Аргонавтики", по сути, носят скорее негативный, чем позитивный характер. В ней нет бросающихся в глаза недостатков или изъянов; нет ни жеманства, ни риторических приемов, которые относятся к периоду упадка. Может быть, иногда присутствует некоторая жесткость, несколько неуклюжих выражений и парафраз, но нет ни напыщенности, которая могла бы возмутить хороший вкус, ни неметричных каденций, которые могли бы оскорбить слух. Но нет ни гения, ни вдохновения, ни захватывающего пыла, ни мыслей, которые дышат, ни слов, которые горят. Он никогда не поднимается выше мертвого уровня. Все соответствует приличным и прямым приличиям. У него есть некоторый талант описательного поэта: его стихосложение гармонично, и он достигает тех поверхностных достоинств, которые присущи призовой поэме старательного, изобретательного и образованного ученого. Вергилий был подражателем: то есть его вкус, как и вкус римлян, повсеместно формировался и воспитывался подражанием; но его дух презрел эти бремена и взлетел к оригинальности. В. Флакк почти никогда не бывает оригинальным, разве что когда он банален: он удачно подражает Вергилию в том, что касается внешних граций стиля, но в очаровании естественной простоты он всегда не дотягивает до своего великого оригинала.

Р. Папиний Стаций (родился в 61 г. н. э.)

Ближе к середине первого века христианской эры^[1118] в Рим из Неаполя прибыл грамматик по имени П. Папиний Стаций. Он открыл школу и вскоре так прославился как преподаватель, что стал наставником юного Домициана, чья благосклонность и привязанность сохранились и после того, как он стал императором. Некоторая часть его славы была также основана на том, что в детстве он получил приз на многих публичных поэтических конкурсах. Говорят, что каждый год в возрасте от тринадцати до девятнадцати лет он был коронован. Эти конкурсы носили отчасти импровизационный характер, а в эпоху, когда публичные чтения и декламации были в моде и являлись средством, с помощью которого поэты добивались славы и покровительства, успех такого рода высоко ценился. Темой одного из его

стихотворений, как говорят, было возгорание Капитолия во время борьбы между вителлианцами и сторонниками Веспасиана.^[1119] Стаций, однако, похоже, не обладал более высокой степенью поэтической силы, чем счастливая способность к стихосложению, поскольку он умер^[1120] и не оставил произведений, выдержавших испытание временем.

Сын, однако, унаследовал поэтические таланты того же рода, но гораздо более высокого порядка, чем у отца, и хотя в течение долгого времени средства к существованию полностью зависели от его произведений и, несмотря на громы аплодисментов, он должен был голодать, если не сможет продать свою пьесу управляющему Парижа,^[1121] солнце императорской благосклонности, которым пользовался его отец, озарило его.^[1122] Однако он приобрел покровительство ценой грубой лести тирану. Этот сын, носивший то же имя, что и его отец, был автором "Сильвеев", "Фиваид" и "Ахиллеид". Он родился в 61 году н. э. и умер в расцвете сил, в 95 году н. э., в Неаполе, своем родном городе. Поскольку о его жизни не сохранилось никаких интересных сведений, а сам он не упоминается ни одним классическим автором, кроме Ювенала,^[1123] невозможно сказать, как возникло мнение, которого придерживался его почитатель Данте и другие, что он втайне был защитником христиан, а также сам был верующим.^[1124]

По характеру своего гения он был настоящим итальянцем. Он прекрасно понимал красоту природы. Его "Сильве" полны правдивых картин. Он обладал готовностью к стихосложению, которую не превзошел ни один поэт классической древности, кроме Овидия, и той импровизаторской силой, которой так часто славятся его соотечественники в наши дни. До тех пор пока он довольствовался малым - быть поэтом, - ему сопутствовал огромный успех. В его "Сильве" много поэтических эпизодов, которые сами по себе могли бы стать прекрасными беглыми произведениями, - краткие излияния, навеянные статуями^[1125] и зданиями,^[1126] стихи комплиментов^[1127] и нежной лести,^[1128] или соболезнования^[1129] или поздравления. Неважно, насколько легка или пустячна тема, он может поднять ее и украсить. Он с одинаковой красотой пишет о дереве своего друга Атедия,^[1130] о смерти попугая; об императорском льве;^[1131] о замках Флавия Эарина;^[1132] о грубой свободе сатурналий.^[1133] Именно в этих непритязательных стихах мы видим его естественное и незамутненное изящество, его гармоничный слух и правдивость восприятия. Но дело обстоит совершенно иначе, когда тема выше его.^[1134] Он не обладал ни умом, ни силой воображения, чтобы соответствовать задаче эпического поэта; и, следовательно, его великое произведение, "Фиваида", и другой незаконченный эпос, "Ахиллеида", являются полными провалами.

В своих небольших поэмах он, кажется, доверяет природным силам своего гения; он никогда не напрягается для создания эффекта, не слишком заботится о точной отделке и трудоемкой полировке. Хотя они и не импровизационны, но имеют такой характер, и вся их свежесть сочетается с преимуществом написанных и исправленных исполнений. Его мысли вдохновлены темой, и ее реальность, которую он был способен оценить, придает жизнь его композициям. Но главный недостаток его "Сильве" - слишком большая демонстрация греческой образованности. Каждая страница полна мифологических аллюзий, которые иногда делают его изящные стихи сухими и утомительными, и, должно быть, делают их приемлемыми только для тех, кто хорошо разбирается в греческой литературе: они никогда не могли быть универсально популярными. Те качества, которые присущи его "Сильве", не украшают его эпическую поэзию. Его вымышленные герои не вдохновляют и не согревают его воображение: его не трогают их личности так же, как лужайки и рожи, солнце, леса и небо Италии.

Этот недостаток он пытается компенсировать экстравагантной напыщенностью, совершенно не соответствующей действию поэмы, и вниманием к теоретическим

принципам искусства, и тщательной отделкой, которая, должно быть, стоила ему многих часов труда. Однако это упорство сходит на нет, и эффект, вызванный контрастом между действием и сутью поэмы и языком, в который она внешне облечена, производит эффект, противоположный тому, который был задуман.

Он был искусным рисовальщиком, великолепным колористом, приятным пейзажистом и прилежным учеником правил искусства; но его гений не мог подняться до высших отделов искусства - он не мог наделить разумом или *моралью* тех персонажей, внешние черты которых он так искусно обрисовывал. Той оценкой, которой он пользуется как эпический поэт, он обязан не абсолютным, а относительным заслугам. Он был лучшим из героических поэтов своего времени. Стаций, несмотря на свои недостатки, был, очевидно, глубоким учеником, а также поклонником гомеровских поэм; и есть два момента, в которых он показал себя успешным подражателем. Это - его сражения и его уподобления. Его описания первых волнущи и драматичны, а некоторые из его уподоблений могут сравниться с лучшими латинскими образцами такого рода иллюстраций. Если вспомнить, что ни один эпический поэт не приблизился к Гомеру в использовании симилия больше, чем Данте, и что он не уступает греческому барду в возвышенности и живописности описаний, то легко представить, что именно эти качества в поэмах Стация особенно вызвали его восхищение.

Необходимо сказать всего несколько слов, чтобы описать характер и тематику поэм Стация. *Silvæ* состоит из тридцати двух отдельных произведений. Все они гекзаметрические, за исключением четырех гекзаксиллабических,^[1135] одного алкейского,^[1136] и одного сапфического метра.^[1137] К каждой из пяти книг, в которых собраны эти стихи, приложено прозаическое посвящение какому-нибудь другу; первая из них адресована поэту Стелле, общему другу его и Марциала.^[1138] Название *Silvæ* было дано этим стихам в силу того самого качества, которое составляет их особое очарование. Это грубые материалы мысли, возникающие спонтанно во всем своем диком великолепии из богатой естественной почвы воображения поэта, не подстриженные, не обрезанные, не знающие того культивированного искусства, которое аффриканский и искусственный век считал необходимым для создания законченной поэмы. "Такие вневременные выступления, как эти, - говорит Квинтилиан, - называются *Silvæ*: автор впоследствии пересматривает и исправляет свои излияния". "Фиваида" состоит из двенадцати книг, а ее темой являются древнегреческие легенды о войне Семерых против Фив. Сочинение этого произведения предшествовало публикации "Сильвэ". Ахиллеида, несомненно, должна была охватить все подвиги Ахилла, но завершены были только две книги.

Домициан.

К этой эпохе относится парафраз "Феноменов" Арата. Его приписывают Германику, но настоящим автором был Домициан, который, как и Нерон, писал стихи.^[1140] Что касается языка и стихосложения, то он не лишен достоинств; но тема не подходит для поэзии.^[1141] У Домициана был вкус, хотя его таланты не заслуживали хвалебных отзывов Квинтилиана;^[1142] но он поощрял ученых людей: и его поощрению мы обязаны тем выдающимся современным писателям, которые на одно поколение задержали падение римской литературы.

Эпиграмма.

Греческая эпиграмма первоначально, как следует из самого слова, была просто надписью. Поэтому она была короткой и лаконичной; ее метр был элегическим, так как особенно подходил к периодической структуре чувства и его характерным качествам, краткости и аккуратности. Пока она сохраняла этот характер, она была свободна от горечи; и главным элементом успеха в этом виде композиции был скорее такт, чем гений, и скорее культурный

вкус, чем поэтическое вдохновение. Эпиграмматистами были не только Катулл, Вергилий и Овидий, но и некоторые римские *литераторы*, достигшие посредственности или даже совершенства в эпиграмме, которые не были способны стать великими поэтами. Юлий Цезарь написал одну на Теренция, и, возможно, следующие аккуратные строки; хотя они были приписаны Августу и Германику:...

Thrax puer astricto glacie dum ludit in Hebro

Pondere concretas frigore rupit aquas;

Dumque imæ partes rapido traherentur ab amne,

Abscidit tenerum lubrica testa caput.

Orba quod inventum mater dum conderet urna,

Hoc peperit flammis, cetera, dixit, aquis.

Лутаций Катул был автором четверостишия о комедианте Росции; а в Антологии, среди множества других, есть одно Августа,^[1143] и четыре не заслуживающих внимания Мекенаса,^[1144] вместе с теми прекрасными строками, обращенными Адрианом к своей душе, которые Поуп подражал в своем "Умиравшем христианине":.

Animula vagula blandula,

Hospes comesque corporis,

Quæ nunc abibis in loca?

Pallidula rigida nudula

Nec ut soles dabis jocos.

К первоначальным характеристикам эпиграммы римляне добавили то, что составляет эпигramму в современном понимании этого термина, - остроту в шутку или всерьез, а также горечь личной сатиры. К греческой грациозности и изяществу добавились здравый смысл, пронизательность и острое наблюдение за человеческой природой; и тот же народ, который перевел дикие и непредусмотренные сарказмы греческой сцены в симметричную форму сатиры, создал и эпигramму, написанную пером Марциала. Те же особенности римского ума, которые характеризуют сатиру, заметны и в эпиграмме. Эпигramма - это концентрация сатиры. Небрежная расплывчатость, допустимая в последней, разнообразие тем, которые затрагиваются с нерегулярной и необузданной свободой, в первой ограничены и определены. Выбирается одна идея, на которой направляются все силы острого ума писателя и сходятся в одну точку. Нечасто в римской эпиграмме встречаются безобидные элементы греческого остроумия, такие как каламбур или приятный сюрприз или неожиданный поворот (хотя и они иногда встречаются,^[1145]). Остроумие обычно связано с суровостью. Тот же горький дух, который диктовал архилоховские эподы Горация, который дышал в возмущенных строках Ювенала, направляет стрелы Марциала. Однако удары, которые он наносил пороку, не могли быть смертельными, потому что он не верил в добродетель и с удовольствием погрязал в нечистотах, которые описывал.

М. Валерий Марциал (род. 43 г. н.э.)

Все, что известно о жизни Марциала, почерпнуто из его собственных произведений, а это совсем немного, поскольку он ничего не рассказывает о своих ранних годах и начал писать только в царствование Домициана. О своих родителях он неосторожно говорит, что они были глупцами, когда учили его читать.^[1146] Он родился в Бильбилисе, испанском городе в провинции Таррагон,^[1147] о положении которого ничего точно не известно, кроме того, что он находился на возвышенности,^[1148] с видом на реку Сало, которая протекала вокруг его стен. Судя по всему, он гордился своим золотым и железным производством;^[1149] особенно славился своим оружием;^[1150] и был одной из римских колоний, удостоенных титула Августы.^[1151] Поскольку Веспасиан даровал родному городу поэта, вместе с остальной Испанией, *jus Latii*,^[1152] Марциал был по рождению римским гражданином; а в дни своей популярности добился этой привилегии для многих своих друзей.^[1153] Его день рождения - 1 марта^[1154] 43 года н. э., третьего года правления Клавдия.

На двадцать втором году своего возраста, в двенадцатый год правления Нерона,^[1155] он переехал в Рим. Он был большим любимцем Тита и Домициана, от которых получил "*jus trium liberorum*",^[1156] вместе со званием римского рыцаря,^[1157] и почетным титулом трибуна.^[1158] В правление последнего он был назначен на должность придворного поэта и получал пенсию из императорской казны.^[1159] Таким образом, во время последней части его пребывания в Риме можно с уверенностью сказать, что, хотя он и не был богат, он обладал достатком. У него был дом в городе и небольшая вилла в Номентуме, подаренная ему Домицианом.^[1160] Тем не менее, он постоянно жалуется на свою бедность и считает, что все богатеют, кроме него самого. Он сетует на то, что поэты не получают ничего, кроме комплиментов за свои стихи, в то время как юристы и даже простые глашатаи получают обильное содержание: "Минерва была лучшим покровителем, чем Аполлон; более полный поток богатства протекал через Форум, чем из фонтана Геликона или канала Пермесса." Он жалуется, что тратит все, что у него есть, и либо одалживает деньги у друзей, либо относит другому подарки, которые тот ему подарил, и жалобно просит его выкупить их обратно.^[1162] Крыша его виллы пропускает дождь; и когда его друг Стелла присылает ему черепицу, чтобы починить ее, он упрекает его за то, что тот не прислал также тогу, чтобы защитить бедного обитателя.^[1163]

Возможно, все это было вызвано недовольством, которому так часто предаются поэты и литераторы, видя, что гений не вознагражден, а богатство сопутствует талантам, которые, пусть и не столь высокого порядка, имеют более общее значение. Возможно, и он, хотя и не был абсолютно беден, был стеснен в средствах, учитывая его положение в обществе и требования, которые оно предъявляло к нему. В течение тридцати пяти лет он вел в Риме жизнь льстеца и иждивенца^[1164], а затем вернулся в родной город.^[1165] Как Гораций, находясь в тихом загородном уединении, иногда сожалеет о столичных удовольствиях, хотя в Риме он вздыхает об удовольствиях сельской жизни, так и Марциал, находясь в Риме, тосковал по Бильбилису, а вернувшись в Бильбилис, сожалел о Риме. В этот поздний период своей жизни он женился на испанке Марселле, чьего имущества было вполне достаточно, чтобы содержать его в достатке. Ее поместье он считает маленьким королевством; ее сады он не променял бы на те Алкиноса; он хвалит ее беседки, рощи, фонтаны, ручьи, пруды с рыбой и луга; и рассказывает, что климат здесь настолько благоприятен, что оливковые рощи зеленеют в январе, а розы цветут дважды в год, как в Пестуме.^[1166] Свою жену он хвалит за редкий гений и милые манеры; он говорит ей, что никто не может обнаружить ее провинциальное происхождение; что равной ей не найти среди самых элегантных столичных дам; и когда он склонен забыть Рим, она одна - все, чем Рим когда-либо был для него: - *Tu desiderium dominæ mihi*.

Tu desiderium dominæ mihi mitius urbis

Esse jubes; Romam tu mihi sola facis.^[1167]

Но, несмотря на нежный комплимент, который он делает своей богатой жене, - комплимент, продиктованный, вероятно, скорее привычкой к придворной лести, чем искренней привязанностью, - он явно тосковал по Риму. Он был создан для толпы, а не для одиночества: его дух не был достаточно чист, чтобы общаться с самим собой. Он так долго изучал человеческое сердце в его худших проявлениях, выставлял на всеобщее обозрение его самые черные очаги чумы, что ему стало не хватать тех нечистых моделей, которые он так долго изучал. Поэтому провинциальная жизнь была для него совершенно скучна; единственным его наслаждением было воспроизводить результаты своих наблюдений за столичной жизнью. Сочетая в себе несовместимые характеры льстеца и сатирика, он нуждался в великих людях, к которым мог бы обратиться за покровительством и одобрением, а также в моральных ранах для исследования и предметах для анатомирования. Только Рим обеспечивал его всем этим; лишившись его, он лишился интеллектуальной пищи, необходимой для его существования. Отсутствие привычных занятий и образовавшаяся при этом невосполнимая пустота очевидны во многих его эпиграммах.

Время его смерти точно не установлено, так как невозможно определить дату элегантного послания Плиния к Приску, в котором он упоминается.^[1168] Но поскольку, вероятно, одиннадцатая книга его "Эпиграмм" была опубликована в тот год, когда он покинул Рим и отправился в Бильбилис, и поскольку в посвящении двенадцатой книги Приску он извиняется за свою упрямую праздность в течение трех лет, его смерть не могла произойти раньше 104 г. н.э. Однако принято считать, что его жизнь не была продлена намного дольше этой даты. Возможно, его смерть ускорили отвращение к провинциальной жизни, а также злоба и зависть его новых соседей.^[1169]

Согласно его собственному рассказу, в эпиграмме^[1170], в которой он противопоставляет себя женоподобному пофигисту, его внешность была грубой и неотполированной, его лохматые волосы отказывались виться, щеки были хорошо обветрены, а голос был громче, чем рык львицы.^[1171] Невозможно поверить утверждению, которое он делает в отношении своего собственного морального облика, а именно, что, хотя его стихи развратны, его жизнь была добродетельной,

Lasciva est nobis pagina, vita proba est.^[1172]

- хотя, если судить по развращенным нормам морали, позорившим век, в котором он жил, он, вероятно, был не хуже большинства своих современников. Страшное распутство, описанное его могучим пером в столь отвратительных выражениях, распространило по Риму свою отвратительную заразу. Поскольку ни один язык не в силах обличить нечистоты его эпохи - нечистоты, в описании которых поэт, очевидно, упивается циничным восторгом, - они были не просто порождениями развратного воображения, но имели реальное существование.

Можно сказать в оправдание его преступления, что распространенность порока породила непристойность поэта; но не более того можно сказать в защиту произведений, в которых персонажи порока выставляются в таком бесстыдном и неестественном уродстве. Если бы он жил в лучшие времена, его таланты, в которых можно не сомневаться, могли бы быть направлены на более чистые цели; как бы то ни было, его нравственный вкус должен был быть основательно испорчен, чтобы не отвращаться от созерцания подобных предметов, вместо того чтобы добровольно искать их; ведь "от избытка сердца говорят уста". В Марциале мы наблюдаем парадоксальное, но все же нередкое сочетание разнообразного остроумия,

поэтического воображения и счастливой силы изящного выражения не только с сильными чувственными страстями, но и с наслаждением пороком в его самых отвратительных формах и атрибутах.

Хотя новая черта, которую Марциал привнес в греческую эпиграмму, такова, как было описано, и хотя его страницы загрязнены и осквернены, не все его стихи злобны или непристойны. На фоне некоторой неясности стиля и недостаточной законченности многие из них благоухают греческой сладостью и элегантностью. То тут, то там встречаются приятные описания красот природы;^[1173] и, если отбросить те, что явно продиктованы духом лести, многие из них добросердечны, а также комплиментарны. Несколько строк, предназначенных для сопровождения таких пустяковых подношений дружбы, которые поэт мог себе позволить, и которые, несомненно, делали цветок или игрушку вдвойне приемлемыми, по аккуратности не уступают многим из греческой антологии. Когда он посылает розу Аполлинарию, она сопровождается следующими элегантными строками: - I felix rosa, melix rosa.

I felix rosa, mollibusque sertis

Nostri cinge comas Apollinaris;

Quas tu nectere candidas sed olim,

Sic te semper amet Venus, memento.^[1174]

Иди, счастливая роза, и нежными гирляндами обвивай локоны моего Аполлинария; и помни, пусть Венера вечно любит тебя, чтобы сплести их, когда поседеет; но пусть пройдет много времени, прежде чем наступит это время".

Четырнадцатая книга содержит множество хитроумных двустиший, отправленных вместе с наказаниями, игральными костями, таблетками, зубочистками и другими маленькими подарками на сатурналийском празднике.

В столь обширном собрании произведений естественно ожидать, что в нем будет большое неравенство и что некоторые из его остроумий окажутся банальными и глупыми. В том, что так оно и было, он сам признается не раз;^[1175] а в одном месте заявляет, что это неравенство составляет одно из достоинств его работ.^[1176]

Он знал, что его труды ценятся не только в Риме, но и по всей империи:...

Toto notus in orbe Martialis

Argutis epigrammaton libellis;^[1177]

И это сознание является некоторым оправданием тщеславия, которое иногда проявляется,^[1178] и которое без колебаний выдает недостатки за красоту.

Ниже приведены благоприятные образцы его поэзии:...

Indignas premeret pestis cum tabida fauces,

Inque ipsos vultus serperet atra lues;

Siccis ipse genis flentes hortatus amicos

Decrevit Stygios Festus adire lacus.

Nec tamen obscuro pia polluit ora veneno,

Aut torsit lenta tristia fata fame;

Sanctam Romana vitam sed morte peregit,

Dimisitque animam nobiliore via.

Hanc mortem fatis magni præferre Catonis

Fama potest; hujus Cæsar amicus erat.

Когда ужасная квинси подавила его благородное дыхание,

и на его лице проступил чернеющий яд,

Фест не захотел ждать томительной смерти,

Ободрил своих печальных друзей и освободил свою смелую душу.

И голод, медленно истощающий силы,

и постепенное усыхание болиголова;

Но завершил свою жизнь истинно римский путь,

и одним ударом закрепил свою свободу.

Судьба подарила Катону менее славный конец,

Ибо Сезар был его врагом, а Фест - другом Сезара. ^[1179]

Ходжсон.

Casta suo gladium cum traderet Arria Pæto

Quem de visceribus traxerat ipsa suis,

Si qua fides, vulnus, quod feci, non dolet, inquit;

Sed quod tu facies, hoc mihi, Pæte, dolet.

Когда Аррия ей, Пэту, дала сталь,

Которая с кровоточащим боком ее рассталась;

"От собственного удара, - сказала она, - я не чувствую боли,

Но, ах! Твоя рана пронзит мне сердце".

Dum nos blanda tenent jucundi stagna Lucrini

Et quæ pumiceis fontibus antra calent,

Tu colis Argivi regnum Faustine coloni

Quo te bis decimus ducit ab urbe lapis.

Horrida sed fervent Nemeæi pectora monstri

Nec satis est Baias igne calere suo.

Ergo sacri fontes et littora sacra valet

Nympharum pariter Nereidumque domus!

Herculeos colles gelida vos vincite bruma,

Nunc Tiburtinis cedite frigoribus.

Находясь у Лукринского озера, я был поглощен смертью,

я втягиваю знойный воздух и задыхаюсь,

где потоки серы поднимают удушающий жар,

И пот проступает сквозь поры теплой пемзы;

Вы ощущаете вкус прохладного бриза там, где ближе к дому,

Двадцатый столб отмечает милю от Рима.

И вот Солнце к яркому Льву обращается,

И Баия пылает с удвоенной яростью;

Тогда прощайте блестящие моря и вкусные источники,

Где живут нимфы фонтанов, спутанные с наядами.

Зимой вы можете презирать весь мир,

Но теперь Тиволи - приз.

Аддисон.

ГЛАВА VI.

АУФИДИЙ БАСС И КРЕМУЦИЙ КОРД - ВЕЛИЙ ПАТЕРКУЛ - ХАРАКТЕР ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ - ВАЛЕРИЙ МАКСИМ - КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ - ЭПОХА ТРАЯНА - БИОГРАФИЯ ТАЦИТА - ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕГО СОХРАНИВШИХСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ - АГРИКОЛА - ГЕРМАНИЯ - ИСТОРИИ - ПРЕДАНИЯ О ЕВРЕЯХ - АНАЛЛЫ - ПРЕДМЕТ ТАЦИТА - ЕГО ХАРАКТЕР - ЕГО СТИЛЬ.

Самыми первыми прозаиками, относящимися к этой эпохе, были Ауфидий Басс и Кремуций Корд. Первый написал историю германских и гражданских войн, которую продолжил старший Плиний; от второго сохранилось лишь несколько фрагментов, написанных Сенекой.^[1180] Они были опубликованы в правление Тиберия; очевидно, что они содержали историю гражданских войн, поскольку его похвала Бруту и Кассию послужила поводом для его отречения от должности. Также очевидно, что он рассказывал о современных событиях, ведь настоящей причиной враждебности императора стало нападение, которое он совершил на фаворита Сеяна. Напрасно он просил извинения; видя, что надежды на спасение нет, он уморил себя голодом.^[1181] Его истории были публично сожжены, но его дочь, которой Сенека адресовал свое "Утешение", спрятала несколько копий, а затем опубликовала их с одобрения Калигулы.^[1182]

М. Веллеус Патеркул.

Вместе с ними процветал М. Веллеус Патеркул. Он был воином из конной семьи, первую кампанию провел в Азии, а затем, пройдя через различные ступени продвижения, исполнял обязанности *легата* Тиберия в Германии. Своими заслугами он снискал расположение принца, при вступлении которого на престол стал претором и проявил себя как верный сторонник его и его любимого министра Сеяна. В падении этого недостойного человека был замешан^[1183] Патеркул, который, скорее всего, был предан смерти.

Краткое историческое сочинение, благодаря которому он известен как автор, - это история Рима и народов, связанных с основанием императорского города, в двух книгах. Она посвящена М. Винуцию, консулу; и поскольку она продолжает историю до смерти Ливии, матери Тиберия, в год его консульства^[1184], она должна была быть закончена, возможно, почти полностью написана в течение этого года. Если предположить, что было разумно взять на себя задачу включить в столь узкие рамки события, охватывающие столь обширное поле, то она выполнена небезуспешно. Самые яркие события отобраны и рассказаны в живой и интересной манере; но у него есть один недостаток, роковой для его характера как историка, который исповедует отношение к своему собственному времени. Он пристрастен, предвзят и преклонен. У него не хватило мужества стать Фукидидом или Саллюстием. Опасный характер времени и личные обязательства перед императором сделали его придворным, и с этой односторонней точки зрения он рассматривал современную историю.

Однако он был человеком живых талантов, хотя и поверхностного образования: его вкус сформировался по образцу писателей эпохи Августа, особенно Саллюстия, чьему стилю, в том числе и внешнему, он подражал. Но хотя он был одним из самых ранних писателей так называемого серебряного века, его язык демонстрирует признаки вырождения. Временами он чрезмерно растянут и неестественен; присутствует обычное стремление к риторическому эффекту и ненужное использование необычных слов и конструкций; однако всякий раз, когда он держит в поле зрения свой образец, он едва ли уступает ему в краткости и доходчивости. Первая книга его истории находится в очень несовершенном состоянии; по сути, начало ее полностью утрачено. Была обнаружена лишь одна рукопись, да и ту теперь не найти.

Валерий Максим.

Валерия Максима едва ли можно назвать историком, хотя тема, которой он занимался, была исторической. Его работа не является ни оригинальным исследованием, ни связным сокращением исследований его предшественников. Это сборник анекдотов, озаглавленный *Dictorum Factorumque Memorabilium, Libri IX*. Его цель - моральная, а именно - проиллюстрировать на примерах красоту добродетели и уродство порока; но на его выбор влияет не столько историческая правда, сколько яркий и интересный характер повествования. Расположение анекдотов напоминает скорее обычную книгу, чем историю; единственный принцип, который соблюдается, заключается в том, что анекдоты о римлянах и иностранцах хранятся отдельно друг от друга.

О его личной истории доподлинно ничего не известно. Он сам утверждает^[1185], что сопровождал Секста Помпея в Азию; а из сравнения различных отрывков можно сделать вывод, что, как и Веллеус Патеркул, он жил и писал во время правления Тиберия. Его стиль проличен и декламационен, характеризуется неловким жеманством и неясностью.

С. Корнелий Тацит.

По уже указанным причинам Рим долгое время не мог похвастаться ни одним историком; но под благотворным и стимулирующим влиянием императора Траяна^[1186] расцвели не только изящные искусства, особенно архитектура, но и возродилась литература. Выбор Нервы не мог пасть на лучшего преемника его короткого правления. Он был испанцем, но его родной город был процветающей римской колонией: вся страна вокруг него испытала на себе влияние римской цивилизации, а языком всех городов на юге Испании была латынь. Его внимание разделяли слава войны и обязанности мира. В первом случае он давал работу своим огромным армиям, во втором - утончал вкусы и улучшал характер своего народа. Нет лучшего свидетельства, чем переписка между ним и Плинием, о мягкости и мудрости его внутреннего и внешнего управления. Влияние его императрицы Плотины и его сестры Марцианы оказало благотворное влияние на римское общество; ведь они были первыми дамами императорского двора, которые своим примером пресекли бесстыдную разнузданность, долгое время царившую среди женщин высших сословий. Тот же вкус и исполнение, которые видны в барельефах на колонне Траяна, украшают литературу его эпохи, проиллюстрированную двумя ее великими светилами, Тацитом и младшим Плинием. Здесь нет богатого, изящного орнамента, который так очаровывает писателей золотого века; но отсутствие этих качеств сполна компенсируется достоинством, серьезностью, честностью и правдивостью. В стиле Тацита есть твердость, которая компенсирует его сложность и оправдывает то глубокое восхищение, с которым его воспринимал Плиний. Правдивость пронизывает все труды этих двух великих современников, а неподкупная добродетель так же заметна на страницах Тацита, как благожелательность - в письмах Плиния. Они взаимно влияли на характер и принципы друг друга: их вкусы и занятия были схожи: они горячо любили друг друга; регулярно переписывались, исправляли произведения друг друга, терпеливо и с благодарностью принимали критику друг друга. Если, однако, во всех случаях их замечания были такими, как в письмах Плиния, то, вероятно, их взаимное уважение и безграничное восхищение, которое Плиний испытывал к превосходному гению своего друга, заставляли их быть скорее хвалебными, чем суровыми.

Точная дата рождения Тацита неизвестна, но из одного из многочисленных сохранившихся писем, адресованных ему Плинием,^[1187] можно сделать вывод, что первый был старше своего друга не более чем на один-два года. В нем он напоминает ему, что по годам они почти равны, и добавляет, что сам он был молодым человеком, когда Тацит уже приобрел блестящую репутацию. Существует традиция, которая относит рождение Тацита к году воцарения Нерона; но поскольку Плиний Младший родился в 61 г. н. э., а Нерон принял императорский пурпур в 54 г. н. э., эта дата делает разницу в возрасте между ним и Плинием слишком большой, чтобы быть совместимой с выражениями последнего. Тацит имел конный чин и был прокуратором Бельгийской Галлии в царствование Веспасиана и Тита, от которых, как и от Домициана, он получил множество знаков уважения. В 78 г. н. э. он женился на дочери К. Юлия Агриколы. Он был одним из пятнадцати комиссаров, назначенных для празднования *Ludi Seculares* в 88 г. н. э., а также претором в том же году. В 97 г. н. э. он занимал должность консула. На эту должность он был избран, чтобы занять место *Виргиния Руфа*, который умер в год его пребывания в должности, и над ним Тацит произнес погребальную речь. В 99 г. н. э. он вместе с Плинием^[1188] участвовал в импичменте *Мариуса Приска*, проконсула Африки, за плохое управление его провинцией; его друг Плиний хвалит его ответ на острые тонкости *Сальвия Либералиса*, защитника *Мариуса*, как отличающийся не только ораторской силой, но и тем, что он считает самым замечательным качеством его стиля, - *серьезностью*. Его слова таковы: "Отвечает Корн. Tacitus eloquentissime et quod

eximie orationi ejus inest, σεμνως." Неизвестно, когда умер Тацит и оставил ли он потомков; но несомненно, что он пережил воцарение Адриана.^[1190]

Сохранившиеся произведения Тацита: (1.) Жизнь его тестя, Агриколы. (2.) Трактат о нравах и народах Германии. (3.) Небольшая часть объемистого труда под названием "Истории". (4.) Около двух третей другого исторического труда, озаглавленного "Анналы". (5.) Ему также приписывается диалог "Об упадке красноречия"; и хотя в отношении его подлинности возникают сомнения, они не имеют под собой прочного основания. Невозможно более чем приблизительно определить даты написания каждого произведения Тацита. Неизбежная опасность писать или говорить открыто о событиях или людях делает почти уверенным, что ни одно из них не могло быть опубликовано до воцарения Траяна. Niebuhr^[1191] не сомневается, что первое издание "Жизни Агриколы" было опубликовано в конце правления Домициана и что впоследствии оно было пересмотрено и дополнено введением. Но не более ли вероятно, что, хотя работа была написана, она была опубликована только после пересмотра?

Как бы ни были велики нравственные достоинства и приятная мягкость Агриколы, его храбрость как солдата, его мастерство и решительность как полководца, его благоразумие и осторожность как политика, и поэтому, как бы он ни заслуживал того приятного освещения, в котором представлен его характер, все же жизнь Тацита - это скорее панегирик, чем биография. Близкие отношения, в которых Тацит находился с ним, ласковое восхищение, которое Агрикола должен был неизбежно вызывать у того, кто так хорошо его знал, не позволили ему стать беспристрастным биографом. Прекрасные стороны характера Агриколы затмевают все остальные его черты; но мы не можем предположить, что у него не было недостатков, слабостей. Однако в небольшом труде Тацита их нет. Его зять либо не смог, либо не захотел их заметить. Тем не менее этот краткий набросок - прекрасный образец той силы и выразительности, с которой этот величайший художник древности мог отбросить любой портрет, который он пытался нарисовать. Даже если сходство несколько льстит, качества, которыми обладал писатель, его понимание характера, его патетическая сила и его нежное сердце делают этот короткий отрывок одной из самых привлекательных биографий, дошедших до нас.^[1192]

С каким простым пафосом он рассказывает нам об обязанности, которой Агрикола, как и многие другие великие люди, был обязан воспитанию своей чистосердечной, благоразумной и снисходительной матери, и о благодарности, с которой он постоянно говорил об этой обязанности! С какой нежностью он говорит о той, кто связан с ним не только узами родства, но и более сильными узами сродства и расположения! В его размышлениях о смерти нет ни малейшей попытки драматизировать ситуацию. Несколько слов, посвященных столь скорбной теме, просто дышат всепоглощающим чувством тяжелой утраты, от которой не спасает утешение присутствия при его последних минутах. "Счастливы ты был, Агрикола, не только потому, что жизнь твоя была славной, но и потому, что смерть твоя была своевременной! Все, кто слышал твои последние слова, свидетельствуют о том, с каким постоянством ты встречал смерть, словно был полон решимости оправдать императора в том, что он был ее причиной. Но горечь печали твоей дочери и моей о потере родителя усиливается от мысли, что нам не выпало на долю следить за твоим угасающим здоровьем, утешать твои иссякающие силы, наслаждаться твоими последними взглядами, твоими последними объятиями. Мы с преданностью выслушали бы твои прощальные слова и пожелания и глубоко запечатали их в нашей памяти. Это была наша главная печаль, наша самая болезненная рана. Из-за нашего долгого отсутствия в Риме ты был потерян для нас четыре года назад. Несомненно, о лучший из родителей! достаточно, и даже более чем

достаточно, чести было оказано тебе усердным вниманием твоей нежной жены; все же последние почести были оказаны тебе среди слишком малого количества слез, и твои глаза сознавали, что какой-то любимый объект отсутствует так же, как его свет померк навеки". К этой дани благородной привязанности примешиваются чувства благородной покорности, соединенные со смиренным убеждением в преходящем характере человеческих талантов и искренним ожиданием бессмертия. Для нас биография Агриколы особенно интересна, потому что Британия была местом его славы как полководца и его успехов в гражданском управлении. Его армия впервые проникла за Фрит Форт и Клайд в Шотландское нагорье, а его флот впервые обогнул северную оконечность Британских островов.

Трактат о географии, нравах и народах Германии (De Situ Moribus et Populus Germaniæ) немногим длиннее "Жизни Агриколы". Информация, содержащаяся в нем, носит именно тот характер, который можно было ожидать, учитывая источники, из которых она была получена. Тацит никогда не был в Германии, и поэтому его сведения были получены от тех, кто посещал ее в целях войны или торговли. Поэтому его географические описания часто расплывчаты и неточны; смесь чудесного показывает, что некоторые из его повествований - просто рассказы путешественников, в то время как основные моменты и характерные черты национальных нравов несут на себе отпечаток правды и подкрепляются хорошо известными привычками и институтами тевтонских народов.

Он рассказывает об их бардах и объясняет этимологию термина словом Barditum, которое означало декламацию их песен.^[1193] Он намекает на дикие легенды и мрачные суеверия, которыми воображение германцев до сих пор любит наполнять темные глубины их лесов.^[1194] Он описывает их чистую и несмешанную расу и, следовательно, повсеместное преобладание национальных черт - голубых глаз, рыжих или песочных волос, мужественного и гигантского телосложения.^[1195] Согласно его рассказу, их политические конституции были выборными монархиями, но монарх всегда был благородного происхождения и его власть была ограничена;^[1196] и все важные вопросы обсуждались народным сословием.^[1197] В торжественном разрешении германскому юноше носить оружие и его наделении копьем и щитом усматривается зарождение рыцарства;^[1198] а в святости брачных уз, целомудрии женского пола, их общественном влиянии и уважении к ним - редкости прелюбодеяния и его суровом наказании, полном отсутствии многоженства - мы видим зародыши отличительных черт рыцарства.^[1199] Они были гостеприимны и постоянны в наследственной дружбе, но суровы в увековечивании семейной вражды;^[1200] страстно любили азартные игры и строго относились к долгам чести;^[1201] заядлые пьяницы, а их любимым напитком было пиво;^[1202] они не могли советоваться по важным вопросам без дружеских встреч;^[1203] если они ссорились из-за своих кубков, то редко прибегали к словам, обычно к ударам.^[1204] Их рабы находились на положении крепостных или холопов и платили господину фиксированную ренту кукурузой, скотом или мануфактурой.^[1205] Они считали время по ночам, а не по дням,^[1206] так же, как мы привыкли употреблять выражения se'nnight и fortnight.

Описав нравы и обычаи всего народа, он переходит к рассмотрению каждого племени в отдельности.^[1207] Говоря о наших предках, *англи*, которые населяли часть современной территории Слесвик-Гольштейна и чье имя до сих пор сохранилось в округе Ангельн, он использует одно английское слово. Англичане, говорит он, вместе с прилегающими племенами поклоняются Гертусу, *то есть* Терре.^[1208] Еще в те ранние времена он упоминает о военно-морском превосходстве суйонов, которые были предками норманнов и морских королей. С ними, утверждает он, кончается континент Европы, а все, что за ним, - неподвижный и замерзший океан.^[1209] Правда в этих далеких краях смешивается с баснями. После захода солнца день продолжается, но слышен шипящий шум, когда его пылающий

шар погружается в море, и видны формы богов и сияние славы, окружающее их головы.^[1210] Список чудес заканчивается сказочными существами, чьи тела и конечности похожи на тела диких зверей, а головы и лица - на человеческие.

Самым ранним историческим трудом Тацита являются его "Historiæ", из которых сохранились только четыре книги и часть пятой. Их содержание простирается от второго консульства Гальбы^[1211] до начала осады Иерусалима. Первоначальный труд заканчивался смертью Домициана.^[1212] Он намеревался также, если бы его жизнь была пощажена, добавить царствования Нервы и Траяна, как занятие для своей старости. "Материалы для этого, - говорит он, - более изобильны и достоверны из-за необыкновенного счастья эпохи, когда людям было позволено думать, как им угодно, и высказывать то, что они думали". Из того, что в цитированном выше отрывке слово Divus (обожествленный) приписано к имени Нервы, а не Траяна, ясно, что это произведение было написано после того, как Траян надел императорский пурпур.^[1214]

По словам святого Иеронима, первоначально она состояла из тридцати книг; и та подробность, с которой описывается каждое событие в сохранившейся части, делает весьма вероятным, что первоначальный труд был столь обширным, как можно предположить из этого утверждения. Цель, которую он себе предложил, была достойна его проницательного ума, от ищущего взгляда которого даже лицемерие и маскировка Тиберия были бессильны скрыть грязную тьму его коварной натуры. Он намеревался "исследовать политическое состояние государства, чувства его армий, настроения провинций, элементы его силы и слабости, причины и основания каждого феномена" Главным недостатком, снижающим ценность его истории как записи событий, является его слишком большая готовность безоглядно принимать свидетельства и записывать народные слухи без достаточной тщательности в проверке их истинности. И все же таких пятен немного, они разбросаны по огромному полю достоверной истории. Возможно, самый прискорбный пример представлен в его неверном рассказе об истории, конституции и нравах еврейского народа. Не имея ни возможности, ни желания обратиться к священным книгам этого народа, он смешивает смутные предания о его ранней истории с баснями языческой мифологии и, подобно грекам и римлянам, дает имена вымышленным патриархам, взятые из местностей, связанных с их историей.

Согласно его рассказу, евреи первоначально населяли Крит,^[1216] и от горы Ида, на этом острове, получили имя Идэи, которое впоследствии превратилось в Иудеи. С Крита, когда Сатурн был изгнан Иовом, они укрылись в Египте, а оттуда под предводительством двух вождей, Иуды и Иеросолима, снова переселились в соседнюю Палестину. Вторая традиция приписывает им ассирийское происхождение; третья - эфиопское; четвертая утверждает, что они произошли от Солимийцев, которых Гомер воспел в своих поэмах.^[1217]

Следующая традиция, которую он упоминает, приближается к истинной. Египет был поражен чумой, царь Бокхорис, по совету оракула Аммона, очистил от них свое царство, и под руководством Моисея они отправились в странствия. Когда они умирали в пути от недостатка воды, их вождь пошел за стадом диких ослов, которые привели его к обильному колодцу с водой. Так они избавились от засухи и, пройдя шесть дней пути, овладели землей, на которой построили свою столицу и храм. Моисей ввел новые религиозные обряды, не похожие на те, что были у других народов. Он установил изображение осла в Святая Святых - утверждение, которое впоследствии Тацит практически опровергает, говоря, что они не допускают никаких изображений в своих храмах,^[1218] что они предпочли взять в руки оружие, чем допустить в храм статую Калигулы;^[1219] и что когда Помпей взял Иерусалим,^[1220] он не нашел ни одного изображения божества, а святилище было пусто. Он добавляет, что они

приносят в жертву баранов, чтобы показать презрение к Юпитеру Аммону, и быков, потому что под этим видом египтяне поклонялись Апису; что они воздерживаются от свинины в память о том, что были поражены проказой, которой подвержено это животное, и едят пресный хлеб в память о том, что когда-то украли еду. В седьмой день, который завершал их скитания, они не делали никакой работы, и точно так же седьмой год они посвящали безделью. Некоторые утверждают, что эту субботу они соблюдают в честь Сатурна. Они верят в бессмертие души, в будущие награды и наказания и бальзамируют своих умерших, как египтяне. Таковы различные предания о евреях, которые Тацит включил в свою "Историю".

Анналы, написанные после "Истории", были названы так потому, что каждое историческое событие записано в историческом порядке под годом, к которому оно относится.^[1221] Они состоят из шестнадцати книг; начинаются со смерти Августа,^[1222] и заканчиваются смертью Нерона.^[1223] Сохранились только первые четыре книги, часть пятой, шестая, часть одиннадцатой, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая и начало шестнадцатой книги. Анналы - это скорее история каждого последующего императора, чем римского народа; но это необходимое условие для повествования о судьбах нации, которая теперь обладала только названием, но не реальностью конституционного правления. Государством теперь был император; целью и объектом социальной системы - его безопасность; поэтому каждое политическое событие должно рассматриваться в связи с ним.

Но история такого рода в руках того, кто обладал таким мастерством погружения в глубины человеческого сердца, кто умел так пронизательно читать и так ярко обрисовывать человеческие характеры, кто обладал как писатель такой живописной и драматической силой, становится тем интереснее от ее биографического характера и ее философского значения как морального, а не политического исследования. В силу обстоятельств, над которыми автор не властен, это не история великого народа, ибо римляне в целом уже не были великими. Не рисует он и становление, прогресс и развитие конституционной свободы, ибо она достигла своего зенита, пришла в упадок, была парализована и в конце концов угасла. Но все еще существовали яркие примеры героизма, мужества и самоотверженности, истинно римские, и не менее яркие примеры коррупции и деградации. Отдельные личности выделяются ярким рельефом, выдающиеся своими благородными добродетелями или омраченные самыми низкими преступлениями. Они появляются на сцене поодиночке или группами: император - главная фигура, а нравственное чувство читателя пробуждается, чтобы восхититься примерами терпеливого страдания и решительной храбрости, или презренного рабства и безжалостного деспотизма.

Поэтому целью Тацита, как и великого философского историка Греции, было не описание роста политических институтов или непримиримой вражды, бушевавшей между противоположными политическими принципами, - борьбы за господство между классом и целым народом, - а влияние, которое установление тирании на руинах свободы оказывало на добро или зло в формировании характера человека. Рим, императорский город, был всепоглощающей темой его предшественников; римляне были лишь подчиненными и вспомогательными. Тацит описывал жизнь и смерть отдельных людей и показывал, какое отношение они имели к судьбе своей страны.

Невозможно было бы удовлетворить народ, чей вкус стал более чем когда-либо риторическим, без введения ораций. Оратории Тацита - прекрасные образцы искусства; и,

вероятно, за исключением Гальгака,^[1224] гораздо правдивее, чем у других римских историков. Тем не менее он использовал их не только для того, чтобы опровергнуть традиционные сведения о том, что действительно было сказано по каждому случаю, но и чтобы проиллюстрировать свои собственные взгляды на характер оратора и передать свои собственные политические взгляды.

Полный проницательной наблюдательности и описательной силы, Тацит привлекает самое серьезное внимание читателя серьезностью своего сжатого и всеобъемлющего стиля, а также мудростью и достоинством своих размышлений. Чистота и серьезность его чувств напоминают читателю даже христианских авторов.

Живя среди влияния развращенного века, он был незагрязненным; его добродетель и честность, его наказанная политическая либеральность вызывают наше восхищение как человека, в то время как его любовь к истине отражается в его характере как историка. Хотя он подражал, также как и одобрял, осторожной политике своего тестя, он не был лишен моральной твердости.

Ничто не умаляет его мужества, что он молчал в опасные времена, в которые прошла большая часть его жизни, и смело заговорил только тогда, когда началось счастливое царствование Нервы, и сломленный дух нации возродился. Как и остальные его соотечественники, он показал замечательный пример терпеливой выдержки, когда из-за императорской ревности даже восхваление тех, кто был несносен тирану, считалось изменой; когда Арулену Рустику вменялось в обязанность хвалить Пета Фразея, а Гереннию Сенецию - восхвалять Приска Гельвидия.

В те страшные времена он сам говорит, что "как старый Рим был свидетелем величайшей славы свободы, так ее потомки были низвергнуты в самые низкие глубины рабства; и были бы лишены как памяти, так и языка, если бы человек был в равной степени способен как забывать, так и молчать." В такие времена благоразумие было долгом, а смелая отвага была бы бесполезным безрассудством. Восхваляя Агриколу и порицая Пета, он излагает принципы, которые регулируют его собственное поведение: подвергать себя опасности без малейшей перспективы принести пользу своей стране - это просто показное честолубие. "Sciant," пишет он, "quibus moris illicita mirari, posse etiam sub malis principibus magnos viros esse; obsequiumque ac modestiam, si industria ac vigor adsint, eo laudis excedere quo plerique per abrupta, sed in nullum reipublicæ usum ambitiosa morte inclaruerunt." И снова: "Thrasea Pætus sibi causam periculi fecit, cæteris libertatis initium non præbuit."

В стиле Тацита форма всегда подчинена сути; идеи сохраняют должное превосходство над языком, на котором они передаются. Здесь нет ни одного стремления к эпиграмматической краткости, которое смахивает на жеманство. Его краткость, как и та, что характеризует стиль Фукидида, - необходимый конденсат писателя, чьи мысли текут быстрее, чем его перо может их выразить. Поэтому его предложения говорят о гораздо большем, чем выражают: это загадочные намеки на глубокий и скрытый смысл, которые заставляют ум быть активным, а внимание живым, и радуют читателя радостью открытий и сознанием преодоленных трудностей. Эта естественная и непреднамеренная краткость также не соответствует той осторожной сдержанности, с которой всех учили говорить и думать о политических темах в опасные времена. Необычайно часто сходство между его умом и умом Фукидида невольно обнаруживается - не только в его образе мыслей, но и в его языке, даже в его грамматических конструкциях, особенно в его частой замене притяжения на правительство, в случаях сжатого построения и в соединении положений, грамматически различных, хотя метафизически они одинаковы.

Его краткость не является сухой или грубой - ее оживляют обилие, разнообразие и поэзия. Он почти никогда не повторяет одну и ту же мысль в одной и той же форме. Ни один автор не изобилует синонимами и не организует с большим мастерством расположение слов в предложении. Что касается поэтического гения, то его язык в высшей степени образен; ни один прозаик не занимается в большей степени просопопеей: его описания пейзажей и происшествий чрезвычайно живописны; его персонажи драматичны; выражение его собственных настроений и чувств столь же субъективно, как и лирическая поэзия.

ГЛАВА VII.

С. СУЭТОНИЙ ТРАНКВИЛЛ - ЕГО БИОГРАФИЯ - ИСТОЧНИКИ ЕГО ИСТОРИИ - ЕГО ВЕЛИКАЯ ОШИБКА - Q. CURTIUS RUFUS ВРЕМЯ ЕГО РАСЦВЕТА СОМНИТЕЛЬНО - ЕГО БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА - ЭПИТОМЫ L. ANNÆUS FLORUS - ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ ОН ИХ ПОЧЕРПНУЛ.

C. Suetonius Tranquillus.

С. Суэтоний Транквилл^[1228] был сыном Суэтония Лениса, который служил в качестве *tribunus angusticlavus* тринадцатого легиона в битве при Бедриакуме, в которой император Оттон был разбит Вителлием. Время его рождения точно не известно, но из отрывка в конце "Жизни Нерона"^[1229] можно сделать вывод, что он родился очень скоро после смерти этого императора, которая произошла в 68 году н. э.; ведь в нем он упоминает, что, когда через двадцать лет после смерти Нерона появился ложный Нерон, он только вступал в зрелый возраст (*adolescens*). Знание языка и риторический вкус, проявившиеся в остатках его работ на эти темы, доказывают, что он был хорошо обучен этим отраслям римского либерального образования: а в письме младшего Плиния^[1230], чьим близким другом он был, о нем говорится как о защитнике по профессии. В этом письме он изображен как не желающий отстаивать дело, за которое взялся, потому что был напуган сном. Вероятно, этот анекдот подлинный, ведь в его мемуарах так много примеров суеверной веры в сны, приметы, призраки и чудеса.^[1231]

Привязанность, которую Плиний питал к своему другу, была очень велика и привела к тому, что он слишком высоко оценил его таланты писателя и историка. В одном случае он использовал свое влияние при дворе, чтобы получить для него трибунство, которое, однако, тот не принял.^[1232] В другом случае он добился для него от Траяна^[1233] "*jus trium liberorum*", хотя у него не было детей. Но эта привилегия, как и в случае с Марциалом, иногда предоставлялась при схожих обстоятельствах. В этом письме, которое он написал императору, он говорит о Суетонии как о человеке величайшей честности, порядочности и образованности и добавляет, что, по опыту долгого знакомства, чем больше он его знает, тем больше его любит.

Впоследствии Суэтоний стал личным секретарем (*Magister Epistolarum*) Адриана,^[1234] но был лишен этой должности. Поскольку единственными источниками информации о Суетонии являются его собственные произведения и несколько разрозненных упоминаний в письмах Плиния Секунда, о его жизни больше ничего не известно.

Каталог его многочисленных трудов приводится Суидасом:^[1235], но, за исключением "Жизни двенадцати царей", он не содержит его главных дошедших до нас произведений. Это заметки о знаменитых грамматиках и риториках, а также жизни поэтов Теренция, Горация, Персия, Лукана и Ювенала.

Нибур^[1236] полагает, что история или, скорее, биография Цезарей была написана Суетонием еще в молодости, до того, как он стал секретарем Адриана, и до публикации "Истории" Тацита. Если это так, то он не имел возможности ни ознакомиться с императорскими записями, которые ему дало бы его положение при дворе, ни воспользоваться точным руководством и глубокими размышлениями Тацита. Краузе,^[1237] с другой стороны, приводит множество параллелей между языком Тацита и Суетония; и поскольку Тацит опубликовал свой самый ранний исторический труд не ранее 117 г. н. э.,^[1238] предполагает, что Суетоний написал свои биографии только после воцарения Адриана.

Очень трудно определить, какая из этих теорий правильнее; но не может быть сомнений в том, что источники, из которых он черпал информацию, совершенно независимы от авторитета Тацита; и что "Жизни двенадцати царей" содержали бы все то, что мы в них находим, даже если бы "Анналы" и "Истории" никогда не были написаны. Он не только доверяет трудам римских историков, но и приводит точные цитаты из актов сената и народа, эдиктов, фастов и ораций, а также использует анналы и надписи, что доказывает, что он был человеком прилежным и самостоятельно изучал оригинальные документы.

Кроме того, будучи автором биографических мемуаров, а не регулярной истории, любителем анекдотов и скандалов, он в значительной степени пользовался частными письмами императоров и их приближенных, которые попадались ему на пути, завещательными документами и информацией, которую мог собрать в разговорах. Многие из написанных им жизней принадлежали его современникам. Некоторые из записанных событий происходили на глазах у публики и пользовались дурной славой. Сам он в трех местах^[1239] утверждает, что некоторые из описанных им событий он получил из показаний очевидцев. Более тайные привычки императоров, либо правдиво рассказанные, либо преувеличенные жадой скандала, выходили наружу. Анекдоты о частной жизни царствующего императора охотно выискиваются и становятся излюбленной темой для сплетен во всех кругах римского общества. Ему также не составит труда получить обширную информацию о тех императорах, которые правили до его рождения, от современников, которые были на поколение старше его самого и были зрителями или актерами многих сцен, которые он описывает. Как у биографа, нет причин сомневаться в его честности и правдивости; он трудолюбив и аккуратен; он не предается ни украшениям стиля, ни романтическим преувеличениям; картина, которую он рисует, ужасна, но она полностью поддерживается современными авторитетами Ювенала и Тацита. Тем не менее, его ум не имел того всеобъемлющего и философского характера, который мог бы его для расширенного взгляда на политические дела или для работы историка. У него нет определенного плана, сформированного в голове, без которого историк никогда не может надеяться сделать свою работу законченным целым; он бродит по своему усмотрению от одной темы к другой, как только идея захватывает его, и ни в коем случае не осторожен в совершении преступлений против хронологического порядка.

Нибур обвиняет его в непоследовательности в характере, который он рисует, и в похвалах, которые он воздает Веспасиану:^[1240], но добавляет то, что в некотором роде можно считать защитой, а именно, что Веспасиан был, говоря отрицательно, хорошим, честным и справедливым человеком, и что темная сторона его характера должна рассматриваться в связи с теми страшными временами, в которые он правил. В качестве примера своих

недостатков как историка он также упоминает плохие отзывы о своем времени, особенно об анархии, последовавшей за смертью Нерона и началом правления Веспасиана. Но в похвалу Суэтонию можно сказать, что он справедливо оценил свои силы, взявшись быть биографом, а не историком; и вряд ли справедливо сурово критиковать его непригодность к задаче, на которую он не претендовал.

Один большой недостаток загрязняет его страницы. Мрачные картины, которые он рисует о самых распутных императорах, отвратительные анналы их неслыханных преступлений, описываются так, как будто он получал удовольствие от их описания и любил погрязнуть в трясине самого грязного разврата. Истина, возможно, требовала, чтобы их не обходили молчанием, а лишь слегка касались, но не расписывали в деталях с отвратительной достоверностью. Он часто бывает краток, иногда неясен: в таких отрывках его повествования мы с радостью приветствовали бы и краткость, и неясность.

Q. Курций Руф.

Сомнения, которые всегда возникали относительно времени расцвета биографа Александра Македонского и которые никакие исследования не смогли рассеять, не позволяют пройти мимо него незамеченным, хотя он, возможно, принадлежит к эпохе, выходящей за хронологические рамки этой работы. Чистота его стиля, по мнению некоторых критиков, дает ему право на место среди писателей серебряного века; в то время как Нибур, судя по внутренним свидетельствам, считает, что он должен был жить не позднее правления Каракаллы или Септимия Севера.

Однако ни один веский аргумент не может быть основан на его стиле, поскольку он явно искусственный: он действительно заражен любовью к декламационным украшениям; иногда он больше похож на поэзию, чем на прозу; он изобилует метафорами, и поэтому доказывает, что он жил в риторический век; но в целом это подражание латинству Ливия. Этот риторический характер его стиля придает некоторую ценность мнению Ф. А. Вольфа, что он был тем самым К. Курцием Руфом, о котором упоминает Суэтоний в своем трактате "О выдающихся ораторах". Если это так, то он, вероятно, был его современником.

Что касается внутренних свидетельств, то были упомянуты два отрывка, содержащие ссылки на его время. (1.) *Multis ergo casibus defuncta (sc. Tyrus,) nunc tamen longa pace cuncta refovente, sub tutela Romanæ mansuetudinis acquiescit.*^[1241] (2.) *Proinde jure meritoque P. R. salutem se principi suo debere proficitur, qui noctis, quam pæne supremam habuimus, novum sidus illuxit, hujus hercule, non solis ortus, lucem caliganti reddidit mundo, cum sine suo capite discordia membra trepidarent.*^[1242] Первая считается описательной для многих периодов римской истории: хотя Нибур^[1243] безоговорочно утверждает, что она не имеет смысла, если только не относится к временам Септимия Севера и Каракаллы. Последнее утверждение столь же неопределенно: Нибур считает, что речь может идти об Аврелиане: Гиббон полагает, что речь идет о Гордиане. Но к скольким императорам дух хвалебной лести мог бы его применить! В целом, наиболее вероятно, что он жил в конце I века.

Биография Александра глубоко интересна, ибо, хотя Курций явно пренебрегает исторической реальностью, его герой всегда кажется живым существом: это скорее роман, чем история. Он никогда не упускает возможности с помощью прикрас, которые он придает историческим фактам, возвысить македонского завоевателя до уровня сверхчеловека. Он не склонен взвешивать достоинства противоречивых исторических свидетельств: он выбирает то, что поддерживает его пристрастия; его талант рассказчика не проверяется глубоким знанием ни тактики, ни географии, ни других объективных исторических материалов, для исправления деталей, которыми он слишком часто пренебрегает.^[1244] Его пышный и

витиеватый стиль подходит для воображаемых ораций, которые введены в повествование и составляют наиболее яркие части работы. Источники, из которых он черпал информацию, разнообразны, главным из них является рассказ о подвигах Александра, написанный греческим историком Клитархом, который сопровождал македонского завоевателя в его азиатской экспедиции. Однако он отнюдь не является его подневольным последователем, поскольку в одном случае не колеблясь обвиняет его в неточности. Тем не менее, они были родственными душами: оба пожертвовали бы правдой ради романтического интереса; оба предавались одной и той же склонности к рассказыванию историй. Первоначально его труд состоял из десяти книг. Две из них утеряны, и их место заняли, в очень слабой манере, Целлариус и Фрейнсхайм. Даже в восьми сохранившихся книгах время от времени возникает перерыв большей или меньшей протяженности.

L. Annæus Florus.

Как ни кратки эпитомы, носящие имя Л. Аннея Флора, их стиль характеризуется риторическим духом эпохи, к которой они принадлежат. Они пространны и декламационны, а их автор - скорее панегирист своих соотечественников, чем серьезный и трезвый рассказчик о важнейших событиях, содержащихся в их истории. Это краткое изложение, озаглавленное "Rerum Romanarum, Libri IV.", или "Epitome de Gestis Romanorum", представляет собой хорошо организованную компиляцию из сохранившихся источников; но вполне вероятно, что, как и все другие римские историки, за исключением Веллея Патеркула, он черпал свои материалы главным образом из Ливия. Такой сухой скелет истории, однако, должен быть неинтересным. Кто был его автором, точно не известно. Некоторые предполагают, что он был одним и тем же с Аннеем Флором, который написал три трохаических стиха Адриану. Титце^[1245] считает, что это работа двух авторов, один из которых современник Горация,^[1246] другой принадлежит к более позднему литературному периоду.

Принято считать, что автор^[1247] "Эпитомы" был либо испанцем, либо галлом; и, если считать введение к произведению подлинным, он жил в царствование Траяна.

ГЛАВА VIII.

М. АННЕЙ СЕНЕКА - ЕГО СПОРЫ И SUASORIÆ - Л. АННЕЙ СЕНЕКА - НАСТАВНИК НЕРОНА - ЕГО ОГРОМНОЕ СОСТОЯНИЕ - ЕГО СМЕРТЬ И ХАРАКТЕР - НЕСООТВЕТСТВИЯ В ЕГО ФИЛОСОФИИ - ЛЮБИМЕЦ РАННЕХРИСТИАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ - ЕГО ПОСЛАНИЯ - РАБОТЫ О ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ - АПОКОЛОЦИТОЗ - ЕГО СТИЛЬ.

М. Анней Сенека.

Семья Сенеки оказала заметное влияние на литературу; можно сказать, что они задали тон вкусу своей эпохи.

М. Анней Сенека родился в Кордубе (Кордова). Точная дата его рождения неизвестна, но Клинтон относит ее к 61 году до нашей эры. Это не кажется невероятным, поскольку он утверждает^[1248], что слышал всех выдающихся ораторов, кроме Цицерона, и что он мог бы воспользоваться этой привилегией, если бы гражданские войны не заставили его остаться в родной стране. После того как это препятствие было устранено воцарением Августа, он приехал в Рим и, будучи профессиональным ритором, сколотил значительное состояние. Впоследствии он вернулся в Кордову и женился на Гельвии, от которой у него было трое сыновей, из которых старшим был философ Л. Анней Сенека.

Он оставил после себя два произведения, над созданием которых трудился до глубокой старости. Это результаты его долгого и успешного опыта в качестве учителя риторики, находки из его записной книжки, запасы, накопленные его удивительной памятью, которая позволяла ему повторять две тысячи несвязанных слов, услышав их однажды, и дословно передавать любые ораторские речи, которые он слышал. Они ценны тем, что показывают, как полая и искусственная система, основанная на запоминании прописных истин и общих мест, вытеснила естественные побуждения истинного красноречия. Они объясняют принципы и практику обучения в популярных школах риторики, средства, с помощью которых можно было компенсировать отсутствие природных способностей. Они демонстрируют остроумие, образованность, изобретательность и вкус, чтобы отбирать и восхищаться лучшими литературными образцами более ранних периодов; но очевидно, что теперь материя была подчинена форме - оратор довольствовался заимствованием фразеологии своих предшественников, чтобы облечь в нее чувства, которые он не мог ни чувствовать, ни понимать. Ухо все еще жаждало языка искренности, хотя сердце уже не пульсировало патриотическим пылом. Именно это несоответствие мыслей словам и является причиной холодности декламационного и витиеватого стиля. Это простое изображение тепла: оно разочаровывает, как нарисованный огонь.

Первое произведение М. Сенеки называлось "Спор" (*Controversiæ*): оно состояло из десяти книг, из которых, за исключением фрагментов, сохранились только первая, вторая, седьмая, восьмая и десятая. Она содержит ряд упражнений или деклараций в судебном ораторском искусстве по вымышленным делам. Вымышленные причины, вероятно, были набросаны профессором. Студенты составляли свои речи в соответствии с правилами риторики: затем их исправляли, записывали на память и декламировали, отчасти с целью практики, отчасти для развлечения восхищенной аудитории. Случаи часто столь же смешны, как и темы школьника, а иногда экстравагантны и абсурдны.

Другая его работа, *Suasoriæ*, содержит упражнения в совещательном ораторском искусстве. Темы для них взяты у историков и поэтов: они настолько безобидны, насколько может пожелать тирания: нет никакой опасности, что вялый патриотизм возродится или империя окажется под угрозой из-за таких неинтересных дискуссий. Не ограничивались ими и простые студенты. Публичные декламации еще со времен Ювенала были одной из главных неприятностей времени. Поэты начинали их, риторы следовали за ними, и самый нелепый мусор выслушивался с терпением, будучи вброшенным в народ пристрастными льстецами или наемными клакерами.

L. Annæus Seneca.

L. Сенека родился в родном городе своего отца около начала христианской эры. Совсем юным его привезли в Рим, где он изучал риторику и философию. Вскоре он проявил большие таланты в качестве адвоката и своими успехами, как говорят, вызвал ревность Калигулы. В правление Клавдия печально известная Мессалина обвинила его в неподобающей близости с Юлией, племянницей императора, и, соответственно, сослала на Корсику.^[1249] Он утешал свое изгнание изучением стоической философии; и хотя ее суровые предписания не оказывали никакого морального влияния на его поведение, он не только исповедовал себя стоиком, но и искренне воображал, что он им является. Через восемь лет после этого Агриппина отозвала его^[1250], чтобы сделать его воспитателем своего сына Нерона.

Его воспитанник был порочен от природы, а Сенека, хотя и был мудрым и благоразумным, оказался слишком беспринципным человеком, чтобы пытаться исправить его склонности

или привить ему высокие принципы. После воцарения Нерона^[1251] Сенека попытался остановить его развратную карьеру, но было уже слишком поздно: все, что он мог сделать, - это вложить в его уста умозрительные слова о милосердии и милости. Он видел, как опасно беспринципное честолюбие Агриппины; и хотя было ужасно санкционировать отцеубийство, едва ли можно было найти другой выход, кроме как согласиться на ее смерть. Когда дело было сделано, ему хватило жалкой подлости прикрыть убийцу ложью. Он написал письмо, которое Нерон отправил в сенат, обвиняя свою мать в измене и утверждая, что она покончила с собой.^[1252]

Ростовщичеством и охотой за наследством Сенека сколотил одно из тех огромных состояний, о которых так много примеров в римской истории. Это уже подвергало его зависти,^[1253] и стало причиной его временного изгнания на Балеарские острова.^[1254] Но после смерти Бурра, имевшего влияние на императора, он почувствовал опасность богатства и предложил свое имущество Нерону.^[1255] Император отказался, а Сенека отошел от общественной жизни. Находясь теперь под влиянием новых фаворитов, Нерон хотел избавиться от Сенеки; и хотя не было никаких доказательств его причастности к заговору Пизона, это послужило предлогом для его уничтожения.^[1256] В невзгодах его характер засиял ярче. Хотя он жил плохо, он мог умереть хорошо. Его стойкость была результатом не стоического равнодушия, а римского мужества. Он встретил вестников смерти без трепета. Его благородная жена Пауллина решила умереть вместе с ним. Вены обоих были вскрыты одновременно. Та малая толика крови, которая оставалась в его истощенном и изможденном теле, отказывалась течь: он страдал от мучительной агонии: прикладывали теплую ванну, но безрезультатно; не помогла и порция яда. Наконец он задохнулся паром из печки и скончался.^[1257]

Сенека жил в опасной атмосфере. Философия, в которую он верил, была пустой, и, будучи неприспособленным к придворной жизни,^[1258] считал целесообразным позволять себе некоторые послабления в ее суровости. Его риторический вкус заставлял его преувеличивать даже свои собственные реальные убеждения, и оттого несоответствие его жизни выглядело еще более вопиющим. Он не был неискренним, но у него не было твердости, чтобы действовать в соответствии с высоким моральным стандартом, который он сам себе предложил. В своих письмах и трактате "De Consolatione", адресованном Полибию, он даже осуждает себя за этот недостаток. Ему приходилось решать сложные вопросы, и у него не хватало моральных принципов, чтобы вести его правильным путем. Он был скуп, но это был великий грех его времени. Тацит не слеп к его слабостям;^[1259] но он оценивает его характер с большей откровенностью и справедливостью, чем Дио.^[1260] Он не является ни панегиристом, ни обвинителем. Воспитание того, кто был скорее скотиной, чем человеком, было задачей, с которой никто бы не справился. Поэтому он сохранил влияние, которым не имел права распоряжаться с помощью жалких и греховных приемов. Он обладал большими способностями и некоторыми благородными качествами древних римлян. Если бы он жил во времена Республики, он был бы великим человеком.

Сенека был автором двенадцати этических трактатов, лучшие из которых называются "О провидении", "О Констанции" и "Об утешении". Последний был адресован его матери Гельвии и написан во время его изгнания на Корсике. В трактате "О провидении" он обсуждает вопрос о том, почему, поскольку существует Божественное провидение, хорошие люди подвержены несчастьям. Хотя эта трудность объясняется доктриной, что средство "самоубийства" всегда находится в силах человека, он утверждает вездесущность Божества и существование морального управляющего вселенной.

Как бы ни были велики противоречия в его этической философии (да и не могло быть иначе, ведь его жизнь всегда шла вразрез с его нравственным чувством добра и зла), в целом его взгляды ясны и практичны. В этом он был истинным римлянином; его мало заботили абстрактные рассуждения; он не ценил, кроме как в качестве вспомогательных средств, ни умственную, ни натурфилософию. Он любил скорее прививать наставления, чем исследовать принципы. Именно по этой причине его работы в целом неудовлетворительны, хотя и представляют собой богатую шахту для цитат. Недостаток, пронизывающий всю римскую философию, в преувеличенном виде присутствует в его работах: они представляют собой этические сборники дидактических наставлений; но в них нет системы, нет развития новых истин. Его образование научило его тому, что общие принципы являются основой морали, а казуистика - это применение этих принципов;^[1261] но римляне по природе своей были склонны быть казуистами, а не моралистами, и в этом предпочтении Сенека пошел дальше всех своих соотечественников. Он пишет как учитель молодежи, а не как философ; он прививает без доказательств максимы и наставления и внушает их повторением, как если бы они рекомендовали себя по своей внутренней правдивости для совести его слушателей.

Сенека всегда был любим христианскими писателями; на самом деле он является лучшим наставником для других, чем он сам. Некоторые из его настроений являются истинно христианскими; существует даже предание, что он был знаком со святым Павлом, и четырнадцать писем к этому апостолу были, хотя и без оснований, приписаны ему. Однако, возможно, он неосознанно усвоил некоторые принципы христианства. Евангелие уже совершало большие и быстрые шаги по цивилизованному миру, и вдумчивые умы могли быть просвещены некоторыми лучами божественной истины, рассеянными через моральную атмосферу, подобно тому, как нам помогает свет солнца, даже когда его диск заслонен облаками.

Его Послания, которых насчитывается сто двадцать четыре, представляют собой нравственные эссе в эпистолярной форме и являются самыми восхитительными из его работ. Хотя они адресованы ученику по имени Луцилий, они явно написаны для всеобщего обозрения: в них много разнообразных мыслей, а размышления текут естественно и без усилий. Письма были, пожалуй, самым подходящим средством для его назидательной философии, потому что такой неторопливый стиль лучше всего подходит для передачи отдельных и несвязанных между собой сентенций. Они содержат свободную и ничем не ограниченную картину его ума. В них мы видим, как он презирал словесные тонкости,^[1262] внешние значки секты или вероисповедания, и настаивал на том, что великая цель науки - научиться жить и умереть.

В старости он написал семь книг по вопросам, связанным с природными явлениями (*Quæstionum Naturalium, Libri vii.*) Почему он это сделал, сказать невозможно, ведь он так часто выступал против полезности физических исследований.^[1263] Декламационные похвалы, которыми он одаривает их в этой работе, заставили бы нас предположить, что это было простое упражнение для развлечения и отдыха. Но в этом случае он не так непоследователен, как можно было бы предположить, - он относится к предмету как моралист и делает его поводом для этических размышлений.^[1264]

Однажды он предался игривости сатиры. Он написал пышную погребальную ораторию по Клавдию, которую Нерон произнес под смех и издевательства; но за эту презренную лесть он потом компенсировал, сочинив, в качестве пародии на апофеоз глупого императора, "Апоколоцинтоз", или его метаморфозу в тыкву. Каламбур был достаточно хорош, но исполнение его было жалким.

В стиле Сенеки мы видим результат того ложного декламаторского вкуса, образцами которого являются произведения его отца. Мысль была подчинена выражению. Мастера риторики были все поголовно. Его стиль слишком сложен, чтобы нравиться; он, как правило, аффектирован, часто пестрый и напыщенный: он, кажется, всегда стремится произвести поразительный эффект либо с помощью антитезы, либо с помощью орнамента; конечно, он не достигает своей цели, поскольку в нем нет света и тени. Слишком много блеска и сияния, слишком мало спокойствия и простоты.

ГЛАВА IX.

ПЛИНИЙ СТАРШИЙ - ЕГО ПРИВЫЧКИ, ОПИСАННЫЕ ЕГО ПЛЕМЯННИКОМ - ЕГО ТРУДОЛЮБИЕ И ПРИЛЕЖАНИЕ - ЕГО СМЕРТЬ ПРИ ИЗВЕРЖЕНИИ ВЕЗУВИЯ - ИЗВЕРЖЕНИЕ, ОПИСАННОЕ В ДВУХ ПИСЬМАХ ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО - ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ПЛИНИЯ - ОПИСАНИЕ ЕЕ ПРЕДМЕТОВ - ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ - ЕГО ПРИВЯЗАННОСТЬ К СВОЕМУ ОПЕКУНУ - ЕГО ПАНЕГИРИК, ПИСЬМА И ДЕПЕШИ - ЧТО КАСАЕТСЯ ХРИСТИАН - ОТВЕТ.

С. Плиний Секунд.

Плиний Старший родился 23 г. н. э. либо в Вероне^[1265], либо в Ново-Комуме^[1266] (Комо). Поскольку он владел поместьями в последнем городе, а его племянник, младший Плиний, которого он усыновил, несомненно, родился там, то, скорее всего, это была семейная резиденция и место рождения старшего Плиния. Он получил образование в Риме; служа Клавдию в Германии, он использовал возможности, которые давала ему эта кампания, для путешествий. После этого он вернулся в Рим и занялся адвокатской практикой; занимал различные гражданские должности, в том числе авгура, а впоследствии был назначен прокуратором Испании.^[1267]

Некоторые интересные сведения о его жизни и привычках содержатся в письме младшего Плиния к его другу Мацеру,^[1268] иллюстрирующем его занятия, нрав, жажду знаний и строгую экономию времени. Письмо ценно и по другой причине - в нем приводится каталог всех трудов его дяди. "Мне очень приятно, - пишет он, - что вы так постоянно и прилежно читаете труды моего дяди, что желаете обладать ими всеми и просите у меня их список. Поэтому я выполняю обязанность указателя, а также расскажу вам, в каком порядке они были написаны". Затем он добавляет следующие заголовки: (1.) "Искусство использования копья на лошади"; написано, когда он был командующим кавалерией в Германии. (2.) Жизнь его друга Помпония Секунда. (3.) История всех войн, числом двадцать, которые римляне вели с германцами. Она была начата во время германского похода, повинувшись внушениям сна: "Во время сна ему явилась тень Друза; она предала его память своему попечению и просила спасти ее от незаслуженного забвения". В соответствии со своим суеверным и доверчивым нравом, он послушался призыва своего сверхъестественного посетителя. (4.) Трактат о красноречии, озаглавленный "Студиозус", в трех книгах, но разделенный, ввиду своей длины, на шесть томов. В нем он прослеживает воспитание оратора с самой колыбели. (5.) Восемь книг о грамматической двусмысленности, которые он написал во время правления Нерона, когда императорская тирания делала слишком опасными исследования более свободного характера. (6.) Тридцать книг в продолжение Истории Ауфидия Басса, посвященных императору Титу.^[1269] (7.) Тридцать семь книг по естественной истории - труд, не только, как описывает его Плиний Младший, полный разнообразия, как сама природа, но, как будет показано далее, сокровищница искусств, так же как и природных объектов.

"Вы удивитесь, - продолжает он, - как человек, занятый официальными делами, мог заполнить столько томов, содержащих столь подробную информацию. Вы еще больше удивитесь, узнав, что он иногда занимался адвокатской практикой; что он умер на пятьдесят шестом году жизни; и что промежуточное время было отвлечено и прервано дружбой принцев и важнейшими государственными делами. Но он был человеком энергичного ума, невероятного прилежания и неутомимой деятельности. Сразу после праздника Вулканалий (23 августа) он приступал к занятиям глубокой ночью; зимой - в час ночи, самое позднее - в два, часто - в полночь. Никто никогда не спал так мало - иногда он выхватывал короткий промежуток сна в разгар своих занятий. Перед рассветом он ждал императора, ведь ночь он также использовал для ведения дел. Затем он приступал к исполнению своих служебных обязанностей, а все оставшееся время посвящал учебе.

"После легкого и экономного обеда, который, по старой моде, он принимал днем, летом, если у него было свободное время, он откидывался на солнце, пока ему читали книгу, из которой он делал заметки и выписки. На самом деле он никогда не читал ни одной книги, не делая из нее выписок; он говорил, что ни одна книга не бывает настолько плохой, чтобы из нее можно было извлечь какую-то пользу. После захода солнца он обычно принимал холодную ванну, затем слегка подкрепился и после этого спал очень недолго. Проснувшись, он, как будто это был новый день, занимался до ужина, во время которого читал книгу, на которой делал пометки по ходу чтения. Помню, как один из его друзей прервал чтение, потому что тот неправильно произнес слово, и заставил его повторить его; тогда мой дядя спросил: "Ты понял его?", и когда тот ответил утвердительно, он продолжил: "Зачем ты прервал его? Мы потеряли больше десяти строк" - так бережливо он относился к своему времени. Летом он вставал из-за стола днем, зимой - в сумерках, и этот обычай был для него законом.

"Таковы были его привычки среди трудов и суеты городской жизни. В деревенском уединении ванна была единственным перерывом в его занятиях. Но только сама ванна, потому что, пока он натирался и вытирался насухо, он либо диктовал amanuensis, либо ему читали книгу. В путешествиях, поскольку тогда он был освобожден от всех других забот, учеба была единственным занятием его досуга. При нем находился писец с книгами и планшетами, который зимой надевал перчатки, чтобы занятия его господина не прерывались из-за сильного холода. По той же причине, когда он был в Риме, он всегда пользовался седаном. Помню, однажды он укорил меня за то, что я хожу пешком: "Ты мог бы, - сказал он, - не тратить столько времени". Он считал, что все время, которое не посвящено учебе, потеряно. Таким напряженным трудом он закончил столько томов и завещал мне, кроме того, сто шестьдесят свитков комментариев, написанных самым мелким почерком и с обеих сторон. Он рассказывал, что когда он был прокуратором в Испании, Лартий Лициний предложил ему за часть из них 400 000 сестерций (около 3200 л.). Я не могу удержаться от смеха, когда люди называют меня ученым, ибо по сравнению с ним я самый праздный человек на свете".

Плиний погиб мучеником за дело науки во время страшного извержения Везувия, которое произошло в первый год правления Тита.^[1270] Если бы он был таким же пылким оригинальным наблюдателем во всех других отношениях, а не просто прилежным учеником, собирателем и переписчиком чужих наблюдений, его труды были бы менее объемными, но более ценными. Извержение, во время которого он погиб, было первым, о котором сохранились какие-либо сведения в истории. Вероятно, до него не происходило ничего подобного, и лава никогда прежде не опустошала улыбающиеся склоны и зеленые виноградники, которые описал Марциал.^[1271] Обстоятельства его смерти так описывает его племянник^[1272] в двух письмах к Тациту: "Он был в Мизенуме, командуя флотом. 24 августа, около часа дня, моя мать указала

ему на облако необычного размера и вида. Он понежился на солнышке, искупался, подкрепился и теперь занимался. Он сразу же попросил свои туфли и поднялся на возвышенность, с которой лучше всего было видно это явление. Расстояние было слишком велико, чтобы точно определить, с какой горы поднялось облако, но впоследствии выяснилось, что это Везувий. По форме оно больше всего напоминало сосну. Оно поднималось в воздух в виде высокого ствола, а затем рассеивалось, как раскидистые ветви. Причиной этого я считаю то, что сначала он был поднят вверх свежим потоком воздуха, который по мере его старения и ослабления не мог его поддерживать, или, возможно, его собственная гравитация заставила его исчезнуть в горизонтальном направлении. Иногда он был белым, иногда твердым и пятнистым, в зависимости от количества земли и пепла, которые он выбрасывал вверх.

"Это явление показалось ему, как человеку образованному, заслуживающим более тщательного изучения. Он приказал снарядить легкую галеру и разрешил мне сопровождать его. Я ответил, что предпочитаю учиться, и, как оказалось, он сам дал мне кое-что написать. Как раз когда он выходил из дома с блокнотом в руках, войска, расквартированные в Ретине, деревне у подножия горы, откуда можно было выбраться только морем, встревоженные неминуемой опасностью, в которой они находились, прислали к нему с просьбой спасти их. Несмотря на это обстоятельство, его решимость осталась неизменной, а задачу, к которой он приступил с усердием, он выполнил с величайшей решимостью.

"Он спустил на воду несколько квадрирем и высадился на них, чтобы помочь не только Ретину, но и другим, ибо красота побережья привлекала большое количество людей. Он поспешил туда, откуда летели другие, и взял прямой курс к опасной точке, так бесстрашно, что наблюдал все фазы и формы этого печального бедствия и диктовал свои замечания о них своему секретарю. Вскоре на палубу посыпался пепел, и чем ближе он приближался, тем горячее и гуще он становился. Вместе с ними лежали обгоревшие и почерневшие пемзовые камни, расколотые огнем. Внезапный прилив моря и осколки вулкана, покрывавшие берег, стали препятствием для его продвижения, и он некоторое время колебался, не вернуться ли ему обратно. В конце концов, когда его наставник порекомендовал ему сделать это, он воскликнул: "Фортуна благоволит храбрым - направляйтесь на виллу Помпониана".

"Она находилась в Стабии и была отделена от побережья у Везувия заливом, образованным морем. Его друг, хотя опасность еще не была неминуемой, но, поскольку она была в пределах видимости и была бы очень близка, если бы усилилась, положил свой багаж на корабль и решил бежать, если ветер, который тогда был встречным, утихнет. Попутный ветер донес моего дядю до берега. Он обнял своего дрожащего друга, утешил и ободрил его. Чтобы успокоить его страхи и показать свою беспечность, он заставил отнести себя в баню: после купания он сел ужинать с бодростью или, что почти одно и то же, с ее видом. Между тем из многих мест вулкана вырывалось широкое пламя: оно отражалось от неба, а блеск и яркость усиливались темнотой ночи. Чтобы успокоить тревогу Помпониана, он попытался убедить его, что увиденное им - всего лишь горящие деревни, которые в страхе покинули жители. Затем он лег отдохнуть и крепко заснул; его храп, который из-за широкой груди был глубоким и звонким, был слышен тем, кто наблюдал за дверью.

"Вскоре двор, через который можно было попасть в его апартаменты, настолько завалило гарью и пемзой, что дальнейшее промедление сделало бы побег невозможным. Его разбудили, и он отправился к Помпониану и остальным, которые не спали всю ночь. Они посоветовались, оставаться ли им в доме или отправиться в открытое поле. Ведь от постоянных толчков землетрясения дома раскачивались и, казалось, сходили с фундамента, а в воздухе падала полусгоревшая пемза, хотя и легкая, но угрожающая опасностью.

Сопоставив эти две опасности, он выбрал последний путь: для него это было сравнение причин, для других - страхов. Они повязали на головы подушки с полотенцами, чтобы защитить их от падающих камней. Хотя в других местах уже наступил день, здесь тьма была гуще самой темной ночи, нарушаемая лишь факелами и всевозможными фонарями. Затем они вышли на берег, чтобы посмотреть, достаточно ли спокойно море, чтобы рискнуть выйти на него, но оно по-прежнему оставалось бурной водой. Тогда он расстелил льняную одежду и лег на нее, попросил два или три глотка холодной воды, после чего пламя и тот сернистый запах, который является их предвестником, обратили в бегство его спутников и разбудили его.

Он поднялся с помощью двух рабов и тут же упал замертво, задохнувшись, как я полагаю, густым паром и нарушив функции своего желудка, который от природы был слаб и подвержен препятствиям и затруднениям в пищеварении". Утром третьего дня после смерти его тело было найдено целым, невредимым и в той одежде, в которой он умер: его вид был скорее похож на сон, чем на смерть".

Плиний Младший остался с матерью в Мизенуме; в другом письме он рассказывает о том, как выглядело извержение в этом месте:^[1273] -.

"После отъезда дяди я провел некоторое время за учебой (ведь именно с этой целью я и остался), затем искупался, поужинал, и у меня был прерывистый и беспокойный сон. За много дней до этого ощущались толчки землетрясения, но они вызывали меньшую тревогу, поскольку были обычными в Кампании; но в эту ночь они были настолько сильными, что казалось, они не только потрясут, но и опрокинут все. Моя мать ворвалась в мою спальню - я как раз встал, чтобы разбудить ее, если она еще спит. Мы сели на площадке, отделявшей дом от моря. Не знаю, назвать ли это смелостью или безрассудством, ведь мне было всего восемнадцать лет. Я попросил томик Ливия и начал неторопливо читать его, делая выписки.

Вошел друг моего дяди, недавно приехавший из Испании, и, увидев, что мы сидим вместе, а я читаю, упрекнул его в терпении и моей "неумеренности". Но я не стал от этого менее поглощенным своей книгой. Было уже семь часов, и рассвет разгорался тускло и вяло. Окружающие здания шатались, а пространство, в котором мы находились, было ограничено, и были все основания опасаться их падения. Тогда мы решили покинуть город. Население в тревоге последовало за нами.

"Оказавшись на достаточном расстоянии от зданий, мы остановились и стали свидетелями многих удивительных и тревожных явлений. Повозки, которые мы приказали вывести, хотя земля была очень ровной, катились в разные стороны, и даже камни, подложенные под колеса, не могли их остановить. Море вздымалось и, казалось, отталкивалось от землетрясения. Берег, несомненно, продвинулся вперед и задержал на суше многих морских животных. На другой стороне неба висела темная и страшная туча, рассекаемая трепещущими линиями огненного пара, в длинных вспышках, напоминающих молнии, но более крупных. Тогда наш друг из Испании воскликнул с горячностью: "Если ваш родственник жив, он, несомненно, желает вашей безопасности; если он погиб, он хотел, чтобы вы пережили его. Почему же вы медлите с побегом? Мы ответили: "Мы не будем думать о своей безопасности, пока не уверены в его безопасности". Не медля больше, он поспешил прочь и вскоре оказался вне пределов опасности. Вскоре туча опустилась на землю и нависла над морем; она окутала Капрею и скрыла от наших глаз мыс Мизенум. Моя мать просила, умоляла, нет, приказывала мне во что бы то ни стало бежать; она чувствовала, что, отягощенная годами и немощью, умрет довольной, если не станет причиной моей смерти. Я же упорно твердил, что буду искать спасения только у нее. Я взял ее за руку и заставил идти

вперед. Она повиновалась неохотно и винила себя в том, что задержала меня. Пепел начал падать, хотя пока и в небольшом количестве. Я оглянулся: позади нас была густая тьма, которая, словно поток, стелилась по земле. Давайте свернем с дороги, - сказал я, - пока мы можем видеть, боясь, что в темноте нас повалит и затопчет ногами толпа". Мы едва успели [подумать об этом] [сесть], как нас окутала тьма, не такая, как в безлунную ночь, не такая, как в облаках, а такая, как в комнате, где потушен свет. Тогда раздались крики женщин, плач младенцев, вопли мужчин; одни звали своих родителей, другие - детей, третьи - жен, которых они узнавали только по голосам. Одни оплакивали свое несчастье, другие - несчастье своей семьи; некоторые даже от страха смерти молили о смерти. Многие возносили руки к богам; еще больше верили, что богов нет и что над миром нависла последняя вечная ночь. Не обошлось и без тех, кто усиливал реальную опасность выдуманными и мнимыми страхами; некоторые принесли весть о том, что пожар в Мизенуме: ложные сведения были приняты на веру. Постепенно свет вернулся, но нам показалось, что это не возвращение дня, а признак приближения пожара. Однако его продвижение было задержано на некотором расстоянии: снова наступила темнота, сменившаяся дождями пепла. Время от времени мы вставали и стряхивали его с себя, иначе мы были бы завалены и раздавлены его тяжестью. Я мог бы похвастаться тем, что ни один стон или нечеловеческое выражение не вырвалось у меня среди моих опасностей, если бы не то, что моя стойкость была основана на утешительной вере в то, что все человечество вместе со мной было вовлечено в одну общую гибель. В конце концов тьма рассеялась и рассеялась, как дым или туман. На смену дневному свету пришел настоящий; даже солнце засияло, но неярким светом, как при затмении. Все, что встречало наш изумленный взгляд, изменилось: пепел покрывал землю, как глубокий снег. Мы вернулись в Мизенум, освежились и провели тревожную ночь в чередовании надежд и опасений: последние, однако, преобладали. Землетрясение все еще продолжалось, и многие, находясь в состоянии безумия, высмеивали свои собственные несчастья и несчастья своих соседей страшными пророчествами". Приведенные выше письма, хотя и длинные, были процитированы потому, что они наиболее интересно описывают обстоятельства смерти старшего Плиния и в то же время иллюстрируют простую и графическую силу пера племянника.

Натурфилософия Плиния - это, по меньшей мере, непревзойденный памятник усердию и настойчивости. Она состоит из тридцати семи книг и содержит, по его собственному утверждению,^[1274] 20 000 фактов (как он их считал), связанных с природой и искусством: результат не оригинальных исследований, а, как он честно признался, почерпнутых из трудов других людей. Следует, однако, признать, что путаница в изложении отчасти объясняется неопределенным состоянием науки и, как следствие, смешением отдельных и самостоятельных отраслей.^[1275]

Вследствие обширности и разнообразия своего чтения, своей доверчивой любви к чудесному и недостаточной рассудительности при сравнении и отборе он не дает нам правильного представления о степени истины, которой достигла наука в его эпоху. Он не показывает, как одна эпоха исправляла ошибки предыдущей, а воспроизводит ошибки, явно устаревшие и не соответствующие фактам и теориям, которые выросли впоследствии и заменили их.

Для него мифологические предания, похоже, имеют почти такой же авторитет, как и современные открытия. Земля кишит чудовищами, но не чудесами, не исключениями из обычного порядка природы, а образцами ее изобретательности. В своей теории мироздания он исходит из таких причин и принципов, которые заставляют его без сомнений признать существование чудес, какими бы невозможными они ни были. Они удивительны, потому что

необычны; но это следствия, которые могут быть результатом естественных причин, которые, по его мнению, действуют. Его теория о том, что природа действует не только по обычным законам, но часто и по фактическим помехам (ибо таков был характер его пантеизма, ii. 5, 7,)- его вера в то, что различные зародыши сотворенных вещей были рассеяны в изобилии по всей Вселенной и случайно смешавшись в беспорядке породили чудовищные формы, (3)- подготовила его к тому, чтобы не считать ничего невероятным (xi. 3;), а его нрав склонял его идти дальше и признавать почти все, что было правдоподобным, как истинное.^[1276]

Как бы ни был недостаточен этот труд с точки зрения научной ценности и философского изложения, автор, очевидно, хотел придать ему характер практической пользы. Это энциклопедия знаний, которые могут быть собраны вместе из различных источников; а для такой работы есть два важных требования - удобство ссылок и цитирование авторитетов. С этой целью весь труд предваряется кратким содержанием, а к каждой книге добавляется оглавление с указанием авторов, которым он обязан.

Работа начинается с теории Вселенной;^[1277] история и наука астрономии; метеорологические явления; геологические изменения, произошедшие на Земле под действием вулканов и воды. География, как физическая, так и политическая, занимает четыре следующие книги.^[1278] Здесь истина и заблуждение смешиваются в ужасающей путанице. Сведения, основанные исключительно на традициях далекой древности, приводятся бок о бок с результатами современных исследований, и при этом не проводится никакого различия в отношении подлинности; и вследствие смешения таких разных сведений измерения и расстояния, как правило, оказываются неверными.

Но в зоологическом разделе работы, который следует далее,^[1279] он дает волю своему легковерию и любви к чудесному. Он рассказывает о людях, чьи ноги были повернуты назад; о других, чьи ноги были настолько велики, что затеняли их, когда они лежали на солнце. Он описывает существ, в которых оба пола были соединены; других, в которых произошла смена пола; третьих без рта, которые питались ароматом фруктов и цветов.^[1280] Таковы некоторые из описанных им чудес человеческой расы. Среди низших животных он перечисляет рогатых лошадей, снабженных крыльями;^[1281] мантихору, с лицом человека, тремя рядами зубов, телом льва и хвостом скорпиона;^[1282] единорог с головой оленя, телом лошади, ногами слона и хвостом кабана;^[1283] василиск, сам взгляд которого смертелен. Моря населены не только морскими козлами и морскими слонами, но и настоящими nereids и тритонами.^[1284] Мыши, согласно его рассказу, производят на свет свое потомство, облизывая друг друга; а огонь порождает насекомое (pyralis), которое не может жить иначе, как в гуще пламени.

Шестнадцать книг^[1285] посвящены ботанике, как общей, так и медицинской; далее рассматриваются лекарственные свойства человеческого тела и других животных веществ, а также различных вод.^[1286] Завершает труд рассказ о минералах и металлах; эта часть включает в себя описание их различных применений в изобразительном искусстве, перемежающееся с интересными анекдотами и историями искусства и художников. Это самый ценный, а также самый приятный раздел работы.

Он был прежде всего собирателем историй, анекдотов и предполагаемых фактов, и лишь случайно стал натуралистом, потому что естественная история давала самое большое разнообразие чудесных и любопытных материалов. Натуралист Кювье^[1287] отмечал его неумение судить, легковерие, недостатки в изложении материала и неуместный характер наблюдений. Несмотря на все эти недостатки, эта сложная работа содержит много ценных истин, много занимательной информации, а стиль, в котором она написана, когда она не слишком витиевата, полон энергии и экспрессии. Философские воззрения едва ли можно

отнести к какой-либо определенной школе, хотя они и отмечены преобладающим стоицизмом того времени; но их пронизывающий характер - тоскливый и меланхоличный. Полагая, что природа - это всемогущий принцип, а сам мир или вселенная - инстинкт Божества, видел в Божественных распоряжениях больше зла, чем добра; результатом стал мрачный и недовольный пантеизм.

Плиний Младший (родился в 61 г. н. э.).

С. Плиний Цецилий Секунд был сыном сестры старшего Плиния. Большинство сведений о его жизни и характере мы почерпнули из его писем. Он родился в Ново-Комуме, на озере Лариус (Комо), и поскольку ему шел восемнадцатый год^[1288] во время извержения Везувия, которое произошло в 79 году н. э., дата его рождения должна была приходиться на 61 год н. э.

После смерти отца, К. Цецилия, он был усыновлен своим дядей и поэтому получил имя Плиний. Он получил образование под опекой Виргиния Руфа, который испытывал к нему родительскую привязанность. Очевидно, что эта привязанность была взаимной. "Я любил его, - пишет Плиний Воконию,^[1289] с той нежностью, которая так часто украшает его письма, особенно письма к жене Кальфурнии, - так же сильно, как и восхищался им"; и он заканчивает свое письмо так: "Я хотел написать тебе о многих других предметах, но мои мысли полностью заняты этим единственным предметом созерцания. Я не вижу, не думаю ни о ком, кроме Виргиния. В воображении мне кажется, что я слышу его голос, обращаюсь к нему, держу его в своих объятиях. Возможно, у нас есть и еще будут люди, равные ему по добродетели, но нет никого, равного ему по славе". В области беллетристики и красноречия^[1290] он постоянно посещал лекции Квинтилиана и Никета Сацердоса, о которых благосклонно отзывается Сенека.^[1291]

Под опекой таких наставников и такого дяди его литературные вкусы развились рано, и еще до того, как ему исполнилось пятнадцать лет, он доказал свою любовь к поэзии, написав то, что, по его скромным словам, *называлось* греческой трагедией. Этот поэтический вкус сохранился у него и в последующей жизни: однажды, попав в непогоду на острове Икария, он отметил это событие элегическим стихотворением. Он писал гекзаметрами, из которых приводит небольшой пример, а также оду на день рождения в шестисложных стихах, и, по его словам, писал с быстротой и удобством.^[1292]

Он был призван в адвокатуру на девятнадцатом году жизни и добился большой известности как адвокат.^[1293] Он пользовался большим расположением Траяна и с отличием занимал высокие должности, как военные, так и гражданские. Он был военным трибуном в Сирии; кроме того, будучи претором и консулом на родине, он служил прокуратором провинции Вифиния за границей. Он был мягким, либеральным, утонченным и благожелательным; его рвение к интересам литературы и желание, чтобы молодежь Комо не была вынуждена прибегать к Милану для получения образования, а была обязана этим благословением своему родному месту,^[1294] привели к тому, что он предложил помощь в основании школы, формировании публичной библиотеки и организации выставок для изобретательных студентов.^[1295] Он справедливо считал, что такие акты благотворительности благороднее, чем вульгарные зрелища и варварские представления гладиаторов.

Его работы состоят из Панегирика на Траяна и сборника "Письма" в десяти книгах. Панегирик - это произведение придворной лести, для полноты которой единственным оправданием могут послужить лишь уступчивые и льстивые нравы его времени. Она была написана и передана в год, когда он был консулом.^[1296] Письма очень ценны не только тем, что дают представление о его собственном характере, но и о манерах и образе мыслей его

выдающихся современников, а также о политике того времени. Многие из них носят явные следы того, что они были специально предназначены для публикации. Это, конечно, умаляет их ценность как свежих и правдивых выразителей мыслей писателя, какими должны быть все письма; но читать их очень приятно, а по живости, описательности, эlegantности и простоте стиля они едва ли уступают письмам Цицерона, которого он, очевидно, взял за образец.

Десятая книга, состоящая из его депеш Траяну вместе с рескриптами императора, будет прочитана с большим интересом, а содержащиеся в них извещения о государственных делах представляют наибольшую ценность для историка. Депеша о христианах, написанная из Вифинии в 104 г. н.э., и рескрипты императора, содержащиеся в них, очень ценны для историка. 104 г., и ответ императора^[1297] вполне достойны переписи; как потому, что на них так часто ссылаются, так и потому, что они бросают свет на чудесное и быстрое распространение Евангелия; нравы первых христиан; обращение, которому подвергалось их постоянство даже при благоприятных обстоятельствах, и суровую ревность, с которой даже правитель мягкого и кроткого нрава считал своим долгом относиться к ним. "Я постоянно обращаюсь к вам, государь, по всем вопросам, вызывающим у меня сомнения. Ибо кто может лучше направить мои колебания или наставить мое невежество? Я никогда не присутствовал на судах над христианами и поэтому не знаю, каким образом и в какой степени принято их допрашивать или наказывать. Я также испытывал немалые затруднения, решая, должен ли возраст иметь какое-либо значение, или же с самыми нежными и зрелыми людьми следует обращаться одинаково; должно ли прощение предоставляться раскаянию, или же, если человек когда-то был христианином, отречение должно принести ему пользу; должно ли, если имя христианина не подразумевает преступности, все же наказываться преступления, свойственные этому имени. Между тем, в отношении тех, на кого были поданы доносы, я придерживался следующей линии поведения. Я лично задавал им вопрос, являются ли они христианами. Если они признавались, я допрашивал их во второй и третий раз и угрожал им наказанием. Если они продолжали упорствовать, я приказывал их предать земле; ибо у меня не было сомнений, что, в чем бы они ни признались, в любом случае упорство и несгибаемость заслуживают наказания. Были и другие, проявившие подобное безумие; но, поскольку они были римскими гражданами, я приказал отправить их обратно в город. Вскоре гонения, как это обычно бывает, привели к распространению преступления, и оно проявилось в новых формах. На большое количество людей было подано анонимное заявление, но они отрицали, что являются или когда-либо были христианами. Поскольку они звали к богам, повторяя форму за мной, и возносили молитвы, вместе с ладаном и вином, вашему образу, который я приказал принести вместе с божествами, и, кроме того, проклинали Христа, в то время как истинных христиан, как говорят, нельзя принудить делать что-либо из этого, я счел правильным отпустить их на свободу". Другие, обвиненные доносчиком, признавались, что были христианами, а вскоре после этого отрицали этот факт; они говорили, что были ими, но перестали ими быть, некоторые три, некоторые больше, а некоторые даже двадцать лет назад. Все они поклонялись вашему образу и образам богов и проклинали Христа. Но они утверждали, что вся их вина или ошибка заключалась в том, что они имели обыкновение собираться в определенный день перед рассветом и петь антифонный гимн Христу как Богу; что они связывали себя клятвой не совершать никакого зла, но воздерживаться от воровства, грабежа и прелюбодеяния; никогда не нарушать обещания и не отказываться от вклада, когда его требовали вернуть. По завершении этих церемоний у них был обычай расходиться и снова собираться вместе, чтобы принимать пищу без вреда для общего здоровья. После моего воззвания, в котором, повинувшись вашему повелению, я запретил им объединяться, они отказались от этой практики. По этим причинам я счел необходимым выяснить истину, подвергнув пытке двух девиц, называвшихся диакониссами; но я не обнаружил ничего, кроме извращенного и

чрезмерного суеверия. Поэтому я отложил рассмотрение этого вопроса, пока не посоветовался с вами. Ибо это дело показалось мне требующим совета, особенно учитывая количество тех, кто оказался в опасности. Ведь многие люди всех возрастов, полов и званий находятся и будут находиться под вопросом. Зараза, по сути, распространилась не только по городам, но и по деревням и открытой местности; но, похоже, ее продвижение можно остановить. Во всяком случае, очевидно, что храмы, которые были почти заброшены, начинают посещаться; торжественные жертвоприношения, которые долгое время были прерваны, снова совершаются, и повсюду продаются жертвы, на которые до этого времени редко можно было найти покупателя. Поэтому легко предположить, что толпы могут быть восстановлены, если дать им возможность покаяться".

Траян - Плинию.

"Просеивая дела тех, кто был обвинен в христианстве, ты принял, мой дорогой Секундус, правильное решение; ведь нельзя установить определенное правило, которое бы отвечало всем случаям. Их не следует искать, но если на них донесут и осудят, они должны быть наказаны; с той, однако, оговоркой, что если кто-либо отрицает, что он христианин, и докажет это молитвами нашим божествам, несмотря на подозрения, которые его мучили, он будет помилован по раскаянии. Ни в коем случае не следует рассматривать анонимные обвинения, поскольку это было бы наихудшим из возможных прецедентов и не соответствовало бы привычкам нашего времени".

Точный и рассудительный ум Плиния, его политическое и административное благоразумие, его вкус к прекрасному, его сила описания, его непревзойденная аккуратность, его умение придать особый интерес любому предмету, который он берет в руки, могут быть убедительно доказаны при прочтении его писем. Его штрихи не слишком многочисленны и не слишком малочисленны. Простая благодарственная записка за подарок дроздов^[1298] демонстрирует такое же мастерство, как и его многочисленные подробные депеши императору.^[1299] Его краткая биографическая справка о Силиусе Италике содержит в нескольких коротких предложениях все, что можно положительно сказать о жизни и характере его корреспондента. Сочувствие, которое он испытывал к своим друзьям, а также деликатность его панегирика проявляются в нескольких строках, которые он написал Гермению по поводу смерти жены Макрина;^[1300] его честность в деле о наследстве Помпони;^[1301] его юридическое мастерство в слишком многочисленных отрывках, чтобы их указывать; его описательная сила в рассказе об извержении Везувия,^[1302] в котором погиб его дядя; и в полном и подробном описании его виллы, ее комнат, мебели, произведений искусства, сада и окружающих пейзажей.

ГЛАВА X.

М. ФАБИЙ КВИНТИЛИАН - ЕГО БИОГРАФИЯ - ЕГО ОРАТОРСКИЕ ИНСТИТУТЫ - ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ - РАЗДЕЛЕНИЕ ЕГО ПРЕДМЕТОВ НА ПЯТЬ ЧАСТЕЙ - ОБЗОР ГРЕЧЕСКОЙ И РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - ЗАВЕРШЕННОСТЬ ЕГО ВЕЛИКОГО ТРУДА - ДРУГИЕ ЕГО РАБОТЫ - ЕГО НРАВ - СКОРБЬ О ПОТЕРЕ СЫНА.

М. Фабий Квинтилиан.

В эту специфически риторическую эпоху самым выдающимся учителем риторики был Фабий Квинтилиан. Он попытался восстановить более чистый и классический вкус; и хотя в определенной степени ему это удалось, эффект, который он произвел, был лишь временным. Он, как и Марциал, был испанцем, родился^[1303] в Калагуррисе, современной Калахорре.^[1304] В раннем возрасте он приехал в Рим и имел возможность слушать знаменитых ораторов Домиция Афера и Юлия Африкана, красноречие которых он считал превосходящим красноречие их современников.^[1305] Сколько времени он оставался в Риме, точно неизвестно, но, судя по всему, он отправился на родину, а затем вернулся в столицу вместе с императором Гальбой.

Хотя он практиковал как адвокат, он был гораздо более выдающимся преподавателем. Домициан доверил ему воспитание двух своих внучатых племянников,^[1306] а младший Плиний также был одним из его учеников.^[1307] Благоклонность императора обеспечила ему ту награду, на которую Ювенал ссылается в следующих строках:...

Si Fortuna volet fies de rhetore consul;^[1308]

и, кроме того, он занимал одну из профессорских должностей, которые были обеспечены Веспасианом 100 000 сестерциев в год (800 л.^[1309]). Таким образом, он стал исключением из огромного числа преподавателей и грамматиков, которыми кишел Рим, и которые, в зависимости от платы за обучение своих учеников, зарабатывали себе на пропитание,^[1310] и даже смогли приобрести поместья и накопить имущество.

Но хотя ему повезло больше, чем многим достойным представителям его профессии, он не считался богатым человеком среди богатых и роскошных римлян своего времени; его благодарный ученик Плиний, подарив ему 400 фунтов на содержание дочери, говорил о нем как о человеке умеренного достатка.^[1311] Его выражения таковы: "Te porro, animo beatissimum, modicum facultatibus scio". Есть вероятность, что он был дважды женат. Его первая жена умерла в возрасте девятнадцати лет, оставив двух сыновей, смерть которых оборвала его жизнь через несколько лет.^[1312] Для обучения старшего из них, который ненадолго пережил своего младшего брата, он написал свое великое произведение. Его второй женой была дочь некоего Тутилия, и плодом этого брака стала единственная дочь, вышедшая замуж за Нония Целера, которому и был сделан щедрый подарок Плиния. В течение двадцати лет он исполнял обязанности профессора, а затем отошел от активной жизни; умер он, как принято считать, около 118 года н. э. Его земляк, Марциал,^[1313] говорит о нем как о славе римской адвокатуры и главе своей профессии в качестве преподавателя: - Quintiliane, vagæ vagæ, vagæ, vagæ.

Quintiliane, vagæ moderator summe juventæ,

Gloria Romanæ, Quintiliane, togæ.^[1314]

Великое произведение Квинтилиана называется Institutiones Oratoriæ, или Полное наставление в ораторском искусстве: в нем он показывает себя намного выше Цицерона как

учитель, хотя и уступал ему как оратор. Риторические труды великого оратора по полноте и завершенности не идут ни в какое сравнение с тщательно продуманным трактатом Квинтилиана. Когда он занялся его составлением, то отошел от обязанностей публичного профессора и был занят, как он сам утверждает,^[1315] своими обязанностями воспитателя внучатого племянника Домициана. Он утверждает, что взялся за дело неохотно и по настоятельным просьбам своих друзей. Он считал, что эта область уже занята выдающимися греческими и латинскими писателями. Но, видя, насколько широка область, и что в таком труде должны быть рассмотрены все те качества, без которых никто не может быть оратором, он подчинился их уговорам и посвятил свою книгу другу Марцеллу Викторию в знак своего уважения и как полезный вклад в образование его сына. Два риторических трактата уже выходили под его именем, но не были опубликованы им самим. Один состоял из лекции, которая читалась два дня, другой - из более длинного курса; оба были записаны и переданы публике, как он говорит, его превосходными, но слишком пристрастными учениками: (*boni juvenes, sed nimium amantes mei*).^[1316]

На "Институции" он, по его словам, потратил больше всего сил и труда. Он прослеживает прогресс оратора от самой колыбели до достижения им совершенства.^[1317] Он говорит о важности первых впечатлений, о родительской, особенно материнской заботе, и иллюстрирует это примером Корнелии, которой Гракхи обязаны своей известностью; а также приводит в качестве примеров женского красноречия дочерей Лелия и Гортензия. Он считает, что воспитание должно начинаться, вкусы формироваться, а моральный облик накладывать отпечаток еще в младенчестве. Поэтому выбор кормилицы, по его мнению, так же важен, как и ранних товарищей, педагогов и наставников.

Как из-за положительного блага, которое будет приобретено, так и из-за зла, вытекающего из развращенного состояния римского общества, которого мальчик таким образом избежит, он предпочитает школу домашнему образованию.^[1318] Поскольку мы считаем классические языки лучшей подготовкой к изучению простонародного языка,^[1319] он ставит аксиомой, что обучение греческой литературе должно предшествовать латыни. Грамматика^[1320] должна быть основой образования, вместе с ее подразделениями, склонением, построением,^[1321] орфографией,^[1322] употреблением слов,^[1323] ритмом, метром, красотами и недостатками стиля,^[1324] чтением,^[1325] доставкой, действием;^[1326] и к ним следует добавить музыку и геометрию.^[1327]

После завершения начального образования юный ученик должен быть передан на попечение ритора.^[1328] Описывается выбор подходящего учителя,^[1329] а также его обязанности и характер,^[1330]; рекомендуются необходимые упражнения, чтение и изучение ораций и историй,^[1331] и точно исследуются природа, принципы, предметы и польза ораторского искусства. В третьей книге, после краткого обзора основных авторов по риторике,^[1332] он делит свой предмет на пять частей,^[1333] а именно: изобретение, расположение, стиль, память, как естественная, так и искусственная, и выступление или действие. Вслед за Аристотелем он рассматривает три вида ораторского искусства: демонстративное, совещательное и судебное.^[1334] В четвертой части он рассматривает физические разделы всех ораций, а именно: экзордиум,^[1335] повествование,^[1336] экскурсы или отступления,^[1337] предложенный вопрос,^[1338] разделение тем.^[1339] В той части трактата, где рассматривается следующий раздел, а именно доказательства, Аристотель является главным проводником, как отвечающий, по его мнению, всеобщему согласию всего человечества. Шестая книга анализирует перорацию, а также обсуждает страсти,^[1340] нравственные привычки,^[1341] насмешки,^[1342] и другие темы, которые завершают тему изобретений. В седьмой части рассматривается расположение и родственные ему темы; в

восьмой и девятой - стиль и его основные качества, такие как доходчивость,^[1343] орнамент^[1344] тропы,^[1345] усиление,^[1346] фигуры речи.^[1347]

Фасилитация, или, как мы, в содружестве с римлянами, часто называем ее "*copia verborum*", является следующим разделом предмета; и поскольку оригинальные изобретения уже заняли столь большую часть его работы, он теперь старается направить ученика к подражанию совершенствам лучших греческих и латинских писателей; и говорит ему, что следующая обязанность, с точки зрения важности, состоит в том, чтобы извлекать пользу из изобретений других.^[1349] Таким образом, перед ним открывается широкое поле, дающее возможность продемонстрировать его обширную образованность, критический вкус, проницательность и огромную силу иллюстрации.^[1350]

Он в кратком обзоре проходит всю историю греческой и римской литературы. Его замечания, хотя и краткие, ясны и решительны, отмечены привлекательной красотой и здравым суждением, которые выдержали испытание веками и рекомендуются всем, кто отличается чистым классическим вкусом. Он так ловко улавливает главные черты, что портреты великих авторов древности, хотя и являются лишь набросками и контурами, выступают в смелых и осязаемых очертаниях, каждый из которых демонстрирует выраженные и отчетливые характеристики. Немного найдется образцов критики, столь привлекательных, столь наводящих на размышления и так цепляющих память, как эта часть "Институций" Квинтилиана. В десятой книге вкратце рассматриваются и другие темы, например, необходимость мучительных и тщательных исправлений для формирования отточенного стиля.^[1351] Выбор материала,^[1352] оригинальная мысль,^[1353] средства приобретения и совершенствования привычки к экстенпоральным выступлениям.^[1354]

Одиннадцатая книга посвящена темам уместности,^[1355] памяти,^[1356] и подачи.^[1356]

Двенадцатая книга открывается тем, что автор называет^[1357] самой серьезной и важной частью всего произведения, достойной достойного характера истинной римской добродетели. Ее тема - высокие нравственные качества, необходимые для совершенного оратора.^[1358] Талант, мудрость, образованность, красноречие - ничто, если ум отвлечен и разорван порочными мыслями и развращенными страстями.^[1359] Оратор, следовательно, должен учиться тому, что только и может сформировать его нравственный характер;^[1360] он должен обладать той твердостью принципов, которая заставит его бесстрашно применять на практике то, что он знает. "Не может быть совершенным оратором ни тот, кто честно говорит, изучает и слушает".

Знание истории^[1361] и принципов юриспруденции^[1362] он также считает необходимым, несмотря на то, как пренебрежительно Цицерон отзывается об античной учености юристов. Также добавлены некоторые практические правила^[1363] относительно времени начала практики в судах, правил, которые следует соблюдать при ведении дел,^[1364] и предосторожностей, которые следует соблюдать при их подготовке и ведении.^[1365] Он не советует рано приступать к таким важным обязанностям, хотя в Риме призыв к адвокатуре происходил сразу же после принятия мужского платья: традиция говорит о мальчиках, одетых в *prætexta* для ведения дел. Цезарь Август в двенадцать лет публично произнес хвалебную речь о своей бабушке, как и Тиберий в девять лет над телом своего умершего отца.^[1366]

Сказанного достаточно, чтобы показать, насколько полно и всесторонне Квинтилиан исчерпал свою тему и оставил как памятник своего вкуса и гения учебник науки и искусства народов, а также мастерский очерк красноречия древности.

Квинтилиану, помимо его великого произведения, приписывают девятнадцать деклараций или судебных речей, относящихся к воображаемым искам; также сто сорок пять набросков ораций, остатки более крупной коллекции, состоящей из трехсот восьмидесяти восьми. Но нет никаких доказательств в пользу того, что они принадлежат ему, а их стиль, похоже, свидетельствует о том, что они принадлежат разным авторам и разным эпохам. Также нет никаких веских оснований считать, что трактат "О причинах испорченного красноречия" - это тот же самый, на который он ссылается в проэмии к шестой и заключении восьмой книги^[1367] "Институций". Действительно, почти единодушное мнение ученых приписывает ее Тациту. Его сочинения были обнаружены Поджием вместе с сочинениями Силия Италика и Л. Валерия Флакка в монастыре Святого Галла, в двадцати милях от Констанца, во время заседания знаменитого церковного собора.

Нрав Квинтилиана был столь же ласков и нежен, сколь гениален и чист его вкус. Немногие отрывки во всей латинской литературе могут сравниться с тем, в котором он оплакивает потерю жены и детей. Это трогательное красноречие того, кто не мог писать иначе, чем изящно; и если он ропщет на божественные постановления, то следует помнить, что его самые дорогие надежды были разрушены, и у него не было ни надежд, ни утешения, ни учения христианина. "У меня был сын, - говорит он, - чей выдающийся гений заслуживал тревожного усердия отца. Я думал, что если бы - чего я вполне мог ожидать и желать - смерть отстранила меня от него, я мог бы оставить ему, как лучшее наследство, отцовские наставления. Но в результате второго удара, второй утраты я лишился предмета моих самых смелых надежд, единственного утешения моих угасающих лет. Что же мне теперь делать? На что я могу рассчитывать, если боги отбросили меня? Случилось так, что, когда я начал работу над книгой "Причины испорченного красноречия", меня постиг аналогичный удар. Конечно, лучше было бы тогда бросить на погребальную плиту, которой суждено было преждевременно поглотить все, что связывало меня с жизнью, мой неудачный труд и злополучные плоды всех моих трудов, и не утомлять новыми заботами жизнь, за которую я так неестественно цеплялся. Ибо какой нежный родитель простил бы меня, если бы я мог дольше учиться, и не возненавидел бы мою твердость духа, если бы я, переживший всех своих близких, мог найти занятие для своего языка, кроме как обвинять богов и утверждать, что никакое Провидение не смотрит свысока на дела людей? Если я не могу сказать этого в отношении своего собственного случая, против которого нельзя возразить ничего, кроме того, что я выжил, то, по крайней мере, могу в отношении их, обреченных на незаслуженную и безвременную могилу".

"Их мать, которая родила двух сыновей, не дожив до девятнадцати лет, была оторвана от меня; и хотя ее смерть была для меня жестоким ударом, для нее она была счастьем. Для меня же горе было столь сокрушительным, что судьба уже не могла вернуть мне счастье. Ибо не только проявление всех женских добродетелей сделало горе ее мужа неизлечимым, но, по сравнению с моим возрастом, она была всего лишь девочкой, и потому ее потерю можно приравнять к потере ребенка. Тем не менее мои дети выжили и были моей радостью и утешением, а она, поскольку я выжил (вещь противоестественная, хотя она и желала этого), избежала стремительного бегства от агонии горя. В моем младшем сыне, который умер в возрасте пяти лет, я потерял один свет моих глаз. Я не стремлюсь придавать большое значение своим несчастьям или преувеличивать причины, которые у меня есть для печали; если бы у меня были средства, чтобы смягчить ее! Но как я могу скрыть его милый лик, его ласковый разговор, его искрометное остроумие и (во что я чувствую, едва ли можно поверить) его спокойствие и глубокую твердость духа? Будь он чужим ребенком, он завоевал бы мою любовь. Но коварная судьба, желая причинить мне более тяжкие муки, сделала его

более привязанным ко мне, чем к своим нянькам, бабушке, которая его воспитывала, и всем тем, кто обычно пользуется привязанностью детей этого возраста.

"Благодарен я за то горе, в которое за несколько месяцев до того меня повергла потеря его несравненной, неоценимой матери; ибо мой жребий был не столько предметом для слез, сколько для ликования. Единственная надежда, опора и утешение оставались в моем Квинтилиане. Он, подобно моему младшему сыну, не только не расцвел, но, вступив в десятый год жизни, показал зрелые и хорошо завязавшиеся плоды. Клянусь моими несчастьями, сознанием моего несчастья, этими ушедшими духами, божествами, хранящими мою скорбь, что в нем я видел такую бодрость ума, не только в приобретении знаний (и все же во всем моем обширном опыте я никогда не видел его превзойденным), такое рвение к учебе, которое, как свидетельствуют его наставники, никогда не требовало напряжения, но и такую прямоту, сыновнюю привязанность, утонченность и щедрость, что это дало основания предвидеть громовой удар, который обрушился. Ведь, как известно, преждевременное созревание слишком быстро приводит к гибели; и есть не знаю какая завистливая сила, которая срывает наши самые радужные надежды, чтобы мы не взлетели выше, чем позволено взлететь человеческим существам. Он обладал и теми дарами, которые случайны: чистым и мелодичным голосом, приятным произношением, правильным произношением каждой буквы как в греческом, так и в латинском языках. Он подавал надежды на будущее совершенствование; но он обладал и гораздо более высокими качествами - постоянством, серьезностью, и твердостью, чтобы переносить горе и противостоять страху. С каким восхищением его врачи наблюдали за терпением, с которым он переносил болезнь, длившуюся восемь месяцев! Какое утешение он давал мне в последние минуты своей жизни! Когда жизнь и рассудок стали отказывать, его блуждающий ум остановился на одной лишь литературе. О! Дорогой объект моих несбывшихся надежд! Могу ли я видеть твои стекленеющие глаза, твое мимолетное дыхание? Могу ли я обнять твою холодную и безжизненную фигуру и жить, чтобы снова пить обычный воздух? Неужели я заслужил эти мучительные мысли, эти пытки, которые я терплю!"

ГЛАВА XI.

А. КОРНЕЛИЙ ЦЕЛЬС - ЕГО ЗАСЛУГИ - ЦИЦЕРОН МЕДИКОРУМ - СКРИБОНИЙ ЛАРГУС ДЕСИГНАТИАН - ПОМПОНИЙ МЕЛА - Л. ЮНИЙ МОДЕРАТУС КОЛУМЕЛЛА-С. ЮЛИЙ ФРОНТИН - УПАДОК ВКУСА В СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ - ИНОСТРАННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РИМСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таковы основные писатели, украсившие и проиллюстрировавшие литературу серебряного века: остается лишь вкратце рассказать о тех, чьи произведения, хотя и представляют незначительный интерес, не должны быть обойдены вниманием.

Аврелий Корнелий Цельс.

Цельс был автором множества сочинений на различные темы, из которых до наших дней сохранилось одно, в восьми книгах, посвященное медицине. Место его рождения и возраст, в котором он достиг расцвета, неизвестны, но, вероятно, он жил во времена правления Тиберия. Он был человеком всеобъемлющих, почти энциклопедических знаний, писал о философии, риторике, сельском хозяйстве и даже стратегии. Сомневались, практиковал ли он когда-нибудь медицину или был знаком с ней лишь теоретически; но независимость его взглядов, практический и научный характер его наставлений несовместимы ни с какой гипотезой, кроме той, что он сам терпеливо наблюдал за явлениями болезненного действия

и экспериментировал с их лечением. Прежде всего, его знания в области хирургии и четкое изложение хирургических операций неизбежно подразумевают тот практический опыт и реальность знаний, которые никогда не могли быть получены из книг.

Если сравнить мастерское изложение предмета Цельсом с историей медицины Плиния,^[1368] то легко отличить человека практической и экспериментальной науки от собирателя и расшифровщика чужих мнений. Его руководство по медицине охватывает следующие темы: Диета,^[1369] Патология,^[1370] Терапия,^[1371] Хирургия;^[1372] и, не вдаваясь в его особые достоинства, задача, которую мог бы удовлетворительно выполнить только профессиональный писатель, высшим свидетельством его достоинств является тот факт, что он используется в качестве учебника даже при современном уровне развития медицинской науки.

Изучение медицины имеет тенденцию предрасполагать ум к общим научным исследованиям в других областях, не связанных с ней непосредственно. Поэтому медицинская профессия насчитывает среди своих членов множество людей с общими научными достижениями, и Цельс был примером такой разносторонности. Вкус эпохи, в которой он жил, обратил его внимание и на вежливую литературу; этому можно приписать августовскую чистоту его стиля, благодаря которой он получил прозвище "Cicero Medicorum".

Скрибоний Ларгус Дезигнатианус.

За "Цицероном врачей" в царствование Клавдия последовал Скрибоний, послушный придворный врач. Он был автором нескольких работ, одна из которых, большой сборник рецептов, сохранилась до наших дней. На языке нечестивой лести он называет слабоумного императора богом. Говорят, что он сопровождал его в экспедиции в Британию.

Помпоний Мела.

Помпоний Мела может считаться представителем римских географов. Он был уроженцем Тингентеры, города в Испании, и жил во времена правления Клавдия. Его трактат называется "De Situ Orbis, Libri iii". Он отличается систематичностью и образованностью. Сведения, почерпнутые у греческих географов, перемежаются занимательными мифами и живыми описаниями. Однако все знания, содержащиеся в ней, взяты из книг: она является воплощением прежних трактатов и не обогащена открытиями более поздних путешественников. Простота стиля и почти августовская чистота латыни не позволяют даже столь голому скелету и списку фактов быть сухим и неинтересным.

L. Junius Moderatus Columella.

Дидактический труд Колумеллы дает, в гладком и беглом, хотя и несколько слишком рассеянном, стиле, самую полную и исчерпывающую информацию о практическом сельском хозяйстве среди римлян в первом веке христианской эры. Плиний - единственный классический автор, который упоминает его; но он ссылается на него как на авторитетного специалиста. Сам Колумелла сообщает нам, что он родился в Гадесе (Кадис,^[1373]) и проживал в Риме,^[1374] но путешествовал по Сирии и Киликии.^[1375] Принято считать, что он умер и был похоронен в Тарентуме.

Его труд, "De Re Rusticâ", состоит из двенадцати книг. В нем рассматриваются все вопросы, связанные с выбором и ведением хозяйства,^[1376] устройством хозяйственных построек,^[1377] разведением и выращиванием скота,^[1378] выращиванием фруктовых деревьев,^[1379] и ведением домашнего хозяйства.^[1380] К одиннадцатой книге прилагается календарь,

указывающий на космические восходы и заходы созвездий, которые отмечают последовательные сезоны для различных работ и другие практические моменты деревенской астрономии. Десятая книга, темой которой является садоводство, написана гекзаметрами. Она никогда не поднимается на высоту поэзии: это скорее метрическая проза, отличающаяся, как и остальные его работы, беглостью, а также выраженная в правильном стихосложении. Причина, по которой он объясняет это отклонение от своего плана, заключается в том, что она предназначена в качестве дополнения к "Георгикам" Вергилия и что при этом он следует рекомендациям самого великого поэта. В своем предисловии к другу Сильвину он так выражает свое намерение: "Postulatio tua pervicit ut poeticis numeris explerem Georgici carminis omissas partes, quas tamen et ipse Virgilius significaverat posteris se memorandas relinquere."

Секст Юлий Фронтин.

Секс. Юлий Фронтин заслужил место среди римских классических писателей как автор двух работ, обе из которых сохранились до наших дней. Первое, озаглавленное "Стратегематика, Libri iv.", представляло собой трактат по военной тактике. Форма, в которой он изложил свои доктрины, - это наставления и анекдоты о знаменитых полководцах. Таким образом, необходимые приготовления к сражению, стратегемы, к которым прибегают в бою, правила ведения осады и способы поддержания дисциплины в армии объясняются и иллюстрируются в прямом и солдатском стиле.

Поскольку цель, которую он преследовал, приводя свои анекдоты, - научная иллюстрация, а не историческая правда, он не очень подробно указывает источники, из которых взяты его примеры. Тем не менее, книга интересна для антиквара, если не имеет практической пользы для тактика, поскольку демонстрирует теорию и практику древней войны. Эта тема в ранние времена рассматривалась Катонем и Цинцием, а затем Гигином в трактате "О полевых укреплениях" (*de Castrametatione*), а также в эпитоме Вегеция.

Другой его труд, дошедший до наших дней в совершенном виде, - это описательный архитектурный трактат в двух книгах, посвященный этим замечательным памятникам римского искусства, акведукам. Но кроме них, сохранились фрагменты других работ, которые отводят Фронтину важное место в оценке изучающего римскую историю. Это трактаты о межевании, а также о законах и обычаях, касающихся земельной собственности. Они носили отчасти научный, отчасти юридический характер и находятся среди работ *Agri-mensores*, или *Rei Agrariae Scriptores*. Сложность и неясность всего, что связано с римскими аграрными институтами, хорошо известна; и каждый фрагмент, относящийся к ним, ценен тем, что может пролить свет на столь важную тему. Нибур^[1381] видел их ценность и говорил, что "фрагменты Фронтинуса были единственным произведением среди *Agri-mensores*, которое можно считать частью классической литературы, или которое было составлено с каким-либо юридическим знанием". Таким образом, эти фрагменты можно рассматривать как благоприятный образец этого класса писателей, среди которых были Сикул Флакк, Аргений Урбик и Гигин (Грамматик).

О жизни самого Фронтинуса известно очень мало. Он был городским претором в правление Веспасиана,^[1382] и сменил Цереалиса на посту губернатора Британии. Он провел успешную кампанию против силуров^[1383] (С. Уэльс) и был смещен Агриколой, 78 г. н. э. Впоследствии он был *куратором аквариума*^[1384] - должность, которая, вероятно, послужила толчком к написанию его практического руководства по акведукам. Он также занимал место в коллегии авгуров, в которой после его смерти^[1385] его сменил младший Плиний.

С этой третьей эпохой заканчивается история римской классической литературы. В серебряном веке вкус постепенно, но верно падал; и хотя римский язык и литература некоторое время сияли классическим блеском в трудах Персия, Ювенала, Квинтилиана, Тацита и Плиния, ничто не могло остановить их падение. Напрасно императоры пытались поощрять ученость денежными вознаграждениями и оплачиваемыми профессорскими должностями: она зачахла вместе с гибелью конституционной свободы, угасанием патриотизма и упадком национального духа. Поэзия превратилась в декламацию. История выродилась либо в пышные панегирики, либо в бесплотные скелеты эпитомов; и в конце концов римляне, казалось, пренебрегли родным языком - языком, который тяжким трудом был доведен до такого совершенства, - и писали по-гречески, как в период становления национальной литературы, когда латынь была слишком груба и несовершенна, чтобы воплотить идеи, которые они почерпнули у своих греческих наставников.

Император Адриан долго жил в Афинах и проникся вкусом и восхищением к греческому языку; таким образом, литература Рима стала эллинизированной. С этой эпохи термин "классическая" уже не может быть применен к ней, так как она не сохранила своей чистоты. К греческому влиянию добавилось еще более развращающее влияние иностранных народов. Даже со смертью Нервы непрерывная череда императоров римского или италийского происхождения прекратилась. Сам Траян был испанцем, а после него императорским пурпуром наделили не только варваров всех европейских рас, но даже восточных и африканских. Империя, которой они правили, также представляла собой громоздкую массу разнородных материалов. Литературное влияние столицы не ощущалось в отдаленных частях римских владений. Школы были основаны в самом сердце народов, только что вышедших из варварства - в Бурдегале (Бурдо), Лугдунуме (Лионе) и Августе Тревирорум (Тревезе), и, хотя блага цивилизации и интеллектуальной культуры распространялись таким образом далеко и широко, все же литературный вкус, проникая через умы иностранцев, становился испорченным, а язык имперского города, подвергаясь заразителю контакту с варварскими идиомами, терял свою чистоту.^[1386]

Латинские авторы этого периода были многочисленны, и многие из них были христианами; но лишь немногие имели вкус, чтобы оценить и подражать литературе эпохи Августа. Ярчайшими звездами, освещавшими тьму, были А. Геллий, Л. Апулей, Т. Петроний Арбитер, ученый автор "Сатурналий"; христианский философ-этик Л. Целий Лактанций; и поэт, в котором, кажется, возродилось изящное воображение классической древности, льстивый и любезный Клавдиан.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА.

В. С. А. У. ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНОЛОГИЯ.
С.

ГРАЖДАНСКАЯ
ХРОНОЛОГИЯ.

Первая эпоха.

753- 1- Песнопение Арвальского братства; Сатурнианская Регентский период.

510	244	мера; Салианский гимн; Папские анналы; Libri Lintei.	
449	305	Законы Двенадцати таблиц; так называемые Leges Regiæ.	Децемвиры низложены.
390	364	---	Рим взят галлами.
364	390	Из Этрурии присылают сценических артистов.	Год после смерти Камилла.
326-304	428-450	Тибуртинская надпись.	Вторая Самнитская война.
280	474	Аппий Клавдий Цекус; Ти. Корунканий.	Год после прибытия Пирра.
264	490	---	Начало первой Пунической войны.
260	494	Columna Rostrata; эпитафии на Сципионах.	Пятый год первой Пунической войны.
241	513	---	Завершение первой Пунической войны.
240	514	Ливий Андроник.	
239	515	Рождение Энния.	
235	519	Кнеус Нэвий процветает.	Храм Януса закрыт во второй раз.
227	527	Рождение Плавта; погребальная оратория К. Метелла.	
219	535	Q. Фабий Пиктор; Л. Цинций Алимпент; рождение Пакувия	
204	550	Энний привезен в Рим; Корн. Цетегус; П. Лициний Красс.	
201	553	Речь Фабия Кунктатора; Секст Илий Кат.	Завершение второй Пунической войны.
195	559	М. Порций Катон консул; Лициний Тегула.	
186	568	Сенатский консилиум по поводу вакханалий.	Год, следующий за осуждением Л. Сципиона.
184	570	Процветание Цецилия Стация; умер в 586 г. до н. э.; смерть Плавта.	Цензура М. Порция Катона.
183	571	---	Смерть Ганнибала и Сципиона Африканского.
181	573	Найдены (так называемые) книги Нумы.	
179	575	---	Восшествие на престол Персея.
170	584	Рождение Аттия.	
168	586	---	Поражение Персея при Пидне.
166	588	Теренций выставляет Андриана; Сп. Карвилиус; К.	

		Сульпиций Галл; Лавиний Лусций; Т. Манлий Торкват.	
155	599	Три аттических философа посещают Рим; К. Ацилий Глабрий; Кратес Маллотес.	
154	600	М. Пакувий; Сципион Эмилиан; Лелий.	
150	604	Л. Афраний; С. Сульпиций Гальба.	
148	606	Рождение К. Луцилия; Кассия Гемина; А. Постумия Альбина.	Второй год третьей Пунической войны.
146	608	---	Конец третьей Пунической войны; взяты Карфаген и Коринф.
138	616	Л. Аттий процветает; К. Ф. М. Сервилиан; К. Фанний; Венноний; К. Семпроний.	Дек. июня Брут консул.
133	621	М. Junius Brutus; P. Mucius Scævola; L. Cælius Antipater; Сп. С. и А. Геллии; Л. Кальпурний Пизон Фруги; Папирий Карбо; Лепид Порцина; Илиус Туберо.	Убийство Тиба Гракха; захват Нумантии.
129	625	---	Смерть Сципиона Эмилиана (Scipio Æmilianus); æt. 56.
123	631	С. Семпроний Гракх; Секст Турпилий; К. Луцилий процветал; Левий; (?) К. Юний Гракх; М. Юлий Пенн.	
119	635	Л. Лициний Красс обвиняет Карбона; М. Антоний (род. до 144 г. до н. э.).	
113	641	---	Началась война с кимврами.
111	643	---	Первый год Югуртинской войны.
109	645	Публий Семпроний Аселлий; М. Эмилий Скавр; П. Рутилий Руф; К. Лутаций Катул.	
106	648	Рождение Цицерона	Рождение Цн. Помпея.
100	654	L. Ælius Stilo	Рождение Юлия Сезара.
95	659	Котта; Сульпиций; Гортензий; К. Муций Сцевола; рождение Лукреция.	
91	663	Смерть оратора Красса.	
90	664	С. Лициний Мацер; К. Клавдий Квадригарий; К. Валерий Антиас; Л. Лукулл; Сулла; Плотий Галл.	Начало Социальной войны.
87	667	М. Антоний убит; родился Катулл.	Резня, учиненная Цинной и Марием.
86	668	Рождение Саллюстия	Смерть Мария.
84	670	Аттий, вероятно, умер примерно в это время, и латинская актерская трагедия исчезла; Л. Корнелий Сисенна.	

82	672	Рождение Варро Атачина и Лициния Кальва Валерия Катона.	Проскрипция Суллы.
78	676	Начало истории Саллюстия.	Смерть Суллы.
76	678	Рождение Асиния Поллио.	
Вторая эпоха.			
74	680	Римская прозаическая литература достигла своего наивысшего совершенства; Цицерону двадцать два года.	Началась третья Митридатская война.
72	682	---	Убийство Сертория.
71	683	---	Поражение Спартака.
70	684	Цицерон обвиняет Верреса; рождение Вергилия.	
67	687	С. Аквилый Галл; К. Ювентий; Секст. Папирий; Л. Луцилий Бальбус.	Помпей, которому поручена война с пиратами.
65	689	Рождение Горация	Первый заговор катилинариев.
63	691	Помпоний Атик; М. Теренций Варро Реатин; Л. Луций; Нигидий Фигул; Орбилий приехал в Рим на пятидесятом году жизни (Suet. de Ill. Gram. 9;) К. Корнифиций.	Консульство Цицерона; рождение Августа; Иерусалим взят Помпеем.
61	693	Оратория в честь Архия	Оправдание Хлодия.
60	694	---	Первый триумвират.
59	695	Рождение Т. Ливия.	
55	699	---	Первое вторжение Цезаря в Британию.
54	700	Юлий Цезарь; Лукреций Кар; К. Вал. Катулл; Исоп; К. Росций; Лициний Кальв; Гельвий Цинна; Тицида; Бибакул; Варро Атацин; Корнелий Непос; А. Гирций; К. Оппий; С. Сульпиций Руф.	Второе вторжение Цезаря в Британию.
52	702	Смерть Лукреция.	
49	705	D. Лаберий; К. Матий; П. Сирус.	J. Сезар назначен диктатором.
48	706	---	Битва при Фарсалии; убийство Помпея.
46	708	---	Цезарь реформирует календарь.
44	710	С. Саллюстий Крисп; Аттей Филолог; Асиний Поллион.	Убийство Юлия Цезаря.
43	711	Смерть Цицерона; Вальгий Руф; рождение Овидия; смерть Лаберия.	Формирование второго триумвирата.

42	712	Гораций в Филиппах.	
40	714	---	Брундизийский договор.
34	720	Смерть Саллюстия.	
32	722	Смерть Аттика.	Объявлена война против Антония.
31	723	Вергилий Маро (родился в 70 г. до н. э.); Мекенас; Гораций Флакк; Л. Варий; Альбий Тибулл; Корнелий Галл; Плотий Тукка; Батилл; Пилад; Трог Помпей.	Битва при Актиуме.
29	725	---	Три триумфа Октавия; храм Януса закрыт.
28	726	Основана Палатинская библиотека; смерть Варро.	
27	727	---	Октавий получает титул Августа.
25	729	И. Гигин; С. Аврелий Проперций; Эмилий Мацер; Овидий Насо; Граций Фалиск; Педо Альбинован; А. Сабин; Т. Ливий; Атей Капито; Витрувий; К. Цецилий Эпирота.	
19	735	Смерть Вергилия.	
18	734	Смерть Тибулла.	
17	737	Carmen seculare Горациев;	Ludi sæculares. Porcius Latro.
15	739	---	Тиберий и Друз завоевывают Винделици.
9	745	История Ливия заканчивается.	
8	746	Смерть Горация	Месяц Секстилис назван Августом.
4	750	---	Рождение Господа нашего Иисуса Христа.
A. D.			
4	758	Смерть Асиния Поллио.	
9	763	Изгнание Овидия	Поражение Квинтилия Вара.
14	767	---	Смерть Августа.
Третья эпоха.			
16	769	T. Phædrus	Сеян, императорский фаворит.
18	771	С. Асиний Галл; смерть Овидия и Ливия; Валерий Максим.	

23	776	Рождение К. Плиния Секунда.	Убийство Друза.
25	778	Рождение Силия Италика; смерть Кремутия Корда; М. Аннея Сенеки; А. Корнелия Цельса; Арелия Фуска; Валерия Максима.	
30	783	Веллий Патеркул пишет свою историю.	
31	784	---	Падение Сеяна.
34	787	А. Родился Персий Флакк.	
37	790	---	Смерть Тиберия.
40	793	Лукан привезен в Рим.	
41	794	Изгнание Сенеки	Калигула убит; император Клавдий.
43	796	Рождение Марциала; Помпоний Мела; Л. Юний Колумелла; Реммий Фанний Палемон.	Экспедиция Клавдия в Британию.
49	802	Отзыв Сенеки.	
54	807	Л. Анней Сенека; М. Анней Лукан; Корнут; Персий; Цезий Басс; К. Силий Италик; К. Курций Руф.	Восшествие на престол Нерона.
59	812	---	Убийство Агриппины.
61	814	Родился Плиний Младший	Боадиея завоевана Суэтонием Пауллином.
62	815	Смерть Персия.	
65	818	Смерть Сенеки и Лукана.	
66	819	Марциал прибыл в Рим.	
69	822	---	Восшествие на престол Веспасиана.
70	823	Салей Басс; К. Валерий Флакк.	Иерусалим взят Титом.
74	827	Предполагается, что диалог De Oratoribus был написан.	
77	830	С. Процветает Плиний Секунд Майор.	
78	831	---	Агрикола - губернатор Британии.
79	832	Смерть Плиния Старшего	Разрушение Геркуланума и Помпеи.
80	833	---	Построен Колизей.
81	834	---	Восшествие на престол Домициана.
90	843	М. Ф. Квинтилиан; философы, изгнанные Домицианом; Папиний Стаций; Марциал.	
93	846	---	Смерть Агриколы.
96	849	---	Убийство Домициана.
98	851	С. Корнелий Тацит; К. Плиний Минор; Юлий Фронтин; Суэтоний Транквилл; Анней Флор; Юлий Обсекенс; Д. Юний Ювеналий.	Восшествие на престол Траяна.

104	857	Письмо Плиния о христианах.	
117	870	- - -	Вступление на престол Адриана.
138	891	S. Pomponius; Gaius	Восшествие на престол Антонина Пия.
161	914	L. Аппулей; Минуций Феликс; Тертуллиан.	Восшествие на престол М. Аврелия.

КОНЕЦ.

-
1. B. C. 210; A. U. C. 514.
 2. A. D. 138; A. U. C. 891.
 3. See Forster's Essay on Greek Quantity, c. vi.
 4. Pol. Hist. iii. 22; see Donaldson's Varron.
 5. Plin. N. H. iii. 14.
 6. See Thucyd. ii. 6.
 7. Lib. v. 33.
 8. Müller, Etrusk. iv. 7, 8.
 9. See authorities quoted by Dennis, Cities of Etruria, i. xxiv.
 10. Lib. i. 94.
 11. Tac. Ann. iv. 55.
 12. Lib. i. p. 22, 24.
 13. Lib. i. 93.
 14. Cistell. II. iii. 20.
 15. A Cyclopean or Pelasgian wall, built of polygonal stones, without mortar, exists so far north as Düsternbrook, near Kiel, in Schleswig-Holstein.
 16. Ueber die Tyr. Pel. in Etr. Leips. 1842.
 17. Varronianus, i. sec. 10.
 18. Heyne, Exc. Virg. Æn. iii.
 19. The religion of Rome furnishes many other traces of Etruscan influence:—*ex. gr.*, the ceremonies of the augurs and haruspices were Etruscan, and the lituus, or augur's staff, may be seen on old Etruscan monuments. The Tuscan Fortune, Nortia, the etymology of whose name (*ne-vertō*) coincides with that of the Greek Ἀτρωπος (the unchangeable,) had the nails, the emblem of necessity, as her device; and hence the consul marked the commencement of the year by driving a nail.

The Roman Hymen, the god of marriage, was Talassius; a fact which illustrates one of the incidents in the tradition which Livy (book i. c. ix.) adopts respecting the rape of the Sabine virgins.

The name Talassius was evidently derived from the Tuscan name Thalna, or Talana, by which was designated the Juno Pronuba of the Romans, and the Ἥρη τελειά of the Greeks.

20. Owing to the existence of the Pelasgian element in Latin, as well as in Greek, an affinity can be traced between these languages and the Sanscrit in no fewer than 339 Greek and 319 Latin words.

21. See Donaldson's Varron., c. iii.

22. Leps. de Tab. Eug., p. 86.

23. B. C. 354.

24. Varronianus, c. iii.

25. See Grotefend, Rud. Ling. Umbr. Hanov. 1835; and Lassen. Beitrage zur Eug. Tafeln. Rhein. Mus. 1833.

26. Liv. vii. 11.

27. A. U. C. 361; B. C. 393.

28. Liv. x. 20.

29. Lect. on Rom. Hist. l. xxxiii.

30. A. U. C. 664; B. C. 90.

31. Pp. 86–89.

32. Micali, Tav. cxx.

33. Orellii Inscr. 1384.

34. Cities of Etruria, i. p. 225.

35. See Etrusc. Alphabet. Lanzi, Saggio di L. E. i. 208.

36. Herod. i. 167.

37. Virg. Æn. viii. 597.

38. Dennis, ii. 44.

39. Ibid. ii. 53.

40. Ibid. ii. 55.

41. Varron., p. 127.

42. Etrusk. i. p. 451.

43. Schoell. Hist. de Lit. Rom. i. p. 42; Orell. Insc. 2270.

44. Circ. A. D. 218.

45. De L. L. vii. 26, 27, or vi. 1–3.

46. Varronianus, vi. 4.
47. See ex. *gr.* Liv. i. 26.
48. S. V. V. Plorare, Occisum, Pellices, Parricidi, Quæstores, &c.
49. Lib. i. 26
50. H. N. xxxii. 2.
51. Ch. vi.
52. Dionys. x. 57.
53. Liv. iii. 54, A. D.
54. Nieb. R. H. iii. 264.
55. A. U. C. 428–50, Arnold; 423–44, Niebuhr.
56. Page 499.
57. Rom. Hist.
58. Varron. vi. 20.
59. Orell. No. 550.
60. Ibid. No. 552. Meyer's Anth. Nos. 1, 2; where see also No. 5.
61. B. C. 259.
62. Orellius, No. 549.
63. Liv. xlii. 20.
64. Tac. Ann. ii. 49.
65. A. U. C. 568; B. C. 186.
66. Livy, xxxix. 18.
67. Schoell, i. 52.
68. Ver. 276.
69. Lib. vi. 3, 47.
70. See Bythner's *Lyra Prophet.*
71. See epitaph on L. C. Scipio.
72. See Bant. Table.
73. Elem. Doc. Met. iii. 9.
74. P. 212.
75. Ep. Phal. xi.
76. The term *axamenta* is derived from the old Latin word *axo*, to name.

77. Lib. i. 26.
78. Pro Rab. 4, 13.
79. Brutus, xix.
80. Liv. xxv. 12.
81. Liv. v. 16.
82. Elem. Doc. Metr. iii. 9.
83. Lays of Rome, Preface, p. 19.
84. Alterno terram quatiunt pede.—Hor. Od.
85. See Meyer, Anthol. Lat. 207, 212.
86. Gray's Works, ii. 30–54.
87. A. U. C. 513; B. C. 241.
88. B. C. 240; A. U. C. 514.
89. B. C. 81; A. U. C. 673.
90. A. D. 14.
91. A. D. 138.
92. Brut. 19; Tusc. Dis. i. 2; iv. 2.
93. Lib. ix. 36.
94. De Rep. i. 20.
95. Lib. iv. 7, 13, 20.
96. In Virg. *Æn.* i. 372. See also Cic. Or. ii. 12; and Quinct, Ins. Or. x. 2, 7.
97. Cic. Brut. 16.
98. Hor. Ep. II. i. 139, &c.
99. Sermon. i. 4, 6.
100. Virg. Georg. II. 385; Tibull. II. i. 55; Catull. 61, 27.
101. Sub voc.
102. Bernhardt's Grundriss, 379; Diomedes, Gr. iii. 487; Val. Max. ii. 4; Festus v. person. fab.

103. Now St. Arpino.
104. Cic. Ep. ad Pap.
105. Juv. Sat. iii. 172.

106. V. Schlegel, lect. viii.

107. B. C. 364; A. U. C. 390.

108. Livy, vii. 2.

109. Lect. R. H. lxx.

110. Lib. xxvii. 34: xxiv. 20.

111. Liv. i. 9, 35.

112. Ibid. i. 35.

113. Elem. Doctr. Metr. iii. 9.

114. 71.

115. Ep. II. i. 69.

116. Liv. vii. 2.

117. Brut. 72.

118. B. C. 240.

119. Noct. Att. See also Quinct. I. O. x. 2, 7.

120. See Bothe, Poetæ Scen. Roman. Trag.

121. For the slight differences between a Greek and Roman theatre, the reader is referred to Smith's Dictionary of Antiquities, *sub voce*.

122. Ep. ad Fam. vii. 1.

123. Roman critics divide comedy into *Comœdia Palliata*, in which the characters, and therefore the costume, were Greek; and *Togata*, in which they were Roman. *Comœdia Togata* was again subdivided into *Trabeata*, or genteel comedy, and *Tabernaria*, or low comedy. The *Fabulæ Prætextatæ* were historical plays, like those of Shakspeare.

124. Klussman, Frag. Næv.

125. Cic. Cat. 14.

126. Noct. Att. i. 24; xvii. 21.

127. A. U. C. 519.

128. A. U. C. 550; B. C. 204.

129. B. C. 367.

130. B. C. 300.

131. B. C. 312.

132. Cic. Verres, i. 10.

133. See Arnold's Rome, l. 289.

- 134. *Miles Glorios.* II., ii. 56.
- 135. *A. Gell.* iii. 3.
- 136. B. C. 204. See *Cic. Brut.* 15.
- 137. *Ep.* ii. 153; *Brutus*, 19.
- 138. *Pierron, Hist. de la R.* 42.
- 139. *Lib.* i. 198.
- 140. *Cic. Brut.* 19; *Macr.* vi. 2.
- 141. *Brutus*, 76.
- 142. *Meyer's Anthol. Lat.*
- 143. *Meyer's Anthol. Lat.*
- 144. II. *Epist.* i. 49.
- 145. *Horace*, 1 *Serm.* iv. 10.
- 146. A. U. C. 515.
- 147. *Claudian*, xxiii. 7.
- 148. *Silius It.*
- 149. B. C. 204.
- 150. B. C. 198.
- 151. B. C. 189.
- 152. *Meyer, Anthol. Vet. Rom.* No. 19.
- 153. *Meyer*, No. 16.
- 154. *Smith's Dict. of Biograph.* s. v. *Ennius*.
- 155. *Ep.* ii. 50.
- 156. *Meyer, Anthol.* 515–585.
- 157. *Cic. Brut.* 76.
- 158. *Andromache*.
- 159. *A. Gellius*.
- 160. *Pierron, Rom. Lit.* p. 74.
- 161. B. C. 280.
- 162. B. C. 214.
- 163. *De Nat. Deor.* i. 42.
- 164. See *Lecture vii.* of A. W. V. *Schlegel*.

165. Ep. ad Pison. 202.

166. From Tzur, צור.

167. Colman illustrates the preface to his translation of Terence with an engraving from a bas-relief in the Farnese Palace, in which these flutes are introduced. The original represents a scene in the Andria, and contains Simo, Davus, Chremes, and Dromo, with a knotted cord.

168. I. O. ii. 10.

169. Donatus says, “Diverbia (*the dialogues*) histriones pronuntiabant; cantica (*the soliloquies*) vero temperabantur modis non a poetâ sed a perito artis musicæ factis.”

170. Cic. de Orat. iii. 45.

171. Ibid. 41.

172. Phorm. Prol. 18; Ecl. iii. 96.

173. A. U. C. 527; B. C. 227.

174. A. U. C. 570; B. C. 184. See Cic. Brut. 15.

175. Lect. lxx.

176. A. Gell. iii. 3.

177. See Smith’s Biog. Dict. s. v.

178. Lect. on Rom. Hist. lxx.

179. Quint. x. 1, 99.

180. De Off. i. 29.

181. Lib. i. 24.

182. Quint. x. 1, 90.

183. Hor. Ep. ii. 1, 58.

184. Bacch. ii. 2.

185. The plot of the Phasma of Menander is as follows:—A woman who has married a second husband has a daughter concealed in the next house, with whom she has secret interviews by means of a communication through the party-wall. In order the better to carry on her clandestine plan, she pretends that she has intercourse with a supernatural being, who visits her in answer to her invocations. Her step-son by accident sees the maiden, and is at first awe-struck, thinking that he had beheld a goddess; but, discovering the truth, he is captivated with her beauty. A happy marriage, with the consent of all parties, concludes the play.

186. De Sen. 50.

187. Act v. scene i.

188. See Plaut. Ed. Var. pp. 1320 and 2095.

189. See Prol. 18.

- 190. See act iv. scene ii.
- 191. De Opt. Gen. Dic. i.
- 192. Noct. Att. ii. 33.
- 193. Varro.
- 194. Horace.
- 195. Varro.
- 196. De Opt. Gen. Orat. i.
- 197. Brut. 258.
- 198. Lib. vii. 3.
- 199. Ep. ii. 1.
- 200. B. C. 193.
- 201. See Life of Ter. in Ed. Varior.
- 202. See Smith's Dict. of Ant. s. v.
- 203. B. C. 166; A. U. C. 588.
- 204. Valerius Paterc.
- 205. Phorm. v. viii.
- 206. Andr. v. ii.
- 207. Eunuchus, v. iv.
- 208. Fr. Incert. 6.
- 209. Satis pol, &c., iv. 4, 1.
- 210. Hier. Chron. Ol. clv. 3.
- 211. B. C. 166.
- 212. De Orat. ii. 81.
- 213. Act i. scene i.
- 214. Act v. scene iii. 25.
- 215. A. U. C. 592; B. C. 167.
- 216. In Vita Ter.
- 217. Act v. scene ix.
- 218. Act ii. scene iii.
- 219. A. U. C. 590; B. C. 163.
- 220. Spect. No. 502.

221. Prol. 46.
222. Prol. 27.
223. A. U. C. 592; B. C. 161.
224. See Prol. i.
225. B. C. 165; A. U. C. 588.
226. See Prol. ii.
227. A. U. C. 593; B. C. 161.
228. Warton, in the Adventurer.
229. Cic. Brut. 167.
230. Quint. x. i. 100
231. Lib. xiv. 20.
232. Lib. i. 2.
233. Lib. iv. ii.
234. De Fin. ii. 4; Tusc. Dis. iv. 31.
235. Dict. Univ. s. v.
236. See Smith's Dict. of Antiq. s. v.
237. See on this subject Lange, Vind. Trag. Rom. Leips. 1823.
238. Hor. Serm. i. 9, 23; Ep. Pis. 55; Mart. Ep. viii. 18.
239. Juv. Sat. x. 80.
240. Liv. xxii. 49.
241. Cic. Att. xvi. 2, 5.
242. Cic. Fam. x. 32.
243. See Cic. de Off. ii. 16; Plin. H. N. 36, 3, &c.
244. Arist. Poet.
245. Epist. II. i. 182.
246. Asinius Pollio is said by Seneca (Controv. iv. Præf.) to have introduced the practice of poets reading their works to a circle of friends.
247. Ecl. iii. 86.
248. Math. Hist. of Class. Lit.; Bernhardt, Grund. 366.
249. Hier. in Eus. Chron. OL. 156, 3.
250. Cic. Brut. 64.

251. Plin. N. H. xxxv. 1, 4.
252. N. A. i. 24; Meyer, Anth. xxiv.
253. Cic. de Am. 7.
254. Pers. Sat. i. 77.
255. Hor. Ep. II. i. 55.
256. Ad Heren. iv. 4 and 11, 23.
257. Varro ap. Gel. vii. 14.
258. Cic. de Div. i. 14; Orat. iii. 39.
259. See Smith's Dict.
260. De Pac. Dul. A. Steigl. Leips. 1826.
261. Pierron, p. 162.
262. Cic. de Am. vii.
263. Diom. iii.
264. Cic. Brut. 64.
265. Lib. iii. 7, 11.
266. Cic. Brut. 64; Gell. xiii. 2; Brut. 28.
267. Cic. de Leg. ii. 21; Pro Arch. ii.
268. Bernhardt, 367; Hor. Ep. II. i. 56; Quint, x. i. 97.
269. De Divin. i. 22; Bothe, Poet. Scen. fr. p. 191.
270. Bothe, p. 246.
271. Tusc. Disp. ii. 10; Bothe, p. 239.
272. Bothe, p. 238.
273. Ibid. p. 231.
274. Hor. Ep. II. i. 55.
275. See Nieb. Lect. 88.
276. B. C. 279.

277. The etymology of σίλλοι is unknown. Casaubon derived the word from σιλλαίνειν, to scoff. The probability, however, is that the substantive is the root of the verb. The invention of the *Silli* has been ascribed by some to Xenophanes, the philosopher of Colophon. He was the author of a didactic poem, and his invectives were directed against the absurd and erroneous doctrines of his predecessors. Timon, a skeptical philosopher, who lived in the reign of Ptolemy Philadelphus, was undoubtedly the author of *Silli*. Some of these are dialogues, in which one of the persons is Xenophanes, whence perhaps he was erroneously considered the inventor of this kind of poetry. All

the Silli of Timon are epic parodies, and their subject a ludicrous and skeptical attack on philosophy of every kind. Fragments of Silli are preserved by Diogenes, Lucilius, and Chrysostom.—Ad. Alex. Orat. See also Brunck's *Analecta*, and Suidas s. νν. συλλαίνειν, Τίμων.

278. Hor. Sat. i. 4, 10.

279. Cic. Tusc. i. 2.

280. Aurelius Victor states (*De Vit. Illust.* xlvii.) that Cato took lessons in Greek from Ennius.

281. Juv. Sat. i. 20.

282. Hieron. Chron. Euseb.

283. In defence of the chronology of Lucilius' life, see Smith's *Dictionary of Biography*, s. v. Lucilius.

284. Vell. Paterc. ii. 9.

285. See Sat. l. iv.; l. x.; l. i. 29, &c.

286. De Orat. ii. 6; De Fin. i. 3.

287. Inst. Or. x. i.

288. Inst. Div. vi. 5.

289. Hor. Sat. l. x. 46.

290. Nieb. Lect. lxxxviii.

291. Lib. ii. 24; xix. 9.

292. See Nieb. Lect. lxxix. and Schol. in Cic. Orell. ii. p. 283.

293. Suet. de Clar. Rhet. iii.

294. The fragments of the ancient Roman historians have been collected by Augustus Krause, and published at Berlin in 1833.

295. De Orat. ii. 12.

296. Pro Arch. x.

297. Dion. xvi. 6; Nieb. H. R. iii. 356.

298. Lib. i. 44, 45; ii. 40; viii. 30, &c.

299. Lib. xxii. 7.

300. Pol. i. 14.

301. Lect. R. H. iii. xxvi.

302. Lib. ii. 12.

303. Liv. xxii. 7.

304. Lib. xxiii. ii.; B. C. 216; A. U. C. 538.

305. A. U. C. 544; B. C. 210.

306. Liv. xxvi. 23.

307. Ibid. 28.

308. Ibid. xxvii. 29.

309. Ibid. xxi. 31.

310. Dionys. i. 6.

311. Liv. vii. 3.

312. See, on this subject, Lachmann de Font. Hist. Ti. Liv.

313. See Dr. Smith's Dict. of Antiq. s. v.

314. N. A. vii. 14.

315. Lib. xxv. 39; xxxv. 14.

316. A. U. C. 586; B. C. 168.

317. A. U. C. 599; B. C. 155.

318. Cic. de Orat. ii. 37; Quint. xii. 1.

319. Suet. de Gram. Ill. 2.

320. De Senec. 4.

321. Liv. xxxiv.

322. B. C. 171.

323. Plin. H. N. vii. 31.

324. A. U. C. 605.

325. Livy (xxxix. 40) and Niebuhr (Lect. lxix.) state that Cato died at the age of ninety; Cicero (Brut. 15, 20, 23) and Pliny, at the age of eighty-five.

326. Valerius Maximus relates the following anecdote of the respect in which this virtuous Roman was held by his countrymen:—At the Floralia, the people were accustomed to call for the exhibition of dances, accompanied with acts of great indecency. Cato on one of these occasions happened to be present, and the spectators were ashamed to make their usual demand until he had left the theatre. Martial also alludes to this anecdote in one of his epigrams.

327. Hor. Od. ii. i.

328. Plut. Life of Cato.

329. Cicero tells us (De Orat. ii. 64) that, when censor, he degraded L. Nasica for an unseasonable jest.

330. Lib. xxxix. 40.

331. About A. U. C. 600.

332. Cato, iii.

333. See frag. of book iv. Krause.

334. C. Nepos in Vita.

335. Lib. v. Krause, p. 114.

336. Lib. i. 12.

337. The hocus-pocus of Cato resembles Latin about as nearly as did the gibberish of the Spanish witches in the days of witch-finding. "In nomine Patricâ Aragueaco Petrica agora agora valentia jouando goure gaito goustra."

338. Meyer, Frag. Rom. Orat.

339. See, ex. *gr.* Liv. xxxix. 40.

340. Brutus.

341. Lect. R. H. lxix.

342. Brut.

343. Gell. xi. 8.

344. Serv. *Æn.* ix. 70.

345. Macrob. ii. 16.

346. A. U. C. 608.

347. A. U. C. 608.

348. Cic. de Leg. ii. 2; Brut. 26.

349. Cic. Brut. 25.

350. Ibid. 26.

351. Gell. ii. 13.

352. See Nieb. Lect. V. on Rom. Lit.

353. Brut. 21.

354. B. C. 133.

355. Liv. i. 55.

356. Lib. xi. 14.

357. Athenæus, iv. 168.

358. Brut. 35.

359. See Cic. de Leg. i. 2; Brut. 67.

360. Lect. iii. xlv.

361. Numa, c. i. See Niebuhr, Lect. III. xli.

362. A. U. C. 678.

363. A. U. C. 691.

364. Lib. xxx. 19.

365. There is one instance to the contrary, (Liv. xxxviii. 23,) in which Quadrigarius makes the number of the slain 40,000, Antias only 10,000.

366. Plut. Romulus, 14.

367. Liv. xxvi. 49.

368. Lib. xxxii. 6.

369. Lib. xxxiii. 10.

370. Lib. xxxiii. 30.

371. De Clar. Rhet. 3.

372. Brut. 64 and 88.

373. Jug. 95.

374. Gell. vi. 3, 4.

375. Appius Claudius Cæcus was also author of a moral poem on Pythagorean principles, which was extant in the time of Cicero, (Brutus, 16.)

376. B. C. 280.

377. About B. C. 221.

378. Lib. xxxv. 8; xl. 46.

379. H. N. vii. 43, 44.

380. Brut. 14, 19, de Sen.

381. Cic. Cat. 4, 12; de Sen. 4; Brut. 14, 18.

382. Noct. Attic. iv. 18.

383. Brut. 21.

384. Meyer, Orat. Rom. Fragm.

385. B. C. 149; A. U. C. 605.

386. A. U. C. 580.

387. A. U. C. 622.

388. De Orat. 153.

- 389. Sallust. Cat. 25.
- 390. Orat. iii. 56.
- 391. Brut. 33.
- 392. Ibid. 36.
- 393. Pro Rosc. 25; pro Arch. 60; in. Verr. iv. 59.
- 394. Orat. II. i.
- 395. Pro Cluent. 50.
- 396. De Orat. ii. 48.
- 397. B. C. 122.
- 398. De Orat. i. 52; Brut. 43.
- 399. B. C. 95.
- 400. B. C. 92.
- 401. B. C. 161; A. U. C. 593.
- 402. A. Gell. xv. ii.
- 403. De Cl. Or. 143, 145.
- 404. Pro Cluent. 51.
- 405. De Orat. ii. 54.
- 406. Cic. de Or. ii. 65; Plin. H. N. xxxv. 4.
- 407. Macrobius, Sat.
- 408. See Brutus, *passim*.
- 409. Brutus, 158.
- 410. De Fam. iv. 5.
- 411. Cic. Philip. ix. 5.
- 412. Brut. xcii.
- 413. Ad Att. vi. 6.
- 414. Ad Fam. viii. 2.
- 415. Smith's Dict. of Antiq. s. v.
- 416. Brut. 95.
- 417. Quint. xii.; ch. x.; Brut. Orat. ad Br. in many places.
- 418. A. Gell. i. 5.
- 419. A. Gell. i. 5.

420. Cic. Muræn. 8, 19; Off. ii. 19, 65.
421. Hor. Od. II. i. 13.
422. Cic. pro Muræn.
423. Inst. Or. xii. 7.
424. De Orat. 44.
425. De Leg. ii. 23.
426. A. U. C. 552.
427. Lib. xxx. 1.
428. De Or. i. 45.
429. Dig. I. ii. 39.
430. De Or. ii. 55.
431. Lib. xvi. 5; Dig. L. 16, 157.
432. B. C. 24, 25.
433. De Lat. Lin. iv. 2; iv. 10; v. 7.
434. H. N. vii. 1.
435. De Orat. iii. 21.
436. Cornelius Nepos ait litteratos quidem vulgo appellari eos qui aliquid diligenter et acute scienterque possint aut dicere aut scribere.
437. Sueton. de Illust. Gram.
438. Lect. R. H. cvi.
439. Plin. H. N. v. 72.
440. Cic. pro Sen.
441. Schlegel Lect. viii.; Müller's Dor. iv. 7, 5.
442. Diog. Laert. iii. 18.
443. Xen. Hell. i. 23.
444. Müller's Dorians, Trans. ii. 374.
445. Or. Tr. ii. 515.
446. Cic. pro Rab. 12; de Orat. ii. 59. See also fragm. of Syrus' Mimes.
447. Bothe, Po. Sc. Lat. fragm. vol. v.
448. Sat. i. x. 6. See also Sen. Controv., and Nieb. H. R. ii. p. 169.
449. Hieron. Eus. Chron.

450. Pl. Ep. vi. 21.
451. A. Gell. xv. 25.
452. Suet. Cæs. 52.
453. Cic. ad Fam. x. 28.
454. Pl. H. N. xii. 2, 6.
455. Tac. An. xii. 60.
456. Ad Fam. vii. 15.
457. Ibid. xi. 28.
458. Ad Fam. xii. 18.
459. Sen. Controv. vii. 3; Ep. 8, 94, 108.
460. Pl. H. N. viii. 51.
461. S. v. Ὀρχησίς.
462. Hist. Rom. i.
463. Pl. Ep. vii. 24.
464. Juv. vi. 65.
465. Tac. Ann. i. 77.
466. Suet. Ner. 16, 26.
467. Juv. i. 35; vi. 44.
468. Lib. ix. 29; xi. 13.
469. Suet. Ner. 54.
470. Lib. i. 925; iv. 1.
471. Lib. i. 831; iii. 261.
472. Clint. F. H.
473. Hier. Chron.
474. The criticism of Cicero is unjust:—"Lucretii poemata ita sunt non multis luminibus ingenii multæ tamen artis."—Ep. ad Qu. fratr. ii. 11.
475. See A. Gell. Noct. Att. i. 21.
476. Lib. ii. 352.
477. Lib. v. 166.
478. Lib. vi. 378.
479. Lib. v. 1197.

- 480. Lib. vi. 75.
- 481. Lib. v. 83, 1163.
- 482. Lib. v. 1202.
- 483. Lib. i. 81.
- 484. Lib. i. 71, 147.
- 485. See Ritter, iv. p. 89.
- 486. Lib. v. 525.
- 487. Lib. iii. 265, 413.
- 488. Lib. iii. 302.
- 489. Lib. iv. 1072.
- 490. Lib. v. 1012.
- 491. De Fin. ii. 22.
- 492. Lib. v. 1152.
- 493. Lib. iii. 988.
- 494. Lib. ii. 7.
- 495. Diog. La. x. 3.
- 496. Sen. de Benef. iv. 19.
- 497. Diog. La. x.
- 498. Georg. ii. 490.
- 499. Georg. iii. 478.
- 500. Plin. xxxvii. 6.
- 501. Suet. v. Jul. 73.
- 502. See Carm. cxvi.
- 503. Anthol. 208.
- 504. Apuleius.
- 505. Carm. li.
- 506. Od. IV. iii. 23.
- 507. Od. III. xx. 13.
- 508. Lect. cvi.
- 509. Lib. v. 132, 166.
- 510. Cic. Brut. 82; ad Fam. xv. 21; Dial. de Or. 18; Quint. xi. 115.

511. Cat. liv.

512. Sat. I. x. 16.

513. Cat. Carm. X. xcv.

514. Ecl. 9.

515. Suet. de Ill. Gram. 2–9.

516. Wernsdorf, Po. Lat. Mi.

517. H. N. xxv. 2.

518. Od. ii. 9; Sat. I. x.

519. Wernsdorf.

520. Sat. II. v. 41.

521. Hieron. in Euseb. Chron.

522. See Meyer's Anthol. Lat.

523. Ibid. 77, 78.

524. Lib. x. i. 87.

525. Hor. Sat. I. x. 46.

526. Anthol. 77, 78.

527. See, on this subject, Niebuhr's Lectures on Roman History, cvi.

528. Mart. Ep. xii. 68.

529. See Quint. de Inst. Or.

530. Servius.

531. Scalig. in Euseb. Chron.

532. B. C. 55.

533. See v. 7.

534. Ecl. ix. 18.

535. B. C. 40.

536. B. C. 38.

537. Alexander, an Italian abbot, states, on the evidence of two spurious verses, that he was governor of Naples and Calabria.

538. Ep. viii. 56.

539. Carm. xv. 12.

540. Hor. Sat. I. v. 49.

541. Carm. i. 3.

542. There has been much discussion respecting the precise place of his burial. (See Cramer's Anc. It. ii. 174.) Addison, in opposition to the popular belief, thought it almost certain that it stood on that side of the town which looks towards Vesuvius. (Remarks on Italy, p. 164; sec. ed.)

543. Meyer, Anthol. 95.

544. Dial. de Caus. Corrup. El. 13.

545. Hor. Sat. I. v. 41.

546. Macrob. Saturn. I. *sub fine*.

547. Plin. N. H. vii. 30.

548. See Meyer's Anthol. 85–111.

549.

A litle noursling of the humid ayre,
A gnat unto the sleepe sheheard went;
And, marking where his ey-lids twinckling rare
Shewd the two pearles, which sight unto him lent,
Through their thin coverings appearing fayre,
His litle needle there infixing deep,
Warnd him awake, from death himselfe to keep.

Spenser.

550. Faery Queene, book iii. c. ii. 3. See Dunlop, iii.

551. Spenser, adopting the incorrect orthography and etymology of Petrarch, writes the word *Æglogue*, and derives it from αἶγων λόγοι—tales of goats or goatherds.

552. Sat. I. x. 44.

553. Id. x. and xxi.

554. In Euseb. Chron.

555. B. C. 39.

556. Præl. de Sacr. Po. He. xxi. p. 289.

557. Orat. ad Sanctos, 19, 20; apud Euseb.

558. In 1 Cor. ii.

559. Adv. Jor. lib. i.

560. *Contra Faust*, i. 13, 2.
561. *Orat. Paræn.*
562. See notes to Pope's *Messiah*.
563. *Decl. and Fall.* c. xx. vol. iii. p. 269.
564. *A. Gell. N. A.* xvii. 10.
565. *Misc. Works*, vol. i.
566. *G.* iv. 560–564.
567. *G.* ii. 171.
568. See Dunlop, *H. of R. L.* iii. s. v. *Virg.*
569. *B. C.* 27.
570. *Æn.* ii. 567–589.
571. *Ibid.* vi. 511.
572. *Æn.* viii. 626.
573. *Ibid.* i.
574. *Book v.*
575. *Macrob. Saturn.* v. 13.
576. *Saturn.* vi. 1, 2, 3.
577. Compare *De Nat. Rer.* ii. 24; vi. 136, 1143–1224; with *Georg.* ii. 461, 467, &c.; iii. 478, 505, 509, &c.
578. *Iliad*, Z. 506; *Æn.* xi. 492.
579. *Spence's Anecdotes.*
580. See, on this subject, Dunlop's *Hist.* iii. 151.
581. See Clarke's *Homer*, II. iii. 363, note.
582. *H. N.* xxxv. 10.
583. *Lect. cvi.* on *R. H.*
584. *Introd. Lect.* iv.
585. *Serv. ad Æn.* i. 98; ii. 797; iii. 10.
586. Meyer, *Anthol.* 85, 93, &c.
587. *Od. IV.* iii. 23.
588. *De Off.* i. 42.
589. *Sat. I.* vi. 86.

590. Ibid. I. vi. 71.
591. Od. III. xxx. 10.
592. Ibid. IV. ix. 2.
593. Od. III. iv. 9.
594. Sat. I. vi. 71.
595. See *ex. gr.* Ep. II. 41; Od. III. vi. 37; Sat. II. ii. 112.
596. Ep. II. i. 70.
597. Ibid. ii. 41.
598. Sat. I. vi. 76.
599. Sat. I. vi.
600. Ibid. vi.
601. Ibid. iv. 103.
602. Ep. II. ii. 43.
603. Sat. I. vi.
604. Od. II. vii.
605. Ep. II. ii. 49.
606. Suet. in Vita.
607. Ep. II. xiv. 17.
608. Sat. I. vi. 114.
609. Ep. II. ii. 51.
610. Sat. I. vi.
611. B. C. 41.
612. Sat. I. v. 39.
613. Ibid. vi. 55.
614. Sat. I. v.
615. According to Bentley, he composed them in the twenty-sixth, twenty-seventh, and twenty-eighth years of his age; according to Clinton, in the twenty-fifth, twenty-sixth, and twenty-seventh.
616. *Ex. gr.* viii. xi. xii.
617. See Od. I. 16, 22.
618. Sat. II. vi. 1.
619. Ibid. 8.

620. Ibid. 10.
621. Ibid. vi. 33.
622. Ibid. 38.
623. Ibid. 47.
624. Ep. I. 18.
625. Sat. II. vi. 62.
626. Ibid. vi. 61.
627. Ibid. iii. 11.
628. Ep. I. iv. 15; xx. 24; Suet. V. H.
629. Ep. I. xiv.; Od. I. xvii.
630. Sat. II. vi. 65.
631. Od. III. 4.
632. Sat. II. i. 45.
633. Clinton, Fasti: B. C. 35, 34, 33.
634. Sat. II. vi.
635. B. C. 31.
636. *Ex. gr.* ix. xvi.
637. See Ep. VII. ix.
638. B. C. 29.
639. Clinton, F. H.
640. Lib. iii. 30.
641. Lib. iii. 29.
642. Ep. I. i. 1–10.
643. See Vit. Hor. Suet.
644. Ep. I. xx.
645. Suet. Ep. Aug. in Vita.
646. Ep. I. vii. 26; 3.
647. Ep. I. xx.
648. Od. II. iv. 22.
649. This feud continued until the time of Persius. (See Sat I. 141, and Gifford's note.)
650. See De Chaupy, Eustace, Milman, &c.

651. Od. III. 13.
652. Découverte de la Maison d'Horace, tom. iii. p. 364.
653. Illust. to Childe Harold, p. 42.
654. Hist. of Rom. Lit. iii. 213.
655. Od. I. vii. 29.
656. See Milman's Hor. p. 97.
657. Ep. I. xvi. 5. See also Eustace's Class. Tour.
658. Ep. I. xviii. 105.
659. Ep. I. xiv. 2.
660. Ep. I. xiv. 23.
661. See also Pope's imitation of this passage, Essay on Satire, part iii.
662. See Persius, Sat. I. 114.
663. Sat. I. 8.
664. Ibid. 9.
665. Ibid. v.
666. Sat. II. vi.
667. Sat. I. vi.
668. Ibid. vii.
669. Sat. II. iv.
670. Sat. I. 1.
671. Ibid. 2.
672. Ibid. 3.
673. See Prof. Anthon's Horace, Donaldson's Pindar, &c.
674. Meyer, Anthol. Rom. 114, 115.
675. Hom. Od. I. i.
676. Od. IV. ii.
677. Lib. lii. 14, &c.
678. B. C. 40
679. Tac. Ann. vi. ii.
680. B. C. 31.
681. Annal. iii. 30.

682. Hor. Sat. i. 8, 7.

683. Mart. viii. 56.

684. Plin. vii. 51; Hor. C. ii. 17.

685. Sen. de Prov. iii. 9.

686. Suet. 26.

687. Lib. ix. 4, 28.

688. The three passages quoted by Quintilian show a wanton awkwardness in arrangement almost inconceivable:—

Sole et Aurora rubent plurima

Inter sacra movit aqua fraxinos:

Ne exequias quidem unus inter miserrimos

Viderem meas.

The last of these he considers especially offensive, because he seems to be trifling with a melancholy subject.

689. Sen. Ep. 114.

690. Tac. Ann. i. 54.

691. Epp. iv. 14; vii. 4.

692. Sat. I. x.; Od. ii. 9.

693. Weichert, Poet. Lat. Rell.

694. Lib. iii. i. 18.

695. Ep. xli. i.

696. H. N. xxv. 2.

697. Tib. Op. iv. i. 180.

698. Sat. I. x. 44.

699. Ep. i. 16. See Schol.

700. Meyer's Anthol.

701. Ecl. vi. 64.

702. Cic. ad Fam. x. 32.

703. Dion Cass. liii. 23.

704. Trist. iv. 10, 5.

705. Lib. x. i. 93; i. 5, 8.

706. See Hor. Od. i. 33; Ep. i. 4.
707. El. i.
708. El. i. and iv.
709. El. i.
710. Nieb. Lect. cvii.
711. Amorum iii. 9.
712. Od. iv. 1, 3, 4, 13; Ep. i. 7, 27, 14, 33.
713. Sat. I. ii.
714. Sat. II. viii.
715. Apol. p. 279.
716. Lect. on R. H. 107.
717. Meyer's Anthol. Vet. Lat. Ep. No. 122.
718. B. C. 45; A. U. C. 709.
719. Schol. in Propert.
720. Clinton.
721. Niebuhr.
722. Trist. iv. 10, 45.
723. Prop. IV. i. 128, and ii. 25.
724. Ibid. IV. i.
725. Ibid. II. xiv. 15–18.
726. Ibid. I. 1, 2; x. ii. 16.
727. Ibid. I. ii. 27.
728. Ibid. II. iii. 17.
729. Prop. IV. i. 63.
730. Inst. Orat. x. 1.
731. Trist. IV. x. 33.
732. Trist. iv. 10.
733. See Cic. Brut. 446.
734. Metam. xiii.

735. Controv. ii. 10.
736. See distinction between these in ch. viii.
737. Amor. II. xi. 10.
738. Ep. ex Ponto, ii. 10.
739. Trist. IV. x. 100.
740. Ibid. IV. x. 90, and III. i. 52.
741. Ibid. I. ii. 107.
742. Ibid. iv. 10, 101; Ep. ex Pont. p. ii. vii.
743. See Class. Museum, iv. 13.
744. Hist. Abreg. de la Lit. Rom.
745. Trist. III. i. 65.
746. Ex Ponto, IV. ix. 82.
747. Trist. I. iii.
748. Ibid. V. ii.
749. Ex Pont. IV. ix. 97.
750. See II. xviii. 19.
751. Rem. Am. 43.
752. Trist. i. vi. 30.
753. Metam. ii. i.
754. Ibid. i. 89.
755. Ibid. iv. 55.
756. Ibid. viii. 628.
757. Ibid. iii. 407.
758. Ibid. xi. 592.
759. Ibid. viii. 152.
760. Ibid. vii. 661.
761. Ibid. vii. 11.
762. Trist. ii. v. 549.
763. Hor. Od. I. 33.
764. Lib. iii. 7.
765. Ar. Am. iii. 205.

766. Plin. H. N. xxxii. 54.

767. In. Or. x. 98.

768. Ep. ex Pont. iv. 16, 33.

769. See Bernhardt, Gr. 440.

770. Bern. 409.

771. Quint. x. 1.

772. Ibid. iv. 16, 6.

773. Ep. ii. 77.

774. Ann. ii. 23; Suasor. I.

775. Ex Pont. iv. 16, 13.

776. Amor. ii. 18, 27.

777. Bernhardt, 451.

778. Ep. ex Pont. iv. 16, 13.

779. Smith's Dict. Glaser im Rhein. Mus. N. F. i. 437.

780. Lib. i. 798–897; iv. 763.

781. Hor. Od. I. xxxi.

782. Cicero, notwithstanding his opposite politics, admired Marius, to whom he was distantly related, and thought it an honour to have been born near Arpinum. He quotes a saying of Pompey's (Cic. de Leg. ii. 3,) that Arpinum had produced two citizens who had preserved Italy. Valerius Maximus thinks that Arpinum, in this respect, enjoyed a singular privilege:—*Conspicuæ felicitatis Arpinum unicum, sive litterarum gloriosissimum contemptorem, sive abundantissimum fontem intueri velis.*

783. De Orat. ii. 1.

784. Brut. 56.

785. Meyer, Anthol. Rom. 66.

786. B. C. 89.

787. Pro Quint. B. C. 81.

788. B. C. 79.

789. De Fin. 5, 1.

790. B. C. 77.

791. B. C. 76; æt. 31.

792. T. Q. v. 3.

793. B. C. 74.

794. B. C. 69.

795. In Pis. iii.; ad Fam. v. 2.

796. B. C. 61.

797. B. C. 58.

798. Ad Att. x. 4.

799. Ad Fam. x. iv. 4; ad Att. iii. 13.

800. Pro Planco, 26.

801. In Pis. xxii.; Post red. xv.

802. B. C. 53.

803. Att. ii. 5.

804. Niebuhr.

805. See Letters to Att. *passim*.

806. B. C. 46.

807. B. C. 43.

808. He wrote during that year the De Officiis, De Divinatione, De Fato, Topica, and the lost treatise De Gloria, besides a vast number of Letters.

809. Pro Muræna, 3.

810. De Leg., introduction.

811. Poverty and barrenness were most probably instrumental in producing the diffuseness and exuberance of the Asiatic and Rhodian schools. Their literature and philosophy were deficient in matter, and they sought to hide this defect by the external ornaments of language. For a long time Athens, strong in her pure classic taste, successfully resisted this influence; and in the time of Cicero the tastes of the two schools were in direct opposition. But the flowers of rhetoric are captivating; another generation saw the supremacy of rhetoric at Rome; and the days of Petronius Arbiter (Satyr. book ii.) witnessed the migration of Asiatic taste to Athens.

812. Cicero tells us (de Orat. i. 57, 58) that Galba, Antony, and Sulpicius were ignorant of jurisprudence; that the chief requisites were elegance, wit, pathos, &c. For legal knowledge they trusted to jurisconsults. In the oration *pro Muræna*, even he himself sneers at a technical knowledge of law.

813. Delivered B. C. 81.

814. B. C. 80.

815. De Orat.

816. B. C. 70.

817. B. C. 69.

818. B. C. 66.
819. Belles Lettres, Lect. xxviii.
820. B. C. 61.
821. Schröter. Leips. 1818.
822. B. C. 56.
823. B. C. 55.
824. Born about B. C. 2.
825. B. C. 56.
826. Phil. ii.
827. Phil. i.; B. C. 44.
828. De Orat. i. 2.
829. For the arguments on this point see Smith's Dict. i. 726.
830. B. C. 55, 46, 45.
831. B. C. 47.
832. B. C. 46.
833. B. C. 45.
834. Tusc. i. 3. See also ii. 2.
835. De Off. i. 1.
836. De Div. II. ii.
837. De Fin. iii. 2.
838. Epist. iv. 18.
839. Ibid. lviii.
840. *Ex. gr.* De Div. ii. 1; Brut. 93.
841. See also T. D. ii. 4; x. b. v. ii.
842. A. U. C. 592; Gell. N. A. xv. 2.
843. Cic. de Or. ii. 37.
844. Tusc. iv. 3.
845. Ritter, H. of Ph. vol. iv. xii. 2, note.
846. Tusc. iv. 3.
847. Ac. Post. I. 2.
848. De Rep. i. 18, 19.

849. De Off. i. 43.
850. De Off. i. 43.
851. De Fin. iv. 9.
852. Tusc. i. 27, 28.
853. De Leg. ii. 13.
854. De Sen. 21.
855. B. C. 45.
856. B. C. 54.
857. Lib. i. 26, 35, 45; ii. 23.
858. Ethics.
859. Lib. i. 27, 28; ii. 39.
860. Lib. i. 29, 35, 45.
861. See Tac. Annal. I.
862. See Meyer's Anthol. 67.
863. Hor. Od. ii. 1.
864. Hieron. in Eus. Ch.
865. Catull. xii. 1.
866. B. C. 39.
867. Tac. Ann. i. 12.
868. Plin. Ep. vii. 4; Suet. Cl. 41.
869. Sat. I. x.; Carm. ii. 1.
870. Ecl. iii. 86; viii.
871. Dial. de Orat. 21.
872. Lib. x. i. 113.
873. Ad. Fam. x. 31, 32, 33.
874. Lect. R. H. cvi.
875. Plin. H. N. vii. 3; xxxv. 2.
876. See Exc. in Delph. Cic.
877. B. C. 116.
878. Cic. Brut. i. 56.
879. Cic. Acad. iii. 12.

880. Cic. Phil. ii. 18.
881. Cæs. B. G. i. 38; ii. 17.
882. Cic. ad Fam. ix. 13.
883. B. C. 43.
884. Plin. N. H. xxix. 4.
885. Quint. x. i. 95.
886. See Meyer's Anthol. 78.
887. Meyer, Anthol. Rom. 34–51.
888. See ad Att. i. 3, 5, 10, 11, 14.
889. B. C. 60.
890. Ad Fam. v. 12; xv. 21, 6.
891. Ad Att. ix. 1.
892. Consul, B. C. 74.
893. Ad Att. i. 19.
894. Cio. pro Arch.
895. Cic. Brut. 62.
896. Ad Att. i. 19; Liv. iv. 23; x. 9.
897. Hieron. Chron. Euseb.
898. Præf. Epigr. i. 3.
899. Gell. xv. 28.
900. Cic. ad Att. xvi. 5.
901. Lib. xvii. 21, 3.
902. Lib. i. 3.
903. A. Gell. vii. 18; xxi. 8.
904. Ibid. xv. 28.
905. Lactant. Inst. Div. iii. 15.
906. C. Nep. Vit. Dion. 3.
907. B. C. 80.
908. Suet. Cæs. 4; Cic. Att. ii. 1.
909. Brut. 91.
910. B. C. 81.

911. B. C. 70.
912. B. C. 62.
913. Germ. 28.
914. Annal. xiii. 3.
915. Suet. v. Jul. 55.
916. See Macr. Sat. i. 16.
917. Ibid.
918. B. C. 46.
919. B. C. 61.
920. Suet. V. Jul. 44.
921. A. Gell. i. 22.
922. Merivale's H. of R. ii. 422.
923. Suet. 44; Plin. H. N. vii. 31.
924. Cic. Brut. 72; Tac. Ann. xiii. 3; Quint. x. i. 114.
925. Meyer, Fr. Or. Rom. p. 404.
926. Nieb. Lect. R. H. xcv.
927. See Dodwell's Dissert. in Cæs. Ed. Var.
928. The friendship which existed between these great men furnishes an anecdote (Suet. V. J. C. 72) characteristic of the most amiable feature in Cæsar's character, his devoted and hearty attachment to those whom he loved. Once, when they were journeying together, they reached a cottage, in which only one room was to be procured; Oppius was ill, and Cæsar gave up the room to his sick friend, whilst he bivouacked in the open air.
929. Lect. R. H. xcv.
930. See Niebuhr, Lect. R. H.
931. Smith's Dict. in loco.
932. Brut. 71, 72, 75.
933. Præf. to book viii.
934. Suet. 56.
935. Juv. vi. 338; Suet. 56; Gell. iv. 16; Cic. Div. ii. 9.
936. Ad Att. xii. 40, 41, 44, 45; xiii. 37, 40, 48, 50.
937. Cic. Brut. 72.
938. See Nieb. L. R. H. xcv.; Suet. 66; Cic. ad Fam. ix. 16.

939. Meyer's Lat. Anthol. 68, 69, 70.

940. A. Gellius tells us (xvii. 9) that he was the author of Letters to Oppius, written in cipher, of which he gives the following interesting description:—"Erat conventum inter eos clandestinum de commutando situ literarum ut inscriptio quidem alia alius locum et nomen teneret sed in legendo locus cuique suus et potestas restitueretur." Suetonius (Vit. Cæs. 56) describes in the same way the nature of the cipher which he used, and illustrates it by saying that he used to put *d* for *a*, and so forth.

941. Matth. H. L.

942. Heind. on Hor. Sat. p. 40.

943. Dion. Cas. xi. 63.

944. Macrob. Saturn. ii. 9.

945. Dion. xliii. 9.

946. Jug. c. 30.

947. Cat. iv.

948. Bel. Cat. vii.

949. De Leg. i. 2; Brut. 64.

950. B. C. 66.

951. Lect. R. H. lxxxviii.

952. B. C. 63.

953. Cat. vii.

954. Quint. I. O. x. 1.

955. Ep. cxiv.

956. Justin, xliii. 5.

957. Born B. C. 378.

958. Ep. I. 62.

959. Tac. Ann. iv. 34.

960. Quint. x. i. 39.

961. Suet. V. Cl. 41.

962. Ep. II. 3.

963. Nisard, ii. 405.

964. Lib. xliii. 13.

965. B. C. 9.
966. See Smith's Biog. ii. 791.
967. Viz., 136 and 137.
968. Sen. Suasor. 100.
969. Euseb. Chron.
970. Sen. Proem. to Controv. V.
971. Inst. Or. x. 1.
972. See Plin. H. N. xxxiv. 39, and Tac. Hist. iii. 72.
973. See i. 50; iv. 35; vi. 27.
974. Augustus, according to Tacitus, (Ann. iv. 3,) thought Livy so violent a Pompeian that he once forbade one of his grandsons to read his history.
975. Cic. Or. ii. 12; Quint. x. 2, 7; Serv. in *Æn.* i. 373.
976. See Arnold's Hist. of Rome.
977. Lib. x. 38; iv. 7, 23.
978. Vesp. 8. See also Tac. Hist. iii. 71.
979. Or. i. 43.
980. Com. de Font. Hist. Liv.
981. *Vide* Niebuhr (Lect. on Rom. Lit. vii.,) who takes the opposite view.
982. Lib. ii. 21; iv. 7; vi. 1.
983. Val. Max. i. 7; ad Att. xiii. 8.
984. V. Hann. 22. Cornelius Nepos says that the *Alpis Graia* derived its name from Hercules having passed by that route. Probably the real derivation of the epithet is the root of the German "Grau."
985. Bell. Gall. i. 11.
986. R. L. Lect. viii.
987. Lib. ii. 56, 10.
988. Quint. x. i. 101.
989. Lib. x. i. 101.
990. Lib. viii. i. 1, 5, 56.
991. Provincialism is not an accurate term; for the worst Latin was spoken in Italy, whilst the only Latin spoken in the provinces or conquered dependencies was as polished as that of the capital.
992. Lect. R. L. viii.
993. Orell. Ins. Lat. 4145.

994. See Smith's Dict. of Biogr. sub. v.
995. Lib. vi. Præf. and Vita Vit. ed. Bipont.
996. Lib. vi. Præf. and Vita Vit. ed. Bipont.
997. Lib. ii. 6.
998. Life and Trans. of Vit. 1791.
999. See his Preface.
1000. Lib. i.
1001. Lib. ii.
1002. Lib. iii. and iv.
1003. Lib. v.
1004. Lib. vi.
1005. Lib. vii.
1006. Lib. viii.
1007. Lib. ix.
1008. Lib. x.
1009. See Philolog. Museum, vol. i. p. 536.
1010. Lib. v. i. 13.
1011. A. D. 14.
1012. Prol. lib. i.
1013. Prol. lib. iii.
1014. Lib. iii. 20.
1015. Cons. ad Polybium, 27.
1016. Prol. lib. iii.
1017. Lib. iii. 40.
1018. Lib. ii. 7.
1019. Lib. v. 4.
1020. Lib. i. 15.
1021. See Nisard, Etudes sur les Poètes Latins, tom. i. 9.
1022. Dion. Cass. lviii. 19.
1023. Tac. Ann. vi. 38.

1024. Hæc Tiberius non mari, ut olim, divisus, neque per longinquos nuntios accipiebat, sed urbem juxta; eodem ut die, vel noctis interjectu, literis consulum rescriberet; quasi aspiciens undantem per domos sanguinem, aut manus carnificum.—Tac. Ann. vi. 39.

1025. Lib. i. 6.

1026. Suet. Vit. Claud. 27.

1027. A. D. 23.

1028. Tac. Ann. I. i.

1029. *Vide* Suet. Vit. Calig. 27.

1030. Suet. Claud. 42.

1031. Lib. iv. 6.

1032. See lib. i. 2, 9; ii. 7, 8; iii. 6, 9.

1033. Ecl. viii. 10.

1034. Tac. Ann. xiv. 52.

1035. Inst. Or. ix. 2, 9.

1036. Annal. xiv.

1037. Epist. v.

1038. Lib. i. Ep. 6.

1039. Bernhardt, Grund. p. 373.

1040. A. D. 472.

1041. Nisard, Etudes, tom. i. 88, *et seq.*

1042. Tac. Ann. xv. 63.

1043. See Nisard.

1044. lxxxvi.

1045. liv.

1046. v. 156.

1047. v. 393.

1048. Of the closeness with which Seneca imitated the Greek tragic poets, the two following passages will serve as specimens:—

Animam senilem mollis exsolvit sopor.

Œdip. 788.

Σμικρὰ παλαιὰ σώματ' εὐνάζει ῥοπή.

Quis eluet me Tanais.

Hippolyt. 715.

Οἶμαι γὰρ οὐτ' ἂν Ἰστρον, οὔτε Φᾶσιν ἂν

νίψαι καθαρῶ....

Æd. Tyr. 1227.

1049. Juv. vi. 451; vii. 219.

1050. Suet. Pers. Vit.

1051. De Illust. Gram. 23.

1052. Ruperti in Juv. vii.

1053. Sat. iii. 44.

1054. Quint. I. O. ii. 7; x. 5.

1055. Quintilian (I. O. x. 96) pronounces the lyric poetry of Bassus inferior only to that of Horace; but only two lines of his poems are extant. He was destroyed by the same eruption in which Pliny the elder perished.

1056. Tac. Ann. xvi. 21.

1057. Sat. i. 12.

1058. Lib. x. 1.

1059. Trans. of Juv. and Pers. vol. i. p. lxxvii. Introd.

1060. See Spect. No. 207.

1061. Sat. ii. 71.

1062. Sat. iii. 98.

1063. De Civ. Dei, v.

1064. Sat. iii. 35.

1065. See especially ver. 61.

1066. See this argument quoted by Gifford, ii. xlvii., from H. Frere, v. 14.

1067. Sat. v. 14.

1068. Sat. I. vi. 5.

1069. Ibid. i. 118.

1070. A. P. 102.

1071. Sat. i. 91.

1072. Ibid. II. vii. 87.

1073. Ibid. i. 65.

1074. Sat. II. vi. 10.

1075. Ibid. ii. 10.

1076. Ep. II. ii. 4.

1077. Sat. iv. 12.

1078. Ep. II. i. 80.

1079. Sat. v. 10, 3.

1080. Ibid. vii. 82.

1081. Sat. i. 2–13.

1082. Ibid. iii. 9.

1083. Ibid. vii. 90, 91.

1084. Ibid. iii. 319.

1085. Sat. iii. 137, 148.

1086. Sat. ii. 1.

1087. Ibid. i. and v.

1088. Ibid. ii.

1089. Tac. Ann. xv. 38. See also Juv. S. ii.

1090. Sat. vi.

1091. Nisard, vol. i. 461.

1092. Sat. vii.

1093. Sat. x. *sub fin.*

1094. Ibid. iii. and x.

1095. Ibid. x. 56–67.

1096. The authorities from which we derive our knowledge of the inner life and social habits and affections of the Romans are:—(1.) Ancient monuments. (2.) Cicero's speeches and letters; Horace and the elegiac poets. (3.) The later classic poets, such as Juvenal, Martial, Statius. (4.) Gellius, Petronius, Seneca, Suetonius, the two Plinys. (5.) The grammarians. (6.) Greek authors, such as Plutarch, Lucian, Athenæus, &c. See, on this subject, Bekker's Gallus—Preface.

1097. Ch. viii. v. 12.

1098. Suet. V. Neron. 12.

1099. Tac. Ann. xv. 49.

1100. Tac. Ann. xv. 48.

1101. Ibid. 57.

1102. Ibid. iii. 635, or v. 811.
1103. Ep. i. 61.
1104. x. i. 90.
1105. Lib. iii.
1106. *E. g.* v. 165.
1107. Lib. vii. 63.
1108. See also iv. 14; vi. 64; viii. 66; ix. 86; xi. 49–51.
1109. Strabo, Geog. v. 167.
1110. See notes to Plin. Ep. ed. Var.
1111. Mart. Ep. viii. 66.
1112. Suet. v. Octav. 101.
1113. Ep. iii. 7.
1114. Nero and Vitellius.
1115. Introd. Lect. on R. H. viii.
1116. Lib. i. 62, 77.
1117. Inst. Orat. x. i. 90.
1118. A. D. 39.
1119. Silv. v. iii.
1120. A. D. 86.
1121. Juv. vii. 82.
1122. Silv. iv. 2.
1123. Lib. vii. 82.
1124. *Vide* Vita Gyraldi, Dial. iv. de Poet. Lat.
1125. Lib. I. i. 3, 5.
1126. Lib. ii. 2.
1127. Ibid. ii. 7.
1128. Ibid. i. 2.
1129. Ibid. ii. 6; iii. 3.
1130. Silv. ii. 5.
1131. Ibid. 3.
1132. Ibid. 4.

1133. Ibid. iii. 4.

1134. Silv. J. 6; iv. 9.

1135. Lib. i. 6; ii. 7; iv. 3, 9.

1136. Ibid. iv. 5.

1137. Ibid. 7.

1138. See Epig. vi. 21.

1139. I. O. x. 3.

1140. See a passage from Nero's Troica, in Meyer's Anthol.

1141. Nevertheless, Aratus enjoyed a large share of popularity. Cæsar and Cicero translated his works; Virgil and Manilius borrowed from them; Ovid and Maximus Tyrius compared him with Homer; and St. Paul was acquainted with his Phenomena, and quotes from it (Acts xvii. 28.) There is an English translation of his works by Dr. Lamb.

1142. Lib. iv. i. 2; x. i. 19.

1143. See Meyer's Anthol.

1144. Anthol. 52, 80, 81–84.

1145. Lib. ix. 13; v. 33; iv. 65; v. 25, is something like an acrostic.

1146. Lib. ix. Ep. 74.

1147. *Vide* Nisard, Etudes, i. 335.

1148. Lib. i. 50.

1149. Lib. xii. 18.

1150. Lib. x. 103.

1151. Ibid.

1152. Plin. iii. 3.

1153. Lib. iii. 94.

1154. Lib. x. 24.

1155. A. D. 65.

1156. Lib. iii. 94.

1157. Lib. v. 13.

1158. Lib. iii. 94.

1159. Nisard, 337.

1160. Lib. vii. 36.

1161. Lib. i. 77.

1162. Lib. vii. 16.

1163. Lib. vii. 35.

1164. Lib. xii. 31.

1165. A. D. 100.

1166. Lib. xii. 31.

1167. Lib. xii. 21.

1168. Lib. iii. 20, 21.

1169. Præf. ad lib. xii.

1170. Lib. x. 65.

1171. There are two readings of the line to which allusion is here made, viz.:—

Nobis filia fortius loquetur,

and

Non nobis lea fortius loquetur.

The latter is the one adopted.

1172. Lib. i. 5.

1173. For example, lib. iii. 48.

1174. Lib. vii. 88.

1175. Lib. vii. 89.

1176. Lib. i. 12; vii. 30.

1177. Lib. i. 1.

1178. Lib. x. 100; i. 54; iv. 46.

1179. Martial generally condemns suicide; for instance, “Fortiter ille facit qui miser esse potest,” and “Hunc volo laudari, qui sine morte potest.” But, see epigram on death of Otho (Lib. vi. 32.)

1180. Suasor. vii.

1181. A. D. 25; Tac. Ann. iv. 34.

1182. Suet. Calig. 16.

1183. A. D. 31.

1184. A. D. 30.

1185. Lib. ii. 6, 8.

1186. A. D. 98.

1187. Plin. Ep. vii. 20.

1188. Plin. Ep. ii. 1.

1189. Ep. II. xi.

1190. A. D. 117.

1191. Lect. R. H. cxix.

1192. Agric. 4.

1193. Cap. iii.

1194. Cap. ix., xxxix., xl., xliii.

1195. Cap. iv.

1196. Cap. vii.

1197. Cap. xi.

1198. Cap. xiii.

1199. Cap. xviii., xix.

1200. Cap. xxi.

1201. Cap. xxiv.

1202. Cap. xxiii.

1203. Cap. xxii.

1204. Cap. xxii.

1205. Cap. xxv.

1206. Cap. xi.

1207. From cap. xxviii.

1208. Cap. xl.

1209. Cap. xlv.

1210. Cap. xlvi.

1211. A. D. 69.

1212. A. D. 96.

1213. Hist i. 1.

1214. A. D. 117.

1215. Hist. i. 4.

1216. Hist. v. 2.

1217. Ibid. iii.
1218. Ibid. v.
1219. Ibid. ix.
1220. B. C. 62.
1221. Ann. iv. 71.
1222. A. D. 14.
1223. A. D. 68.
1224. Life of Agricola.
1225. Vit. Agric. ii.
1226. Agric. 42.
1227. Ann. xiv. 12.
1228. See A. Krause de Font. et Auctor. Suet.
1229. Cap. 57.
1230. Ep. I. 18.
1231. See e. g. Cæs. 81; Aug. 6, 94; Tib. 14, 74; Calig. 5, 57, &c.
1232. See Ep. III. 8.
1233. Ep. X. 95.
1234. Spart. L. of Had. c. ii.
1235. S. v. Τράγκυλλος.
1236. Lect. R. H. cxvi. note.
1237. De Suet. Fontibus. Berl. 1831.
1238. Ann. ii. 61.
1239. Cal. 19; Nero, 29; Tit. 3.
1240. Lib. cxvi.
1241. Book iv. 20.
1242. Book x. 9.
1243. Lect. R. H. cxxviii.
1244. See Bernhardt, Grundriss, 550.
1245. Anthol. Lat. ii. 97, Burm. or 212 Meyer. Titze ed. Flor. Prag. 1819.
1246. Ep. i. 3; ii. 2.
1247. Matth. 284.

1248. Præf. ad Controv. i. 67.
1249. A. D. 41.
1250. Tac. Ann. xii. 8.
1251. Ibid. xiii. 2.
1252. Quint. viii. 5, 18.
1253. Ibid. xiii. 42.
1254. A. D. 58.
1255. Quint. xiv. 53.
1256. Ibid. xv. 60.
1257. Ad. 65.
1258. Ep. 108.
1259. Ann. xiii.; xiv. 2.
1260. Lib. lxi. 10.
1261. Ep. 94, 95.
1262. Ep. 45.
1263. See ex. *gr.* Ep. 88, 106.
1264. See L. vii. c. 30.
1265. Anon. Life.
1266. Suet. Vit.; Hieron. Eus. Chron.
1267. Matth. H. of L. s. v.
1268. Ep. iii. 5.
1269. See Præf. to N. H.
1270. A. D. 79.
1271. Ep. iv. 43.
1272. Ep. vi. 16, 20.
1273. Ep. vi. 20.
1274. See Proem. 17.
1275. Proem. 16, 17.
1276. See book ii.
1277. Book ii.
1278. Books iii.-vi.

1279. Books vii.-xi.

1280. Book vii. 4.

1281. Book viii. 30.

1282. Book viii. 30.

1283. Book viii. 31.

1284. Book viii. 33.

1285. Books xii.-xxvii.

1286. Books xxviii.-xxxii.

1287. Biogr. Un. art. Plin.

1288. Ep. vi. 20.

1289. Ep. ii. 1.

1290. Ep. vi. 6.

1291. Sen. Suasor. I.

1292. Ep. vii. 4.

1293. Ep. v. 8.

1294. Ep. iv. 13.

1295. Ep. i. 8.

1296. A. D. 100.

1297. Ep. x. 97 and 98.

1298. Ep. v. ii.

1299. Lib. x.

1300. Ep. viii. 5.

1301. Ep. v. i.

1302. Ep. vi. 20.

1303. A. D. 40.

1304. Auson. Profess. i. 7.

1305. Inst. Or. i. 138.

1306. I. O. iv. Proem.

1307. Pl. Ep. ii. 14.*

1308. Sat. vii. 197. Another professor of rhetoric, Ausonius, was also elevated to the consulship by the Emperor Gratian, A. D. 379.

1309. Suet. Vesp. 18.

1310. Juv. vii. 186.

1311. Ep. vi. 32.

1312. I. O. vi. Proem.

1313. Epig. i. 62.

1314. Epig. ii. 90.

1315. I. O. Proem. iv.

1316. I. O. Proem. I.

1317. Lib. i. i.

1318. Cap. ii.

1319. Cap. i.

1320. Lib. i. *passim*.

1321. Cap. iii.

1322. Cap. vi.

1323. Cap. vii.

1324. Cap. v.

1325. Cap. viii.

1326. Cap. xi.

1327. Cap. x.

1328. Lib. ii. i.

1329. Cap. iii.

1330. Cap. ii.

1331. Cap. iv. and v.

1332. Cap. xiii. *ad fin*.

1333. Lib. i. ii.

1334. Cap. iii. *ad fin*.

1335. Lib. iv. i.

1336. Cap. ii.

1337. Cap. iii. iv.

1338. Cap. v.

1339. Lib. v. i.-xiv.

- 1340. Cap. i.
- 1341. Cap. ii.
- 1342. Cap. iii.
- 1343. Cap. ii.
- 1344. Cap. iii.
- 1345. Cap. vi.
- 1346. Cap. iv.
- 1347. Lib. ix. i. ii. iii.
- 1348. Lib. x. i.
- 1349. Lib. x. ii.
- 1350. Lib. x. i. and lib. xii. x. xi.
- 1351. Lib. iii. iv.
- 1352. Cap. v.
- 1353. Cap. vi.
- 1354. Cap. vii.
- 1355. Lib. xi. i.
- 1356. Cap. ii. iii.
- 1357. *Vide* Proem.
- 1358. Cap. i.
- 1359. Cap. i.
- 1360. Cap. ii.
- 1361. Lib. iv.
- 1362. Lib. iii.
- 1363. Cap. vi.
- 1364. Cap. vii.
- 1365. Cap. viii. ix.
- 1366. Suet. v. Ti.

- 1367. Lib. viii. 6.
- 1368. H. N. xxix.

1369. Cap. i. ii.
1370. Cap. iii. iv.
1371. Cap. v. vi.
1372. Cap. vii. viii.
1373. Lib. x. 185.
1374. Præf. 20.
1375. Lib. ii. 10.
1376. Lib. ii.
1377. Lib. i.
1378. Lib. vi. vii. viii. ix.
1379. Lib. iii. iv. v.
1380. Lib. xii.
1381. See Smith's Dict. of Antiq. s. v.
1382. A. D. 70.
1383. Tac. Agric.
1384. De Ag. I.
1385. About A. D. 106.
1386. Macrobius.

ПРИМЕЧАНИЯ ТРАНСКРИПТОРА

1. Нумерация главы VII повторяется в оригинале.
2. P. 64, заменено "Suetonius or J. Cæsar" на "Suetonius on J. Cæsar".
3. P. 65, заменено "Culius pati rotundos" на "Culices pati rotundos".
4. P. 102, заменено "κρυσος" на "χρυσος".
5. P. 103 Сноска 2, заменено צור" на צור".
6. P. 139, добавлен недостающий якорь для сноски 3.
7. P. 164, заменено "L. Otacilius Pititus" на "L. Otacilius Pilitus".
8. P. 202, заменено "было слишком много партий" на "было две партии".
9. P. 235, заменено "Varro Aticinus" на "Varro Atacinus".
10. P. 238, заменено "как ярость Цицерона" на "как век Цицерона".
11. P. 286, заменено ἰ ππων τιμαι και στεφανοι- на ἰ ππων τιμαι και στεφανοι- и заменено "τερπεται δε και τις επ' οιδμ' αλιον" на "τερπεται δε και τις επ' οιδμ' αλιον".

12. P. 287, заменено "Vides, ut ulta stet nive candidum" на "Vides, ut alta stet nive candidum".
13. P. 299, добавлен недостающий якорь для сноски 1.
14. P. 334, заменено "redundatem et in repetitionibus" на "redundantem et in repetitionibus".
15. P. 431, заменено "философия Коннута" на "философия Корнута".
16. P. 469, заменено "служил в tribunus angusticlavus" на "служил в tribunus angusticlavus".
17. Молча исправлены ошибки в пунктуации.
18. Анахроничные, нестандартные и неопределенные написания сохранены в том виде, в котором они были напечатаны.
19. Сноски были заново проиндексированы с помощью номеров и собраны в конце последней главы.
20. Некоторые форматы заголовков были изменены для обеспечения единообразия.